

НОВЫЙ
МИР

7



1948

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXIV

№ 7

Июль, 1948 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----|
| ВАСИЛИЙ АЖАЕВ — Далеко от Москвы, роман | 3 |
| ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ — Три стихотворения | 117 |
| ВЛАДИМИР ЛИФШИЦ — Испанец, стихотворение | 121 |
| АЛЕКСАНДР ЖАРОВ — Слово о Белинском, стихотворение | 124 |
| К. МУРЗИДИ — Стихотворения | 125 |
| СИНКЛЕР ЛЬЮИС — Королевская кровь, роман. Окончание. Перевела с английского М. Абкина | 127 |

КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

| | |
|--|-----|
| ВСЕВОЛОД АЗАРОВ — Багрицкий и современность. (По неопубликован- ным материалам) | 201 |
| И. ГОРЕЛИК — Билл Нейшн и Николай Ситранов | 215 |

На зарубежные темы

| | |
|--|-----|
| Я. ФРИД — Иероглифы вместо искусства. (Антинародная эстетика формализма) | 234 |
| НИНА НИКОЛАЕВА — Жизнь и борьба Юлиуса Фучика. (Дипломная работа студентки 5-го курса Московского университета) | 253 |

Книжная полка

| | |
|---|-----|
| В. СУТЫРИН — Факты и обобщения | 284 |
| МИХАИЛ ЛУКОНИН — Карикатура на героев | 286 |
| С. КОЛДУНОВ — На одном языке | 289 |
| РУД. БЕРШАДСКИЙ — Одаренный новеллист и его заблуждения | 290 |
| Г. ЛЕНОБЛЬ — В розысках заветного клада | 291 |
| М. МОРОЗОВ — Облик актера и гражданина | 294 |

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ

Роман

ВАСИЛИЙ АЖАЕВ

★

Книга первая

Глава первая

До свиданья, Москва!

До самой последней минуты инженер Алексей Ковшов не верил, что уезжает на восток, в глубокий тыл. В главном управлении, где ему окончательно объявили о новом назначении, он не мог преодолеть угнетенное настроение и безучастно выслушивал в отделе кадров торопливые наставления, словно они его не касались.

— Разыщите начальника строительства Батманова и главного инженера Беридзе, — посоветовали ему, — они еще не уехали.

Алексей ходил по коридорам, заглядывая в кабинеты. Учреждение эвакуировалось из столицы. Многие работники уже выехали. В опустевших комнатах с канцелярским мусором на полу уже распорядились военные — новые хозяева здания.

Наконец, Ковшову удалось найти Беридзе, только вчера прилетевшего из Грузии. Там, под кавказским солнцем, он проводил свой отпуск по окончании южного строительства и с начала войны руководил стройкой какого-то оборонного объекта.

Инженеры дружески обнялись. От Беридзе как бы пахнуло южным ветром, солнцем, морской волной. Он улыбался и шутил, поблескивая глазами, ничем не обнаруживал ни беспокойства, ни тревоги. Алексей, неодобрительно опустив концы губ, оглядел шегольской наряд товарища: свежий костюм, модные ботинки, фетровая шляпа — всё шоколадного цвета.

— Удивляешься? — весело спросил Беридзе.

— Трудновато не удивиться. Я привык тебя видеть в распахнутой до пупа рубахе, в мятых брюках, вправленных в здоровенные сапоги-вездеходы. А к этому франтоватому костюму не идет борода. Ты бы ее снял.

— Нет, Алеша, не согласен. До самой могилы буду таскать. Сам знаешь, вся моя сила в бороде. — Беридзе погладил свою чёрную бороду, чуть прикрывавшую галстук. — А костюм придется сменить, это верно.

Он порывисто взял Ковшова под руку. Алексей, поморщившись, отстранился:

— Лучше иди с другой стороны, Георгий. Рука у меня зажила, да не совсем — всё еще чувствительна.

— Извини, голубчик!

Внимательные глаза Беридзе окинули Алексея: сумрачное, озабоченное лицо, поблекшая гимнастерка, тяжелые солдатские башмаки и штатские брюки навывпуск.

— Тебя тоже не сразу узнаешь. Строгий стал какой-то. Значит, приелось глотнуть порохового дыма? Молодец!

— Чем же молодец? В первом бою был ранен, — угрюмо сказал Алексей.

— Не горюй. Тебе предстоят бои другого рода, и в них ты наверстаешь упущенное. Опять мы вместе, это хорошо. Когда я узнал вчера, что ты в Москве — обрадовался бешено. Побегал к Батманову и говорю: «Нашелся нужный человек, лучшего во всей Москве нет». Что ты такой кислый? Уксуса отведал? Или не желаешь со мной работать на этой стройке?

— Воевать хочу! — со злостью ответил Алексей. — На фронт хочу. Бесит меня эта чёртова рука. Лежал в госпитале — терпел, ничего не поделаешь, надо ждать. Выпустили с отсрочкой, на поправку. Что делать эти два месяца? Дома сидеть? Пришел попросить работу поближе к фронту — вот и напоролся! Говорят: один раз удрал от брони, второй раз не выйдет. Надо же было тебе подвернуться! Дали расписаться под приказом — и на тебе, поезжай за тридевять земель!

Беридзе терпеливо слушал.

— Понимаю тебя, голубчик. Сам этим переболел. Но ничего не поделаешь, придется ехать в сторону от войны. Стройка-то какая! Да не гляди так свирепо. Возьми вот, погрызи. Может, пообреешь.

Он вынул из кармана два апельсина и один сунул в руку Алексею. Тот с досадой хотел швырнуть апельсин, но солнечная его красота остановила Ковшова; он начал обдирать золотистую кожуру.

— Кому нужно сейчас это строительство за десять тысяч километров от фронта? — не унимался Ковшов. — Туманное дело. Нефтепровод поспеет к следующей войне.

— Не будь умнее Совнаркома, — все так же терпеливо говорил Беридзе, впиваясь зубами в мякоть апельсина. — Зря не будут выносить специальное решение о форсировании стройки. А смысл в нашем назначении есть. Туда посылают Батманова, меня и тебя. Троиш. Батманов и я — не новые люди для края, слава богу, построили там кое-что. Ты же, хоть и новый человек для Дальнего Востока, — не новый для меня. Помощник верный, другого не хочу. Одним словом, не вижу тумана, милый. Может быть, он у тебя в голове?

Беридзе повел Ковшова знакомиться с начальником строительства. Батманов разочаровал Алексея. Уж очень был параден: высокий рост, складная подобранная фигура, голова с пепельными прямыми волосами, большой лоб, четкого рисунка губы. В чужом кабинете он сидел, как в собственном.

«Наверное, позёр и барин», — невесело подумал Алексей. Его тянуло сейчас к военным людям, попроще и поглубже с виду, в сапогах, с ремнями и оружием.

Молоденькая девушка забежала в кабинет и улыбнулась Батманову:

— Везде вас разыскивала, Василий Максимович. Машина у подъезда.

Начальник строительства поблагодарил ее кивком головы. Инженерам он уделил не больше часу. Алексею не понравился его пристальный взгляд и то, что Батманов в разговоре больше обращался к нему, чем к Беридзе. Алексею казалось, что Батманов изучает его.

— Я возвращаюсь на несколько дней на юг — сдать объект, которым занимался последнее время. В Крым заеду попрощаться с семьей. Оттуда полечу прямо на Дальний Восток. Толковать с вами сейчас о строительстве не к чему. На месте все будет виднее. И вообще нам нечего тут делать. К начальнику главного управления не ходите: я провел у него целый день. Главк уже почти погрузился в вагоны. Всё, что нужно строительству, — судя по ведомостям снабженцев, — находится на месте или в пути. — Батманов встал и собрал бумаги в кожаную папку. — Хочу от вас только одного: поторопитесь с выездом. Трудно с билетами, вокзалы забиты тысячами людей — придется проявить энергию и ловкость. Семью с собой берете? — спросил он Алексея.

— Старики не хотят выезжать. Отец всю жизнь провел в Москве. Младшего брата на днях проводили в военную школу. — О Зине, жене своей, Ковшов почему-то умолчал.

— Поговорите еще раз с родителями, может быть поедут, — посоветовал Батманов. — Им будет лучше с вами.

— Не поедут, — отрезал Алексей.

Они пошли проводить начальника до машины. Батманов, пропустив вперед Ковшова и кивнув в его сторону, спросил Беридзе:

— Вы уверены, что выбрали дельного заместителя? Что-то слишком молод и, вижу, совсем не обрадован перспективой ехать на Дальний Восток. По вашим рассказам я представлял себе совсем другого человека. Лучше бы вам взять солидного инженера. Сейчас, правда, уже поздно...

— Не беспокойтесь, Василий Максимович. Уверен в нем не меньше, чем в самом себе. Он молод, этого никуда не денешь, и житейски неопытен; может быть, даже наивен кое в чем. Но хватка в работе настоящая. Очень способный, настойчивый. Я уж говорил вам: на южной стройке он отлично показал себя, лучше многих маститых. Теперь его опалило войной, он стал злее, повзрослел. Вот увидите, что я прав...

— Ничего против него не имею, беспокоюсь за вас же. Тяжелую задачу предстоит решать, и помощник у вас должен быть надежный.

Батманов вежливо, но сухо вато простился с инженерами, привычным движением захлопнул за собой лакированную дверцу машины и уехал — величавый и невозмутимый.

— Заслуженный деятель искусств, артист оперы и балета. Где ты разыскал такого начальника? — спросил Алексей.

— Так и знал! — захохотал Беридзе. — Не смотри на меня гусиными глазами и перестань шипеть. Он из того же балета, что и мы. Хоть бы поинтересовался его биографией, о нем столько писали: кочегар, машинист, партийный работник, окончил академию, руководил крупнейшей стройкой в Союзе. И это до сорока трех лет. Таких начальников немного в наркомате. Разве я пойду к плохому? Зря не дадут человеку два ордена Ленина. Его назначают туда, где многие другие не выгянут. Ну, убедил? Нет, конечно! Узнаю тебя, Алеша, насквозь вижу.

— Мне советовал семью взять с собой, а свою оставляет в Крыму? — полувопросительно заметил Алексей.

— У него сынишка тяжело болен туберкулезом, и Анна Ивановна, жена, живет с ним в Ялте.

Инженеры вернулись в управление за документами. Теперь они были свободны. В некоторой растерянности они бродили по улицам.

— В Грузии я ждал тебя, — говорил Беридзе. — Обманул, не приехал. Присох к московским камням, влюбился в какую-то блондинку и даже не позвал на свадьбу. Когда отпраздновали это событие?

— Пятнадцатого июня, в воскресенье...

— Показал бы ее, что ли...

Алексей молча вынул из нагрудного кармана фотографию.

— Славная девушка, — вздохнул Беридзе. — Милое, хорошее лицо, глаза ясные и умные и... какие-то вопрошающие. Покажи ее живую, фотографиям не верю. А то не позволю взять с собой.

— Она на фронте, — угрюмо проговорил Алексей. — Если хочешь точнее, то за линией фронта.

Беридзе, огоропев, остановился.

— Вот оно что! Как гуда попала?

— Училась на последнем курсе института. Связистка, радист. Я пошел в ополчение, а она, вслед за мной, через райком комсомола — в армию. Теперь родину защищает, а я... — Алексей всерьез махнул рукой и пошел вперед.

Беридзе озабоченным взглядом проводил товарища, потом догнал его.

— Смотри, Алексей, на Москву, пожадней смотри! Когда еще вернемся... — сказал он энергично, чтобы отвлечь Ковшова от его мыслей.

Сердце Алексея болезненно сжалось. Они шли по Садовой. Влажная мостовая блестела. Закатное солнце прощалось с зенитчиками на крышах домов. От Красных ворот неслась песня, рожденная войной, — там шли войска. Посередине широкой улицы бойцы тащили громоздкое тело аэростата. Когда мимо пронеслись автомобили, шелестя по отполированному асфальту, казалось, что от движения воздуха аэростат рванется к небу и потащит за собой поддерживающих его людей.

— Вот она, родная, вся заклеена бумажками, крест-накрест, как от нечистого, — говорил Беридзе. — Невеселая — ни одного огонька ночью. Москва без огней... За одно это перегрыз бы немцу глотку!

— Я тут обязан... защищать каждый камень... до последнего вдоха, — сквозь стиснутые зубы и чуть заикаясь проговорил Ковшов. — А вместо этого тащусь... за тобой... Куда-то к чёрту!

— Довольно об этом! Ехать придется, отменять приказ не будут, — строго и твердо сказал Беридзе. Он взглянул на потемневшее и словно обострившееся лицо товарища и взял его под руку: — Не настраивай себя так, не терзайся. Иди-ка домой, к родителям, побудь с ними. Я схожу на вокзал, вырву билеты и оттуда приду к тебе,

Глава вторая

На новом месте

Первую ночь на новом месте Ковшов спал в служебном кабинете, на дерматиновом гладком и холодноватом диване.

Проснувшись и с усилием открыв глаза, Алексей не сразу понял, где находится. Просторный кабинет был залит розовым солнечным светом прохладного утра. На другом диване лежала аккуратно сложенная постель Беридзе. Сам он сидел за письменным столом и разбирал бумаги. У окна, на краешке стула сидела рыхлая пожилая женщина в пенсне на шнурочке и усталым голосом рассказывала:

— Я эвакуировала Наточку с ее детенышком и осталась одна на большущей даче, где раньше жила семья из десяти человек. Каждый

день передо мной вставала проблема: стеречь добро или самой спастись в щель? Все-таки бомбы страшнее всего на свете. Залезала в щель с другими стариками и дрожала там, как паршивая сабачонка. Среди нас почему-то не нашлось ни одного спокойного старика — знаете, везде бывают этакие добрые старики с утешительными словами. У нас, наоборот, нашелся старик совсем другого сорта, он утешал так: «Немцы непременно придут и сведут счеты с нашей Музой. Полагаю, повесят дорогую соседку на самом высоком дереве». Это он мне, значит, пророчил. У меня, видите ли, зять — командир Красной Армии. Скажите, почему до войны мы не замечали злых людей? Этот ехидный старичок жил рядом со мной лет пятнадцать, и я считала его милым и симпатичным. Я вам не очень мешаю?

— Не очень, — ответил Беридзе, не отрываясь от бумаг.

— Одну дачную улицу совсем развалило, остались только доски да мусор, да груды битого стекла!.. Я совсем упала духом. Уж чего бы мне, старому человеку, бояться смерти, но я испугалась. Знакомые уговорили уехать. На вокзале давка, провожатые отстали с моими чемоданами и корзинками, бог с ними! И поехала глупая старуха на край света. Может, я вам мешаю?

— Пожалуйста! — Шевеля пальцами черную бороду, Беридзе рассеянно смотрел на женщину.

— Я так обрадовалась, когда узнала, что вы приехали, дорогие москвичи! Я здесь больше месяца живу и все не привыкну. Даже воздух вроде не такой, как у нас. Говорят, вредный для сердца?

— Воздух неплохой. Свежий. Много его. Не надо ездить на дачу, — рассеянно поддерживал разговор главный инженер.

— Не с кем поделиться. Меня до слез тронуло, что вы не отказались взять секретарем старого человека. Секретарей обычно выбирают из девушек, из тех, что помоложе и повеселее личиком.

— Мне приятно, что у меня секретарем москвичка, культурный человек. А очень молодых и веселых девушек я не очень люблю на работе, — признался Беридзе, блеснув глазами в сторону Алексея, который безмолвно прислушивался к разговору. — Я записал вам, Муза Филипповна, на этой бумажке мои первые поручения. Мне срочно нужны все тома проекта и записка к ним. С двенадцати часов будем вызывать людей.

— Сейчас же начну действовать, — засуетилась Муза Филипповна. — Потом на свободе вы мне расскажете про Москву.

«Вот и я тоже удрал из Москвы, а теперь буду интересоваться ею издали», — со стесненным сердцем подумал Ковшов.

— Уже завели шашни, товарищ главный инженер? — спросил он, проводив глазами секретаршу.

— Стараюсь не терять времени, пока ты спишь, голубчик, — отозвался Беридзе.

Алексей легко вскочил и в одних трусиках подошел к окну, шире распахнув створки рамы. Он сделал несколько гимнастических движений. Мышцы под коричневой от загара кожей вздувались. Беридзе с улыбкой следил за ним.

— Интересно, когда в тебе начнется перемена: отказ от хороших привычек, вроде гимнастики, в пользу плохих, вроде курения или стопки перед обедом? Я замечал: с годами человек обязательно обрастает дурными привычками.

— Попытаюсь воспротивиться этому закону природы, — отозвался Алексей.

Обычно бледное лицо его порозовело, волосы упали на лоб светлой прямой прядью. Он глубоко дышал, чувствуя, как кровь разогревалась в нем. Присев на стул, он принялся массировать левую руку. От кисти до локтя кожу пересекли три широких рубца.

— Ну как, Алеша, рука?

— Ничего, скоро совсем придет в норму.

Они смотрели в окно. Четырехэтажное кирпичное здание управления строительства стояло над обрывом. Внизу широко стлалась вечно живая река, ее всплески играли на недавно родившемся солнце. Противоположный берег ломаной линией сопок проступал в голубом тумане. Бурые, желтые и золотистые цвета украшали землю — знак осеннего яркого увядания природы.

— Велик, просторен Адун-батюшка! Его и не переплывешь, пожалуй, — сказал Алексей.

Где-то, будто жалуясь, завывал паровоз. Его гудок напомнил инженерам двадцатидневное их путешествие через бесконечные поля, леса и горы родины. Они вздохнули.

Тело Алексея покрылось гусиной кожей, он быстро оделся и побежал умываться.

— Будем держаться бок о бок, не отходя друг от друга, или, как гворится у спортсменов, ноздря в ноздю, — сказал Беридзе, когда его помощник вернулся. Ему хотелось подбодрить Алексея, он поймал тоску в его глазах.

Беридзе наметил план действий. Первая задача состояла в том, чтобы поесть, помыться в бане, получить жилье, раздобыть газеты и карту, подробно разобраться в обстановке строительства.

— Достаточно на первое время? Больше ничего не требуется высококвалифицированным специалистам в быту и на производстве? — спросил Беридзе.

— Достаточно. На первое место я поставил бы завтрак, — уточнил Алексей.

— Начнем!

Беридзе позвонил начальнику снабжения. Тот несколько раз спросил, с кем он разговаривает, и ответил неопределенно:

— Я выясню.

— Что вы хотите выяснять? — покраснел от досады Георгий Давыдович. — Нечего выяснять. Повторяю: с вами разговаривает главный инженер строительства Беридзе. Распорядитесь насчет завтрака мне и моему заместителю, товарищу Ковшову. Позаботьтесь также о нашем довольствии вообще.

Начальник снабжения ответил, что он знает только одного главного инженера — Грубского и его заместителя — Тополева. Кроме того, он подчиняется исключительно распоряжениям начальника управления. Беридзе вызвал по телефону столовую. Оттуда заявили: они выдадут завтрак, если будет распоряжение начальника снабжения. Беридзе яростно бросил телефонную трубку и выругался. Алексей засмеялся.

Широко распахнув дверь, вошел Батманов. Инженеры приехали ночью и еще не виделись с ним, только поговорили по телефону.

Начальник строительства был в военном. Одежда совершенно изменила его. Алексей не мог не подивиться: в Москве он знакомился с человеком, похожим на артиста или художника, а сейчас перед ним безукоризненно подтянутый командир: все на нем блестело — от белой кромки воротничка до начищенных сапог. Алексей невольно поглядел на свои запыленные сапоги и провел рукой по небритому подбородку.

Батманов с явным удовольствием, почти сердечно приветствовал инженеров. Видимо, привычная сдержанность помешала ему запросто расцеловаться с ними. Он подробно расспрашивал о поездке и впечатлениях. Сам Батманов прилетел на самолете.

Беридзе рассказал о происшествии в пути. У Данилова поезд подвергся нападению с воздуха. Они стояли на маленькой станции, и неожиданно налетевшему бандиту удалось хорошо прицелиться. Бомба угодила в один из вагонов. Соседние покарежило, в вагоне, где ехали Беридзе и Ковшов, вырвало рамы и разнесло стекла.

События тех минут навсегда врезались в память. Алексей содрогнулся, так отчетливо возникли они опять при рассказе Беридзе. Упав при взрыве, Ковшов подмял под себя главного инженера и загородил его своим телом. Потом они поднялись на ноги, не веря, что целы. Беридзе испугался, увидев кровь на лице и волосах товарища. Но, кроме мельчайших порезов, никаких ранений у Алексея не было.

Немец прилетел опять — уже не бомбить, только посмотреть на содеянное. Ковшов и Беридзе перенесли в кювет женщину с раздробленными ногами. Женщине показалось, что ее бросили, и она закричала: «Родные... хорошие... не бросайте... я погибну!.. Я погибну!»

Алексей выскочил к полотну и закричал Беридзе:

— Это постыдно, слышишь? Постыдно прятаться в канавах. К чёрту!

Из Данилова подошел санитарный поезд. Уцелевшие пассажиры принялись носить раненых. Беридзе вытащил из-под вагонной обшивки мальчика, лицо у него было разможено, но в груди еще трепетала жизнь. Врач взглянул на Георгия Давыдовича:

— Раненых надо носить, мертвые пусть лежат, им теперь не можешь.

— Он был живой.

— Уже не живой. Идите за следующим.

Санитарный поезд ушел. Алексей и Георгий Давыдович пошли в лесок — уговаривать прятавшихся в нем пассажиров вернуться в вагоны. Наконец изувеченный поезд потащился дальше. В Данилове задержались. Начальник станции не мог предоставить пассажирам другого поезда для дальнейшего следования. Пассажиры написали телеграмму наркому с жалобой на начальника станции и просьбой о помощи. Измученный заботами, обрушившимися на него вместе с немецкими фугасными бомбами, железнодорожник прочитал телеграмму и удивился ее наивности.

— Можно подумать, вас одних во всем мире бомбил сегодня немец. Наркому только и заботы — читать вашу телеграмму. Не сказывайте ее никому, порвите. Я отправлю вас вашим же поездом до Кирова, там глубокий тыл, там вас устроят.

И снова пришлось прятаться: на станцию в шестой раз за день налетели немцы. Завыли паровозы. С двух стоявших на станции воинских эшелонов ударили зенитки и пулеметы, земля заколебалась, воздух пришел в движение.

До Кирова мчались без единой остановки. Пассажиры столпились в тамбурах, поближе к выходу. Железнодорожники Кирова хотели задержать измученных людей и потом отправить их дальше, по мере возможности, маленькими группками. Пострадавшие упростили пропустить их поезд. Так они доехали до Свердловска — в вагонах без окон и дверей. На станциях к поезду выходили толпы людей и с плачем провозжали его: из вагонов не вышли те, кого они здесь встречали.

Рассказывая об этом, Беридзе не упомянул о своем столкновении с Алексеем в Данилове. Там, у разгромленного поезда, Ковшов решительно заявил, что вернется в Москву. В ответ на все увещания Беридзе, он повторял упрямо:

— Я должен быть в строю. Мое место на фронте, я солдат.

Батманов перевел взгляд на Алексея.

— Здесь поставим точку. Сейчас самое важное для путешественников — завтрак, баня, парикмахер и затем жилье.

Ковшов ничего не сказал, хотя начальник строительства обращался к нему. Ответил Беридзе:

— Вы застали нас как раз в ту минуту, когда мы пытались наладить отношения с начальником снабжения. И первый блин комом: он нас не признает.

— Налаживать отношения со снабженцем предоставьте мне, — сказал Батманов. Лицо его стало жестким. — Условимся с вами на первое время: вы занимаетесь инженерными делами, вникаете в технику, в обстановку строительства, разбираетесь в проекте. Организационная сторона пусть вас до времени не интересует — это моя монополия, пока не стану здесь полным хозяином.

Он вышел из кабинета.

— На что рассердился наш милый начальник? — спросил Алексей. — Мы еще ни в чем не успели провиниться.

— Ты не понял. Батманов рассердился за нас.

— Видно, не скоро ему удастся стать полным хозяином и наладить отношения, — со вздохом сказал Алексей. — Мы рискуем умереть с голоду.

Как бы в ответ затрещал телефон — их приглашали в столовую.

— Отношения налаживаются, — сказал Беридзе, повеселев.

Через два часа они вернулись, более или менее сытые, чистые, выбритые. Беридзе достал местную газету. Алексей вслух прочитал оперативную сводку и передовую «Правды». Немецкие дивизии продолжали теснить наши войска. Передовая призывала армию и народ отстаивать каждый метр земли и уничтожать всё в оставляемых городах и селах.

Весь день инженеры разбирались в материалах проекта. Им помогал Грубский — бывший главный инженер и один из авторов проекта. Маленький человек с птичьим лицом и голым коричневым черепом, он держался важно, с как бы раздутым достоинством.

— Чем могу? — спросил он, явившись только после четвертого вызова. — Я весьма занят сейчас и пришел потому, что почтенная дама в пенсне силой заставила меня оторваться от срочного дела. Очень настойчивая особа.

— Самое срочное дело для вас в настоящее время — ввести нас побыстрее в курс дела, — возразил Беридзе.

— Сие мне неизвестно. — Тонкие губы Грубского иронически искривились. — Если позволите, я буду придерживать своей точки зрения на обязанности, которые я вам еще не передал.

— Имеет ли это значение? Сдавать дела начнете не через год ведь, а завтра.

— Начну сдавать, когда прикажет мой начальник строительства. Если он прикажет, могу начать завтра. Даже сегодня. Даже через час. Я рад переложить на вас эту нелегкую ношу.

Алексей смотрел на узкое лицо инженера, его тонкую шею с большим кадыком, слушал неналаживающийся разговор — и в нем глухо

поднималось раздражение. Он отошел к окну — на реке нескончаемо сновали лодки и катеры, посередине степенно плыл большой пароход.

— Для начала прошу у вас немногого: помочь нам уяснить техническую концепцию строительства, — продолжал Беридзе.

— Помочь согласен, пожалуйста. Через час буду здесь, после того как покончу с делом, которое все-таки считаю неотложным.

Он пришел ровно через час. Рассказывал Грубский гладко, прибегал то к популярным, то к специальным и сложным формулировкам. Десятигоменный проект он знал наизусть и быстро находил нужные листы с чертежами или таблицами. Строительство, по его объяснениям, было непрерываемо рассчитано на три года.

Нефть с острова Тайсин должна поступать на материк и к нефтеперегонному заводу города Новинска кратчайшим путем по трубопроводу — в этом смысл строительства. Надо избежать трудных перевозок по морским и речным путям, с переливом черного золота из морских судов в речные. Зимой пути замерзали, подача нефти с острова прекращалась. За долгую зиму нефть скапливалась на Тайсине в громадных количествах. Зависимость от зимы, от транспорта давно уже сковывала развитие добычи. Тайсин мог давать горючего значительно больше, чем удавалось вывезти по протяженным водным путям. Нефтепровод удешевлял горючее, избавлял от огромных потерь на перевозках и, главное, позволял бесперебойно, круглый год доставлять нефть к заводам.

Грубский настойчиво подчеркивал трудности строительства. Многокилометровая трасса проходила по диким таежным местам с грядями высоких сопок, водными преградами и маревыми участками. Впервые предстояло строить нефтепровод в условиях короткого летнего сезона и длительной зимы с буранами, снежными заносами и пятидесятиградусными морозами; никакого опыта не было. Зимние месяцы, по мнению Грубского, следовало совсем сбросить со счетов, так как авторитетнейшие иностранные специалисты в своих пухлых трудах категорически запрещали сварку и укладку трубопровода в зимнее время. Некоторые сложные технические вопросы оставались пока еще нерешенными. Война принесла новые трудности, усложнила положение. Необходимо развезти трубы и материалы по трассе, а дорог нет, и постройка их потребует много времени и сил. Предстоят трудоемкие земляные работы, а рабочих рук нехватает — где их теперь брать? Как рассчитывать на полную укладку нефтепровода, если трубы и оборудование поступили не полностью, и неизвестно, можно ли рассчитывать на их поступление? Кадры плохие, с ними немыслимо вести дело, а на пополнение надеяться нечего.

Жалобам Грубского, казалось, не будет конца. Когда он все-таки умолк, Беридзе сказал с иронией:

— Да, задача нелегкая, трудностей много. За ваше подробное сообщение остаётся только поблагодарить вас. Но вы не рассказали главного: как перестроена техническая концепция проекта в связи с новым правительственным постановлением. Срок укладки нефтепровода сокращен с трех лет до одного года. Прошу вас затронуть и этот вопрос.

— Этот вопрос затронут нами в докладной записке главному управлению. Я полагаю, она вам известна. У меня есть копия, можете с ней ознакомиться.

— Я читал ее в Москве. Вы утверждаете, что невозможно построить нефтепровод в один год. И всё, кончен разговор?

— Повторяю: из этого отведенного нам единственного года с его двенадцатью месяцами — семь месяцев приходится на зиму.

— Но на ваш обстоятельный доклад Москва дала совершенно ясное указание — безоговорочно приступить к практическому выполнению постановления правительства и, в частности, перестроить проект.

— Мы сами понимаем: постановление правительства надо выполнять безоговорочно и практически. Однако не лучше ли честно сказать правду о нереальности срока, чем обманывать правительство нечестными, в сущности, попытками сократить время в три раза?

— Почему же нечестными? — Большие глаза Беридзе заблестели.

— Скажу — почему. Правительство в плане ведения войны рассчитывает, очевидно, на наш нефтепровод и поэтому решаете расходовать на его постройку драгоценную людскую энергию и материально-технические средства. Не является ли гражданским долгом нашим доказать, что людей и средства надо переключить на службу войне в другом месте, где все затраты окупятся безусловно и абсолютно?

— На данную тему вы послали вторую обстоятельную докладную записку? — спросил Беридзе.

— Мы послали телеграмму. Смысл ее такой: находясь в полном здравии и при твердой памяти, не можем отказаться от точки зрения, изложенной в первой докладной записке.

— Кочка зрения, кочка зрения! — с досадой выкрикнул Беридзе. — Зря вы потрагили дорогое военное время на сочинение докладных. Вас загнипотизировали десять томов проекта, вы привыкли к нему, как к жене. Надо было смело и решительно пересмотреть это довоенное произведение вместо того, чтобы ревизовать постановление правительства.

Грубский встал. Он был взволнован не менее Беридзе, но сдерживался.

— Вам предоставляется сделать то, что мы не сумели: проявить смелость, решительность и прочие львиные качества, которых у нас не оказалось. Рад буду лицезреть ваши подвиги, — сказал он почти спокойно и вышел.

Беридзе быстро бегал по кабинету, сцепив пальцы за спиной и немного ссутулившись.

— Этот индюк умоет теперь руки-ноги и будет стоять в стороне, хихикая над нами, — сказал он, подойдя к Алексею, безучастно сидевшему на подоконнике. — Что ты скажешь?

— Про индюка скажу так: в его рассуждениях есть логика. Я даже и не ожидал от него такой прямолинейности.

— Может быть, логика есть, но рассуждает он позорно, — отрезал Беридзе.

— Позорно? Думается, что он судит трезво. Немцы зашли далеко, катятся бронированной лавиной на Москву, судьба войны решается днями. Кому нужен нефтепровод, если даже он будет готов не через три года, а через год? Или скоро будет решительное сражение, и мы разобьем их. Или...

— Алексей, замолчи! — крикнул Беридзе. В один прыжок он очутился возле Ковшова.

Инженеры стояли у окна лицом к лицу: Алексей — побелевший, как бумага; Беридзе — красный от возбуждения.

— Запомни, вколоти в свою вздорную башку: никаких «или»! Война продлится столько, сколько понадобится для победы. Если нужно — год! Если нужно — три года, пять лет, десять лет! И еще вколоти в свою башку: раз правительство решило продолжать стройку нефтепровода, значит он нужен дозарезу и не позднее, чем через год. —

Беридзе перевел дыхание и сказал более уравновешенно: — Разве нас посылали сюда затем, чтобы мы поддерживали всякую сомнительную «логику»?

— Меня сюда не посылали, — быстро сказал Алексей и отвернулся. Он понимал, что неправ и думает не так, как говорит, но не сумел подавить духа противоречия и жестоко добавил: — Тебя посылали. Меня ты прихватил просто для веселой компании.

Беридзе долго молча смотрел на Ковшова. Руки его, сжатые в кулаки, поднялись, глаза потемнели от гнева.

Алексей будто не замечал состояния Беридзе, но, чувствуя необходимость оборвать разговор, лег на подоконник и недовольный собой, огорченный тем, что нанес обиду товарищу, невидящими глазами глядел в широкую даль за окном.

— Я за тебя поручился перед Батмановым, — задыхаясь, проговорил Беридзе. — Я сказал ему, что уверен в тебе, как в самом себе. Не заставляй же меня сомневаться в этом, если тебе дорога наша дружба и всё святое! Ты слышишь, что я говорю?

Ковшов не отозвался. Беридзе взмахнул обеими руками, резко повернулся и стремительно вышел, почти выбежал из комнаты.

Глава третья

Нужен ли нефтепровод Москве?

У Алексея оставалось много свободного времени в эти первые дни жизни в Новинске. Работа сводилась пока к ознакомлению с материалами проекта и отчетными документами. К тому же, после неожиданной их размолвки, Беридзе обособился и перестал разговаривать с Алексеем, хотя занимались они попрежнему в одном кабинете.

На третий день Ковшов отправился пешком в город, на почту. От управления, расположенного в привокзальном районе, до города было восемь километров. Алексей свернул с пыльной ухабистой дороги и направился к сопкам, укорачивая путь. Издали, под солнцем, сопки казались как бы застланными коричневым бобриком. Когда Алексей приблизился, они стали мехнатыми и очень пестрыми.

По пути из Москвы, в поезде, Беридзе рассказывал Алексею о Дальнем Востоке, суля много интересного и нового. Действительно; дальневосточная природа поражала с первых же шагов.

Склоны сопки, на которую поднялся Алексей, покрывал низкорослый дубняк. Ржавые большие листья его мертвенно шелестели, колеблемые ветром, но не опадали. Поднимавшиеся над дубняком ветви лиственницы были оголены. Иглистый наряд этого, осыпавшегося к зиме, хвойного дерева хрустел под ногами. Всё не так, как в подмосковье: листья дуба остаются зимовать на ветвях, а хвойное дерево именуется лиственницей потому, что хвоя с него к зиме падает...

Алексей спустился в овраг, побродил в высоких, почти в рост человека травах. Они перестояли и звенели, высохшие от солнца, не дождавшись своего косаря. В траве на каждом шагу вспыхивали яркие осенние цветы — желтые, пурпуровые и темносиние, похожие на крупные колокольчики. Они смело тянулись кверху, будто ждали не зиму, а лето.

Инженер быстро набрал большой букет невиданных им цветов, очень красивых, но без запаха, и стал выбираться к дороге. Ему попались заросли сухих невзрачных кустиков. Алексей остановился и смотрел

на них с жалеющей улыбкой — он уже знал, что это и есть рододендрон, о котором, по книгам Жюль-Верна, с детства создалось представление, как о сказочно прекрасном растении.

Новинск тоже разочаровал москвича. Столько писали об этом городе — каков же он? Ни высоких красивых зданий, ни правильных линий улиц. Преобладали деревянные постройки. Вместо каменных мостовых и асфальта тянулись плохие грунтовые дороги. Пешеходы шагали по доскам, проложенным под окнами домов. Все главные улицы города начинались от реки и уходили от нее на несколько километров параллельными рядами стандартных построек. Среди них изредка встречались кирпичные здания — грубые большие коробки, лишенные архитектурной отделки.

На почте девушка сказала Алексею с усмешкой:

— Пишуг.

Ковшов огорчился: он надеялся получить весточку из дому. С тещей он условился, что она будет писать ему о Зине, как только получит какое-нибудь сообщение. Значит, оттуда ничего нет. Алексей сдал в окошко письмо и телеграмму — лимит в двадцать слов для любого заочного излияния чувств. Про себя Алексей решил писать Зине — в надежде, что его письма и телеграммы из Москвы в конце концов удасться переслать и они все-таки попадут в ее руки.

Девушка за окошком пересчитала слова телеграммы, прочитала их и заинтересованно подняла глаза на Алексея:

— А кому же цветы?

— Никому. Могу подарить вам.

С серьезным лицом он отдал ей цветы, поклонился и вышел из помещения почты. Его собственная телеграмма еще больше разбередила душевную рану. В груди разрасталась боль, почти физически острая. Он остановился посреди дороги и вынул из кармана аккуратно сложенный клочок бумаги.

«Пошла на экзамены. Думай обо мне. Только особенно-то не волнуйся — наверное, выдержу. Зина».

Случайно сохранившаяся в ящике стола записка с несколькими словами, найденная по выходе из госпиталя, — как много она значила для Алексея! Он мог читать ее часами. Несчастьем представилось Алексею его пребывание в Новинске, в глубочайшем тылу, в безопасности и безделье.

«Кто ты сейчас? — спрашивал он себя с негодованием. — Кто ты, беспечно прогуливающийся среди мирной природы, когда твоя подруга и товарищи воюют за родину, когда самое родное и дорогое, без чего немислимо жить — будущее твоего народа, Москва каждую минуту подвергаются смертельной опасности?..»

Случилось так, что Беридзе сумел переубедить его в Данилове! Из Новинска уехать труднее, всякая попытка наверное будет воспринята Батмановым и Беридзе неверно, враждебно, скандально, они не поймут истинных его побуждений, не поверят, что он просто не может поступить иначе. С другой стороны, ссора с Беридзе может пойти на пользу: Батманов не станет задерживать его, поскольку Беридзе уже отступился...

На повороте Ковшова обогнала, обдав едкой пылью и газом, легковая машина. Немного отъехав, машина остановилась. Когда Алексей поровнялся с ней, сидевший за рулем человек окликнул его и предложил подвезти.

Машина шла на большой скорости, ловко избегая неровностей дороги.

— Вам куда? — спросил шофер.

— К управлению строительства, где начальником Батманов. Известно такое?

Шофер кивнул головой и внимательным быстрым взглядом окинул Ковшова.

— Вас я почему-то не знаю, — сказал он, перекидывая папиросу из одного угла рта в другой. — Никогда не видел.

— Разве вы обязаны всех знать?

— Обязан. Во всяком случае, я запомнил бы вас, если бы хоть раз увидел.

— Вы правы, я здесь всего три дня. Приезжий.

— Из Москвы? Тогда я знаю, кто вы. Инженер Ковшов?

— Почему же именно Ковшов? Нас двое, приезжих. Один из троих, действительно, носит такую фамилию.

Шофер бросил папиросу и улыбнулся, золотой зуб во рту сверкнул, как огонек. Взгляд его живых глаз снова скользнул по лицу Алексея.

— Я определил вас по методу исключения. Вы не Батманов.

— А может, Батманов?

— Батманов человек моего возраста, с такими вот печальными признаками увядшей молодости, — шофер коснулся рукой своего тронутого сединой виска. — Батманов популярная личность.

— Значит, я Беридзе.

— Какой же вы Беридзе, — засмеялся шофер. — Судя по фамилии, Беридзе — грузин. Вы же русский, к тому же москвич. Вас выдает московский говор и вздернутый русский нос, у Беридзе нос с горбинкой, черная борода. И хотя говорит он чисто, без акцента — все-таки не по-московски.

— Откуда же, однако, вам известно про черную бороду и речь Беридзе? Успели познакомиться?

— Признаюсь. Беридзе и Батманов старые мои знакомые. Три года назад я провожал их с Дальнего Востока на запад. Уже тогда Беридзе носил бороду, а Батманову стукнуло сорок лет. Ну, сдаётся, товарищ Ковшов?

— Сдаюсь. Вам остается назвать себя — и мы можем считать себя знакомыми.

Машина, подсакивая, проехала по бревенчатому мосточку.

— Не буду называть себя. Догадайтесь сами, — шутливо предложил шофер.

Алексей рассматривал человека за рулем. Серый костюм, свежая, растегнутая на две пуговицы, серая шелковая сорочка. Черные гуск-лые волосы мелким каракулем, посеребренные лишь на висках. Темное от загара лицо, чистая улыбка: От улыбки возле глаз собираются лу-чики, и лицо добрее.

Уловив на себе изучающий взгляд, человек за рулем рассмеялся.

— Хорошую задал загадку?

— Мне разгадать вас трудно, не за что зацепиться. Одно ясно: вы не шофер, хотя отлично ведете машину. Наверное, вы руководящий товарищ, имеющий какое-то отношение к строительству.

Человек за рулем снова засмеялся. Он, повидимому, любил шутки.

— Вы в городе были? Понравился вам Новинск? — спросил он после минутного молчания — он выводил машину на дорогу, к зданиям вокзального района.

— Нет, — не задумываясь, ответил Ковшов с некоторым раздражением. — Не понравился. Разве это город? Несколько тысяч одинаковых деревянных домов, вытянутых в шеренги. Ничто не радует глаз, всё,

по существу, придется ломать, если строить настоящий город. Зря его расхваливали в газетах, ваш Новинск.

Замечания Ковшова заметно не понравились его спутнику.

— Слишком резко, я бы сказал тенденциозно разделались вы с Новинском. Предубеждение, пожалуй, понятное: вы приехали из Москвы и сравниваете с ней. Я полагаю, мнение о нашем городе у вас скоро изменится. Вы, например, не видели действующих заводов — они делают честь любым заводам в мире — кстати и нефтеперегонного, к которому вам придется тянуть нефтепровод. Вы не видели строящихся заводов. Не видели ни театра, ни Дворца пионеров. Новинск расхвалили справедливо. Городá вырастают столетиями — нашему Новинску нет и десяти годиков, он подросток. Вы, молодой человек, избалованы, вам и в голову не приходит сопоставить: что было — и что есть теперь. Разве можно не оценить размаха, с каким строился и будет дальше строиться город после войны? Мы с вами минут пятнадцать едем по диаметру будущего города. Вам неизвестно, что всего несколько лет назад на этих местах нанайцы ставили ловушки на соболей. Эту огромную ровную площадку вырвали у тайги, а ее загнали на тот берег. Вам надо бы посмотреть проект будущего Новинска. Разве старые градостроители знали заранее, что у них получится?

— Слишком усиленно защищаете Новинск. Вы, что, архитектор или заведующий горкомхозом?

— Поживете — узнаете. Я вам еще припомню злое слово о Новинске.

— Не страшно. У вас ничего не выйдет: я собираюсь в обратный путь, на запад.

Машина остановилась около четырехэтажного широкого кирпичного дома управления.

— Я схожу, а вы следуйте дальше по диаметру вашего города. И больше мы, наверное, не увидимся. Спасибо, что подвезли. Прощайте.

Незнакомец рассмеялся:

— Прощайте... прощайте...

Но он тоже вышел из машины и пошел вслед за Алексеем. Тот задержался.

— Вы к нам?

Незнакомец кивнул головой и спросил серьезно, почти сердито:

— Насчет обратного рейса вы к чему сказали? Пошутили, или есть такое распоряжение?

— Никакого распоряжения! По собственной инициативе буду изо всех сил добиваться отправки меня на запад. Три дня живу здесь — и три дня в меня уши горят от моего постыдного благополучия.

Они остановились у подъезда.

— Теперь вы мой враг, — сказал незнакомец мрачно. — Человек, охавший Новинск и удирающий с Дальнего Востока, мой личный враг.

Алексея осенило.

— Я догадался: вы — Залкинд, секретарь новинского горкома? Мне Беридзе рассказывал про вас. Его вы тоже однажды объявили своим личным врагом.

Лицо Залкинда просветлело:

— Рассказывал про меня Беридзе? Значит, не забыл. Ну, с ним я больше не вражду: он вернулся. А вам — беспощадный враг. Между прочим, учтите, со вчерашнего дня я не только секретарь новинского горкома, но и парторг строительства.

Вечером Ковшов написал рапорт Батманову. На двух страницах инженер настойчиво доказывал, что должен безотлагательно вернуться на запад. Вручив бумагу секретарю начальника строительства, Алексей стал ждать ответа.

Комнаты общежития выходили в коридор. Самой крайней оказалась комната Алексея. Комендант распахнул перед ним дверь.

Железная кровать с тощим матрасом, плоской подушкой и серым солдатским одеялом. Больничного типа тумбочка. Маленький стол, два стула. На стене — портрет Димитрова, на столе — кабинетная черная лампа, изогнутая вопросительным знаком. На окне — полуспущенная штора из синей светомаскировочной бумаги.

Зашли в комнату вдвоем, и стало тесно. Комендант с сомнением посмотрел на Алексея и удивился его словам:

— Роскошно. Больше мне ничего не надо.

Новый жилец с полотенцем прошел по коридору, тускло освещенному единственной лампочкой. Открыл крайнюю дверь: увидел большую кухню — грязную и неудобную, какие часто встречаются в коммунальных квартирах. В широком тамбуре нашел умывальник — два железных корыта — одно над другим. Из верхнего торчали вниз соски. Стараясь не громыхать, Ковшов умылся.

Не все жильцы спали. С шумом распахнулась входная дверь, вошла девушка в кожаной куртке и сапогах. Она не очень-то соблюдала тишину и, отпирая свою комнату, напевала: «Спят курганы темные...»

— Тише! Люди спят кругом, а не курганы, — сказал Алексей.

— Ой! Я вас не заметила. Вы новый истопник?

— Новый жилец, заинтересованный, чтобы здесь было тихо ночью.

Она подошла к нему, приглядываясь с любопытством.

— Значит, это для вас готовили утром комнату? Комендант сказал — для нового главного инженера или его заместителя. Вы и есть? — Признаюсь.

— Я ругала коменданта. Вам дали холодильник вместо комнаты. Сейчас — и то прохладно, а какво будет зимой? В ней только овощи хранить, живой человек не выдержит. Вы отказывайтесь, пусть дают другую.

Ковшова обрадовало нарушение его тягостного одиночества, он с удовольствием слушал болтовню девушки. Она на минуту забежала к себе и вернулась без кожаной куртки, в легкой шелковой кофте. Поправляя волосы, она закинула голые по локоть полные руки за голову и опять принялась уговаривать его:

— Сейчас освободится много жилой площади. Говорят, новый начальник строительства решил всех нас разогнать. Управление почти целиком упаковалось и собирается уезжать со старым начальником.

— Вы не умеете потише разговаривать? — спросил Алексей.

— Зачем потише? У нас привыкли не стесняться. Часов в шесть утра убедитесь сами: никто не будет говорить потише. Вон напротив живет Гречкин, начальник планового отдела. У него четверо детей, и они никогда не орут поодиночке — обязательно хором. Но не это самое страшное. Самое страшное — Лизочка, супруга Гречкина. Она маленькая, худенькая, но у вас всегда будет звенеть в ушах от ее крика.

Девушка заочно познакомила Ковшова с жильцами. Не спросив разрешения, вошла в комнату инженера, оглядела ее критически и осталась недовольна.

— Сыро. Вымыто плохо, смотрите, какие подтеки у плитусов. Обстановка случайная, хлам. Матраца, считайте, нет, вместо него положили лист папиросной бумаги. На нем спать нельзя, заболят бока.

— Можно спать, вполне, — решил Ковшов. — Тем более, мне не придется особенно-то нежиться в постели.

Девушка закончила осмотр комнаты и перевела взгляд на инженера, глаза у нее были большие и ласковые.

— Вы, наверное, холостяк и привыкли жить впопыхах да в сухомятку?

— Я женат, правда недавно.

Она изумленно посмотрела на него и залиvisto рассмеялась.

— Молодую оставили дома? Мило!

Инженеру не понравился поворот в разговоре, он сразу потерял интерес к болтовне девушки. Она заметила эту перемену и ушла, пожелав спокойной ночи.

Спать не хотелось. Алексей принял лбом к холодному стеклу. На улице было светло, как днем. Фосфорный неживой свет луны заливал барачного типа постройки и великое множество пней, оставшихся как следы тайги, оттесненной с площадки. Правее, за последним баракom, блестел величавый Адун. Где-то неумолкаемо выла и визжала циркулярная пила, иногда она плакала, как женщина.

Тоскливые мысли вновь толкнулись в голову. Днем пришло письмо от брата. Митенька, восемнадцатилетний паренек, писал, что учится бить немца и скоро пойдет на фронт. В этих нескольких фразах прозвучал для Алексея горький укор.

Одиночество Ковшова нарушил Беридзе. Алексей вскочил, смущение и радость отразились на его лице: размолвка с товарищем тяготила его, он чувствовал себя виноватым...

— Пришел ругать тебя и бить, — сказал Беридзе и, подойдя к товарищу, неловко, сбоку обнял его.

Главному инженеру тоже не понравилась комната Ковшова.

— Я слышал, стены покрываются льдом. И мрачная она какая-то. Тоску нагоняет. Ты перебирайся ко мне, у меня тепло, и хозяйка заботливая.

— Спасибо. Я буду жить здесь, меня комната устраивает.

— Ты и в самом деле решил добиваться возвращения в Москву? — в упор спросил Беридзе.

— Да, — коротко ответил Алексей. Он понял, зачем пришел к нему Беридзе. — Тебе Батманов сказал? Отпускает он меня или нет?

— Батманов ничего не говорил о тебе. Ты успел и ему доложить?

— Вчера я подал ему рапорт.

— Эх, зря! — сказал Беридзе с досадой. Он явно расстроился и начал расхаживать по комнате: три шага вперед, три шага назад. — Ты, Алексей, человек взрослый, у тебя своя голова на плечах, но по-дружески скажу тебе: напрасно затеял эту вольнку. Ты еще не включился в работу. Вот и мечешься. Вздор. Надо победить это настроение. Заставь себя глядеть шире и дальше.

Ковшов сидел на низкой кровати, склонив голову. Беридзе едва удержался, чтобы не подойти и не погладить его по русым волосам.

— Неудобно перед Батмановым, голубчик. Ему трудно сейчас: организационный хаос, люди в разброде. Мы приехали вместе с ним и теперь — главная его опора. И вдруг рапорт: «Прощайте!» Смахивает на удар в спину.

— Слишком красиво изображаешь, Георгий Давыдович. Начальнику не придут в голову такие тонкости. Я для него маленький человек, он вполне без меня обойдется.

— Понятное дело, обойдется. Но согласится ли обойтись — не знаю. Во всяком случае, он не отнесется к твоему рапорту равнодушно. Ты и меня ставишь в неудобное положение — я за тебя ручался. Предвижу неприятности.

Постучав, в комнату зашел Залкинд. На нем было легкое летнее пальто. Он внимательно огляделся.

— Помирились? — спросил парторг у Беридзе, присаживаясь на кровать, рядом с Алексеем. — Напрасно. Что до меня, я не собираюсь с ним мириться.

— Слышал? Он успел подать письменный рапорт начальнику строительства, — сказал Беридзе.

— Тем хуже для него. — Залкинд положил руку на плечо Алексея. — Вам потом самому станет неудобно, вы пожалеете об этом рапорте.

— Почему? — раздраженно спросил Алексей. — Я не путевку прошу на курорт.

Залкинд подпер голову обеими руками.

— Некоторые люди у нас здесь рассуждают так. Мол на карту войны поставлено всё, страна напрягается до предела, на учете каждый человек и каждый патрон. Между тем на Дальнем Востоке бездействуют крупные вооруженные силы. Надо немедленно снять их отсюда и бросить на запад. Дальневосточные дивизии хорошо обучены и оснащены — они помогут остановить фашистов. Если японцы воспользуются этим и оттяпают у нас Дальний Восток — не беда, обойдемся без Дальнего Востока. Нам-де города, села и земли ближней России милее и дороже уютных дальневосточных пространств. Как вы расцениваете это такое рассуждение?

— Рассуждение гнусное! Я бы с такими рассуждателями не стеснялся.

— Правильно и патриотично! — одобрил Залкинд. — Каждый камень и каждая пусть захудалая речка — всё дорого родине. Будь просто потомки Ермака и Пояркова, и то не имели бы права отдавать ни одной песчинки Дальнего Востока. Кстати, тут каждая песчинка золотая. А мы не только потомки Ермака, мы наследники Ленина, советские люди, мы дали этому краю новую жизнь.

— Спрашивается: при чем здесь инженер Ковшов? — заинтересованно спросил Алексей.

— Инженер Ковшов, патриотично осудив антипатриотические высказывания, на деле согласен отдать японцам весь Дальний Восток. Ему дорогá одна Москва.

Алексей поднял брови.

— Может быть, я уже отдал японцам Дальний Восток?

Залкинд оставил его замечание без внимания.

— Незачем говорить о роли тыла в войне, — продолжал он. — Все мы знаем: устойчивость и работоспособность тыла значат столько же, сколько и сама армия. Что такое тыл? Заводы, колхозы, разные строительства, сотни и тысячи больших и малых учреждений государства, перестроенных на военный лад...

— Очень интересно, — улыбнулся Алексей. — Правда, немного похоже на очередную статью из местной газеты. Вы полагаете, мне не ясны столь популярные истины?

— Вы огорчили меня и Беридзе нежеланием понимать некоторые популярные истины. Нефтепровод наш участвует в войне в той же ме-

ре, как завод боеприпасов или танковая дивизия. Строительство нефтепровода имеет прямое отношение к вооруженным силам Дальнего Востока. Вы возмущаетесь людьми, предлагающими снять армию с дальневосточных границ. Почему же на деле вы поддерживаете их, отрицая необходимость нефтепровода для войны?

Ковшов встал, протиснулся между столом и кроватью и сел у столика в углу, напротив Беридзе. Тот молча играл перочинным ножом с целым набором инструментов — от консервного ножа до шила.

— Ничего не отрицаю. Просто вижу, что невозможно построить его так быстро. Следовательно, ему не придется участвовать в войне.

Залкинд взял из рук Беридзе перочинный нож и стал внимательно открывать предмет за предметом.

— Ваши слова ничего не весят. Вы не имеете представления об общем плане войны, не знаете ни ее ресурсов, ни сроков. Конечно, мы тоже знаем не всё. Всё знают только наши большие руководители в Москве. Они и решают. Перед ними стоял вопрос о нефтепроводе, один из миллиона вопросов. Грубский доказывал: построить за год нельзя. В Москве с ним не согласились! Нефтепровод нужен для войны, отказаться от него невозможно. Отсюда решение: выполнить стройку за год. Это равно приказу — стоять насмерть и сделать невозможное. Отсюда смена руководства на строительстве... Теперь оно в надежных руках. Вам не приходилось в свое время читать очерк в «Правде» про Батманова и Беридзе: «О людях, которые умеют делать невозможное»?

— Не помню, — сказал Алексей.

— Был такой очерк в свое время, — с гордостью подтвердил парт-орг. — Меня очень обрадовало решение Совнаркома о форсировании строительства. В этом я увидел еще одно проявление нашей силы. Подумайте, если нефтепровод, отстоящий от фронта на несколько тысяч километров, нужен и занимает в войне определенное место, хотя и поспеет только через год, то какая мудрость предвидения заложена в общем плане войны с фашистами.

— Я всё понимаю, признаю, со всем согласен! — воскликнул Алексей, вскакивая. — Но вы-то можете меня понять или нет? Я хочу на фронт, туда, где сейчас труднее всего! Нас учили с детства, и на школьной скамье, и в комсомоле: не прятаться от трудностей, быть там, где опаснее всего.

— А разве вас не учили... дисциплине? В конце концов, нужно же подчиняться старшим товарищам? — жестко спросил Залкинд. — Разве не учили тому, что нельзя себя выделять из общего? Если не учили, тогда и на фронте вы будете рассуждать: «Это не участвует в войне, а это участвует, это важное, это мне подойдет, а это не подойдет». Или мы для вас не старшие товарищи? Мне Беридзе говорил, будто фронт опалил вас. Честно признаться — незаметно. Советую хорошенько обдумать то, что мы вам говорим...

Залкинд вернул Беридзе нож и поднялся. Встал и главный инженер. Алексей прислонился спиной к стене, чтобы дать им пройти. Проходя, Залкинд нажал на него плечом и засмеялся:

— Приперли парня к стенке в прямом и переносном смысле!

— Чего же вы хотите от меня, старшие товарищи? — спросил Алексей.

— Чего мы хотим от него, Георгий Давыдович? Скажи ему.

— Мы хотим, голубчик, чтобы ты перестал думать об отъезде. Я ведь очень рассчитываю на твою помощь, пора влезать в работу по уши. И еще соображение. Твой отъезд плохо повлияет на управленцев.

И без того беспокойно. С Батмановым я улажу: возьму у него рапорт, и тебе не придется с ним объясняться.

Алексей внимательно посмотрел на поздних гостей:

— Не надо брать рапорт, я не боюсь объяснений. Сам, если надо, поговорю с начальником строительства.

— Это полезно, — усмехнулся Залкинд, живо представив себе предстоящий разговор, и, ткнув Алексея пальцем в живот, вышел. Минуту постояв, за ним последовал Беридзе.

Под жалобный визг и стоны маятниковой пилы Алексей начал укладываться на своей жесткой постели.

Глава четвертая

Все хотят уехать

В солнечный, чистый и свежий день, какими богат Дальний Восток осенью, Беридзе и Ковшов первый раз пролетели в самолете над трассой. Она проходила по правому берегу реки, лишь в отдельных местах немного отступая от нее.

Сверху Адун еще больше ошеломлял своим широким разливом. Сплошной водный поток, открывавшийся взгляду на земле, распадался, если смотреть на него сверху: река двоилась, троилась и множилась в несметном числе заливов, протоков и рукавов. Они блестели, мерцали, искрились под солнцем.

По обе стороны реки, насколько мог видеть глаз, простиралась тайга — величайшее нагромождение растительности. В ее безграничных делях суровые северяне — лиственница и голубица — жили в теснейшем соседстве с нежными детьми юга — бархатным деревом и виноградом, и хозяин тропических джунглей — тигр охотился за северным оленем.

Можно было подумать, что нога человека еще не ступала в этих диких местах. Но вот внезапно открылось первое селение с аккуратной линией домиков и свежей желтизной нив. Вскоре селения — обжитые и веселые с виду приюты людей у реки — стали проноситься под крылом самолета все чаще.

Трасса дважды пересекала Адун — под Новинском и у небольшого города Ольгохта, тоже стоящего на реке. Чуть ниже этого места река и трасса расставались: Адун величаво уходил вправо, трасса поворачивала налево, на север. Она приближалась к морю, тянулась побережьем до мыса Чонгр. Здесь — в самом узком месте — нефтепровод должен был пересечь бурный двенадцатикилометровый Джагдинский пролив и на мысе Гибельном выбраться на остров Тайсин. Нефтепромыслы находились в северной оконечности острова, в районе города Кончелан — к нему и должны были строители проложить нефтепровод.

Георгий Давыдович остался доволен осмотром. Несколько лет назад он исходил берега Адуна с изыскательской партией — и теперь, с высоты птичьего полета, узнавал знакомые места. У него рождались какие-то мысли, он еще не высказывал их, но многозначительно грозился двинуться в решительное наступление на Грубского.

Выбравшись из самолета, севшего на маленьком аэродроме за березовой рощицей неподалеку от управления, главный инженер кинулся в кабинет и, что называется, сходу погрузился в синие глубины чертежей, бормоча под нос стихи Маяковского — он любил их и помнил во множестве:

«Но оказывается:
 Прежде, чем начать петься,
 Долго ходят, размозолев от брожения...»

На Алексея полет над трассой произвел удручающее впечатление. Он не обратил внимания на роскошный наряд красавицы-осени, недосуг было любоваться ею. Инженер старательно высматривал признаки строительной жизни. Увы, она обнаруживалась едва-едва: просекой в тайге, вырубленной далеко не повсюду, кое-где пробитой дорогой, опять смеявшейся десятками километров бездорожья, палатками или свежесрубленными постройками на участках. Трасса, как целое, существовала лишь в воображении изыскателей-проектировщиков, в их чертежах и расчетах.

Алексей с испугом сказал главному инженеру:

— Ведь ничего же нет на трассе, почти голое место!

Беридзе, настроенный бодро, не смог его утешить.

— Положение хуже, чем ты думаешь, Алеша, — сказал он, скаля в улыбке белые зубы, обрамленные черными усами и бородой. — На мой взгляд, у нас нет и трассы. Придется искать новую. Выходит, мы с тобой обозревали с высоты бросовую работу.

После памятного объяснения с Залкиндом в общезнании Алексей хоть и ждал ответа Батманова на свой рапорт, однако перестал надеяться на отъезд. Заботы о строительстве все больше и больше осаждали его. Он удивлялся спокойствию Батманова и Беридзе.

— Сколько времени Батманов будет заниматься приемкой? — возмущался Алексей. — Нетороплив ваш хваленый начальник. В управлении все смешалось — и кони, и люди. Ничего не добьешься. Старое начальство почему-то не уезжает, во все вмешивается. Новое начальство созерцает происходящее, выжидает чего-то и не берет власти!

Беридзе и Ковшову не терпелось активно вмешаться в дела. Работа над проектом требовала устранения Грубского, реорганизации производственного аппарата, перестановки людей.

Батманов одернул инженеров:

— Не торопитесь, дайте мне сначала принять хозяйство.

Выехать на трассу он им не разрешил, даже рассердился:

— С чем появитесь на трассе, товарищи инженеры? Очень вы нужны там с пустыми головами и голыми руками! На каждом участке на вас обрушат тысячи вопросов, а вы не сумеете их разрешить. Самое высшее образование не поможет, вы не способны еще распоряжаться — не готовы. Неизбежно начнете путать, а путаницы там и без того много. Пушу вас на трассу и поеду сам только после тщательной подготовки. Поймите: самое главное в первой, организационной стадии любого строительства — работа управления, штаба.

Единственное, во что решительно и сразу вмешался Батманов, была отгрузка материалов, оборудования и продовольствия и доставка их по воде на остров и в другие отдаленные пункты строительства. К бухтам острова и причалам таежных материковых участков не существовало иных подходов, кроме водных. Требовалось в немногие дни до ледостава на Адуне завезти на трассу возможно больше грузов, чтобы потом меньше мучиться с перевозкой их по зимнему пути. И Батманов налег на Сидоренко, бывшего начальника строительства, заставляя его по нескольку раз ездить на пристань, где грузились баржи и пароходы, ругаться по телефону с управлением речного пароходства, запрашивать краевой центр — город Рубежанск, и Кончелан — город на Тайсине.

В остальном Батманов как будто и впрямь выказывал медлительность. Беридзе оправдывал ее и беспрекословно подчинялся его указаниям. Алексея удивляло такое, не свойственное главному инженеру, смирение.

— Ты судишь по первым впечатлениям, а я его давно знаю, — мягко говорил Беридзе. — Я привык подчиняться ему с полуслова потому, что верю ему, и он ни разу не оказался ниже моей веры... Ты присмотришься к нему получше, и тоже перестанешь брюзжать: он человек системы и действует всегда с большим смыслом. Может быть, подчас приятнее, если начальник носится запыхавшись и, тараща глаза, кричит зычным голосом, отдавая распоряжения направо и налево. Батманов — серьезный человек и не признает свето-шумовых эффектов.

Беридзе был прав. Центр вмешался в положение дел на строительстве, дал новую установку и сменил руководство. Остальное полагалось сделать его новым хозяевам. И Батманов правильно понимал свою первую задачу: она сводилась к перевооружению людей, к подготовке их к большим трудным делам. Нельзя было и помыслить о полной замене старого коллектива новым — кто бы прислал сюда столько людей для замены? Оставалась одна возможность: создать новый коллектив из старого. Это было куда сложнее, чем если бы все начинать сначала. Батманову предстояло быстро разобраться в людях и решить их судьбу.

Болезнь коллектива заключалась в его несоответствии обстановке войны. Люди знали: где-то, очень далеко от них, идет война. Они знали, во имя чего она идет, тревожились и волновались, жадно слушали радио, накидывались на сообщения с фронтов, собирались у карты, обсуждая прочитанное и услышанное. Но они не знали самого главного: какое место в войне должен занять каждый из них. Жизнь на стройке продолжалась почти по мирному распорядку и мирным нормам.

Прежние руководители строительства не сумели пойти впереди людей и повести их за собой. Задание — втрое ускорить постройку нефтепровода — было первым их испытанием в войне, они же стали его оспаривать. Проект мирного времени, рассчитанный на три года, продолжал оставаться законом на строительстве. Им казалось невозможным отметить его, так как он составлялся годами; на разработку нового проекта ушло бы, по крайней мере, не меньше года.

И, главное, прежние руководители не верили, что строительство, столь отдаленное от фронтов и долгосрочное, может понадобиться государству немедленно. Они ждали: вот-вот Москва доберется до них, снимет с нефтепровода и приобщит к действительно неотложному военному делу.

Назначение нового руководства внесло замешательство. Люди растерянно жались к старому начальству, и многие неприкрыто выражали неприязнь к приезжим. Натолкнувшись на очередное препятствие, Ковшов возмущался:

— Что он смотрит, начальник! Разогнать поскорее эту компанию! Они тут заплесневели. Такие сотрудиички хуже наших союзников на Западе!

— Не горячись, Алеша, — успокаивал его Беридзе, — не спеши. Куда спешишь? Времени хватит и еще останется, вот увидишь! Заплесневелых предоставь Василию Максимовичу и Залкинду.

Работники управления повели себя по-разному. Начальник планового отдела Гречкин, не дожидаясь вызова, сам пришел к Батманову. Коротко отрекомендовавшись, он открыл папку и начал деловито докла-

дывать о состоянии работ на строительстве. Батманов, в свою очередь, принял доклад с таким видом, словно много раз уже слушал Гречкина.

— За последнее время прироста капиталотдачи у нас почти нет, — заключил Гречкин, показывая карандашом на разложенные перед Батмановым сводки. — В таких случаях мы, экономисты, делаем вывод о банкротстве организации. Люди получают деньги, едят, пьют, что-то делают, копошатся, а толку нет. Строительство зашло в тупик.

— У вас данные свежие? — спросил Батманов, рассматривая сводки.

— Честно говоря, данные старые, с бородой. Я получаю их почтой. Доставляют их как удастся, даже на собаках. Сразу же хочу и пожаловаться. Нельзя без проволоочной связи! Главный инженер, бывший, почему-то считал, что провод нужен мне только для получения сводок с трассы. Сам он умудрялся обходиться без всякой связи.

Батманов, предугадывая характер ответа, спросил:

— Вы, очевидно, тоже собираетесь уезжать отсюда?

— Если прогоните — уеду, — не задумываясь, ответил Гречкин.

Начальник строительства с интересом приглядывался к нему. У незнающих его людей Гречкин вызывал улыбку. Малый рост и короткие толстые ноги плохо сочетались с крупным торсом и большой головой. Чуть одутловатое лицо с мясистой шишкой у подбородка было некрасиво. Говорил Гречкин многозначительно, по-волжски окая и широко раскрывая зелено-желтые кошачьи глаза.

— У вас есть дети? — спрашивал Батманов.

— Четверо.

— Когда же вы это успели? Вам вряд ли больше тридцати лет.

— Тридцать пять. Не умею, товарищ начальник, отказываться от детей. Появляются друг за дружкой, куда их денешь.

— Из-за детей, значит, не хотите уезжать, — решил Батманов. Его слова прозвучали, как упрек.

— Ничего нет удивительного. Дети — не котята, — сказал Гречкин с некоторой обидой. — С ними ездить из конца в конец нелегко. Один у меня пропал этак в дороге: простудился, поболел — и помер. Но если надо — я не побоюсь подняться со всей семьей. Ребята у меня крепенькие, а Лизочка, жена моя, привыкла путешествовать. Просто обидно уезжать отсюда не солоно хлебавши. Сроду не приходилось покидать незаконченную стройку. На Дальнем Востоке я на двух стройках работал и за обе спасибо от правительства получил. — Он прищурился на Батманова и наивно спросил: — Ну, а теперь-то пойдут наши дела или нет?

— Думаю, пойдут, — улыбнулся Батманов. — Награды имеете?

— Две медали: «За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть».

Василий Максимович представил себе медали на просторной груди Гречкина и снова улыбнулся.

— Условимся с вами так, — встал Батманов. — Вы познакомьте меня со всеми работниками вашего отдела: хочу посмотреть, что за люди. С докладом о ходе работ будете приходить каждый день с утра. Переделайте эти простыни, тут три пуда цифр. — Батманов, как бы взвешивая, поднял пачку таблиц с данными выполнения плана. — Надо их упростить, сделать лаконичными и умными. Продумайте ваши ежедневные информации: в них нет делового анализа, а он должен быть. Позднее мы организуем диспетчерскую службу. Полагаю, она будет в ваших руках. У меня, вообще, есть соображения, как расширить круг обязанностей отдела. Конечно, подойдем к этому постепенно... Сейчас — вы совершенно правы — самое неприятное в том, что нет связи. Нужна она дозарезу. Без нее мы слепы и глухи. Я привык, чтобы у меня вот

здесь, — он звучно хлопнул ладонью по настольному стеклу, — стоял селектор. Я должен все время слышать трассу и иметь возможность разговаривать с ней в любую минуту.

Василий Максимович протянул руку на прощанье, плановик схватил ее с воодушевлением. Рукопожатием как бы скреплялась их договоренность о сотрудничестве.

В приемной начальника сидели вызванные к Батманову сотрудники. Скрывая за шутками смущение и неуверенность, они поглядывали на дверь в кабинет, устроенную в виде шкафа.

— Ну, как? — спросил один из них появившегося Гречкина. — Почему вспотел-то, жарко?

Гречкин насмешливо посмотрел на них, вытаращил глаза и сказал таинственным шепотом:

— Мне-то ничего, я от удовольствия потею. А вам будет холодно. Замерзнете. Ваше дело труба. Дал бог начальника — бритва! Сам мыливает, сам бреет...

Он ничего больше не добавил и, пряча ухмылку, косолапо зашагал в больших и неаккуратных своих сапогах.

Батманов вместе с Залкиндоу вызывали начальников отделов со всеми их людьми. Сначала начальники отделов докладывали о работе коллектива, потом каждый из сотрудников рассказывал о своей работе. Им задавали вопросы, казавшиеся странными и неделикатными; эти вопросы вызывали улыбку или краску на щеках.

Беридзе, забегавший к начальнику строительства, смеясь передал Ковшову содержание разговора Батманова с одним из начальников отдела:

— Наглый малый, надувшийся, как мяч, от избытка собственного достоинства. За три минуты он сжался до нормального размера. Василий Максимович узнал, что он шофер по специальности, и говорит: «Я еще не совсем принял дела, но едва приму, тотчас восстановлю справедливость: дам вам машину и пошлю на трассу. Плохим начальником может быть всякий, а хорошего шофера надо искать. Доставайте пока из-под спуда свои права и готовьтесь к выезду».

Георгий Давыдович вспомнил:

— Да, он велел прислать тебя. Иди к нему, Алексей.

Ковшов, пока спускался по лестнице с третьего этажа на второй, обдумывал речь в защиту своего рапорта. Защищать рапорт, однако, не пришлось. Батманов сухо ответил на его приветствие и сказал:

— Мы с товарищем Залкиндоу знакомимся с людьми. Посидите, послушайте.

Начальник стоял у балконной двери, в потоке солнечного света, лонившегося в кабинет сквозь стекло двери и через все четыре окна большого кабинета. Залкинд сидел за длинным столом для заседаний, приставленным к письменному столу. Он молча указал Алексею место возле себя.

— Зовите, кто там следующий, — сказал Батманов секретарю.

Вошел высокий человек с худым лицом:

— Инженер Филимонов, — скупно проронил он.

— Вы в каком отделе работаете? Почему пришли один, где остальные сотрудники? — спросил Батманов.

— Я ни в каком отделе, сам по себе. Должность называется — инженер по транспорту. Подчинен непосредственно главному инженеру.

Филимонов отвечал с видимой неохотой.

— Где и когда окончили институт?

— В 1938 году, МИИТ.

— Прямо из института на Дальний Восток?

— Да. Работал на строительстве дорог в качестве инженера-механика.

— Откуда родом?

— Из Донецкого бассейна. — Филимонов усмехнулся: — Все эти сведения имеются в анкетах отдела кадров.

— Вам неприятно отвечать? — живо отозвался Василий Максимович. — Пока я задавал вам предварительные вопросы, не обидные ни по форме, ни по существу. Дальше я хотел бы задать вам обидные вопросы. Кое о чем мне нужно договориться с вами с самого начала. Сидоренко передал мне вашу просьбу, но я не намерен отпускать вас на запад. Будем продолжать разговор?

Филимонов пожал плечами. Батманов бросил быстрый взгляд на Ковшова — тот сидел, склонившись над столом.

— Вы сказали: должность называется «инженер по транспорту». У вас есть другая точка зрения на эту должность? Ответьте мне на такой неделикатный вопрос: чем вы занимались на строительстве с начала войны?

У Батманова была манера вести беседу, не отрывая пристального взгляда от лица собеседника. Он не имел обычной для многих начальников нелепой привычки разговаривать с людьми рассеянно, копаясь в бумагах.

— Трудно ответить на ваш вопрос, — сказал Филимонов. — Надо либо сказать два-три слова, для отговорки, либо сказать многое.

— Дело ваше. Отвечайте по своему разумению. Не буду скрывать, меня больше устроит, если скажете многое.

Филимонов, помолчав, высказался откровенно и резко, без оговорок и всяких попыток оправдываться. Начальник внимательно слушал, подперев голову рукой. На столе дважды прозвенел телефон, начальник не поднял трубки.

Батманов мало сидел за письменным столом. Чаще он расхаживал по кабинету либо пристраивался где-нибудь сбоку. Видимо, огромный стол с тяжелым мраморным чернильным прибором, изображавшим группу львов, рассыпавшихся по скалам, мешал ему. Сейчас он поднялся с кресла и пересел ближе к Залкинду и Ковшову.

— Я сделаю вывод из ваших слов, хорошо? — спросил Василий Максимович у Филимонова и, после паузы, продолжал, чуть меняя голос: — «Я недоволен своей работой на строительстве. Во время войны хочется работать больше и лучше. Но я не знаю, стоит ли заниматься нашим строительством? Здесь с первых дней войны ждали команды о его консервации, ждал и я. Существует я здесь по инерции, вместе со всеми. Моя несостоятельность есть часть несостоятельности коллектива. Я честно просился отпустить меня на фронт и прошусь сейчас». Всё?

— Пожалуй, всё, — согласился Филимонов. Он побледнел, разговор взволновал его. — Если я рассудил неправильно, то мне все-таки не ясно: где начинается моя ошибка и где ее конец?

— Я вам помогу найти начало и конец ошибки, — пообещал Батманов. — Не на словах. Вести разговор на отвлеченные темы больше не будем.

— Вы оставляете меня на строительстве, так вас надо понимать? — решил Филимонов. — Что я должен делать?

Начальник поднялся, встал и Филимонов. Василий Максимович прошелся до окна и обратно. Зеленая ковровая дорожка скрадывала звуки его шагов.

— Предполагаю изменить кое-что в структуре управления, в частности — организовать новый большой отдел: автомобильно-механический. Как вы считаете?

— Правильное решение, безусловно, — сразу согласился Филимонов. Батманов и Залкинд переглянулись.

— Мне передавали, что вы одно время настаивали на создании такого отдела.

— Настаивал. Нефтепровод нельзя построить, не пробив сначала дорогу в тайге и не наладив транспорта. Прежде чем сваривать трубы, их надо развезти по трассе и растянуть в нитку. У нас много автомашин и механизмов, но они беспризорны. Так называемый инженер по транспорту в единственном числе мог справиться лишь со статистикой и отчетностью. Мне не удалось доказать руководству элементарных вещей.

— Почему? — поинтересовался Залкинд.

Филимонов смутился:

— Мое предложение расценили, как попытку создать отдел для себя и продвинуться по должности. Начальник строительства мне сказал: «Я повышу вам оклад без увеличения штата, зачем без толку плодить отделы?».

— Придется вам создавать отдел и руководить им. Нельзя оставлять автомобильный транспорт и механизмы без хозяина, — сказал Батманов. — Я решил назначить вас начальником нового отдела.

Филимонов переменялся в лице, продольные морщины на его щеках и у рта обозначились резче.

— Я ничем хорошим себя не проявил. Хватит ли у меня пороху, не подведу ли? Дело большое, лучше мне быть рядовым работником в отделе.

Василий Максимович обошел длинный стол и приблизился к инженеру вплотную.

— В анкетах отдела кадров, к которым вы меня отсылали, говорится, что вы руководили автотранспортной конторой. Есть там и другое: вам пришлось заниматься механизацией на одном из строительствах.

Инженер сделал движение рукой, но Батманов предупредил его возражение:

— Хотите сказать: здесь в сто раз крупнее масштаб? Человек и должен идти от меньшего к большему. Скажу не таясь: спрашивать буду с вас здорово. Зато предоставляется возможность наверстать упущенное.

— Я подумаю, — сказал Филимонов.

Батманов негромко рассмеялся. Улыбка красила его, строгое лицо Василия Максимовича сразу менялось, становилось каким-то домашним.

— Не поняли меня, товарищ. К вопросу о вашем назначении я не собираюсь возвращаться. Вам думать об этом нечего: считайте себя назначенным. Думайте теперь о том, как бы побыстрее собрать вокруг себя отдел.

Филимонов посмотрел на Батманова, на Залкинда, на Ковшова — они выжидательно следили за ним — и сказал добродушно:

— Поворот на сто восемьдесят градусов!.. От жены попадет теперь! Она уже успела распродать кур и кухонную утварь.

Все засмеялись. Филимонов ушел, сосредоточенный и серьезный.

В кабинет звонили по междугородному телефону. Батманов подошел к аппарату. Прислушавшись к его репликам, Залкинд сказал:

— Звонят из Рубежанска. Либо из крайкома партии, либо уполномоченный Государственного Комитета Оборона.

Батманову пришлось кричать в трубку. Это давалось ему с напряжением, голос на высоких нотах спадал.

— Ему на выборах в Верховный Совет республики пришлось много выступать перед избирателями, — сказал Залкинд. — На городской площади говорил, в вагоноремонтном заводе тоже, на строительстве моста, на рыбалке. Сильный мороз был — сорвал начальник голос.

— Зачем вам приезжать сюда? Разберусь сам! — кричал Батманов. — Приемка идет к концу. Чем скорее он уедет, тем лучше. Я говорю, тем лучше, если он уедет поскорее. Стесняет он меня, не могу же я затевать с ним мышиную возню по пустыкам! Он ждет указания из Москвы. Ждет, говорю, указания — куда ехать. Есть указание? Прошу тогда телеграфировать в его адрес.

Телефонный разговор затягивался. Покраснев от усилий говорить громче, Батманов сообщал об отгрузках материалов и продовольствия на участки. При этом он нетерпеливо постукивал обручальным кольцом по настольному стеклу.

Ковшов, придирчиво присматривавшийся к нему, давно уже заметил это кольцо.

— Вам не кажется странным сей устаревший символ брака у коммуниста Батманова? — спросил он Залкинда. — Неужели начальник обвенчался в церкви?

— У него это кольцо не связано с церковным обрядом. Ему много приходилось жить врозь с женой, часто расставаться, и однажды они условились носить кольца. Батманов шутит, что это помогает им думать друг о друге. Шутит и не снимает.

— Семья у него была в Крыму, кажется, — вспомнил Алексей. — А где они сейчас? Крым отрезан...

— От Анны Ивановны нет никаких известий. Батманову никак не удастся выяснить — выехали они или остались. Надежда на то, что Анна Ивановна женщина энергичная и сумеет выбраться.

Алексей с невольной симпатией взглянул на Батманова.

— Как вам понравился Филимонов? — спросил Залкинд.

— Он сразу окажется на своем месте, и никто не услышит от него ни слова жалобы, — убежденно ответил Ковшов. — Таких, однако, мало в аппарате. Тут больше зубры, вроде Грубского или начальника снабжения Либермана. Зря Батманов возится с ними. — Мрачновато хмурясь, Алексей пошутил: — Связать бы их одной веревкой — и в Адун, что ли. Пусть станет меньше народу, зато воздух очистится.

— Утопить в Адуне? — спросил Залкинд. — Расточительно!

— Во время войны отношения между людьми обнажились. Человек сейчас, когда от него требуется все, что он может дать, проявляется в своем настоящем виде, — сказал Алексей. — Сейчас строже надо подходить к людям. Признаюсь, не все меня радует здесь. Есть мелкие люди. Прожили в стране социализма четверть века, а социалистического в них что-то маловато. Не вижу ничего социалистического в Либермане. Или — Топлев. Я обрадовался, когда узнал, что он работает здесь. Крупный инженер, нам в институте в пример его приводили. А на деле, смотрю — явный саботажник. Без толку прожил старик среди нас столько лет.

Залкинда удивили слова инженера. Он перестал прислушиваться к телефонному разговору Батманова и внимательно посмотрел на Алексея.

— Всё свалили в кучу без разбора! Придется теперь сортировать. — Залкинд глубоко затынулся и выпустил облако дыма. — Человек сейчас проявляется резче, это верно. Происходит, скажем, эвакуация города. И какой-нибудь коммунист и начальник, вернее человек, считавшийся коммунистом и начальником, удирает из города первым, набив персональную машину разной мелкой собственностью, тогда как под бомбежкой остались женщины и дети. Такой человек не коммунист и не начальник, он хуже врага. Ему удалось приспособиться, двадцать пять лет он прятал свое подлое нутро и обнаружил его лишь в критический момент, когда его охватил страх за собственную шкуру. Такие всплывают на поверхность, как навоз. Тут нечего толковать долго. К ним можно отнести слова Данте: «Они не стоят слов, взгляни, плюнь — и мимо». Оговариваюсь — «плюнь» добавлено мною для усиления.. И у нас здесь нашлись люди, в том числе начальники и коммунисты, которые, предвидя трудности, принялись запасать продукты на год и больше. Точка зрения на таких — тоже определенная. Однако могут быть обстоятельства и поступки иного рода. Они куда посложнее. Я почти не знаю Либермана, Тополева и других людей управления. Тем не менее, чувствую: ваше мнение о них несправедливо и в дальнейшем изменится, когда коллектив наш окрепнет и все станут на свои места. Порой мы судим людей по случайным частностям или по настроению.

Залкинд несколько раз подряд затынулся. Курил он жадно и много. Алексей рукой разгонял дым.

— Ваши слова направлены против вас самих. Не замечаете? — продолжал парторг. — Скажите не обижаясь: разве нельзя по вашему поведению на стройке составить о вас отрицательное мнение? Вы ведь коммунист и поставлены не на маленькую должность.

Ковшов опустил голову и глухо пробормотал.

— Теперь вы меня при каждом удобном случае будете бить в лицо кулаком, завернутым в мой рапорт. Неужели трудно понять мою просьбу правильно?

— Поняли вас правильно, во всяком случае — мы с Беридзе. Наверное, и Батманов понял правильно. Бить вас кулаком я не собирался, просто привел ваш собственный пример для большей убедительности. Не годится судить человека поспешно, не узнав его толком. Вы, видимо, неплохой молодой человек и умеете работать. И все-таки обязательно найдется другой молодой человек, которому вы не понравитесь. Он составит о вас ложное представление и будет ругать самым решительным образом. Не каждому дано право судить другого.

— Мне не дано право судить? — поднял голову Ковшов.

Залкинд погрозил ему пальцем:

— Не запутывайте вопроса. Скажу одно: вы упомянули о строгом отношении к человеку. Мы вправе отнестись к вам строже, чем, скажем, к Тополеву или Либерману. Вправе или нет?

— Вправе, — согласился Ковшов.

— Ох и сложная конструкция — человек! — Залкинд сказал это без всякого огорчения, наоборот, с удовольствием. — Я себя ругаю за то, что раньше недооценивал этой сложности. Честно признаюсь, иных людей знал по анкетам, по выступлениям на совещаниях или по торопливым встречам в цехе, в кабинете, на строительной площадке. Отрывочные впечатления казались достаточными для энергичных и вполне определенных оценок: хороший человек, честный, проверенный, соответствующий назначению, или, наоборот, плохой, нечестный, несоответствующий. В душу-то человека трудно вонзить. Нет-нет да и по-

жалеешь, что на разные собрания и шумные массовые дела уходило столько времени.

На дворе под окном тарактела машина. Шум мешал Батманову, он досадливо поглядывал на окна и хрипло перекрикивал в трубку по два-три раза каждую фразу.

— Каждому ясно: для громадного большинства людей, живущих в нашей стране, четверть века не прошла даром, — тихо продолжал Залкинд, склонившись к Ковшову, чтобы не помешать Батманову. — Нет сомнений, духовная сущность народа небывало обогатилась. Это видно по отношению любого из граждан к войне. Все рвутся на фронт! И даже в том случае, когда человек неправ — он неправ по-хорошему. Не понимая, что неправ, он хочет добра родине, а не себе. Смешно даже сравнивать советских людей с людьми капиталистического мира, не так ли?

— Верно, — подтвердил Ковшов.

— Значит, не следует делать большие глаза, когда видишь недостатки в людях. Что говорить, и самые хорошие наши люди далеки от совершенства. Родимые пятна капитализма — они не отмываются водой. Нас с вами учили: человек окончательно освободится от груза прошлого при коммунизме. Вы изобрели новый способ: топить родимые пятна капитализма в Адуне. Способ ускоренный, но явно неподходящий. С родимыми пятнами могут утонуть и люди.

Залкинд засмеялся, придерживая смешок ладонью. Батманов, оторвавшись наконец от аппарата, утирал лицо платком. Он спросил с любопытством:

— Что вы там шепчетесь и хихикаете?

— Мы говорили о Филимонове и вообще о здешнем народе, — сказал Залкинд.

— Да, тут много стоящих людей — коллектив соберется хороший, — убежденно сказал начальник строительства.

Залкинд молча посмотрел на Алексея.

— Следующий разговор — с Роговым, — взглянув на лежавший перед ним список, проговорил Батманов. — Он давеча позвонил мне и потребовал немедленно отпустить его со строительства. Так и заявил по телефону: «Требую».

Рогов, начальник административно-хозяйственного отдела управления, зайдя к Батманову, сразу напал на него.

— Почему вы приказали не выдавать мне увольнительных документов? Начальник строительства Сидоренко отпустил меня. Как долго можно мучить человека? — Он говорил громким хриловатым голосом, почти кричал. — Поймите, мне надоело заниматься квартирным ремонтом, дровами, уборщицами и пишущими машинками. Инвалидов поставьте на такую работу! С первого дня войны я прошу, требую направить меня в военкомат. Поеду на фронт, буду воевать, почувствую себя человеком. Ведь стыдно же, чёрт возьми, ходить здесь с сытым брюхом и выполнять прохладные служебные обязанности. У меня отличное здоровье, я могу быть строевым командиром. Прошу не чинить препятствий, если это от вас зависит.

Рогов выпалил все разом, без передышки. Слушая его, Батманов следил то за ним, то за Ковшовым. На Алексея Рогов произвел сильное впечатление, бледные щеки инженера порозовели, губы шевелились. Василий Максимович подумал о нем: «Прозрачный парень, проглядывается насквозь».

Рогов понравился Батманову. Мысленно начальник уже решил его судьбу: «Такой дядя может горы свернуть. Ему дать самый трудный

участок и самостоятельность. Сидоренко ошибся, сунув его в канцелярию. В аппарате он, что слон в посудной лавке». По взгляду Залкинда Батманов понял: мнения их о Рогове совпали.

— Всё? — спросил Василий Максимович, когда Рогов умолк на полуфразе. — Теперь я скажу. Действительно, от меня зависит: отпустить вас или нет. Я вас не отпускаю.

— Почему? — с раздражением спросил Рогов.

Этому широкоплечему, точно из железа сделанному человеку трудно было сдерживать силу. От резкого движения рукой гимнастерка его, будто наклеенная на тело, натянулась и затрещала.

— Вы нужны здесь.

— Как быстро решаете! Неужели вам всё видно с вашей... — он недоговорил и махнул рукой.

— Колокольни? — договорил за него Батманов. — Да, мне далеко видно с моей колокольни. Мне доверено распоряжаться людьми на строительстве. А с какой колокольни смотрите вы? Кто вам дал право распоряжаться вашей работой во время войны?

— Неужели я не могу распоряжаться собой! — воскликнул Рогов. — У меня законное стремление, я хочу помочь родине в трудный для нее час!

— Не такая помощь нужна родине, какую предлагаете вы. Сейчас для нас важны порядок, стальная организация в тылу. Если каждый будет сам себе велосипед — мы пропали. Как вы полагаете: я хочу или не хочу помочь родине в трудный для нее час? Мне очень не терпелось ехать сюда — в сторону, противоположную фронту? Или вы считаете себя единственным порядочным человеком в тылу?

— Не могу работать в тылу, мучаюсь только! Мне надо собственными руками вцепиться в немца. Настаиваю — отпустите!

— Не отпущу. Настаивать не советую. Могу обещать вам самый трудный и важный участок на трассе. Будет тяжело, очень тяжело. Не легче, чем нашим товарищам в бою. И вся ваша сила уйдет в дело, без остатка, даже нехватит ее, пожалуй. Еще одно обещание: если здесь, на Дальнем Востоке, начнется война, в первый же день отпущу вас в армию.

— Неправильно делаете вы! — сопротивлялся Рогов.

Батманов досадливо поморщился:

— Только ради первой встречи разрешаю вам вести со мной разговор в этом бесшабашном кавалерийском стиле. Учтите на будущее: поменьше восклицательных знаков.

Начальник прошелся по ковровой дорожке:

— Предположим, товарищ Сталин сказал бы вам: «Нам нужен нефтепровод, давайте его скорее». Вы и ему крикнули бы: «Неправильно?»

Рогов не ответил, но лицо его отразило смятение. Ковшов — взволнованный, будто не Рогов, а он сам вел этот спор, — поднял глаза на начальника, и кровь хлынула ему в лицо: Василий Максимович в упор смотрел не на Рогова, а на него, Алексея.

Во время отчаянных наскоков Рогова и суровых отповедей Батманова Алексей едва сдерживался, чтобы не вступить за Рогова, а кстати и за себя. Он был убежден, что начальник не сможет противиться благородному порыву человека. Горячая речь готова была сорваться с губ. И не сорвалась. Растаяла под взглядом Батманова, проникшим в самую душу.

— Верховный Главнокомандующий не может указать место в бою каждому человеку персонально, — продолжал Василий Максимович, пе-

реводя взгляд с Рогова на Ковшова. — У него миллионы солдат. Он распоряжается ими через организации, через нас, руководителей на отдельных участках. Он подписал приказ о моем назначении и этим дал мне право распоряжаться вами.

Во дворе завывала сирена. Рогов забеспокоился.

— Надо мне бежать — тревога. Прошу вас, товарищ начальник строительства, дайте мне такую работу, чтобы кости трещали! В голову лезет всякая чертовщина, места себе не нахожу. У меня родители и сестренка под немцем остались, местечко наше оккупировано. Чувствую себя подлецом без настоящего дела.

Василий Максимович в знак согласия кивнул головой — и Рогов выбежал. Начальник посмотрел в окно: люди на улице разбежались врассыпную, во дворе, возле управления, выстраивалась команда МПВО, в стороне девушка, торопясь, с трудом натягивала на себя зеленый прорезиненный комбинезон. Над березовой рощицей низко промчалась тройка самолетов.

— А что делать с этим горячим молодым человеком? — повернулся Батманов к Залкинду. — Пожалуй, отпустим его, чтобы не скулил?

Он не смотрел на Ковшова. Алексей шагнул к нему:

— Прошу вас вернуть мне мой рапорт.

— Подходящий деловой разговор! — одобрил Залкинд. — Придется мне переводить его из врагов в друзья.

Батманов взял со стола рапорт Алексея, посмотрел на него и, посмеявшись, сунул в сейф:

— Значит, я оказываюсь самым злопамятным. Рапорт не отдам. У меня привычка: коллекционировать любопытные бумажки. Рапорт попадет в эту коллекцию. Выберу момент, когда автору будет особенно неудобно признать свое художественное произведение — тогда уж вытащу его из коллекции и верну.

Отпустив Алексея, Батманов и Залкинд разговорились о нем, о Рогове, о других людях, которых они узнали в эти дни.

— Рвутся в бой, не удержишь, — задумчиво проговорил Батманов. — Война быстро завершит их воспитание. Теперь понятие борьбы за родину и за коммунизм стало для них конкретным, как никогда. Поняли ребята, чего стоит она, светлая жизнь на советской земле, — поняли, когда немец покусился на нее. Беспокоятся только об одном: как бы не остаться в стороне! Смотрю на Рогова, на Ковшова — ругать надо, поколотить для порядка, а хочется руки пожать и благословить: «Идите в строй, бейте немца!» Благородных людей вырастила советская власть, Михаил Борисович, слава ей!

Они стояли у карты. Черные флажки, изображавшие расположение неприятельских войск, придвинулись совсем близко к Москве.

— Передвинь флажок, Василий Максимович. Орел вчера оставлен...

Оба помолчали, не в силах отвести взора от карты — этого отвлеченного изображения бедствий, постигших родину.

Глава пятая

Наследство принято

Дошла очередь и до Грубского с Тополевым. Батманов посвятил им целый вечер. Доклад бывшего главного инженера длился три часа. Он сидел, выпрямив спину, почти не шевелился и говорил, говорил ровным голосом, облизывая языком пересыхавшие тонкие губы.

Батманов слушал в излюбленной позе, подперев голову рукой, не отвлекаясь и не перебивая. Папироса у него гасла, он ее зажигал. Серые внимательные глаза начальника неотступно следили за докладчиком — за его кадыком, сновавшим вверх и вниз по горлу, за выражением узкого лица с острым птичьим носом.

Тополев — высокий костлявый старик с серо-зеленоватыми усами — за весь вечер не проронил ни слова. Большие вздутые веки наплывали на строгие бесцветные глаза. Казалось, он дремлет. Изредка старик оживлялся: доставал из кармана красный платок и с трубным звуком сморкался, затем брал из серебряной табакерки большую понюшку зеленого табаку и с шумом втягивал ее широкими ноздрями. Василий Максимович искоса с интересом наблюдал за этой процедурой.

Грубский устал и еле ворочал языком, но Батманов его не перебивал. Наконец инженер выговорился до конца. В нескольких словах начальник строительства сделал вывод из длинного доклада:

— Таким образом, у вас получается: первое — новый срок окончания строительства невыполним; второе — принятый проект нефтепровода является наилучшим из возможных, так как другие варианты отпали в ходе изысканий. Таков ваш окончательный вывод?

— Именно, — согласился Грубский. — Считаю долгом еще раз..

Батманов впервые оборвал его:

— Еще раз не надо. Я уже слышал и читал ваши предупреждения и вполне понял вас. А вы, товарищ Тополев, ничего мне не скажете?

Старик поднялся, сунула плечи:

— Петр Ефимович Грубский доложил вам обстоятельно и складно, у меня складнее не получится. Вместе с ним трассу искали, вместе трудились над проектом, вместе и доклад писали. Добавить нечего.

Батманов вызвал Беридзе и Ковшова и объявил, обращаясь сразу ко всем:

— У нас не осталось больше времени для рассуждений о нереальности срока строительства и тому подобных предметах из области отвлеченной теории. Задача — уложить нефтепровод в срок, установленный правительством. До начала практических действий необходимо создать план технических решений, согласных, а не противоречащих нашей цели. Следовательно, переделка существующего проекта неизбежна.

Инженеры стояли попарно: Беридзе и Ковшов, Грубский и Тополев. Начальник встал между ними. Руки он держал в карманах и говорил без жестов.

— Вероятно, создание проекта относится к творческому процессу и не может быть ограничено сроком или какими-нибудь жесткими условиями. — Фраза, хотя и произнесенная серьезно, звучала иронически. — Поэтому я не определяю ни сроков, ни условий. Хочу только предупредить вас. Сейчас — время подготовки. И пока я готовлю людей, направляю на участки материальные средства, перестраиваю аппарат — вы можете стоять в стороне, ничего с вас не спросится. Но едва подготовительная работа закончится — вы станете во главе строителей.

— Другими словами, от нас к тому времени потребуются новый проект, — уточнил Беридзе.

— Совершенно точно, — спокойно подтвердил Батманов.

Ковшов рассмеялся. У Батманова задрожал уголок рта: смех Алексея был заразителен.

Лицо Грубского выражало недоумение и досаду. Василий Максимович заметил это.

— Вы, вижу, удивлены: как это так — целый вечер растолковывал человеку, что и к чему, а он ни лешего не понял. Но ведь и вы меня не

понимаете. Я не могу вместо нефтепровода подать правительству еще одну докладную записку.

Батманов приблизился вплотную к Грубскому и Тополеву.

— Не приходится рассчитывать на то, что вы сразу сумеете уйти из-под влияния своего проекта. Инерцию привычки преодолеть не легко. Тяжесть труда и ответственность за переделку проекта ляжет, видимо, на плечи Беридзе и Ковшова. От вас же нужна помощь — товарищеская, добросовестная, от чистого сердца. Сегодня вы носители инженерского значения на строительстве, вас из песни не выкинешь. И я прошу вас не поддаваться ложным и недостойным настроениям мелких обид и ущемленных самолюбий. Завтра мы подписываем акт сдачи-приемки, и завтра все становится на свои места. Вы, товарищ Грубский, назначаетесь моим референтом по техническим вопросам. Товарищ Тополев переводится в аппарат главного инженера.

— Я выясню у товарища Сидоренко. Он мне не давал команды. Насколько мне известно, у него были другие планы, — сказал Грубский.

Батманов посмотрел на него с иронией:

— Конечно, есть смысл выяснить. Только позаботьтесь, чтобы от выяснения не затемнилось то, что вы услышали здесь от меня...

Особый интерес в Батманове вызвал начальник снабжения Либерман. Этот громоздкий, толстый и вместе с тем поворотливый человек оказался в числе тех, кто почти открыто выказал недоброжелательное отношение к новым руководителям стройки.

Он заявлял на каждом перекрестке, что уедет со старым начальником, а пока устроит приездим «скучную жизнь». И в самом деле, приездим, особенно Беридзе и Ковшов, скоро почувствовали в разных бытовых неустройствах руку снабженца. В столовой обед им готовили из одних овощей и круп и подавали в холодном виде. Новый главный инженер и его заместитель подчас недоедали. Ковшов пошел на базар, но там, кроме картофеля и крупных желтых огурцов, ничем не торговали. Во второй раз он случайно купил по дорогой цене большую свежую кету, и три дня инженеры подкреплялись ее суховатым мясом, зажаренным, по просьбе Алексея, женой Гречкина.

Снабженец похвалялся перед всеми, как он заставил приезжих инженеров ходить на базар. Беридзе сделал ему замечание по поводу плохих обедов и непорядков в столовой. Снабженец изобразил крайнее удивление на своем просторном веснушчатом лице.

— Маменька родная! Откуда вы приехали? Сейчас военное время, разве можно предъявлять такие требования? Мы же не гостиница «Москва», а дикий таежный уголок!

Батманов принял Либермана в присутствии старого начальника строительства. Снабженец остановился возле двери, сцепил большие руки на животе и уставился на начальство свинцовыми глазками.

— У меня заведено правило лично проверять исполнение моих принципиальных распоряжений, — сказал Василий Максимович Либерману. — И я заметил: со времени приезда я дал вам четыре важных поручения. Вы не доложили, что вами сделано, и, оказывается, просто не потрудились их выполнить. Почему?

— Извините меня, товарищ Батманов, недопонимаю я слабой своей головой: о чем именно идет речь? Сейчас мне, бедному, дают столько приказаний, столько само собой вылезает вопросов — удивительно ли, если кое-что упущено? Вы уж не взыщите.

Он поднял свинцовые глазки к небу и стал похож на хитрого и лицемерного монаха. Батманов резко отчеканил:

— Обязательно взыщу! Я говорю только о принципиальных заданиях, касающихся снабжения участков и сдачи-приемки. Представляю себе дело так: вы сознательно игнорируете меня.

Либерман эффектным жестом схватился за голову:

— Маменька родная! Я игнорирую? Упаси бог!

— Не хитрите, Либерман, не зывайте к богу, у вас нет никакого бога.. Ведете себя неправильно. С кем решили заводить интриги? Желаете померяться со мной силами? Я пока не касаюсь того, что вы организовали довольно свинский быт мне и главному инженеру. Это отдельный вопрос, и к нему я вернусь при удобном случае.

Батманов говорил спокойно и четко. Это спокойствие, отчетливая форма выговора смутили снабженца, привыкшего к шумной, но отходчивой брани Сидоренко.

— Распоряжался пока Яков Тарасович, — пробормотал снабженец, ссылаясь на старого начальника строительства, безмолвно стоявшего у окна. — Разве я не выполнил какое-либо ваше распоряжение, Яков Тарасович?

— Подтверждаю: Либерман — примерный, дисциплинированный работник, — не оборачиваясь, сказал Сидоренко.

Батманов засмеялся.

— Занятно! Исполнительный, дисциплинированный начальник снабжения не выполняет моих распоряжений; он не считает их для себя обязательными. Для него обязательны только твои, Яков Тарасович. А почему?

— Почему? — обернулся Сидоренко.

— Собака не глубоко зарыта: Либерман вместе с тобой сдает дела, но не принимает их вместе со мной. Поэтому он запутал меня с удовольствием и материалами, не дает мне сведений о ресурсах на участках, держит в папке наряды на нереализованные фонды. До сих пор я не знаю толком, что есть на трассе, чего там нет. Либерман собирается уезжать. И хотя он человек хитрый, здесь он просчитался.

— В чем? — заинтересованно спросил Сидоренко.

— Он не поедет с тобой, останется на строительстве.

Либерман заморгал рыжими ресницами.

— Я полагаю, мне дозволено забрать кое-кого из моих людей. Они давно работают со мной, привыкли ко мне. Они воспитаны мной, — сказал Сидоренко.

— За их воспитание — земной поклон.—Батманов склонил голову.— Кстати, каждый руководитель обязан воспитывать кадры. Однако у меня нет иного выхода. Зачем мне искать примерного, дисциплинированного, расторопного начальника снабжения, если налицо готовый — Либерман?

— Я прошу вас отпустить меня, — Либерман приложил руки к груди. — Я очень привязан к Якову Тарасовичу. Мой метод работы может вам не подойти.

— Вам придется привыкнуть ко мне, тогда ваш метод подойдет. Я обещаю проявить особую заботу о вашем методе, — холодно и насмешливо сказал Батманов.

Либерман поднял руки.

— Все-таки...

Батманов жестом остановил его:

— Не тратьте зря времени. Ступайте.

Новый и бывший начальники строительства стояли у окна. В воздухе кружился первый снег. Адун потемнел и вздулся. Ветер прижимал к воде грязные лохмотья туч. Смелый катерок, то появляясь, то снова исчезая среди пенистых валов, торопился пересечь взволнованное и широкое пространство реки.

— Тебе надо уезжать немедленно. Не тяни больше, — тихо проговорил Батманов. — Хорошо бы сегодня подписать акт.

— Гонишь? Мешаю?

— Гоню. Мешаешь. Здорово мешаешь, Яков Тарасович, — признался Василий Максимович.

Помолчали. Батманов размеренно шагал по кабинету, синий табачный дым стлался за ним. Сидоренко с неприязнью искоса на него поглядывал.

— Нам с тобой вряд ли нужны деликатно-сентиментальные недомолвки и всякие неискренние словеса. Люди мы деловые, и давай ради дела поступимся притворной вежливостью и ложным самолюбием. Бесполезно снова толковать на тему — почему я приехал и почему тебе надо уезжать. Так решили за нас. Тебе ехать на новое место, а мне — хозяйствовать здесь.

Василий Максимович подошел к Сидоренко. Ветер сотрясал стекла, они звенели. Густые хлопья снега и бурые листья метались за окном. Сопки на противоположном берегу реки исчезли в серой пелене, опустившейся на воду.

— Сам видишь: пока ты здесь, у меня связаны руки. Коллектив дал трещины. Люди бродят, как в лесу. Я прошелся давеча по управлению: люди сидят на ящиках и чемоданах, ждут второго звонка. Приходят с утра и, вместо работы, целый день прикидывают: какая жизнь предстоит им в Караганде. Не сомневаются, что ты повезешь их туда. Но ведь не будет второго звонка!.. Зачем ты путаешь людей? Ковшов вчера не утерпел и сказал: «Время идет. Долго еще будете на них посматривать?» Он прав: времени не удержишь. Непозволительно сейчас растрчивать его зря. Ты вот уедешь, так и не поверив в то, что мне, действительно, придется за один год построить нефтепровод. Ты не был на западе, Яков Тарасович, а тут пока не пахнет порохом. Наш нефтепровод — ты начал его строить, я закончу — он младший брат кавказского и необходим стране, как снаряды и танки.

— Ты меня коришь мирным настроением, будто я сам не хочу участвовать в войне, — с искренней обидой сказал Сидоренко.

— Хочешь, верю тебе. Но ты не видел плачущих женщин и мертвых детей на дороге.

— А ты что видел? Войне нет и четырех месяцев.

— Мне пришлось эвакуировать город на юге, оставлять немцам развалины и безлюдие. Нет более горького дела, чем выселять людей из их теплых жилищ. Или выдирать станки из гнезд, в которых они так весело кружились. Разве мало четырех месяцев, чтобы ожесточить сердце и волю? Мне пришлось строить прифронтовую железную дорогу. Пустячок — десятка три километров. Мы ее строили несколько раз: налетали бомбардировщики, по сотне каждый час — и всё начиналось сызнова... Разве не обязаны мы строить нефтепровод так, будто немецкие бомбы рвутся среди нас?

Сидоренко подошел к письменному столу — со дня приезда Батманова он не сидел за ним, — открыл ключом нижний ящик, достал старенькую книжечку и маузер.

— Эту книжечку я хочу подарить тебе, — мягко, почти растроганно сказал Сидоренко. — Перелистай на досуге, найдешь несколько слов о Сидоренко, не такой уж он никудышный человек. Это в знак друж-

бы, которая, чем судьба не шутит, может продолжиться.. Но не стоит отдавать сентиментам даже минуты. Закурим. — Они закурили. — Я хочу тебе сказать: делай все, что нужно. Командуй, не обращай на меня внимания. Во всем тебе подчиняюсь. У нас с тобой не все ладно сложилось — думаю, поймешь, что не по злобе или вражде, а так, по человеческому чувству. Люди мы, не шахматы из дерева. И обиды, и разочарования, и жалость к себе — все живет внутри. Трудно быть только деловым человеком.

Батманов листал книжечку — очерк о людях, построивших Турксиб; глаза его наполнились теплой грустью.

— Наш первенец. А вот ДнепрогЭС придется строить заново, — сказал Василий Максимович.

Яков Тарасович наблюдал за его руками, ласкавшими подарок, и вдруг сказал решительно:

— Давай сейчас же покончим со сдачей-приемкой. Вызывай начальников отделов. Я им скажу на прощанье пару холодных слов. Даже покричать могу на них, пусть на меня рассердятся напоследок. Тебе легче будет. — Сидоренко вздохнул и признался: — Не разумею, как ты здесь выкрутишься!..

Василий Максимович велел секретарю вызвать руководящих работников управления. Старый и новый начальники смотрели на входивших в кабинет людей. Подошел Грубский, отозвал Якова Тарасовича в сторону и принялся что-то шептать ему на ухо. Сидоренко рассерженно махнул рукой:

— Перестань.

Грубский взволнованно продолжал шептать, косясь на Батманова желтоватыми белками глаз.

— Что ты меня тревожишь! — взорвался Сидоренко. — Он здесь хозяин, не я.

— Приказ не подписан. И нельзя распоряжаться, не разобравшись, — не отступал Грубский.

— Еще раз тебе говорю: ко мне не след уже обращаться! — почти кричал Сидоренко.

На другой день бывший начальник строительства уехал. Он и отпущенные с ним сотрудники занимали целый вагон. Почти все управление провожало отъезжающих. Они озабоченно выслушивали советы, пожелания и шутки провожающих. Батманов, Залкинд и Беридзе нашли Сидоренко в крайнем купе. Он встретил их хмуро, все время удрученно молчал.

— Не тоскуй, Яков Тарасович! Приедешь на новое место — и сразу воспрянешь духом, — успокаивал его Залкинд.

Когда возвращались с вокзала, Беридзе заметил:

— Сидоренко напоминает командира, который удрал, оставив свое войско в окружении...

— Да, вот что я хотел сказать, — перебил Батманов. — Давайте не поминать больше Сидоренко плохим словом. Мы хозяева строительства, и не стоит поддаваться дешевому соблазну все сваливать на старое руководство. Тяжелое мол наследство, и так далее и тому подобное. Заведем честное правило: ни на кого не ссылаться — только на самих себя. Никого не винить — только самих себя. Будем считать так: это мы, сукины дети, довели дело до ручки.

— Очень подходящая установка! — одобрил Залкинд и с уважением поглядел на широко шагавшего рядом с ним начальника строительства.

Глава шестая

Зима пришла

В природе шла война двух времен года. Зима наступала, осень оборонялась. Для начала наступающая сторона производила разведки, посылая на короткое время морозы, колючие пронизывающие ветры и снежную завихуру. Кустарники и лиственницы оголились, травы со всем помертвели. Заводы и протоки сковало тонким и хрустким льдом, на Адуне возникли и ломались под напором воды ледяные забереги.

Внезапно началось решительное наступление зимы. Казалось, небо перемешалось на землю. Оно осыпалось сплошной белой массой, сквозь которую вблизи невозможно было различить человека. За сутки пласт снега в метр толщиной подмял под себя рыжую землю. Все вокруг побелело; заснежились сопки; жалкие травы и пни скрылись. Деревья стояли, отяжеленные снегом. Дороги исчезли — нельзя было проехать ни поездом, ни машиной, ни на лошадях.

Едва кончился снегопад, население Новинска вышло расчищать заваленные пути. Батманов заранее распорядился приготовить лопаты и в нужный момент вывести управленцев на расчистку железнодорожной ветки, ведущей к пристани, и дорог, прилегающих к поселку строительства. Руководство работой он возложил на Рогова, Беридзе и Ковшова, разделив между ними участки.

В этот день Василий Максимович встал, по обыкновению, очень рано. В ожидании рассвета он бродил по просторной квартире, поеживаясь от холода. Батманов ничего не менял в этом особняке, унаследованном от Сидоренко. Все нравилось ему — столовая, спальня, кабинет, детская; лишь бы приехали сюда Анна Ивановна и Костя. Не понравились ему только две большие картины, писанные маслом. На одной была изображена буря на море и гибнущий корабль, на другой — голая женщина, выходящая из воды. Василий Максимович, когда впервые вошел в дом, остановился возле картин и вслух подивился безвкусию местного художника и бывшего хозяина квартиры.

— Они, бедняги, никогда, наверное, не видели ни моря, ни красивых женщин, ни настоящей живописи. Эти «произведения» отсюда убрать, они меня не устраивают! — приказал он коменданту.

Жил Василий Максимович в кабинете, приезжая из управления на короткое время — отдохнуть. Прогуливаясь по темным комнатам, он, в который уже раз, подумал, что следовало бы заселить дом какой-нибудь большой семьей либо одиночками, вроде Беридзе и Ковшова. Но все в нем противилось этой мысли. Заселив дом, он как бы оставлял всякую надежду найти собственную семью. Во сне и на яву, все чаще и чаще вставала перед ним картина последнего расставания: Анна с Костей на дороге, держась за руки, смотрят ему вслед. Она стоит неподвижно, как бы закаменев, с очень, очень грустным лицом. Мальчишка что-то кричит ему и машет рукой...

Батманов провел рукой по глазам, отгоняя видение. В тишине послышался негромкий женский голос — это домработница Евдокия, хлопотливая, маленькая пожилая женщина, пела на кухне одну из своих нескончаемых песен.

— Как сегодня жизнь, Евдокия Семеновна? — спросил Василий Максимович, заходя на кухню.

— Да не хуже вчерашнего, — ответила она, улыбаясь. — Печи топила хорошо, через часок будет в нашей квартире тепло. Правда, вы в ней почти не живете. Завтрак уже готов, сейчас начну вас кормить...

За столом Батманов всегда сидел с книгой — эта привычка студенческих лет не нравилась Анне. Сейчас он положил рядом с тарелкой

раскрытый томик «Евгения Онегина». К пушкинским стихам он прибегал всякий раз, когда надо было обрести душевное равновесие.

Гений Пушкина заставлял его с живым сочувствием следить за судьбою людей, таких далеких и бесконечно чуждых ему. Они не знали, как притереть себя к жизни, как израсходовать силы и время. У них не было общего дела, и жизнь их замыкалась в кругу личного. И эта ужасающая праздность!

Батманов качал головой. Они транжирили жизнь, они не знали, что жизнь драгоценна.

«Неужели, — думал он, — не найдутся лет через пятьдесят или через сто люди, которые так же гениально опишут наши дни? Правнуки наши унаследуют коммунизм, построенный нами, и они должны понять нашу жизнь, полную беспрестанного действия и ответственности перед историей, бескорыстную, богатую в большом, хотя подчас и скудную в малом...»

Негромкий звонок вернул его к действительности.

— Василий Максимович, я вывел своих людей на пристань, занимаюсь расчисткой, — докладывал по телефону своим хрипловатым голосом Рогов. — Хотел у вас спросить: продолжать погрузку халок или прекратить? Очень густая идет шуга. Говорят, городской совет распорядился закрыть движение по реке.

— Никого не слушай. Пока Адун не остановился, будем грузить халки и отправлять. Успеем дотащить штуки четыре до ближайших участков. Я у тебя скоро буду.

Синяя мгла медленно таяла за окнами. Когда Залкинд зашел за Батмановым, уже совсем просветлело.

Михаил Борисович нашел начальника на террасе, обложенной снегом до цветных квадратиков, которыми терраса была застеклена. Красные, синие и желтые полосы ползли по лицу, кожаному пальто и белым буркам Батманова, стоявшего неподвижно, с руками, опущенными в глубокие карманы. Василий Максимович сосредоточенно обдумывал свой первый приказ по строительству.

— Там кучер ждет с лошадей, однако на санях не проехать, — сказал парторг, поздоровавшись.

— Попробуем, — отозвался Батманов. — Не проедем — пешком пойдем.

Они проехали не больше километра, пришлось вылезти из саней и брести в глубоком снегу. Люди, рассыпавшиеся повсюду, черным живым пунктиром обозначали направление дороги. Все с любопытством встречали начальника строительства и парторга.

— Подождали бы, вот наладим дорогу! — крикнул им шарообразный человек в телогрейке и ватных брюках.

Батманов узнал Гречкина. Вокруг него энергично орудовали лопатами работники его отдела, взметая в воздух серебристую пыль.

Часть железнодорожной ветки была уже расчищена. В траншее, пробитой в снегу, они увидели Беридзе. Раскрасневшийся главный инженер стоял у паровоза, пыхтевшего в ожидании отправки. Едва обнажились новые три-четыре десятка метров пути, паровоз, каждый раз с истошным ревом, догонял продвинувшихся в траншее людей.

В километре от них работал со своими бригадами Ковшов. Подойдя к сгрудившейся кучке управленцев, он расставил их в шахматном порядке по обе стороны полотна.

— Давайте меняться! Вы возьмете лопату, я начну командовать, — крикнула Алексею рослая девушка.

Инженер узнал в ней соседку по общежитию.

— Согласен, — сказал он и потянулся к ее лопате.

— Нет, я не умею командовать. Мне просто захотелось, чтобы вы обратили на меня внимание.

Алексей взял лопату и стал напротив девушки. Они отшвыривали легкий сыпучий снег в стороны и болтали.

— Вы простудитесь: разве можно так шутить с дальневосточным морозом?

Под распахнутой телогрейкой виднелась тонкая футболка. Пышные, в мелких завитках волосы выбились из берета и заиндевели.

— Я горячая, посмотрите. — Она спохватилась, смеясь: — Ой, я не в том смысле! Не боюсь мороза, я ведь здешняя, таежница.

Она обсыпала его снегом, будто невзначай, и посмотрела с любопытством — что он на это? Инженер даже и не отряхнулся, продолжая самым добросовестным образом взмахивать лопатой.

— Нельзя быть таким, — сказала она осуждающе.

— Каким?

— Только начальником, занятым делом. Вы стараетесь казаться пятидесятилетним — и у вас получается.

— Как сделать, чтобы помолодеть?

— Проявлять интерес к окружающим.

— Ко всем? Я и так проявляю, успел уже со всеми в управлении перезнакомиться.

— Служебный, одинаковый ко всем интерес. Не то.

— Что-то не пойму.

— Вы хотя бы поинтересовались узнать, как меня зовут.

— Представьте, поинтересовался. Женей зовут, Козловой. Мне Гречкин и вашу характеристику дал: не плохой экономист. И еще кое-что узнал про вас.

— Догадываюсь. Лизочка пожаловалась: мужа у нее отбиваю?

— Она зря не скажет.

— Ну уж! Кавалеров, правда, стало меньше, но Гречкин в кавалеры не годится.

— Бойтесь вы Лизочку-то?

— Не столько я боюсь, сколько он сам. Видите, куда он меня загнал чистить снег! Вдруг Лизочка узнает, что мы рядом снег чистили. Может, вы отважитесь подружиться с неплохим экономистом? — спросила она, помолчав.

— Что входит в ваше определение «подружиться»? — улыбнулся Алексей.

— Не избегать экономиста, при встрече не делать вид, что не заметили, ходить с экономистом на лыжах, раз в месяц приглашать экономиста в город — в театр или в кино.

— И всё?

— Всё. Что же еще?

Они оба рассмеялись. Невдалеке прошли Батманов и Залкинд. Алексей их не заметил. Они минуту наблюдали за ним со стороны.

— Видишь, приспособился парень — вроде и повеселел, — заметил Батманов.

— Нашел равновесие. Теперь на него только нагружай, повезет любой воз, — согласился Залкинд.

Парторг не ошибся. Ковшов действительно обрел относительное спокойствие духа, насколько это возможно было в непрерывной тревоге за судьбу Москвы. «Твоя воинская часть обороняет столицу здесь. Слушай приказ: ни шагу назад!» Эту формулу предложил Залкинд, и Алексей не мог ее не принять.

Во всем этом не малую роль сыграли письма, которые Ковшов получил, наконец, от родителей и тещи. Отец писал о товарищах — кто из них и где воюет или работает, о том, что сам он ночует на крыше дома, на посту, что мать три раза в сутки выходит с противогазом дежурить во двор. Приехать в Новинск старик наотрез отказался. По скучным письмам Алексея он распознал, что у сына неладно на душе, и сердито его пробирал: «Что ты все мечешься? Я и то понимаю своим стариковским разумением, что ваш нефтепровод — солдатское боевое дело...»

А теща коротко сообщала, что кто-то из третьих уст сказал ей: Зина жива и здорова, товарищи отзываются о ней с большой сердечностью, как о стойком и храбром бойце...

Батманов и Залкинд подошли к обрывистому берегу, пристань была вкату. Пришлось съезжать с обрыва в сидячем положении. Залкинд показал пример. Взметнув белое облако, он прорыл канаву в снегу. За ним, хохоча, последовал Батманов. Потемневший Адун продолжал сопротивляться сковывавшей его силе. Бесконечный черный водяной поток тащил на себе ледяную кашу, шурша ею о берег и причалы. Над рекой висел неумолчный глуховатый шум, будто сотни огромных шаровых мельниц перемалывали лед в своих барабанах.

На пристани стояли две баржи. На одну грузили продовольствие — мешки с мукой и крупами, бочки с растительным маслом и рыбой, на другую — лошадей, инструмент и технические материалы. Около сотни рабочих занимались расчисткой пакгаузов и площадок.

На сходнях Рогов спорил со старшиной катера. Тот отказывался буксировать баржу, погрузка которой заканчивалась.

— Слепой, что ли? Адун вот-вот остановится, пропадать мне тогда, — сердито рублил старшина.

— Сто раз успеешь, Полишук, не будь зайцем, — внушал Рогов.

— Трусит? — спросил, подходя, Батманов. — Нужно дело, товарищ. Не отправим сейчас баржи — потом кровью будем харкать.

— Ничего, поедет, — сказал Рогов.

Краснолицый Полишук взглянул на Батманова и, смолчав, развалисто пошел к катеру. Рогов повел Залкинда и Василия Максимовича в диспетчерскую — так назывался домик, прилепившийся у самой воды. В тесной комнатке было жарко от раскаленной железной печки.

Они не успели согреться, и Рогов только начал докладывать, что отгрузил за сутки на трех отправленных баржах, — как в домик ввалился человек и сразу стал рвать с себя одежду. Телогрейка, брюки, валенки, даже шапка его затвердели в коросте льда. Весь синий, он дрожал и отстукивал зубами.

— Халка «Тайфун» ... села на Песчаную косу, — выдавливал он из себя по слову. — Помогать надо... сварочные аппараты... аммонал... инструмент... Народу там... сто человек. Паника... Я на лодчонке... перевернулся... вплавь пришлось.

Рогов глянул на Батманова и ветром вылетел из диспетчерской. Подбежав к причалам, Василий Максимович увидел широкую спину Рогова в синем бушлате на катере, уже отчалившем от берега.

На барже Батманова обступили грузчики и команда буксира.

— Разгружать обратно будем, начальник? — спросил бригадир грузчиков.

— Зря заставляли нас буксировать-то. Хорошие люди в эту пору ремонтом флота занимаются, не гоняют катера во льдах.

Батманов узнал в говорившем краснолицего Полищука, с которым давеча спорил Рогов.

— Разгружать обратно не придется, и буксировать заставили не зря, — ответил им Батманов.

— Пропадает сейчас халка на Песчаной косе, на ней люди и ценности большие. Кто отвечать должен? — спросил Полищук.

— Халку с косы снимем, можешь не беспокоиться, я Рогова туда послал, он чёрта из болота вытащит.

Начальник поглядел на замерзших, невеселых людей, окружавших его.

— Паниковать не разрешаю! — крикнул он. — Ребятишки какие нашлись! На каждом шагу паникиды петь — слез не напасешься. Готовьтесь отплывать! — повернулся он к Полищуку.

— Права не имеете заставлять. Есть запрещение от горисполкома, — угрюмо возражал старшина.

— Имею право, парень. Не стоит проверять мои права, не о том говоришь. Сейчас я тебя и заставлять не буду, сам пойдешь. — Батманов сжимал и разжимал замерзшие пальцы в кожаных перчатках. — У нас на участках много людей, Адун станет — еще пошлем. А кормить их чем? Пока ледовую дорогу пробьем по Адуну, да подвезем продукты на лошадях или на машинах — время пройдет. И работать им надо. Но на участках нехватает инструментов, нет самых необходимых материалов. Голыми руками не наработаешь. И лошади нужны — на себе дров из лесу не натаскаешь. По-твоему выходит: наплевать на людей, пусть подыхают с голоду, таскают дрова из лесу на себе, пусть не работают?

— Я не говорю: наплевать на людей, — сказал Полищук.

— Стало быть, ты хочешь, чтобы я их оттуда вывел? Сообрази-ка, могу я сейчас выводить людей из тайги и терять время, когда его у меня в обрез? Они сейчас должны устроиваться на участках, готовиться к зимним работам, и с остановкой Адун — дорогу по льду делать. Или ты придумал какой-нибудь другой выход из положения?

Василий Максимович говорил наставительно и спокойно. Полищук рассердился:

— Смеешься надо мной, начальник! Ничего я не придумал. И объяснять мне тоже не надо: плавал я на участки, видел людей, разговаривал с ними. Они ни в коем случае не продержатся.

— Продержатся, если подгоним к ним эти две халки. — Василий Максимович оглядел людей и вдруг вспыхнул: — Бойтесь, что ли?

— Ничего нет удивительного, боимся, — признался кто-то в толпе. — И добро пропадет, и сами погибнем. Трудное дело заставляете делать, невозможное.

— Не знал я, что вам только легкие дела можно поручать, — сказал Батманов и подозвал из толпы того, кто ему возражал. — Как полагаете, нашим товарищам на фронте очень легкие дела поручают? Постыдились бы! — Он опять повернулся к Полищуку: — Отчаливайте, я поеду с вами за главного.

— Не подойдет, — помолчав, отказался Полищук. — Не годится начальнику строительства сопровождать каждую баржину. — Старшина натянул снятые в пылу разговора рукавицы, каждая размером с лопату, и надвинул шапку.

— Есть тут коммунисты среди вас? — крикнул Залкинд; он тоже поднялся на баржу с группой людей. — Коммунисты со мной поведут обе халки.

— Да что вы, в конце концов, Михаил Борисович! — жалобно закричал Полищук. — Я беспартийный, так меня из игры вон, что ли? А потом в городе глаз не покажешь: Залкинд вместо Полищука халки по Адуну водил! Сходи!

Старшина махнул рукой своей команде. Буксировщики вслед за старшиной, громко топоча ногами, сбежали по сходням.

Глава седьмая

Как они распределили обязанности

Начало стройки падало на зиму — в этом заключалась особенная трудность положения. По всем инженерным законам не рекомендовалось строить нефтепровод в зимних условиях. Во всяком случае, видные заграничные специалисты, к авторитету которых часто прибегал Грубский, считали это недопустимым. Батмановскому штабу ничего другого вроде бы не оставалось, как согласиться на длительное отсиживание в кабинетах, без боя уступить трассу ветрам да буранам.

Но это значило подписаться под докладной Грубского о нереальности правительственного срока. Из двенадцати месяцев, отпущенных на укладку нефтепровода, не менее семи занимала зима — как же можно было отказаться от них? Батманов и его помощники не собирались складывать оружия, и, следовательно, линия их поведения определялась сама собой: не отдавать зиме ни одного месяца, ни одной недели, ни единого дня — просто не обращать на нее внимания! Однако не так-то легко забыть о зиме. Едва начавшись, она уже принесла строителям полные руки хлопот.

Прошел первый снегопад — сколько их предстояло впереди! — и нормальная работа управления и участков нарушилась, пришлось заниматься исключительно расчисткой дорог. Нехитрое дело — отправка нескольких барж на участки — обернулось очень сложным. Рогов, бросившийся спасать баржу, застрявшую посредине Адуна, до сих пор не вернулся, — и толком не знали, где он сам и баржа с людьми. Живой почтой по реке дошло от него устное сообщение: «От косы оторвались, поехали дальше». Судьба последних двух барж, буксируемых Полищуком, также была пока неизвестна. Строители остались совсем без дорог к участкам: водный путь кончился, зимний — по льду надо было еще строить. Единственным средством связи с трассой был теперь самолет, но и он мог только сбросить почту на участках — место для посадки невозможно было найти.

Адун побелел сплошь, сравнялся по цвету с берегами. Пристально всмотревшись, можно было различить медленное перемещение ледяной поверхности, увлекаемой силой воды; закованная в броню, она все еще не покорилась.

То и дело посматривая на реку, Батманов диктовал свой первый приказ по строительству. В нем излагалась тактика борьбы с наступившей зимой: готовиться к длительным холодам, не теряя ни часу; запасать топливо, утеплять помещения, ремонтировать зимнюю одежду и обувь; строить на участках все необходимое для трудной жизни в тайге — бараки и землянки, пекарни и столовые, бани и прачечные; склады и клубы; с ледоставом на Адуне — расчищать ледовую дорогу по реке, и от нее — подходы к трассе; по ледовой дороге непрерывно развозить из складов на участках по всей линии продовольствие, трубы, оборудование, технические материалы.

К приказу прилагалась инструкция. Ее составляла комиссия из бывалых людей. Тут предусматривалось все, вплоть до мелочей: чем набивать матрацы, каким способом вести подледный лов рыбы на Адуне, как готовить и принимать хвойный раствор против цынги, как засыпать цоколя, утеплять тамбуры и сохранять тепло в бараках.

Самолетом отправили приказ на трассу. Одновременно Залкинд послал письмо о подготовке партийной конференции, назначенной на первые числа ноября. В последний момент, когда самолет уже готов был подняться в воздух, парторг решил лететь сам. Однако приземлиться нигде не удалось, и Залкинд вернулся, лишь прогулявшись по воздуху. Это его расстроило.

— Очень жалею, что вылазка моя не удалась, — сказал он вечером Батманову и Беридзе. — Хочется побыть сейчас вместе с людьми на трассе. Подумать только, что им приходится переносить!

Беридзе сочувствовал ему. Батманов, просматривавший поступившие приказы главка и наркомата, поднял голову и внимательно посмотрел на парторга.

— Твоя вылазка — это дань настроению, и я не жалею, что она не удалась, — сказал он. — Не сомневаюсь, если бы ты пожил на каком-нибудь участке дней пятнадцать — от этого была бы польза. Но ты парторг не одного, а двенадцати участков. Повторяю в сотый раз и буду твердить до тех пор, пока не поймете: самое главное сейчас для строительства — создать целеустремленный, крепкий, работоспособный штаб. Вот и нарком на примере провалившейся двести пятнадцатой стройки пишет о том же, — Батманов взял один из полученных приказов и подкинул его Залкинду. — Поддавшись настроению, мы с тобой чуть не уплыли на барже вместо Полищука. Хорошо, что у этого парня хватило ума удержать нас. А то осталось бы строительство без руководителей. Мне, думаешь, не хочется на трассу? Ну-ка, давайте поддадимся настроению и втроем махнем туда. Засядем на участке и будем хозяйствовать. Чего добьемся? Того, что превратимся из начальства всей стройки в начальство одного участка...

Оборвав эту саркастическую тираду, Василий Максимович положил приказ на место. Залкинд и Беридзе молчали. И Батманов уже добродушно посулил:

— Потерпите, придет время — вас просто-напросто перестанут пускать в управление, будете жить на трассе.

Парторг и главный инженер и сами понимали правоту слов Батманова. Заодно с ним они прилагали все усилия, чтобы наладить работу управления. И оно с каждым днем все больше походило на слаженно работающий штаб. В этом штабе Батманов, Залкинд, Беридзе представляли собой три центра, откуда, как от аккумуляторов, шла энергия к звеньям аппарата.

Как-то в разговоре, шутя, они распределили между собой обязанности:

— Моя работа черная: снег чистить, с Либерманом торговаться, людей кормить-одевать, дровишки заготавливать и тому подобное. Покончу с этой мелочью, отойду в сторонку и буду семечки шелкать да поглядывать, — сказал Василий Максимович.

— Мое дело и того проще... с людьми разговоры разговаривать, развлекать их понемножку, чтоб не скучали, — в тон ему отозвался Залкинд.

Беридзе обреченно похлопал себя по шее:

— Остальное, значит, взваливаю сюда, пропадай моя телега!

В «черной» работе Батманова много времени отнимало снабженческое хозяйство. По несколько раз в день он вызывал к себе Либермана, подстегивал его частыми телефонными звонками. Снабженец хватался за большую рыжую голову и шустро тащил к нему ведомости,

справки, сводки. Изучая цифры, Батманов доходил до истины. Его неприятно поразила сильная нехватка вещевого довольствия на участках.

— Вы встретили зиму в трусиках! — отчитывал он Либермана. — Для новых пополнений рабочей силы — она вот-вот начнет поступать — у вас нет ни теплой одежды, ни обуви. На трассе скоро стукнут морозы в сорок-пятьдесят градусов. Во что намерены одевать-обувать людей?

Либерман притащил толстое дело с надписью «Личная переписка» и показал десятка три рапортов, поданных бывшему начальнику строительства.

— Видите, я писал: одежды и обуви нехватает, останемся на зиму раздетые. Бывшее руководство все оставило без внимания.

— Вы лучше не кивайте на старое руководство. Зачем завели эту пухлую папку — на всякий случай обеспечиваетесь бумажками? Дрянное дело. Когда придется отвечать за грехи, не помогут и сто тонн исписанной бумаги. Чтобы у вас не создавалось напрасных иллюзий, я, пожалуй, припрячу ваши труды на память. — Батманов и в самом деле спрятал дело в сейф. — Со мной не рекомендую заниматься подобной личной перепиской, рискуете получить за каждый рапорт испорченное настроение на неделю. Отвечайте, однако: во что будете одевать-обувать людей?

— Маменька родная! Откуда же взять? На базаре не купишь, центр не присылает!.. Прошу вас подписать телеграмму в главк.

Телеграмма Либермана зывала о помощи: «Создалось катастрофическое положение обмундированием избежание раздетости разутости рабочих что грозит срывом строительства шлите телогрейки ватные брюки бушлаты полушубки валенки».

— Юморист вы, неудачный потомок Марка Твена, — Батманов порвал телеграмму. — Почему не читаете газет?

— Читаю... «Правду»... «Известия»... местную газету...

— Не читаете, неправда. Читающий газеты вряд ли сочинил бы телеграмму на манер вашей. Вот вам газета, взгляните, чему посвящена целая полоса. — Василий Максимович протянул снабженцу газетный лист.

— «Проведем сбор теплых вещей для воинов Красной Армии», — прочитал вслух Либерман.

— Залкинд организует сбор вещей среди сотрудников. Надо ему помочь. Выделите из новых полушубков, валенок и шапок половину для Красной Армии.

— Маменька родная! Как можно! — испугался снабженец. — У нас же самих нехватает. Вы только что сказали: люди раздеты.

— Не заставляйте меня повторять. Отдать! Вы меня сильно разочаровываете, Либерман. Показались вы мне сначала человеком с широким размахом, а на деле — кладовщик вы, скопидом, а не снабженец. Вся инициатива ваша уходит, видно, на сочинение бесполезных рапортов. У вас под носом залежи одежды и обуви, почему не интересуетесь?

— Где залежи? — повел носом Либерман.

— Я договорился с военными, они дают нам старое обмундирование — из него извольте шить зимнюю одежду нашим рабочим. Поезжайте в Рубежанск и отгружайте добро. И второе: налаживайте большую пошивочную мастерскую. Ищите помещение. Залкинд обещал привлечь домашних хозяек. Через неделю мастерская должна работать.

Батманов решил отделить бытовое снабжение от технического, слишком обширно было хозяйство у Либермана, от гвоздей до масла. Однако организация нового отдела по техническому снабжению задерживалась из-за того, что не было под рукою человека, способного его возглавить.

— Маменька родная, у нас совсем нет снабженцев, — причитал Либерман. — Инженеров много, техников и того больше, экономистов видимо-невидимо — снабженцев нет. У меня в отделе—либо дураки, либо жулики. Работать некому, все приходится делать самому. Но я далеко не Кай Юлий Цезарь.

В ответ на такую жалобу Батманов заметил:

— Вы напомнили мне старый анекдот. Один денщик проповедывал теорию вроде вашей: дескать, весь мир состоит из двух частей. Одна часть — достойнейшая — это их благородие поручик и он — денщик. Вторая часть — жулики, мерзавцы и дураки. Этот денщик ваш непосредственный идейный учитель.

Начальник нового отдела нашелся неожиданно, и к тому же среди работников, охаянных Либерманом.

Василий Максимович часто заходил в отделы, присматривался к людям. В поздний ночной час ему захотелось проверить, кто остался, кроме него, в управлении.

Почти во всех комнатах было уже темно и пусто, лишь в кабинетах Залкинда, Беридзе, Ковшова, Гречкина и Филимонова виднелся свет и слышались голоса. В отделе снабжения красивый краснощекий парень с кудрявыми волосами разговаривал по телефону, Василий Максимович еще из коридора услышал его голос. Разговор шел, что называется, крупный и, повидимому, с Либерманом, находившимся в ту пору в Рубежанске.

— Вы по природе своей актер, не снабженец! Я говорю, актер вы, вам нравится играть, притворяться, представлять собою личность бóльшую, чем вы есть на самом деле! — кричал парень в телефонную трубку. — Аплодисменты, которые достаются на долю вашего брата Лазаря Либермана, не дают вам покоя. Что? Не слышно? Вы такое слушать не любите! А у меня нет среди братьев артиста, и мне не надо шумной славы. Я говорю, мне не надо славы. Хотел бы остаться снабженцем. Меня вполне устраивает эта небольшая роль в истории! — Выслушав, что ответил ему Либерман, парень продолжал: — Я расстанусь с вами без слез и рыданий, пожалуйста! Даже выпью стопку водки на радостях! За меня не тревожьтесь, я устроюсь. Пойду к Батманову, он, говорят, всем находит работу... Да вы мне не грозите, я не маленький. Лучше одумайтесь сами — ваш Яков Тарасович уехал, не осталось покровителей вашего искусства!..

Заметив Батманова, стоявшего в дверях, парень вскочил и вытянулся, забыв про телефон.

— Кто вы такой? — спросил Батманов.

— Федосов, ответственный исполнитель по техническому снабжению.

— Почему я вас не знаю?

— Между вами и рядовыми работниками иногда стоят начальники отделов. Нас, снабженцев, не видно за фигурой Либермана. — Федосов отвечал, прямо глядя в глаза Батманову.

— Да, каркас у него здоровый, — согласился Василий Максимович. — В связи с чем упоминали вы меня в вашей энергичной беседе?

— Я собирался просить вас дать мне работу, не связанную с Либерманом. Надоели эти декорации: работаем плохо — выглядим хорошо,

не стараемся работать лучше — стараемся выглядеть блестяще. Обманываем вас бодрыми рапортами по военному образцу: «уже исполнено... уже изыскано... уже запрошено...» На самом деле все в беспорядке, ничего не сделано, ничто не исполнено. В снабжении нет плана. Участки вопят, мы их успокаиваем, врем на каждом шагу. Многие материалы нехватает, они, может быть, пока и не нужны, но скоро понадобятся, и тогда неизбежны задержки в строительстве. Необходимы чрезвычайные меры, мы же сочиняем бумажки на случай перестраховки...

Федосов высказался в один дух, как человек, у которого наболело на сердце. Телефонная трубка, брошенная им, урчала и шипела. Батманов взял ее и приложил к уху.

— Алло, Федосов, я вам запрещаю ходить к Батманову, — кричал Либерман на другом конце провода. — Маменька родная, зачем выносить сор из избы? Мы с вами поругались, мы и помиримся. Мало ли что бывает! Уверяю вас, нет никакого смысла портить со мной отношения, — голос Либермана звучал медоточиво.

— Либерман, — сказал в трубку Батманов. — Сору в вашей избе оказалось действительно изрядно, я зашел и сразу утонул в этом мусоре. Вы меня слышите? — Либерман не отозвался, должно быть опешил от неожиданного вмешательства начальника в телефонный разговор. — Выезжайте в Новинск, я вас здесь обрадую: нашелся на земном шаре еще один снабженец, кроме вас, причем не дурак и как будто не жулик. Этот ваш учитель-денщик запутал вас!..

Когда Либерман вернулся из Рубежанска, Батманов, не откладывая, произвел разделение снабженческого ведомства на две части. Вызвав к себе обоих снабженцев, Василий Максимович заново отрекомендовал Либерману Федосова:

— Познакомьтесь и давайте покопаемся в вашем мусоре.

Федосов подробно рассказал, как обеспечены участки. Он не допустил ни одного выпада против своего бывшего начальника, ни разу на него не сослался, однако все им сказанное как бы хлестало Либермана по лицу.

Многого нехватало на строительстве: труб, задвижек, муфт, сварочных аппаратов, электродов для сварки, подводного кабеля, жидкого стекла, битума и других материалов. Федосов держал перед собой пространные ведомости, и перечислению недостающих материалов не предвиделось конца. Каждое название в перечне Федосова имело свою запутанную историю. Трубы, задвижки, части оборудования насосных станций были связаны с заказами через Наркомвнешторг, и не приходилось рассчитывать на их быстрое получение. Некоторые материалы отгружались южными заводами в первые дни войны и пропали в пути. Теперь эти заводы либо перемещались на восток, либо, уже обосновавшись на новом месте, выпускали другую продукцию — для фронта.

Федосов в докладе старался представить картину во всей сложности, без утайки и прикрас. Самого снабженца интересовало, как отнесется начальник к его сообщениям. Он ждал бурной реакции. Но лицо Василия Максимовича выражало только внимание и напряженную работу мысли. Он был доволен тем, что располагал, наконец, ясностью в запутанном хозяйстве технического снабжения, которой ему нехватало. Он уже обдумывал первые безотлагательные меры.

Либерман, стоявший с видом человека, несправедливо обиженного судьбой и людьми, напрасно ждал громов и молний на свою голову и зря готовил длинную защитительную речь. Василий Максимович вызвал секретаря, продиктовал короткий приказ об организации нового отдела под руководством Федосова и здесь же подписал его.

— Еще один вопрос, товарищ начальник, — сказал Федосов. — У нас в снабжении общий баланс, одно финансовое хозяйство. Просьба разделить нас и в этом.

Предчувствуя, что на первых порах Либерман будет мешать Федосову, Батманов по телефону распорядился выделить новый отдел на самостоятельный баланс.

Главный бухгалтер возражал: нельзя выделять отдел сейчас, следует подождать завершения отчетного года. Вообще-то лучше воздержаться — мероприятие не в интересах бухгалтерского учета.

— Зато в интересах строительства. Когда вы запомните истину: ваша бухгалтерия существует для строительства, отнюдь не наоборот. Не хочу я ждать вашего отчета. И поменьше сердите меня страшным бухгалтерским учетом, а то возьмусь за него вне очереди и сделаю его совсем нестрашным. Идите, делитесь, — обратился Батманов к снабженцам. — И учтите: никаких интриг и каверз не затевать. Можете не любить друг друга, испытывать антипатии и прочие драматические чувства, но на работе обязаны помогать друг другу, дружить и если полезно для дела, то и целоваться. Не дай бог услышу, что вы предприняли мышиную возню!

Толстое широкое лицо Либермана с большим носом и тусклыми глазами выразило иронию и высокомерие. Это заставило Василия Максимова, отпустив Федосова, задержать Либермана.

— За сор, обнаруженный мною в вашей избе, полагалось бы вам крепко всыпать. Я воздержался, полагая, что вы сами сделаете нужные для себя выводы и оцените мою деликатность. Я ошибся, выводов не сделали, деликатность мою не оценили, это видно по вашему лицу. Смотрю я на вас и удивляюсь, что вы за человек, Либерман? Врагом вас считать нельзя. Но вы пока и не помощник. Все вывернуто у вас наизнанку. И не глупый вроде человек, а дури много. Вы подумайте о себе, иначе рискуете заплыть в такую даль, откуда не сумеете выплыть. Сейчас война.

— Отпустите меня лучше со строительства. Я не гожусь, разучился работать, — смиренно, однако неискренне сказал Либерман.

— Бросьте, Либерман, не устраивайте спектакля. Я люблю совсем не то, чем вы меня угощаете. Искренность и прямота нужны мне от вас. Будьте каждую минуту самим собой, не фальшивьте, подавайте все так, как есть на самом деле. Я категорически хочу обезопасить себя от нового сора в вашей избе. Она ведь отчасти и моя изба, не правда ли? Давайте лучше содержать ее в образцовой чистоте.

— Работаю день и ночь, стараюсь изо всех сил. Маменька родная! Я все не хорош...

— Извольте изменить метод работы. Помните, мы имели с вами разговор о методе? Жаль, приходится повторять. Предупреждаю — больше повторений не будет.

Батманов помолчал, выжидая ответа. Либерман стоял к нему в профиль.

— Вы читали мысли Льва Толстого, записанные его близкими?—неожиданно спросил начальник.

— Помнится, читал, — неуверенно и удивленно ответил Либерман.

— Напомню одно его высказывание. Именно вам есть смысл хранить его в памяти. Лев Николаевич сказал, что человек подобен дроби, где числитель — это то, что он действительно собой представляет, а знаменатель — то, что он о себе воображает. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь. Коли знаменатель — бесконечность, дробь равна нулю. Хорошее изречение, правда?

Либерман не отозвался. В склоненной его голове с рыжим бобрком и в толстой шее было что-то по-бычьему упрямое.

— Привыкайте смотреть в глаза, когда вам говорят неприятные, но справедливые вещи! — слегка повысил голос Батманов. — Вы рискуете, по формуле Толстого, обратиться в ноль. — Василий Максимович изобразил ноль пальцами. — Даю вам немного времени на размышления. Или мы договоримся, или я переведу вас самым младшим экспедитором к Федосову.

После этого объяснения начальник строительства на время оставил Либермана в покое. С тем большей энергией принялся Батманов налаживать хозяйство Федосова. Он лично познакомился с каждым работником нового отдела, участвовал в первом совещании коллектива отдела.

Вдвоем с Федосовым они облазили центральную базу, проверили ценности на складах, наметили очередность отправки грузов на трассу по зимнему пути.

Неподалеку от пристани Батманов самолично выбрал место для перевалочной базы; в течение трех дней на берегу Адуна появился палаточный поселок, названный Стартом. Отсюда открывалась будущая ледовая дорога по Адуну. Здесь, можно считать, начинался нефтепровод.

Одновременно начальник строительства решил послать во все крупные города Дальнего Востока, Сибири и Урала толковых людей для розыска и приобретения недостающих материалов и оборудования. Уполномоченных Батманов отбирал вместе с Залкиндом.

У парторга было много хлопот. Он деятельно готовился к партийной конференции, которую намеревался провести до ноябрьских праздников. Не давали покоя тревожные мысли о людях трассы, разбросанных на огромном пространстве, пока еще разобщенных, не связанных даже телефонным проводом. Конференцией Залкинд хотел как бы воссоединить всех строителей. Важно было поближе познакомиться с партийными вожаками участков, узнать от них, чем живет трасса, разъяснить через них строителям предстоящие задачи.

В управлении состоялось партийное собрание с выборами нового бюро. Кроме Залкинда и Батманова, в состав его вошли Ковшов, Гречкин и Филимонов. Вслед за тем, по инициативе парторга, собрался комсомольский актив. Комсомольцы предъявили свой счет руководству стройки. Выступивший с дельной и обстоятельной речью техник связи Коля Смирнов, плечистый парень с энергичным лицом и спокойными манерами, не без горечи сказал, обернувшись к Залкинду и Батманову:

— Сейчас мы не актив, а пассив. Горько сознавать, что в такой момент мы, благодаря недалковидности руководителей, оказались на холостом ходу. Нужно наверстать упущенное. Скорее впрягайте нас в работу. Работа уже есть у нас, но нам ее мало.

К полному удовлетворению парторга, Колю Смирнова единодушно избрали секретарем комитета комсомола управления.

Из Москвы пришло разрешение издавать на строительстве многотиражку. Залкинд обрадовался и в один миг сколотил редакцию, привез из города двух газетчиков. Временно поселившись в кабинете парторга, они тут же принялись за первый номер газеты.

В отделах ежедневно перед началом работы начали проводить политинформации. В вестибюле управления поставили громадную доску—витрину соревнования с предпраздничными обязательствами отделов. Инициатором выступал Гречкин со своими плановиками.

День за днем парализованная было общественная жизнь коллектива быстро восстанавливалась в привычных для всей страны формах.

За всем этим Залкинд не упускал из поля зрения Батманова и находил время помогать ему. Василий Миксимович не раз отмечал про себя чуткость и внимание парторга к хозяйственным нуждам. С разрешения крайкома партии Залкинд на время оставил обязанности первого секретаря горкома, переложив их на второго секретаря. Вместе с тем он неизменно вспоминал о своих правах, коль скоро они могли принести пользу строительству.

Он сам вызвался сопровождать Батманова, Беридзе и Федосова к директорам новинских заводов. Визиты имели целью наладить отношения, которые между хозяйственниками называются джентльменскими и состоят в оказании взаимной помощи. Батманов надеялся договориться с хозяевами городских предприятий об изготовлении недостающего оборудования и получить у них кое-что из материалов. На первом же заводе он убедился, что Залкинд не напрасно присоединился к ним.

Директор завода Терехов, бледный высокий молодой человек лет тридцати, встретил их тепло и радушно, но едва Залкинд заговорил о цели приезда, спросил в упор:

— Прежде всего хочу уточнить: какого товарища Залкинда я вижу перед собой — секретаря горкома или парторга стройки?

— Обоих сразу, — последовал ответ. — Залкинд-парторг просит вашей помощи строительству. Залкинд — секретарь горкома, отлично зная возможности завода, постарается, чтобы его руководители проявили к нуждам строительства вполне государственное и партийное отношение.

Залкинд улыбнулся не раньше, чем Терехов, подняв обе руки кверху, закричал:

— Сдаюсь! Принимаю заказ на электроды. Дам два сварочных аппарата. Поделюсь металлом. О других просьбах подумаю.

На разъезды по городу ушло два дня. И на других заводах Батманова хорошо встретили, директора предприятий ему понравились, иные еще не забыли его по прежней работе в крае. Он почувствовал живой интерес города к стройке.

— Даже если они сделают половину из того, что обещали, и то великое им спасибо, — сказал Батманов, довольный поездкой.

— Они сделают больше, чем обещали, — убежденно проговорил Михаил Борисович. — Они всегда делают больше, чем обещают.

Руководителей стройки тревожило и положение с людскими ресурсами. По расчетам Беридзе и Гречкина требовалось, по крайней мере, удвоить количество рабочих рук. На участках нехватало плотников, шоферов, сварщиков, связистов, чернорабочих. Намеченные на зиму планы могли провалиться. Волна эвакуации с запада сюда не докатилась. Выход был один: найти нужных людей в самом крае, хотя он всегда, даже и в мирное время, испытывал нужду в людских резервах. Батманов вместе с Залкиндром решили съездить в Рубежанск, чтобы добиться решения вопроса о рабочей силе.

Подготовка к зимним работам происходила как бы безотносительно к тому, найдены или нет новые технические решения.

— Батманов действует так, будто мы уже преподнесли новый проект на блюде и нам все видно до дна, — с некоторым беспокойством заметил Ковшов, выходя вместе с Беридзе от начальника строительства после очередного диспетчерского совещания.

— Он надеется на нас, друг Алеша, — отозвался Беридзе. — И, кроме того, будучи хитрецом и большим дипломатом, знает, как воздействовать на личности вроде нас с тобой. Хочешь — не хочешь, ощу-

щение сейчас такое: долг за тобой растет, и вообще ты один виноват во всем и чуть ли уже не тормозишь стройку. Неверно, скажешь?

— Верно. Ты поймал меня как раз на том, что я решил собрать моих людей и подкрутить гайки.

В действительности поиски новых технических решений были далеки до окончания. За десяток лет советские инженеры накопили на Дальнем Востоке немалый опыт строительства железных дорог, мостов, сложных промышленных сооружений, разгадали многие тайны вечной мерзлоты. Но строить нефтепровод здесь еще не приходилось.

Обычно каждому строительству предшествует кропотливое изучение обстановки и условий, заблаговременная работа по изысканиям и экспериментам. Это тем более было необходимо для такого нового дела, как укладка нефтепровода. То, что сделали Грубский, Тополев и их помощники, не отвечало задаче и в лучшем случае могло служить трамплином, отталкиваясь от которого следовало искать иную, единственно правильную техническую концепцию.

Времени для длительной подготовки уже не оставалось. Беридзе пришлось делать все сразу: перестраивать аппарат, заниматься изысканием и проектированием, практически руководить участками. Он заново организовал производственно-технический отдел с несколькими отделениями по отраслям производства и с большой проектной группой, куда свели воедино всех специалистов, знакомых с проектированием. Во главе отдела поставили Ковшова, его заместителем — Тополева. Батманов и Беридзе пришли к выводу, что теперь в руководстве отдела многообещающе сочетаются энергия и решительность молодого инженера с опытом и осмотрительностью старого маститого специалиста.

Новый отдел тотчас же был вовлечен в работу, главный инженер буквально забрасывал Алексея и его людей заданиями. Идеи Беридзе рождались так быстро, казались столь неожиданными и смелыми, что озадачивали даже выдавших виды инженеров. Предложения, сыпавшиеся как снег на голову, вызывали у них порой сомнения и даже недоумение.

Сравнительно легко они приняли указание Беридзе спроектировать организацию работ по ледовой дороге для перевозки грузов на автомашинах, тракторах и лошадях. Георгий Давыдович представлял себе этот путь по замерзшему Адуну, как мощную магистраль, подобную железнодорожной, где движение идет по строжайшему графику. Алексей, обдумав задание, передал его в развернутом виде проектировщикам, и те успешно разрабатывали все, касающееся дороги на льду: и способы ее расчистки от торосов, и средства борьбы со снежными заносами, и приспособления для транспортировки громоздких грузов — труб, локомотивов, частей оборудования.

Не без скептицизма было встречено распоряжение Беридзе о передаче проекта по «барьерным местам» — так назывались наиболее сложные и трудоемкие объекты строительства вроде переходов через реки и перекачечных станций. Беридзе требовал предельно сократить объемы работ за счет второстепенных сооружений.

Но вот главный инженер неожиданно предложил почти на всем материковом участке трассы изменить ее направление, перенести с правого берега на левый... Эта идея показалась проектировщикам неправильной и просто неосуществимой. Правда, перенос трассы спрямлял ее, укорачивал протяженность нефтепровода и позволял обойти стороной цепь возвышенностей правого берега. Однако проведенные раньше изыскания решительно отвергли этот вариант, так как было уста-

новлено, что левый берег при разливе реки сильно затопляется. К тому же перенести трассу — значило вовсе отказаться от работы, уже проделанной на правом берегу, и заново отстраивать участки на левом.

Это всех смутило. «Дровосек какой-то, рубит с плеча, как по бревну», — шушукались в отделе. Руководитель проектной группы Кобзев — добросовестный и трудолюбивейший инженер с мягким незнергичным лицом и вечно всклокоченной прической — предостерегал Алексея (он сразу почувствовал расположение к нему):

— Смотрите, Алексей Николаевич, заведет он нас в дебри непролазные! Лучше бы поспорить с ним, переубедить, чем так-то подчиняться и делать заведомо бросовую работу.

Кобзев и все, кто принимал участие в создании старого проекта, еще не осознали до конца, что они так или иначе должны помочь Беридзе найти способы построить нефтепровод за год. Беридзе представлялся им человеком безрассудно азартным, действующим очертя голову. Они сочувствовали Алексею, полагая, что он чуть ли не по принуждению выполняет установки Беридзе и, подобно им, является своего рода жертвой обстоятельств.

Алексей оказался как бы в скрещении двух противоположно направленных сил. Он был самым доверенным лицом Беридзе и первым исполнителем его распоряжений. С другой стороны, именно он непосредственно руководил людьми, еще не избавившимися от влияния Грубского. Молодой начальник отдела терпеливо старался убедить людей в правоте Беридзе и использовал каждый повод, чтобы внушить им свою веру в главного инженера. Он-то знал, что скрывается за этой, кажущейся ненадежной, легкостью возникновения технических идей Беридзе. Главный инженер был из той породы новаторов, у которых открытия, изобретения и усовершенствования рождаются в пору, когда они нужны позарез, когда без них невозможно обойтись. Беридзе обладал способностью концентрировать внимание на одном, самом важном вопросе, не боялся риска и ответственности, имел отличную теоретическую подготовку и большую практику. Он жил, заканчивая одну и начиная другую стройку. И если б однажды попытаться выяснить, что же было главным во всей инженерной деятельности Беридзе, то оказалось бы: главным были его поиски выхода из разных критических положений и нахождения этого выхода.

Мысль о переносе трассы на левый берег пришла не случайно, не по наитию свыше. Еще в Москве, принимая новое назначение, он понял: успех дела будет зависеть от того, найдутся ли способы сжать время в три раза. С тех пор он думал только об этом. Как десятки раз раньше, перед ним стояла задача: обязательно найти выход. Беридзе хорошо знал Адун не по картам, а по изысканиям, в которых участвовал несколько лет назад. Его сразу поразило, что для укладки нефтепровода был выбран невыгодный, со многих точек зрения, правый берег. Вместе с Алексеем он немедленно поднялся на самолете в воздух, чтобы сверху прикинуть преимущества левого берега. Затем он внимательнейшим образом изучил черновые материалы старого проекта и убедился: левобережный вариант трассы предлагался изыскателями, но был отвергнут Грубским, так как участки левого берега затапливались во время паводков. «За границей построены десятки нефтепроводов, а у нас это дело новое. И если авторитеты заявляют, что так нельзя строить, им надо верить наслово, они знают лучше нас», — так рассудил Грубский и переключил изыскания на правый берег.

Новый главный инженер не привык слепо доверяться даже самым уважаемым авторитетам. Отвергнутый Грубским вариант трассы слыш-

ком многое обещал, чтобы от него столь легко отмахнуться. Беридзе хотел убедиться лично, действительно ли велика опасность затопления левого берега. И на тот случай, если эта опасность оказалась бы реальной, Георгий Давыдович заранее решил поставить под сомнение и самый запрет строить нефтепровод в затапливаемых местах.

Никто, даже Алексей, не догадывался, ценой каких напряженных раздумий далось решение о новом направлении трассы на материке... Во второй, в третий и в четвертый раз Беридзе поднимался на самолете и мучил пилота, заставляя его часами кружить над Адуном... Запершись, сидел в кабине, исчеркивая поправками листы топографических карт и чертежей проекта, и непрерывно дымил трубкой; воздух в помещении становился туманно-зеленым... По ночам, дома, он расхаживал по комнате или неподвижно лежал на диване, выставив торчком черную бороду.

Алексей, Батманов и Залкинд первыми узнали о решении главного инженера перенести трассу. Начальник и парторг одобрили идею, хотя и возникла она, на первый взгляд, неожиданно, казалась рискованной и требовала ломки многих участков. Алексей, разобравшись, какие выгоды сулит предложение Беридзе, возликовал. Главному инженеру пришлось даже расхолаживать своего помощника.

— Слишком-то не увлекайся, настраивайся на трудности, — советовал он, передавая Ковшову приказание начать немедленную разработку нового варианта проекта. — Придется много поработать прежде, чем все станет ясным для всех. Ты еще увидишь, кое-кому мое предложение придется не по вкусу...

Так и вышло. На другой день несколько обескураженный Ковшов рассказал Беридзе о том, как настороженно встретили проектировщики новое приказание. Алексей попросил главного инженера поговорить с людьми.

— Поговорить можно, друг Алеша, — согласился Беридзе. — Но никаким разговором не заменишь горячую работу. Мы увлечем людей делом. Пусть трудятся над проектом день и ночь — и, держу пари, твой Кобзев, а за ним и другие сделаются самыми верными нашими сторонниками.

Во всех этих хлопотах Грубский и Тополев держались особняком. Тополева совсем не было ни видно, ни слышно. Целыми днями он отсиживался в кабинете. После неудачных попыток сблизиться с ним Алексей решил до времени не беспокоить старика. Грубский в качестве референта начальника строительства аккуратно выполнял задания Батманова и ни во что активно не вмешивался. Наблюдая за стараниями Беридзе и Ковшова, он посмеивался над ними и прозвал их «открывателями Америк».

Услышав о последнем предложении Беридзе, бывший главный инженер со злорадством сказал прибежавшим к нему за советом проектировщикам из группы Кобзева:

— Бородач ведет вас напрямик в зал судебных заседаний. Я в компанию подсудимых попасть не желаю и посему остаюсь на позиции мирного созерцателя неминуемой гибели — его и вашей вместе с ним.

Однако он не удержался в рамках созерцательной тактики. Ему передали, что Беридзе, одновременно с указаниями Ковшову по проекту, распорядился прекратить работы на отдельных участках правого берега и перебазировать их на левый. Дождавшись возвращения Батманова, вылетавшего на двое суток в Рубежанск, Грубский в присутствии начальника строительства обвинил Беридзе в неправильных и преступных действиях.

— Ваш проект еще не утвержден в высших инстанциях, — скандируя, говорил он. — Больше того, он еще не готов. Только бесшабашным легкомыслием можно объяснить ваши поспешные распоряжения. Раскройте их смысл.

— Вы не прокурор, и я не намерен держать перед вами защитительную речь, — ответил Беридзе маленькому желчному человеку.

— Отмените директивы Беридзе. Они ошибочны и чреватy губительными последствиями, — повернулся Грубский к Батманову. — Как начальник строительства вы рискуете решительно всем из-за его опрометчивости.

Батманов почти предвидел протест Грубского и был внутренне готов к этому. Сейчас он решил, что надо осадить Грубского, поставить его на место, и одновременно подогреть Беридзе, дать ему почувствовать, какая ответственность лежит на нем. Батманов терпеливо выслушал горячий спор между старым главным инженером и новым и сказал твердо:

— Я не намерен брать опеку над главным инженером. Он такой же хозяин на стройке, как и я. Пусть распоряжается в меру данных ему прав и лежащей на нем ответственности. Что же касается меня, не беспокойтесь, голова у меня сидит на крепкой шее.

Грубский смешался. Иного отношения он ждал от начальника.

— Я обязан был вас предупредить. Теперь мне остается закрыть глаза на все происходящее, — с горечью и не без патетики произнес он и, явно разобивленный, вышел из кабинета Батманова.

Глава восьмая

Посланница трассы

На седьмой день пути Таня Васильченко подошла на лыжах к Новинску. В коричневом байковом костюме и красной вязаной шапке, с вещевым мешком и свернутой телогрейкой за спиной она походила на участника многокилометрового лыжного перехода. Нехватало лишь ленты с эмблемой или номером на груди.

Ев со Старта заметили Батманов, Залкинд и Беридзе. Крошечная фигурка то терялась, то снова возникала среди необозримого пространства Адуна. В управлении старались не прозевать мгновение, когда остановится река. В отделах заключали пари — стал Адун или нет, — и спорившие, ударив по рукам, то и дело кидались к окнам или выбегали на берег. Адун казался совсем неподвижным, но изредка его ледяная поверхность величественно, с глухим отдаленным грохотом содрогалась.

Адун, наконец, стал — и никто не заметил этого мгновения. В хаотическом нагромождении торосов застыла его исполинская сила.

...Рассеивались остатки тумана, клочьями нависшего над рекой. Яркое светило холодное зимнее солнце. То тут, то там, среди вздыбленных ледяных призм, пирамид и бесформенных глыб, возникало бриллиантовое, нестерпимое для глаз сверкание. Просвеченный лучами, заиндевевший прибрежный кустарник был похож на розовые кораллы.

Батманов, Беридзе и Залкинд спустились на лед. Ходить среди торосов было трудно, ноги скользили и натывались на острые ледяные выступы. Над рекой рыскал ветерок. Он разметывал невесомый снег и жег лица. Начальник строительства приказал вывести людей на расчистку дороги и пустить на лед трактор. Снова возникла, теперь уже близко, одинокая фигура лыжницы.

— Красная шапочка на Адуне, — усмехнулся Беридзе. — Интересно, откуда и куда бредет эта живая душа?

Не дойдя до Старта, Таня Васильченко скинула лыжи и, взяв их на плечо, поднялась по обрывистому берегу. Она искала пристанища, ей хотелось отдохнуть и привести себя в порядок. Девушка направилась к одному из двухквартирных домиков в поселке, возле управления. Там жила ее приятельница, врач Ольга Родионова. На стук никто не отозвался. Таня постояла на крылечке и, прислонив лыжи к двери, пошла гротоптанной в сугробе дорожкой в управление.

Она долго бродила по коридорам, разыскивая другую свою приятельницу — экономиста Женю Козлову. На старом месте ее не оказалось, все здесь было по-иному, не так, как прежде, в знакомых комнатах сидели другие люди.

— Многообещающее начало для нового руководства — пересадить всех с места на место. Басня Крылова, а не управление, — ворчала Таня.

Женю она нашла на четвертом этаже. Женя сидела в маленькой комнатке за нелепо большим письменным столом и вместе с другим экономистом считывала отпечатанные на машинке таблицы. Женя встретила неожиданное появление Тани радостным криком.

На поцелуи, объятия и взаимное оглядывание у подруг ушло добрых тридцать минут. Сотруднику за столом надоело наблюдать за ними, и он постучал карандашом по стеклу:

— Может быть, мы вернемся к таблицам?

Женя всплеснула руками и пожаловалась: начальник отдела Гречкин обезумел, дни и ночи пишет, перекраивает план, заставил пять раз переделывать расчеты по труду, не дает передохнуть. В подтверждение ее слов властно затрещал телефон. Экономист, многозначительно поглядывая на Женю, заверял кого-то:

— Считываем последние таблицы. Скоро закончим.

Женя метнулась к столу, потом опять подбежала к подруге.

— Я отправлюсь к тебе, — остановила ее Таня. — Попытаюсь заснуть. Потолкуем вечером.

Женя звонко поцеловала подругу и, провожая ее, сыпала словами:

— У нас там холодно, крепче закутывайся... Топи не топи печку — все равно выдувает. У меня еще так-сяк, а вот инженера Ковшова в угловой комнате поселили — у него снег на стенках. Между прочим, симпатичный, только слишком серьезный. Они приехали втроем и все интересные. Начальник строительства — красавец! Высокий, статный, сероглазый. Но, говорят, строгий. Зато главный инженер добрый. Я носила ему сводки — шутит, улыбается и все поглаживает черную бороду. Она у него вот такая.

Женя показала рукой до пояса и вдруг спросила:

— А Ольгу ты видела? У нее в квартире теплынь, я хожу к ней греться.

Васильченко спохватилась и стала звонить Родионовой в больницу. Телефонистка узнала голос Тани, хотя та с августа не появлялась в управлении.

— Здравствуйте, Татьяна Петровна, вы совсем к нам вернулись? — спросила она и, не дожидаясь ответа, соединила с больницей.

Таня подождала, пока дежурная сестра сходила за Родионовой. Она улыбнулась, услышав спокойный и строгий голос Ольги. Этот голос дрогнул и потеплел, едва Васильченко назвала себя.

— Ясно, ясно, — перебила ее Ольга на полуфразе. — Сделала громадный переход на лыжах и кокетничает — не устала! Живо отправляйся ко мне отдыхать.

— Ты гостеприимна, только дом твой на замке.

— Да, верно! Серафима собиралась итти в город. Что же делать?.. Есть второй ключ у Беридзе. Это наш новый главный инженер, он у нас поселился. Зайди к нему.

— Я лучше пойду к Женьке.

— Не смей ходить к Женьке, у нее холодно! Тебе надо согреться.

Таня оставила телогрейку и мешок у Жени и пошла за ключом. Главного инженера на месте не оказалось. Муза Филипповна, сидевшая в узкой, длинной, как коридор, приемной, сообщила с важностью:

— Руководство на Старте. Сегодня начались работы по расчистке ледяной дороги.

— Не везет, — огорчилась Таня и остановилась в нерешительности. — Что вы меня так разглядываете? — недовольно спросила она.

— Вы очень напомнили мне Наточку, мою дочь. Пропала в эвакуации, не могу разыскать. Такая же красавица. — Женщина пальцем страхнула с носа пенсне, и оно повисло на шнурке. Глаза ее смотрели с усталой тоской. — Может быть, вы и есть моя Наточка?

— Может быть. Присмотритесь получше, — в тон ей ответила Таня. — А пока скажите: главный инженер не обещал скоро притти? Стоит ли ждать его?

— Вам не страшно, доченька? — шёпотом спросила вдруг Муза Филипповна, приближая лицо свое с широко раскрытыми глазами к лицу Тани. — Я старый беспомощный челобек — может быть оттого мне страшно? Вы такая спокойная.

— О чем вы говорите? Что вас напугало? — не поняла Таня.

— В управлении все говорят: японцы начали против нас войну. Почему-то об этом не объявляют официально. Будто бы на правом берегу в тайге высадились японские парашютисты, их сейчас ловят... Бомбы над головой, крики, стоны, понимаете вы это?

— Не понимаете. Вы передаете вздорные слухи. О выступлении японцев немедленно объявили бы официально. Не надо нервничать. Нельзя нервничать, особенно нам, женщинам.

— Да. Да. Вы правы, доченька.

Муза Филипповна ласково посматривала на Таню, видно, и в самом деле девушка чем-то напоминала ей дочь.

— Хорошо, что вы пришли. Сразу стало спокойнее с вами, — призналась женщина. — И что всполошилась? Кругом такие сильные и умные люди, с ними ничто не страшно. Знаете, раньше я жила как-то тесно — в комнатах. А здесь Адун. Посмотришь на него — и сердце замирает, будто на высокой горе стоишь. Я о больших стройках читала только в книгах. Как это интересно в жизни! Каждый день, каждый час — борьба! Хорошо, что на свете есть такие люди, как наш Беридзе, правда? Вы давно знаете его? Представляю вас вместе — прекрасная пара!

— Совсем я его не знаю, откуда вы взяли? Я пришла познакомиться с ним и поговорить по делу. Я с трассы.

— С трассы? Если хотите, проведу вас к его заместителю, Алексею Николаевичу Ковшову, поговорите с ним.

Женщина заторопилась, и Таня машинально последовала за ней. Ковшова они нашли в большой комнате, тесно уставленной столами с наклонными чертежными досками. За ними на высоких табуретах сидели инженеры и техники.

— Проектировщики перерабатывают проект, — уважительно сообщила Муза Филипповна. — Сейчас это главная задача.

Они протиснулись по узкому проходу между столами в угол комнаты. Полулежа на письменном столе, Алексей внимательно разглядывал распяленный кнопками лист ватмана. Сидевший за столом Кобзев, руководитель проектировочной группы, запустив обе руки в сбившиеся волосы, тоже, не отрываясь, смотрел на сплетенное им кружево чертежа.

— К вам, Алексей Николаевич, человек с трассы. По срочному делу, — сказала Муза Филипповна и степенно удалилась, шепнув Тане: — Заходите. Не к главному инженеру, просто ко мне.

Алексей глянул на Таню и снова опустил глаза на чертеж. Рука его бегала по ватману, выводя карандашом длинный расчет. Таня огляделась. Ей отовсюду молча кивали знакомые. Ближе всех сидел Петька Гудкин — его называли в управлении Петюнчиком, а девушки-машинистки шутили: «Представьте себе — такой молодой, и уже старший техник-чертежник». Петька издали поздоровался с ней, пожав правой рукой свою левую руку с зажатой в ней линейкой.

«Видно, этот Ковшов — строгий!» — подумала Таня, отметив тишину в комнате, удивительную при столь большом количестве людей.

— Душно у вас тут, смотрите, даже воздух позеленел! — умышленно громко сказала она.

— Открыть форточки, проветрить! — не поднимая головы, распорядился Ковшов.

Петька, загромыхав, сорвался с табурета и полез на подоконник.

— Простуды боимся. Посмотрите, какой у Татьяны румянец от этой простуды, — сказал он с подоконника своему соседу, холеного вида человеку с намотанным вокруг шеи зеленым шарфом. — Ах, вкусный воздух! — Петька ртом и руками ловил через форточку белое облако мороза.

Таня дотронулась руками до щек, они горели, нажатые ветром.

— Поменьше бы сидеть в помещении. Нефтепровода не построишь в кабинетах, он на улице. — Таня говорила в сторону Петьки, а обращалась к Алексею. Ей хотелось его задеть.

Ковшов с досадой бросил карандаш на стол и поднялся. Петька поспешно вернулся на место.

— У вас срочное дело ко мне? — Вопрос звучал скептически.

— Собственно, я главного инженера искала. Секретарша привела к вам.

— Зачем же вы понапрасну нашумели здесь? Идите к главному инженеру.

— Если уж посчастливилось познакомиться с вами, разрешите задать один вопрос.

— Если один, то задайте.

— Вы не слишком любезны. Наверное, не успели вдосталь налюбоваться чертежом. Я подожду, полюбуюсь еще.

Петька фыркнул в кулак.

— Ближе к делу, девушка. Мы с вами не на танцплощадке.

— Я с девятого участка. Мы получили директиву главного инженера: прекратить основные работы и перебазироваться на другой берег. В чем дело?

Ковшов стоял с рассеянным видом, что-то напряженно обдумывая. Не ответив девушке, он опять склонился к чертежу. Ему не хотелось разбивать мысль. Таня пожала плечами:

— Может быть, сотрудники и научились угадывать ваши мысли без слов, но я вас не поняла и хотела бы услышать ответ.

Петька опять рассмеялся. Тушь высохла у него в рейсфедере, он взмахивал им, выражая этим сочувствие Татьяне.

— Не будем терять драгоценного времени, нажмем лучше на черчение, — тихо посоветовала ему Таня.

— Что? — переспросил Петька, но Ковшов оторвался от стола, и техник-чертежник замер.

— Раз дано указание прекратить работы, надо их прекратить, — сказал Алексей. — Стоит ли спрашивать, почему да зачем?

— Стоит спрашивать! — рассердилась Таня. — Мы люди, не механизмы, нам дорога работа, уже сделанная нами. Ни с того ни с сего предлагают ее забросить. Предположим, в этом есть какой-то смысл, но мы должны понять его. Вы что, одни решили отвечать за стройку?

Алексей вдруг широко улыбнулся и сделался совсем молодым и приветливым.

— Хорошо сказано, честное слово! Как вы сюда добрались, воинственная девушка? Дорог-то нет, насколько мне известно.

— Кто ищет дорогу, тот ее находит. Разве дожدهшься, когда вы к нам найдете дорогу?

— Дельно! Дельно! — с искренним удовольствием сказал Алексей. — Вы, очевидно, прибыли на партийную конференцию. Рановато немножко. Как вас зовут?

— Васильченко.

— По имени-отчеству?

— Татьяна Петровна.

— Я бы мог, Татьяна Петровна, дать вам кое-какие разъяснения. Однако по некоторым соображениям хочу, чтобы вы прежде обратились к главному инженеру. После разговора с ним обязательно приходите ко мне, обсудим все дела вашего участка. Устраивает?

В коридоре Таню догнал Петька.

— Татьяна, давай еще раз поздороваемся. Ты как раз подросла. Тут у нас такое творится! Сидоренко отбыл в неизвестном направлении, твоего врага Грубского загнали под лавку! Новая эра в истории строительства!

— Не суетись, Петюнчик, веснушки отскочат. — Таня дотронулась рукой до веснушчатого лица чертежника. — Странно, они у тебя даже зимой не исчезают...

— Издеваешься? — спросил Петька, становясь в оборонительную позицию. — Смотри, не серди меня, попадет! Я ж к тебе с делом. У Коли Смирнова была? Он комсорг теперь. Мобилизует молодые силы. Ты тоже можешь пригодиться.

— Вот как! — воскликнула Таня и торопливо пошла, кинув Петьке через плечо: — Иди, герой, к своему канцелярскому сланку, пока твой начальник не выпал тебе за простой. Вечером поговорим о новой эре, о мобилизации молодых сил и о том, кто для чего может пригодиться.

Таня забыла о своем намерении пойти и отдохнуть. Встречи с управленцами и всё услышанное от них взбудоражили ее. Прежде всего надо было поговорить с парторгом и выяснить, почему от их девяттого участка никто не вызван на партийную конференцию. Уже по дороге к Новинску она услышала об этом событии. Теперь срочный созыв конференции почему-то увязался в ее мыслях с истерическими фразами Музы Филипповны о японцах.

В приемной парторга технический секретарь, молоденькая девушка с детским лицом, оживленно шепталась с каким-то парнем. Улыбка ее

сменилась выражением строгой официальности, едва Таня к ней обратилась.

— Вы слишком рано прибыли, — сказала девушка. — Я вас регистрирую и выдам талоны в столовую, но все-таки незачем было так торопиться.

— Регистрировать меня не надо, и талонов я не прошу.

— Вы не делегат?

— Не делегат, и хочу узнать — почему?

— Мне неизвестно, почему вы не делегат, — девушка пожала плечами.

— Вы откуда, с какого участка? — спросил парень, внимательно разглядывая незнакомую красивую девушку.

— Я издалека, с девятого. А что?

— То, что на конференцию с дальних участков не вызывали, — сказала девушка, не скрывая своего недовольства тем, что парень заинтересовался этой гостьей с повадками хозяйки.

— Почему не вызывали? — допытывалась Таня.

— Значит, так надо. Вы уж извините товарища Залкинда. Он забыл согласовать с вами этот вопрос.

Девушка отвечала задорно, с вызовом, как нередко разговаривают между собой женщины на служебные темы. Услышав знакомую фамилию парторга, Таня потеряла интерес к секретарше и, обойдя ее, скользнула в кабинет.

Там, спиной к двери, сидели два человека и считывали газетную полосу. Незамеченная ими Таня подошла ближе и через их головы стала рассматривать сырой типографский лист с вдавленными черными столбиками набора. В передовой статье говорилось о задачах строительства, о самоотверженном труде в дни войны, доблестью равноматным подвигам, о бдительности. О нападении японцев не было ни слова.

— Можно задать вопрос? — спросила Таня громко, дочитав статью до конца. Один из журналистов от неожиданности вздрогнул. — Почему вы называете газету органом всего строительства?

— Посторонним нельзя читать газету до выхода ее из печати, — сказал бледный молодой человек с яркосиними глазами и перевернул полосу белой стороной кверху.

— Не переворачивайте, я успела все прочесть.

— Кто вы такая и что вам нужно? — с раздражением спросил синеглазый.

— Не беспокойтесь, не посторонняя: такой же хозяин, как и все остальные. Вы редактор?

— Редактор, если вам угодно. Фамилия моя Пущин.

— Почему, товарищ Пущин, газета называется органом строительства, когда она написана в управлении и только про управление? Хотя бы одна заметка об участках. Например, о нашем!

— Вы с участка? Делегат? Здорово! Садитесь, пишите заметку. Мы тиснем.

Газетчики оживились. Один из них пододвинул стул, второй положил перед ней лист бумаги и перо.

— Я не делегат. И пришла узнать у Залкинда, почему наш участок оставлен в стороне.

— Но вы с трассы?

— Конечно. Разве по мне не видно, что я не кабинетный деятель?

— Видно, видно. Неважно, что вы не делегат. Напишите, о чем хотите, лишь бы о трассе. Мы только начинаем жить, это наш второй

номер. Не наладилась пока связь с участками, приходится собирать материал здесь, как говорится, не отходя от кассы.

— Вот и зря. Надо собирать материал не в кабинетах, а на строительных площадках. Учитесь у военных корреспондентов, они под пулями пишут заметки и выпускают газеты. Пришла же я к вам с девятого участка, а вы почему ко мне не можете притти?

— На лыжах, одна? — восхитился Пущин. — Напишите, как шли, зачем шли, как дошли.

Таня, к удивлению Пущина, не возразив ни слова, принялась писать заметку.

— Маловато! — сокрушенно сказал Пущин, получив от нее минут через двадцать лист, исписанный крупным небрежным почерком.

— Хватит. И это не подойдет, не решитесь поместить.

Заметка в резких выражениях требовала от руководства стройкой внимания к участкам: «Пора из стен управления выйти на просторы трассы». Пущин и в самом деле задумался над заметкой — пожалуй, стоило поднять такой вопрос в газете.

Таня снова заглянула к главному инженеру, он все еще не возвращался. Перебрав в памяти поручения с участка, она решила зайти к Либерману. Снабженец разговаривал с человеком в полушубке, сидевшим перед ним.

— Маменька родная! С первыми же обозами все будет доставлено на ваш участок! — воскликнул он. — Вы запишите на бумажечке, я перечислю, какие грузы приготовлены для вас...

«Ох и жук! — подумала Таня. — Человек шел к нему с намерением подражаться, а уйдет счастливый».

Действительно, представитель участка крепко пожал Либерману руку, дважды поблагодарил его и ушел явно довольный.

— Танечка! Королева! Ангел милый! — живо вскочил снабженец и ринулся к ней с распростертыми руками.

— Слишком темпераментно, Либерман, прошу поспокойнее, — сказала Таня, отстраняясь. — Мое отношение к вам не изменилось.

— Что же поделать, дорогая. Я давно примирился с вашим равнодушием. Маменька родная, меня утешит мимолетный взгляд ваших очей! Мне достаточно дышать одним воздухом с вами. «Хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас», — дурачился Либерман. — Садитесь, моя прекрасная дама в лыжных штанах.

Таня, покачивая головой, насмешливо смотрела на суетившегося снабженца.

— Искренно удивляюсь, почему вас не прогнали со строительства. Говорят, Батманов умный челсвек, неужели он не разобрался, с кем имеет дело? Вам, видимо, не хотелось терять теплого насиженного места, и вы втерли новому начальнику очки, совсем так, как этому товарищу с участка: он ушел, очарованный вами. Или Сидоренко не взял с собой, решил, наконец, отделаться от вас?

Либерман тоненько захохотал и с умилением посмотрел на нее.

— Никогда не перестану восхищаться вами, моя королева. Редкостное сочетание: и красивая, и умница. Даже Елена Распрекрасная не имела такого изобилия привлекательных качеств... Насчет меня вы всегда заблуждались. Маменька родная, как Яков Тарасович переживал, узнав, что меня задержали! Как я сам переживал!

— Кто же задержал? Какой нашелся чудак?

— Батманов. Он в меня буквально влюбился. Где, говорит, найдешь другого такого снабженца?

— Такого не найти. И не надо бы! Значит, два начальника дрались из-за вас? Один не хотел оставлять, другой отказывался взять с собой? Вам, безусловно, помогли ваши коммерческие способности.

— Мои способности давайте не трогать. Вы прекрасно знаете, что я несчастный человек и в любую минуту могу уступить кому-нибудь это кресло. Я мечтаю о другом деле...

— Старинная песня! — засмеялась Таня. — Слышали уже не раз: театр, сцена. Брат Лазарь — заслуженный артист, талант в крови. Надо бы что-нибудь поновее придумать. А кресло — вас от него не отдерешь шестидесяти сильным трактором.

Слова Тани ничуть не задели Либермана, он слушал ее с видимым удовольствием, даже сделал попытку поцеловать ей руку.

— Я так рад видеть вас, Танечка! Спасибо, что не прошли мимо, навестили.

— Я пришла, Либерман, по делу, и давайте к нему перейдем. Когда прекратятся безобразия с материалами? Несмотря на обещания, вы до конца навигации многого не доставили на участок. Инструмента мало, горячее на исходе, автол не пригоден, дорожные механизмы присланы некомплектными. Вот, посмотрите ведомость, чего у нас нехватает!

Либерман смогрел на ведомость, кивал головой и поддакивал:

— Безобразие, возмутительно! К суду, к суду! Как с продовольствием, есть жалобы? Как с одеждой?

— Продукты, слава богу, завезли в начале лета. С голоду не умираем. Рыбу ловим. И обмундирование пока есть, но если на участок пришлете новых людей — их одевать не во что.

— Новых людей будем присылать обмундированными с иголки. Больше никаких претензий?

— Вам мало? Где недостающие материалы?

— Советую пожаловаться Батманову. Маменька родная, участок в катастрофическом положении!

— Можете не подсказывать. Обязательно пожалуюсь и добьюсь, чтобы вам попало.

— Нет, мне не попадет! — Либерман довольно хихикнул. — Мое дело теперь — витамины, рубахи, сапоги. Техническими материалами не распоряжаюсь. И слава бэгу.

— Эку чушь городите. Новый фокус придумали?

— Не я придумал, моя королева, не я — сам Батманов. Он разделил снабжение на две части. Новый отдел образовался: ОТС, отдел технического снабжения, с красавцем Федосовым во главе. И вот вам результат! Не даром отдел Федосова, не успев толком организовать, уже получил симпатичное прозвище: «ОТС, то есть отдел, тормозящий строительство».

Либерман казался очень оживленным и веселым. Тем не менее Таня вдруг ощутила безотчетную жалость к этому толстому, шумному и суетливому человеку, всегда на первый взгляд, казалось, довольному собственным острословием и ловкостью.

— Странно смотреть на вас, Либерман, — серьезно сказала она. — Интрижки, смешочки. Разве вы не видите, в какой трудный час мы живем? Откуда же это скоморошество? Или вы таким способом скрываете свои настоящие чувства и мысли?

Слова ее оказали неожиданное действие, Либерман помрачнел и жался.

— Занятое устройство у человека, Танечка, — не сразу ответил он. — Не я его придумывал. Зазорным считает человек обнаружить перед другим свое самое человеческое. И я ли виноват, что я такой,

а не другой? Считайте меня, ести хотите, легкомысленным. Трудный час — он и для меня трудный, поверьте. Я никому не говорил, а вам скажу, поскольку вы зацепили пальчиком за больную струну. Родня моя осталась в Мариуполе и Бердянске. Жена с дочкой застряли в Ленинграде — они уехали перед войной и не успели вернуться. Враг ли я своей семье?

Либерман, за одну минуту постаревший и осунувшийся, сидел за столом с опущенными руками. Таня выбрала момент и вышла из кабинета.

На другом этаже она нашла отдел технического снабжения. В кабинете у Федосова былолюдно. Он разговаривал по телефону, плечом прижимая трубку к уху, и одновременно подписывал лежавшие стопкой телеграммы. Положив трубку, он повел разговор сразу с двумя своими работниками и продолжал подписывать телеграммы. Телефон звонил почти непрерывно. Таня приготовилась к долгому ожиданию. Но Федосов быстро добрался и до нее.

— Что у вас?

Таня неторопливо изложила претензии. Федосов, больше не обращая на нее внимания, вынимал из папки бумагу за бумагой, прочитывал их и ставил резолюции.

— Отложили бы ваши бумажки, они не убегут.

— Я слышу каждое ваше слово, пусть вас бумажки не волнуют. Продолжайте. Вы кончили на медном проводе и электроматериалах. Что лимитирует участок в ближайшее время?

Федосов потянулся к телефону. Таня положила руку на трубку.

— Уважайте хоть немного других. Это только великим людям прощаются странности и пренебрежение к окружающим, и то не всегда. Когда вы станете великим, тогда ваша манера делать все сразу будет вызывать восхищение.

Федосов заинтересовался:

— Вы не из детского сада?

— Почему из детского сада?

— У работников детского сада вырабатывается профессиональная привычка поучать и перевоспитывать людей.

— Не отклоняйтесь. Отвечайте по-деловому.

— Вы сами ведете себя не по-деловому.

— А что я, губную помаду у вас прошу? Я требую технические материалы для участка.

— Я по-деловому записал ваши претензии. Разберусь, приму меры. Мне Либерман подсунул запутанное наследство, сразу не раскопаетесь... Вот так. Через два дня продолжим разговор. И незачем хвататься за мой телефон.

— Вы сейчас разберитесь, при мне.

— Сейчас не буду, занят. Мне нужно к концу дня дать товарищу Залкинду материал для доклада на конференции, у меня еще ничего не готово.

— Материал товарищу Залкинду я сама приготовлю, вместо вас, идет? Кстати, вам известно, какое прозвище дали вашему отделу на трассе? «Отдел, тормозящий строительство». Справедливо!

— Неправда! — живо возразил Федосов. — Прозвище придумал и распространяет Либерман. Вы от него услышали, признайтесь?

Таня призналась:

— Он. Разве несправедливо?

— Тартюф! — покраснел Федосов. — Мешает мне на каждом шагу!..

Девушка мысленно представила себе лицо Либермана и улыбнулась: «Именно Тартюф». Ей понравился Федосов и его ревнивое отно-

шение к своему отделу. Она поняла, что Федосов не для виду записал нужды ее участка, и оставила его в покое.

Главный инженер еще не появлялся. Таня постояла в раздумье — идти к Жене Козловой или дожидаться Беридзе? Проходивший мимо Грубский приветствовал ее своей кривой улыбкой:

— Давненько не видел вас, Татьяна Петровна. Тем более рад вас видеть. Ну, побывав на трассе, поняли, наконец, что ваша проволочная связь — предмет далеко не самый главный на свете?

— Не могу вам ответить равноценной любезностью, товарищ бывший главный инженер. — Таня подчеркнула слово «бывший». — Я не очень рада вас видеть. На трассе, вы угадали, я многое поняла. В частности, поняла, как мало пользы от управленческого аппарата, если он плохой и руководят им равнодушные, самодовольные люди. Советовала бы и вам побывать на трассе, это поучительно.

Она поднялась на четвертый этаж к Жене, той на месте не оказалось, ее вызвал Гречкин. Таня надела телогрейку и отправилась на пристань, которую все теперь называли Стартом.

Глава девятая

Старт

Крутая широкая дорога спускалась с обрыва к отлогой площадке, где раскинулся палаточный поселок. Две вереницы автомашин встречались на спуске: нагруженные шли вниз к пакгаузам, пустые, рокоча, поднимались за новым грузом к железнодорожному тупику; там происходила перевалка грузов из вагонов в машины. Длинными рядами у палаток стояли тракторы и автомашины под пломбами, выжидая, когда будет готова ледовая дорога.

Таня побывала всюду: в складах, заполненных мешками, бочками и тюками; в палатках-бараках с вагонной системой спальных мест; в длинном сарае с широкими воротами. На сарае еще только настилали кровлю, а внутрь уже затаскивали станки и верстаки. Неподдалеку, под навесом, несколько человек собирали огромные и необычные по форме сани. Два шофера в ожидании, когда разгрузят их машины, приглядывались к саням и обменивались короткими замечаниями. Таня узнала одного из них — сухощавого, с лицом чуть тронутым оспой.

— Здравствуй, Сморчков! — подошла она к нему.

Озабоченное лицо шофера прояснилось, он сбросил на землю кожаные рукавицы и энергично пожал руку девушки.

— Что за сани? — спросила Таня.

— Для нас, шоферов, стараются. Саный прицеп для перевозки труб. Трубы тяжелые: каждая штука — тонна. Сани должны быть прочными, устойчивыми и легкими при этом. Ты что, в управление вернулась?

— С участка прислали посмотреть, что здесь творится. Ты, слушаем, не нового ли главного инженера возишь?

Она спросила это потому, что Сморчков раньше был шофером Грубского, но в первые дни войны перешел на грузовую машину.

— Предлагали, только я на легкое житье не соблазнился. Лучше стахановцем быть, — чуть усмехнулся шофер. — Здесь много перемен. Нами теперь Филимонов командует, знаешь?

— Знаю. Подходящий товарищ для вашего брата, шоферов.

— Ты нашим братом не кидайся, мы ныне большая сила на стройке. Начальник Батманов собирал нас и говорил, что от шоферов и

трактористов зависит весь успех. Не развезем за зиму трубы да материалы — и нефтепровода не будет. — Он живо повернулся к Тане: — Ты вот с трассы. Как смотришь на такое дело? Я предлагаю машины своим ходом водить до крайних участков. Машин там нехватка. Филимонов однако не решается: далеко, холодно, дорог нет.

— Подумать надо, — сказала Таня и внимательно поглядела на Сморчкова. Он, как видно, поделился с ней заветной мыслью. — Филимонов прав. Дорогу надо хорошую. Сейчас только на лыжах пройдешь.

— Дорогу-то уже ладят по Адуну, — махнул Сморчков рукой в сторону реки. — Я берусь первым проскочить, хотя бы с этим драндулетом, — он указал на сани. — Парень, стойки тонкие делаешь, соцвет их трубами даже при легком крене, — сказал он одному из плотников.

— Сморчков! Долго тебя машина будет ждать? — окликнули шофера от ближнего пакгауза.

— До свидания, Татьяна Петровна! — Сморчков побежал к своей машине.

Старт действовал налаженно, повсюду двигались люди, слышались слова команды, восклицания. В движениях грузчиков, плотников и шоферов чувствовалась подтянутая торопливость. В одном из пакгаузов вспыхивала и угасала знакомая девушке песня строителей Новинска. Таня зашла туда.

Глаза ее, привыкшие к яркому свету и блистающему снегу, сначала ничего не различили в сумраке склада.

— Смотри, Николай, Татьяна пришла! — крикнул кто-то, взял ее за руку и повел между рядами ящиков.

Таня, привыкнув к темноте, увидела при тусклом свете электрической лампочки Колю Смирнова. Одетый налегке, в фуфайке и лыжных брюках, он стоял, широко расставив ноги и уперев руки в бока, и выжидательно, сверху вниз, смотрел на девушку. Рядом, тоже подбоченившись и так же одетый, стоял Генка Панков, пятнадцатилетний паренек, прозванный «тенью Коли Смирнова».

— Какой же ты длинный, товарищ! — искренно удивилась Таня, окинув взглядом фигуру Смирнова. — Неужели еще подрос, или я отвыкла от тебя?

— Конечно, подрос. Человек всегда должен расти и развиваться. Как ты догадалась, что я тебя разыскиваю?

— Разыскиваешь? Понятия не имела об этом!

— Я о тебе все уши начальству прожужжал: есть, мол, у нас боевая девушка, она же дельный инженер связи, жертва консерватизма. Хотели вызывать тебя, да не могли дознаться, на каком ты участке.

— Зачем я понадобилась? — в тоне вопроса прорвалась досада.

— Ну и вопрос! Провода надо тянуть. Смотри, сколько всего припасли!

Он показал на разложенные по стеллажам телефонные и селекторные аппараты, на мотки проволочки, на тускло блестящие связки изоляторов.

— Ты в кладовщики определился, Никола? — спросила Таня, с удовольствием отмечая образцовый порядок, в каком хранились материалы.

— В кладовщики не определялся, но готовить эту технику пришлось мне. Как только откроется дорога, двинем всё на трассу. Новый начальник стройки и главный инженер, не в пример прежним, большой

интерес проявляют к связи. Приказ такой подписан: считать работы по связи первоочередными.

— Кто будет выполнять этот приказ?

— Сами участки.

— А связисты есть на участках? Послали их туда?

— Вот те на! Ты вдруг словами Грубского заговорила. Связистов никто не присылал. Зато курсы открываем на той неделе, будем с тобой лекции читать.

— Интересно! — сказала Таня сердито.

— Что тебе в этом не нравится? — удивился Коля и пригнулся, чтобы заглянуть в глаза девушке.

— Всё мне нравится. А больше всего вот что: пока связисты пройдут твои университеты, правительственная комиссия придет принимать нефтепровод. Провод надо протянуть за пять-шесть недель.

— У тебя есть такой способ?

— Есть способ. Но не расскажу. Ты и так мне везде дорожку перебежал.

Таня намекала на то, что до своего отъезда она была комсоргом управления. Лицо Коли выразило неподдельное недоумение.

— Ты заболела, что ли, Татьяна? Я тебя не узнаю.

— Она от зависти шипит! — высказал догадку Генка и спрятался за спину Смирнова, спасаясь от Тани: она потянулась к его жесткому рыжеватому чубу, который выбился из-под шапки.

— Будешь нападать на меня, малыш, не передам тебе привета от отца, — сказала Таня.

— Ты его видела? — недоверчиво спросил Генка. — Как он?

— Жив, здоров, велел поцеловать тебя.

— Ну да, очень нужно, — и Генка из предосторожности ушел за стойку.

— Младенец правду говорит, Никола, — призналась Таня. — Я злая от зависти. Сколько я воевала с Грубским и Сидоренко — и вдруг осталась в стороне! Нам с тобой надо серьезно поговорить, есть у меня одна идея. Но не сейчас. Я Беридзе ищу, он у вас какой-то неуловимый.

— Иди на Адун, где дорогу делают, он там, — посоветовал Генка.

Таня спустилась на лед. Адун в этом месте огибал город могучим полукругом. По серому брюху реки далеко протянулся черный живой пояс. Слышался скрежет и лязг: сотни людей на реке металлом крушили ледяные глыбы. Продвинувшись вперед на полтора-два километра, строители оставили после себя среди торосов широкую и ровную, даже подметенную дорогу.

Несмотря на усталость, девушка с удовольствием прошла по льду. Многочисленные приготовления, замеченные ею в управлении, завершались ледовой магистралью, которую вели к участкам.

Беридзе нигде не было. Ровная дорога окончилась. Таня с трудом пробиралась среди людей, дробивших ломami и кирками ледяные наросты. Синеватые осколки льда летели во все стороны, сверкая под солнцем.

Неподалеку одиноко полз трактор. Он оглушительно стрекотал, напирал на торосы пристроенным впереди огромным металлическим плугом — бульдозером, останавливался и напирал снова. Торосы ломались у основания с непереносимым звуком, от которого у Тани заныли зубы. Она никогда не видела трактора в такой роли. «Рисковой народ, не побоялись выпустить громадину на лед».

Трактор сопровождала небольшая группа людей. Надеясь найти среди них неуловимого главного инженера, Таня пошла к трактору. Но они не останавливались, наблюдая за работой бульдозера. Таня узнала среди них Филимонова: он был в распахнутом черном тулупе и шапке с опущенными ушами. В группе были двое незнакомых Тане, по всем признакам — начальники.

Увлеченный испытанием тракторист после каждой остановки смотрел вниз, и каждый раз Филимонов, взглянув на очередное препятствие, односложно бросал ему:

— Жми, Силин. Только мягче, не рывком.

Силин согласно кивал головой, и трактор, покорный умелому водителю, без рывка устремлялся вперед и плавно срезал ледяную глыбу.

Филимонов приказал трактористу остановиться и вместе с ним занялся осмотром бульдозера. Воспользовавшись этим, Таня подошла к тем двоим. Сняв рукавицы, они торопливо закуривали.

— Можно видеть главного инженера Беридзе? — спросила девушка, глядя на Батманова, тоже надевшего тулуп поверх кожаного пальто.

— Красная шапочка! — воскликнул Беридзе. Борода у него поседела от мороза. Улыбка на застывшем лице не получилась, улыбались только глаза. — Я главный инженер, я Беридзе.

Таня хотела попросить у него ключ от квартиры Ольги, но постеснялась.

— Я с девятого участка. У меня к вам два вопроса — от участка и от себя.

— С девятого? Ого! — удивился Беридзе. — Слышишь, Василий Максимович, Красная шапочка пришла с девятого участка. Мы видели вас издали. Не страшно одной-то?

Тане не понравился пристальный взгляд Батманова, она отвернулась.

— Вы не собираетесь возвращаться в управление? — спросила она у Беридзе.

— А ведь и то пора вернуться, — ответил Батманов за главного инженера и пошел впереди, размахивая большущими рукавицами.

— Слушаю вас. Задавайте вопросы, — сказал Беридзе, шагая рядом с Таней.

— Мы получили вашу директиву приостановить работы на правом берегу и переходить с имуществом участка на левый. Нас взволновала эта команда, она нам непонятна.

— Этот вопрос от участка или лично от вас?

— От участка. Меня, разумеется, он тоже интересует. Почему надо бросать правый берег после столько трудов и мучений?

— Чем еще интересуются на участке?

— Многим. У нас, конечно, известны перемены в управлении. Сначала на трассе обрадовались: приехало новое руководство, про вас хорошо отзывались. Стали ждать... А дни идут и идут... Честно говоря, нам кажется, на строительстве не стало лучше.

— Хуже? — подхватил Беридзе. — Выходит, не оправдали мы надежд трассы? Василий Максимович, трасса, оказывается, успела в нас разочароваться! — крикнул главный инженер в спину мерно шававшему впереди Батманову.

— И что же: вы решили не выполнять распоряжений, покуда вам не объяснят их смысла? — обернулся Василий Максимович.

Таня пренебрежительно посмотрела на него.

— Я постараюсь доложить обо всем главному инженеру.

— Постарайтесь. Только и от меня не отмахивайтесь, я тоже хочу послушать.

— Это Батманов, начальник строительства, — шепнул девушке Беридзе.

Таня не смутилась.

— Здравствуйте, товарищ Батманов! Вы меня извините, — она огорченно вздохнула. — Я сгоряча на всех набрасываюсь.

— Вижу. Главного инженера совсем было запугали, борода у него поседела от страха. Ну-ну, расскажите про участок.

Теперь Беридзе шел впереди, а Таня и Батманов за ним.

— Участок, разумеется, выполняет распоряжения управления, не подумайте плохого. У нас там Панков командует — он хозяин строгий, любит порядок. Мы подготовились к переброске на другой берег и с остановкой Адуна начали налаживать дорогу, перевозить имущество, устраиваться на новом месте. Много трудностей. На участке не хватает элементарных вещей, без них шагу не ступишь. Я заходила к начальнику техснабжения, он записал наши нужды и обещал помочь... Самое главное — люди хотят знать, куда и как вы поведете строительство. Мучает вопрос, успеем ли мы уложиться в срок?

— Вас послали сюда или вы сами решили пройтись? — спросил Батманов.

— На партийном собрании было решено направить к вам человека с письмом. Письмо у меня есть, конечно, но разве в письме все выскажешь? Меня выбрали потому, что я могу ходить на лыжах — не ждачь же, пока установится дорога! Приняли во внимание, что у меня есть личный вопрос к вам. Ну и характер мой сыграл роль. — Она рассмеялась.

— Характер у вас серьезный, — усмехнулся Батманов и попросил подробно рассказать, что Таня видела на пути. — Меня все интересует. Настроения людей, их жалобы и претензии, чем занят каждый участок...

Таня добросовестно передавала ему свои наблюдения. Начальника заинтересовало упоминание о Рогове. Таня виделась с ним по дороге. Пригнав последние баржи на пятый участок, Рогов застал там большие непорядки. Во главе участка оказались морально разложившиеся люди. По настоянию коммуниста Котенева и других райком партии прислал представителя, чтобы помочь коллективу. Рогов подоспел в самый раз, ему пришлось остаться на участке и хозяйствовать.

— Получается у него? Как выглядит участок?

— Сейчас, конечно, всё в движении, в хаосе. Однако люди собраны, организованы. Рогов сумел подружиться с нанайцами, и они ему помогают. В Тывмине, в их стойбище, он как дома. Главное, строители, переходя на левый берег, получают приют.

— Люди ему нужны?

— Ничего не просил, — подумав, сказала Таня. — Но мне кажется, ему нужен технически грамотный помощник. Начальником работ у него инженер Прибытков. Несколько академичен, я бы сказала. Слишком любит составлять графики.

— Значит, доволен Рогов? Он все просил у меня задачу потрудней. Жадный, — Батманов покачал головой, вспомнив свой разговор с Роговым.

— Он велел передать, — сказала Таня, подтверждая его мысль, — что вы обещали в первый же день войны с японцами отпустить его в армию.

— Да, обещал. Вы что-то проронили о Панкове. Хорошо знаете его? Говорят, он волевой и весьма толковый человек. Верно?

Таня отвечала живо и дельно, это понравилось Батманову.

— Панков стоит многого. Могу поручиться, что девятый участок — лучший на трассе. Панков умеет найти каждому свое место. Его уважают и любят.

— Отлично, — одобрил Батманов. — Я предполагаю вызвать Панкова с лучшего участка и послать на самый плохой. Пойдите-ка минутку, я взгляну.

Начальник строительства перемахнул через торос и, спотыкаясь и скользя, добрался до кучки людей, собравшихся возле круглой проруби. Огромного роста человек, техник Хлынов, делал промеры дна и толщины льда. Остальные обступили Залкинда, одетого в полушубок, спясаанный солдатским ремнем, в черные валенки выше колен и в большие рукавицы с крагами до локтей.

Парторг проводил летучую беседу, может быть уже в десятый раз за этот день. Его все знали, и стоило ему показаться, как подходили двое, трое, и через минуту вокруг него вырастала толпа.

Он умел вызвать на разговор, и ему задавали множество вопросов. Три вопроса особенно всех волновали. Отстоит ли Красная Армия Москву или отступит дальше? Откроют союзники второй фронт или обманут, можно ли им верить? Почему ходят слухи о выступлении японцев; если это война, то почему говорят о ней втихомолку; если это не война, то когда ждать нападения?

Батманов, сидя рядом с Хлыновым на корточках, смотрел, как черная вода кипит и бьется в проруби. Метровая толщина синего льда уходила в живую, клокочущую пучину.

— Я дошел с утра до Нампи, — рассказывал Хлынов начальнику. — Торосистый участок кончается за километр до стойбища. Десять километров придется пробиваться в торосах. Дальше лед ровный, заметный снегом — потребуются легкая расчистка. Люди первого участка вышли на лед, им помогают нанайцы.

— Товарищ Хлынов, — сказал, поднимаясь, Батманов. — Я хочу направить вас на участок к Рогову. Тут под носом у нас людей всегда найдем, а Рогову надо помочь. У меня вообще намерение расширить ваши обязанности. Когда станете работать с Роговым, старайтесь вникать во все стороны хозяйства. Загляните ко мне вечером, поговорим поподробнее.

Солнце, катившееся к закату, начало краснеть. Ветерок над рекой утих. В необычайно ясном воздухе отчетливо обозначился безлюдный, дикий, лесистый правый берег. Над прямым и высоким лесом стояло нежнейшее, зыбкое, как мираж, светлосиреневое сияние горной цепи, готовое вмиг расплыться, растаять в воздухе.

Батманов, растирая лицо и нос варежкой, позвал Залкинда:

— Пойдем, Михаил, я закоченел. На морозе работа языком не согревает, лучше ломом размахивать! Кстати, тебя некая посланница трассы дожидается. С девятого участка пришла — высказать нам разные неприятности.

Беридзе издали пострасал Залкинда:

— Ждем тебя, Михаил Борисович. Иди на расправу.

— Здравствуй, товарищ парторг. Никогда не ожидала от вас... — сказала Таня.

Залкинд взгляделся в нее:

— Таня? Какими судьбами? Чем я перед тобой провинился?

— Меня обидели — ничего. Участок наш обидели. Партконференция собирается, и вдруг без нашего участка. Не приди я в управление, и не узнала бы про конференцию.

— Не могли мы, Таня, дальние участки вызывать. У нас есть и десятый, одиннадцатый, двенадцатый, они еще дальше вас. Так? Разве мыслимо их собрать? Пришлось бы отложить конференцию, а откладывать нельзя. Согласна со мной? Вину прощаешь?

— Не согласна.

Беридзе смеялся:

— Пропал, Михаил Борисович!

— Что ж, попытаюсь задобрить тебя — приглашаю на конференцию от девятого участка. И согласен даже предославить девятому участку первое слово. На таких условиях помиримся?

— Пожалуй. Правда, мои претензии не исчерпаны. В управлении я со всеми вашими успела поругаться. Безобразие! Огромное строительство втиснули в четырехэтажный каменный дом. Пишут, разговаривают, шушукуются, рассказывают бабушкины сказки про японских парашютистов. Никто не помнит, не думает о трассе, будто она и не существует!.. Она существует, товарищи начальники, зря вы про нее запаматовали!

— Очень хорошо, Таня, отлично, — сказал Залкинд и легонько тронул рукавицей спину девушки.

— Ничего хорошего не вижу.

— Ты пришла к нам — это хорошо. Магомет идет к горе. Трасса начинает нажимать на управление — это хорошо. И главное, Таня, наше управление выдержит теперь любой нажим — очень хорошо! — Залкинд еле шевелил помертвевшими от холода губами.

— Вы не правы, ругая управление, — обернулся к Тане Батманов. Он шел впереди с Беридзе.

— И все-таки я прошу ее на конференции высказаться против управленцев, замкнувшихся в четырех стенах, — сказал Залкинд. — Резче, умнее ругайся, Таня. Должен тебе сказать, Василий Максимович, наша Таня — историческая личность на строительстве. Она приходила ко мне в горком, требовала решительного вмешательства в дела нефтепровода задолго до того, как мы сами поняли необходимость этого. — Он с лаской взглянул на девушку и взял ее под руку. — Вот, Татьяна, совместными усилиями сдвинули мы воз с места.

Батманов остановился, отеснил Залкинда от Тани. Она предупредила его:

— Я знаю, товарищ начальник, вы хотите меня упрекнуть в предубежденности и верхоглядстве. «Ничего не разглядела девушка в управлении. Организующая-де воля, как ни крути, начинается в кабинетах. Штаб есть штаб, чем бы он ни руководил — боем ли, созданием ли. Телефон, телеграф и умение писать — величайшие изобретения человечества, усовершенствовавшие умение работать». Точно передала?

— Точно, в общем-то, — сознался Батманов.

Беридзе и Залкинд засмеялись. Начальник строительства внимательно всмотрелся в лицо Тани. Завитки темных волос, выбившихся из-под вязаной шапки, побелели и сникли на чистый, с ровным загаром лоб. Глаза ее, обрамленные заиндевевшими ресницами, глубокие, почти черные, смело встретили его взгляд.

— Нам нельзя заявиться на трассу в гости чай пить, балакать на международные темы и выражать сочувствие по поводу плохих дел. Вон Беридзе и Ковшов с первого дня пристают: хотим на трассу!.. Я не

пустил их. Мы придем на участки хозяевами. Для этого надо вооружиться, набраться сил. На вооружение, на подготовку отведен месяц, от силы полтора. Много? Могу отчитаться за каждый день подготовки.

Таня не ответила. Лицо она до самых глаз закрыла толстыми вязаными красными варежками.

— Пожалуй, нет нужды объяснять-то вам, — тихо сказал Батманов. — Глаза у вас хорошие, должны видеть.

— Я увидела кое-что. — Таня открыла лицо. — То, что я поняла — мне понравилось. И, наверное, остальное, чего я не поняла, тоже мне потом понравится. Представьте, товарищ Батманов, мне понравился даже Либерман. Я хотела сказать, что он понравился мне больше, чем раньше.

Она рассказала о снабженцах, об их вражде, в которой усмотрела она зерно соревнования, о Тартюфе и об «отделе, тормозящем строительство». Батманов захохотал и закашлялся, захлебнувшись морозным воздухом.

— Скажите теперь, посланница трассы, как все-таки вас зовут, чем занимаетесь на участке? — спросил он, откашлявшись. — Догадываюсь, что имею дело с Таней Васильченко.

— Простите, я отвыкла рекомендоваться. У меня никогда не спрашивают имени — подходят и обращаются, как к знакомой. Вы угадали: я — Васильченко, инженер связи.

— Ага! Держитесь, теперь мы будем вас ругать! — обрадовался Беридзе. — До сих пор на строительстве нет телефона и телеграфа, это безобразие!

— Не меня надо ругать. Мне приходилось заниматься чем хотите, только не телефоном и не телеграфом.

— Почему же?

— В этом и заключается мой второй вопрос к вам, личный. Связь должна опережать развитие других работ — так я считала и считаю теперь. У Грубского иная точка зрения. Мы с ним крепко поскандальили — не умею я ладить с людьми, которых не люблю. Он меня, по его выражению, изгнал из аппарата на трассу. Зачем вы оставили его на строительстве, товарищ Батманов? Я его встретила в коридоре, он успел спросить с издевочкой: «Ну, говорит, поняли теперь, что ваша проволочная связь — еще не самая главная вещь на свете?».

— И вы действительно поняли? — спросил Беридзе, ему захотелось подразнить ее.

Девушка рассердилась, густой румянец проступил сквозь ее почти шоколадный загар.

— Я невежливо ответила бывшему главному инженеру. Не хотелось бы с первого знакомства показаться невежливой и вам, — реплика Беридзе расстроила Таню, ей показалось, что он предубежден против нее.

Беридзе примирительно взял девушку под локоть:

— Не сердитесь, Красная шапочка. Я неудачно пошутил.

— Идите быстрее! — крикнул Залкинд, опередивший их и дождавшийся у машины.

Они едва втиснулись в эмку в своих тулупах. Тане было тесно между Залкиндом и Беридзе. Она почувствовала, как вдруг занули ее ноги, много потрудившиеся за день.

— Грубский твердил, что связистов у нас нет и надо ждать, пока их пришлют, — говорила Таня. — Он вообще против временной подвески проводов на деревьях. «Лучше строить сразу столбовую линию». Через сто лет, когда нефтепровод будет уложен!

Батманова заинтересовали ее рассуждения. Он сидел с шофером и обернулся:

— Как считаете: можно ли быстро подготовить людей на курсах и дать временную связь, скажем, месяца за три?

— Связистов надо готовить не на курсах, а прямо на практике. Я твердо убеждена: провод до Тайсина можно протянуть за полтора месяца. У меня есть план, с ним я и пришла к вам.

— Ловко! — сказал Батманов и опять обернулся, чтобы взглянуть на Залкинда и Беридзе.

— В чем суть твоего плана, Таня? — спросил Залкинд.

— Не распылять связистов по участкам, их очень мало. Создать одну ударную колонну, где процесс работы будет разбит на простые операции. Самое главное — сто комсомольцев, которые должны добровольно пойти в тайгу.

Таня ждала, что скажут руководители строительства о ее предложении. Они молчали, думая не столько о том, что сказала девушка, сколько о ней самой. У Батманова как-то празднично стало на душе, он мысленно говорил себе: «Вот они, золотые кадры — сами идут к тебе, Василий, не зевай, сумей получше приладить их к делу». Беридзе следил за девушкой поверх поднятого воротника тулупа.

— Я хочу ответить на ваш первый вопрос, — сказал он. — Вы правы: участок имеет право знать наши намерения, перед ним должна быть ясная перспектива...

Таня слушала его, не поворачивая головы. Беридзе говорил о перестройке проекта, о левобережном варианте трассы.

— Надо представить себе задачу целиком, а не часть ее. Девятый участок — недостаточная высота, чтобы охватить всю картину. Сейчас вам трудно понять наши решения, вы поймете их позже.

— Я, кажется, уже поняла, — сказала девушка и повернула, наконец, лицо к Беридзе. — Вы сами додумались до идеи левого берега или прочли о ней в наших записках?

— В записках? Не видел никаких записок!

Батманов заинтересованно поглядел на Таню. Она объяснила:

— С первых дней войны на трассе раздавались голоса о том, что надо пересмотреть проект. Нашелся такой человек, некто Карпов — он доказывал, что трассу нужно переташить на левый берег.

— Кто он такой, инженер?

— Нет. Он рыбак, коренной житель Адуна, из деревни Нижняя Сазанка. Руководил большим колхозом. Однажды пришел на участок и попросился на работу: «Хочу поучиться у вас уму-разуму». Очень даровитый человек! Образование у него небольшое, семь классов, но всё умеет и самое сложное дело разгадывает на лету. В нашем строительстве его больше всего прельщала дорога. Он доказывал: левый берег Адуна не случайно стал местом многих поселений, тогда как на правом берегу их почти нет. Левый берег сложился закономерно, на нем благоприятные природные условия. Трасса на правом берегу идет вразрез с историей Адуна. Дорога нужна именно на левом берегу, она свяжет Нампи, Ольгохту, Чилму, Чоми и многие другие селения с Новинском, даст толчок для развития района на север. На правом же берегу дорога нужна единственному стойбищу — Улягир. Кроме того, на правом берегу трасса пересекает сплошную гряду сопок, заросших тайгой. На левом же берегу она протянется по отлогой широкой надпойменной террасе реки. Здесь строителям нефтепровода будет помогать все население Адуна, а на правом берегу пусто и никто не поможет!

— Чёрт побери! Вы излагаете мои доказательства в пользу левого берега! — взволнованно пошевелился Беридзе. — Неужели этот рыбак сам обмозговал такую идею?

— Ага, зацепило! — засмеялась довольная Таня. — Не беспокойтесь, он не отобьет у вас славы. Честно говоря, я дополнила мысль Карпова предложениями других товарищей. — Таня громко чихнула: она все-таки простудилась. — Вы говорили о высокой точке зрения и о маленьких интересах одного участка. Как видите, попытка поинтересоваться общей судьбой строительства была.

— Карпов — где он сейчас, на участке? — спросил Залкинд.

— Он ушел со строительства, вернулся в свою Нижнюю Сазанку. Я встретила с ним в Ольгохте, рассказывала ему о наших переменах. Он послушал, повздыхал. Видно, не верит в перемены. Сейчас ему не до нас, он опять председательствует в рыбацьем колхозе, у него плохо с планом. Целый час толковал мне о хитростях подледного лова.

— Был какой-нибудь ответ на предложение? — спросил Батманов.

— Получили, как же. Старик Тополев ответил: «Прежде чем критиковать проект, научитесь его выполнять». Не суйтесь, словом, в большие дела, куда вам поручены малые.

— Надо разыскать записки. Найдите обязательно и покажите мне, — сказал Батманов главному инженеру. — Старик дождется, что я пошлю его в колхоз к Карпову ловить рыбу.

Выйдя из машины, Таня почувствовала крайнюю усталость. Трудно было даже переступить ногами. На приглашение Беридзе зайти вместе с ним к Тополеву, она, протянув руку, попросила:

— Дайте же мне, наконец, ключ.

— Какой ключ?

— Ключ от квартиры, где деньги лежат. Я не могу войти в квартиру Родионовой и целый день гоняюсь за вами, то есть за ключом.

Георгий Давыдович торопливо начал шарить по карманам. И вспомнил: ключ остался в кармане пальто, в кабинете. Тане пришлось сопровождать Беридзе в управление. Она поднималась по ступенькам и ворчала. Возле одного из кабинетов она остановилась:

— Здесь, по-моему, сидит Тополев. Зайдемте. Кстати, я поздороваюсь с ним. Он хороший дед и мой приятель, учтите это и не обижайте его.

Глава десятая

Гостеприимный дом

Тополев одиноко сидел в пустой и мрачноватой комнате. С некоторых пор это стало у него обыкновением. Перемены на строительстве не внесли ничего нового в распорядок его жизни. Попытка Грубского припугнуть старика новым руководством оказалась безуспешной.

— Не страшен серый волк, — ответил ему Кузьма Кузьмич. — Мне шестьдесят лет с хвостом, я своё дело перевыполнил. Меня каждое начальство обязано уважать, если оно неглупое, это начальство.

Войдя в комнату, Таня и Беридзе заметили, как старик резко качнул головой и вздрогнул от скрипа двери. Георгий Давыдович прикрыл рукой улыбку. Ковшов передавал ему ходившие по управлению анекдоты о Тополеве, будто бы старый инженер, сидя, спал в кабинете с телефонной трубкой или пером в руке.

Редактор стенной газеты поместил в номере, посвященном вопросам дисциплины, карикатуру на старика. Характерные черты внешности То-

полева — высокий рост, сутуловатость, усы — послужили благодарным материалом для художника. Инженер был изображен спящим на столе в кабинете. В порядке «дружбы» Грубский успел показать карикатуру Тополеву прежде, нежели ее по совету Залкинда сняли. Кузьма Кузьмич сначала не понял смысла рисунка, а когда понял — багрово покраснел, тяжело вздохнул и, сгорбившись, уединился в кабинете.

При появлении главного инженера Тополев, большой, костлявый, поднялся из-за стола, вытирая красным платком серо-зеленые усы. Он обеими руками пожал руку Тане, по лицу его словно прошел луч света, оно стало почти приветливым.

Беридзе попросил Тополева разыскать докладные записки девятого участка с предложениями об изменениях в проекте. Кузьма Кузьмич с минуту припоминал, шевеля усами, потом подошел к шкафу и принялся перебирать папки. Записки были подшиты в толстом деле переписки с участками.

Георгий Давыдович немедленно углубился в чтение. Поглядывая на инженера, старик и девушка шептались.

— Вы не захотели ехать с Сидоренко? — спрашивала Таня. — Одно время у вас были с ним стычки.

— Я пальцем не шевельнул, чтобы уехать, и не сказал ни слова, чтобы остаться. Меня теперь не замечают: устарел. Никто не приглашал меня уехать, и я не помню, чтобы кто-нибудь уговаривал меня не уезжать. Мне все безразлично, голубушка. Интересуюсь бесшумной жизнью. Недавно я прочитал у Джека Лондона замечательную строчку: «Освободившись от желаний, надежд и страхов мы не знаем». Хорошо, когда ты никому не нужен. Поверь мне, Татьяначка.

— Не убеждайте, Кузьма Кузьмич, не поверю. Я бы не захотела жить, если бы убедилась, что совсем не нужна людям, никому не нужна. — Ее даже передернуло. — Дикая, тоскливая идея!.. Наговариваете вы на себя, не верю я вам, дед. Вы сейчас просто не в духе. Расскажите лучше про Володю. Где он, что пишет о себе?

— Не пишет он о себе. Он пишет об артиллерии и своем генерале: «Русская артиллерия лучшая в мире. Наш генерал молодец, не чета тебе, старому деду. Он тебя помнит, раза два вспоминал, просил кланяться». Письмо из-под Минска. Я понял по намеку: «Глушим фрицев в тех местах, где ты, дед, строил завод».

— Заключение по запискам — ваше? — спросил Беридзе, приподняв толстое дело.

— Мое, — ответил Кузьма Кузьмич.

Георгий Давыдович продолжал чтение. У него была привычка — все время занимать чем-нибудь свои руки. Знакомясь с записками и заключением Тополева, он играл бородой, закручивая кудрявые завитки волос на карандаш. Таня засмеялась.

— Ты что? — спросил Кузьма Кузьмич.

— Новый главный инженер — славный дядька.

— Ты ошибаешься. Не по нутру мне он, да и другие бестактные люди, любители пошуметь. Всё охаяли, учат, как жить, как работать. А умеют ли сами? Главный инженер — новая метла в виде бороды.

— Мне не сто лет, и у меня нет привычки мудрецов — обязательно подвергать все сомнению. Вот поживете и убедитесь: Беридзе — отличный дядька. Советую поскорее увидеть его в настоящем свете. Он, наверное, сказал вам несколько правильных и неприятных слов, а вам, Кузьма Кузьмич, нравятся исключительно те люди, которые говорят

приятные слова. Например, ваш Грубский. Не понимаю, как можно дружить с таким человеком.

Главный инженер отложил бумаги и подошел к ним.

— Вы написали большое продуманное заключение, — обратился он к Тополеву. — Идею Карпова вы явно одобрили. Вы, я бы сказал, даже развили ее. — Беридзе выжидающе помолчал.

— Мысли, изложенные в записках, показались мне правильными и своевременными, — подтвердил Тополев.

— Почему же вы проявили столь казенное к ним отношение? Вы отвергли их грубовагой бумажкой в три строки. Неужели только из-за того, что кто-то другой подверг критике ваш проект, вы отмахнулись от умного и ценного предложения?

Старик стоял, опустив тяжелые большие руки с выпуклыми синими жилами. Лицо его побагровело, он шумно дышал.

— Никак не пойму, зачем же вы трудились над своим пространственным заключением? Получается непонятно: вы за, и вы же против. — Беридзе пожал плечами.

Таня заметила: взгляд главного инженера, обращенный на Тополева, смягчился. Против воли Беридзе чувствовал симпатию к этому суровому и трудному старику. Он не сумел заставить себя отнестись к нему, как к Грубскому, хотя держались они вместе. Беридзе не мог не уважать Тополева за прошлую деятельность, широко известную среди строителей.

— Досадно, — проговорил Беридзе, — досадно наталкиваться на такое. По-моему, вы и сами чувствуете несправедливость вашей отписки девятому участку.

— Можно мне ответить за Кузьму Кузьмича? — не утерпела Таня. — Кузьма Кузьмич — старый интеллигент. В своем поведении он зачастую руководствуется неправильными принципами лояльности.

— Татьяна Петровна! — сердито прохрипел Тополев, подняв густые брови.

— Теперь уж молчите, если не сумели сами оправдаться! — запальчиво сказала Таня. — Автор дрянной бумажки не Тополев, а Грубский. Стиль-то его!.. Могу по догадке восстановить все события. Кузьма Кузьмич, преисполненный хороших намерений, принес Грубскому свое заключение. Тот высмеял Кузьму Кузьмича и продиктовал ему знаменитые три строки. — Она обернулась к Тополеву. — Не хотите вы, Кузьма Кузьмич, понять: Грубский, хотя шеф и друг ваш старинный, не тот человек, которого стоит слушаться.

Таня осеклась: ее поразил направленный на нее укоризненный взгляд старика.

— Бумажка тут, конечно, играет маленькую роль, — продолжала Таня без прежней горячности. — Строительство затормозилось независимо от нее. И если бы оно не затормозилось, вам не пришлось бы ехать сюда, на край света. Выходит, нет худа без добра.

Таня хотела шуткой облегчить положение, но старик отвернулся от нее и стоял нахмуренный и грозный...

Ключ, с таким трудом добытый, не понадобился — Серафима, тетка Родионовой, жившая с Ольгой, оказалась дома. Огромная, будто составленная из надутых воздухом шаров, она целиком заполняла кухню, едва поворачиваясь от стола к плите и обратно. Шлепнув себя по бедрам, Серафима устремилась навстречу Тане и прижала ее к своей массивной груди.

— Здравствуй, красавица, любимица, Танечка, золотко, — причитала толстуха.

Объятия гостеприимной Серафимы и тепло от бушевавшей огнем печки, которая здесь, видно, никогда не угасала, согрели девушку. Она быстро сташила с себя лыжный костюм и, энергично растерев плечи и ноги, завернулась в знакомый синий бархатный халат Ольги. Растянувшись на диванчике, девушка с благодарностью, почти с умилением подумала о подруге.

Ничего в комнате не изменилось: повсюду шитье, салфетки, коврики. В рукоделии Ольга удивляла даже Серафиму быстротой работы и замысловатостью рисунка. Прибавились новые вышивки — нанайские нарядные орнаменты; они занимали центральное место над аккуратной кроватью хозяйки. На прежнем месте была полочка с медицинскими книгами, тумбочка с патефоном и пластинками, туалетный столик — подарок больничного столяра, грубое зеркало и перед ним на кружевной полосе крошечные слоны с поднятыми хоботами, склянки с одеколоном и духами, большая расческа. На столе — книжки и тетрадки Константина. Они перекочевали из его комнаты сюда. Над столом, в расшитом мешочке — письма, записки, рецепты, газетные вырезки, а выше, надо всем — неизменный портрет Константина: голова с залысинами, большие роговые очки и застывшая на тонких губах ирония.

— Все такой же Константин Андреевич. Холодный философ, психолог, — неодобрительно сказала Таня.

— Все такой же, все такой же — сукин сын, — подхватила Серафима. Она стояла на пороге, заполнив собою весь дверной проем.

— Что у них происходит? Из писем Ольги я ничего не могла понять. Молчит она, когда дело доходит до Константина.

— И не говори! Я сама ее не пойму. Не греет он ее, не светит ей. Живет сиротой, замужняя вроде — и без мужа. Или не понимает, кто он есть? Или понимает, да не может от темной любви отделаться? Объясни ты мне, сделай милость!

— Привыкла она к нему, так я думаю. Все-таки прожили вместе три гола. Ты думаешь, она страдает?

— Без глаз я, что ли?

Толстуха сунула руки под передник и опять начала сыпать скороговоркой:

— Как они жили в Рубежанске — не знаю. Но уехала она оттуда неспроста. Мне говорили, профессор в ней души не чаял, лучшая у него была помощница. Как называлась должность-то ее?..

— Ассистент?..

— Ну да. Лучшая, словом, была у него. И вдруг бросила науку и уехала. Конечно, здесь она главным врачом в больнице и все ее уважают — не хочу сказать, что по работе она пострадала. Однако понимаю глупой своей головой: не могла Ольга с Константином жить. Сдается мне, что изменял он ей. Вот ведь пёс какой!.. Стали жить врозь, и надо бы ей забыть его. Так нет... Мучается. Потом он переехал сюда — не надо бы пускать, а она пустила. Пожили немного вместе. Ты была ведь у них, видела.

— Два раза всего и была. Не могу я его видеть! — Таня болезненно поморщилась.

— Уехал обратно в Рубежанск, слава богу. То ли скучно стало здесь, то ли размолвились. Только уехал, и опять пошла канитель. Письма шлет. «Скучаю, обнимаю, целую». И между прочим: «Пришли костюм — поизносился», «достань отрез на брюки — у вас на стройке можно достать», «переведи денег, разбогатею — отдам». Другая бы

плюнула на все это, а она — нет! Старалась, из кожи лезла, свое кое-что продала тайком от меня — и все, что просил, посылала.

— Он, кажется, недавно приезжал сюда? — спросила Таня сонным голосом, задремывая под болтовню Серафимы.

— Приезжал... В середине лета, в августе. Мне тошно, а Ольга растерялась. Объяснила мне — в командировку прибыл. Но я тоже не слепая и вижу — человек вроде насовсем располагается. Но что-то у них тут произошло. Скандал какой-то. Меня целый день дома не было, а когда пришла, Ольга в своей комнате закрылась, а Константин чемодан увязывает. Она и попрощаться к нему не вышла. Он приоткрыл дверь и ей с порога: «Выгнала? Пожалеешь»...

— Молодец! — встряхиваясь, сказала Таня.

— Молодец-то молодец, а вижу — опять страдает. Уж и не пойму — жалеет его, что ли... А в прошлом месяце, двадцатого числа, последнее письмо прислал. Вон оно торчит в розовом конверте. Новость сообщил, как бревном по ногам: «Уезжаю добровольно на фронт. Хочу пролить кровь за Родину!»

Таня удивилась. Она даже привстала. Вот уж чего она никак не могла ожидать!

— Может быть, пыль пустил в глаза?

— Нет, как будто и взаправду уехал.

— Чудно, очень чудно! — Таня недоверчиво косилась на розовый конверт, торчавший из расшитого мешочка.

— Теперь рассуди дальше. Ушел на фронт — и пусть себе. Быть может, поумнеет. Но ей опять всё не так. Мучается...

Серафима удалилась на кухню — посмотреть что-то на плите — и поспешно вернулась. Речь ее снова побежала ровным ручейком:

— О чем думает, о чем мечтает? Разве хорошего не найдет? Рогов — не пара ей? Видный мужчина, сильный, добрый, сердечный. Любит ее давно, еще с Рубежанска. И как любит — захоти она, так Александр Иванович луну для нее достанет с неба. Директором рыбного завода когда работал, разные копчености присылал, я не знала, куда их и девать, кладовую всю забила. Он уж мне жаловался: «В Рубежанске я на нее и смотреть себе не позволял: муж у нее был. А потом воспрянул: свободна она. Ничего, однако, не изменилось». Спрашивает меня: «Чем я ей не подошел?» Что ему скажешь? Хорош ведь человек. И сдаётся мне, что Александр Иванович нравится Ольге-то. Однако пойми ее: не подпускает она Рогова. Он из-за нее, как сумасшедший подчас...

Таня вспомнила о письме Рогова для Ольги. Ей не хотелось самой подниматься, она попросила Серафиму достать конверт из мешка. Копаясь в мешке, хозяйка продолжала бубнить:

— Предположим, в Рогове она почему-нибудь сомневается. Другой тебе случай. Главный инженер живёт у нас, славный, самостоятельный человек. Добрый, ласковый. И одинокий. Чем не хорош? Почему не нравится? Что она за человек?

Таня представила себе Беридзе и Ольгу вместе, это ей не понравилось, и она сказала с недовольством:

— Не подходит Беридзе для Ольги.

— Не подходит для нее? Для кого же подходит?

— Ни для кого. Ты не кидайся от одного к другому.

— А ты все одна, Танечка? Все принца ждешь? — оживленно спросила Серафима. — Я посмотрю — Женька умнее вас, двух дур. Обходится без страданий-переживаний, всегда ей весело.

— Не туда смотришь, тетка, — с досадой сказала Таня. — Рассуждала, как умная женщина, и сбилась. Нехватает тебя на серьёзный разговор.

Серафима с гордостью поведала Тане о заведенном ею хозяйстве: чушки, куры с петухом, три гуся; бочка с огурцами, бочка с капустой; несколько мешков картошки в погребе. Тане пришлось подняться и взглянуть на все эти богатства.

Они заглянули в комнату, которую теперь занимал Беридзе. Несколько мелочей изменили это несимпатичное Тане бывшее жильё Константина. Смешанный запах табака и одеколона («много курит и ухаживает за бородой, брызгает на нее духами», — объяснила дотошная Серафима); свежие технические журналы с бумажными закладками («приходит поздно и читает, читает до рассвета»); раскрытый том Маяковского, несколько трубок, охотничье ружье на стене и под ним фотоаппарат на ремне («Ольгу приглашал сниматься — отказалась, меня снял, смеется — едва мол уместилась на карточке»); фотография симпатичной седенькой старушки («мать его, она в Грузии живет, в том месте, где родился Сталин; нежно очень о матери отзывается, деньги ей посылает и письма»); искусно сделанные макеты мостов, модель какого-то цилиндрического сооружения, кипа фотографий дальневосточной тайги и Адуна («рассказывал нам — всю страну обходил, на многих стройках работал, смеется — строить буду, пока белых мест на нашей земле не останется, тогда сам себе построю памятник и лягу под него»).

Ольга застала их беседующими.

— Сплетничаете? — спросила Ольга, подозрительно взглянув на Серафиму, на подругу и на портрет мужа. — Ты, хозяйка, и отдохнуть человеку, наверное, не дала своей болтовней.

Серафима сразу притихла, подхватила цыгейковую шубу племянницы и скрылась. Подруги обнялись.

— Египтяночка, похудела, глаза стали еще больше, — ласково сказала Таня.

— Опять болею, — Ольга подняла забинтованные руки.

У нее дважды в году повторялись приступы суставного ревматизма. Она спокойно смотрела на Таню большими светлоголубыми глазами. В гладкой причёске с пробором посредине, в чуть заметных горьких складках губ, во всем ее тонком лице таилось выражение строгой печали.

Таня снова с горячностью обняла Ольгу. Одинаковые ростом, они резко отличались друг от друга: Таня казалась крепче, сильнее нежной, хрупкой и смуглой Ольги.

— Жалеешь меня, дорогая подруга? Вижу, Серафима наговорила тебе всякую ерунду — ты и раскисла.

Ольга высвободилась из объятий Татьяны и попросила ее развязать на спине тесемки докторского халата. Сумерки быстро сгустились, к окнам подступила ночь. Подруги посидели в потемках, пока электростанция не дала свет. Ольга, как ребенка, укачивала то одну, то другую свою руку.

— Тебе надо бы лежать, не ходить в больницу, — сказала Таня. — Представляю, сколько у тебя там хлопот. Я слышала, половину медицинского персонала призывали в армию...

— Маловато нас осталось. Вот и нельзя мне сидеть дома. Да и моему ревматизму лучше, когда я много работаю. Люблю свою больницу, Татьяна, и не представляю себя вне ее.

Как обычно бывает с близкими друзьями, встретившимися после разлуки, они касались в разговоре многих тем, быстро перескакивая с предмета на предмет.

— Не мешает тебе квартирант? — спросила Таня настороженно: все-таки Беридзе заинтересовал ее.

— Нет. Он не навязчивый, деликатный человек. Дома бывает мало. Очень внимателен к окружающим.

— К тебе?

— И ко мне. Доброта у него широкая — ее может хватить на десятерых. Серафима души в нем не чаёт и, сколько я с ней ни ругаюсь, эксплуатирует его. То дрова ей привези, то достань что-нибудь. Спокойнее с ним стало в доме, сама не знаю, почему. Неужели нам, женщинам, обязательно нужно, чтобы поблизости был мужчина?

— Не знаю, по этой части не имею опыта, — насмешливо сказала Таня.

— Ты только не пойми меня превратно. До того ли мне?

Это было сказано без досады, но с грустью. Таня враждебно взглянула на портрет Родионова, заметив, что Ольга смотрит на него.

— Почему ты так тяжело переносишь его отъезд на фронт? Все равно ведь врозь жили и рано или поздно нужно было кончать такую жизнь. Серафима говорит, он добровольцем пошел. Это благородно, я не ждала от него такой прыти. Ты уж извини меня за откровенность.

— То-то, что слишком благородно, — неожиданно для Тани согласилась Ольга. — Если б он ушел на фронт, как уходят честные люди! — Ольга оглянулась на дверь и заговорила тише. — Он ведь приезжал сюда, и я поверила, что его перевели к нам, потому что он не может жить со мной врозь. А у него другое было на уме. Просто-напросто узнал, что его должны разбронировать и мобилизовать, и под каким-то предлогом перебрался сюда. Я и верила и не верила ему. Потом он попросил меня устроить его на работу. Я ему говорю: «Иди на фронт. Ты доктор и здоровый человек». Видела бы ты, каким взглядом он меня одарил — век не забыть! «А ты, говорит, дашь мне вторую жизнь? Найдутся и без меня храбрецы. Ты лучше помоги мне получить белый билет, у тебя здесь большие связи и ты член отборочной комиссии. На тебя одна надежда». Спокойно и нагло сказал мне это — как по лицу ударил. Вне себя я велела ему немедленно убираться!

— Правильно! — негодуя сказала Таня.

— Мне, признаться, легче стало, когда он уехал. И вдруг это письмо. Оно фальшивое насквозь, можешь сама убедиться. Понять не могу — что он затеял? Неужели снова обман? Или что-то понял, наконец? До чего же тяжело!..

Последние слова вырвались у нее почти со стоном. Таня сделала невольное движение к подруге.

— Видишь, сколько по женской своей обиде наговорила на человека! — словно опомнившись, пожурила себя Ольга. Она сразу как-то отвердела. — Человек на фронте жизнью рискует, а я ему косточки перемываю.

Ольга встала, услышав голоса в передней. Пришел Беридзе, и не один — с Ковшовым.

— Простите меня, хозяйшки. Не мог отпустить этого бесприютного. Дозвольте ему душу отогреть в вашем ласковом доме.

Прибежала Жена и наполнила дом шумом, восклицаниями, чистым залиvistым смехом. Серафима сияла — она любила принимать гостей — и торжественно накрыла стол в комнате Беридзе. Появилась соленая кета, соленые овощи, холодная сохатина.

— Закуска скромная, зато целиком своя, дальневосточная. Не знаю, здешний ли спирт? — Она задала этот вопрос Беридзе, показывая на большую, коричневого стекла бутылку со спиртом. — Разведите, пожалуйста, Георгий Давыдович, по своему усмотрению.

Беридзе, усмехаясь в бороду, занимался «химией» — разводил спирт. Алексей, приятно пораженный теплом и уютom, чего не ожидал встретить, размышлял о том, что человек, если он хороший человек, сумеет сделать жизнь теплой даже в ледяном доме. Усаживаясь рядом с Ковшовым за стол, Беридзе прошептал ему на ухо:

— Кажется, я влюбился, Алеша. Чувствую сейчас, как знаменитая стрела купидона вонзается в мое холостяцкое сердце. Угадай, в кого из этих славных женщин я влюбился? — Он не сводил глаз с Тани.

— Не очень трудная загадка, — сказал Алексей.

— Нехорошо шептаться, начальники, — укоризненно проговорила Таня. Она понимала, что они говорят о ней, и была рада вниманию Беридзе.

— Георгий Давыдович задал мне загадку, — сказал Алексей.

— Трудную, — добавил Беридзе.

— Интересуемся загадками! — оживилась Женя.

— Загадка такая: в кого из присутствующих женщин я скорее всего влюбился бы.

— Вы сказали — не очень трудная загадка и посмотрели на Таню. Ясно, понятно! — недовольно поморщилась Женя.

— Вряд ли вам ясно-понятно. Я не могу сделать выбора, поскольку влюбился задолго до моего прихода сюда.

— Я и забыла! У него же медовый месяц.

Жене очень хотелось позлословить, она едва сдержалась под взглядом Алексея.

— В управлении вы меня напугали. Я трепетала, разговаривая с вами, — сказала Таня Ковшову. — Строгость, надменность и металл в голосе. На самом деле — вы другой.

— Именно?

— Такой, как сейчас. Если бы вы писали стихи, вас называли бы лириком.

Женя фыркнула, Алексей тоже рассмеялся.

— Вы не смейтесь, я серьезно говорю. В моих глазах лиричность души, если только это действительно серьезно, хорошее качество в человеке.

— Понеслась! — с досадой сказала Женя. — Девушка тире философ. Серафима, спаси!

— Танечка, прекрати лирически разговоры! — скомандовала Серафима. После беготни и хлопот она пристроилась на углу стола возле Ольги и подняла стопку с разбавленным спиртом. — Георгий Давыдович, вы хозяин, ваше слово.

— Я не хозяин, Серафима Романовна, а ваш счастливый нахлебник и временный жилец в этом хорошем доме, где мы неожиданно собрались. Но я воспользуюсь предоставленным мне правом первого слова. — Беридзе поднялся. — Есть много тем для веселых тостов. Я их не затрону сегодня. Мне кажется, первый тост должен выразить лучшее, что живет сейчас в наших сердцах и мыслях. Прошу вас выпить за нашу Москву...

Выпили. Минута прошла в молчании. Нарушила его Серафима.

Она легко вскочила, побежала на кухню и вернулась с огромным блюдом, на котором дымились гора горячих пельменей.

— У меня есть хороший тост, — встала Женя. — Предлагаю выпить за наш Дальний Восток, за самый глубокий тыл, который в любой час может превратиться в передний край. Пусть товарищ москвич попробует не выпить!

Женя чокнулась рюмкой со стопкой Алексея, лихо выпила водку и скривилась, замахала руками.

— Ваш гост принимаю всем сердцем, — серьезно сказал Алексей.

За ним выпили и остальные.

Таня и Беридзе сидели друг против друга. Георгий Давыдович откровенно любовался Таней и думал: «Нарисуй художник такое лицо — и не поверят, очень уж красиво».

— Татьяна Петровна, вы приезжая, или коренная дальневосточница? — спросил он.

— Коренная. Я родилась в Рубежанске. Мать и сейчас там живет. Учительница, уже старушка. Все зову ее к себе, но она не может расстаться со школой.

— А отец?

— Погиб под Волочаевкой. — Таня посмотрела на Беридзе, будто решая, стоит ли рассказывать и дальше. — Мне тогда было года четыре. Я его и не помню. Зато слышала много. Я горжусь отцом. У нас в семье бывал Бойко-Павлов... Вы знаете, конечно, кто это такой... Он хорошо говорил об отце. Бойко-Павлов пришел в наш институт на выпускной вечер и сказал большую речь, а ко мне обратился отдельно: «Твой отец, Петр Васильченко, был верным коммунистом и храбрым партизаном. Ты не забывай, чем ему обязана... Жаль, что он не дожид до этого дня, мой славный боевой товарищ!»... Подумайте, как я разошлась! — спохватилась Таня. — Совсем неинтересно вам слушать такие подробности.

Но Беридзе было интересно слушать Таню, его растрогало ее рассказ. Он принимал близко к сердцу все, что имело отношение к девушке. В шуме голосов он различал сейчас лишь ее голос.

Серафима расстроилась: гости рано покинули стол, на кухне так и не дождалась своей очереди пирожки. Она грозилась отшлепать Женю — та первая вскочила из-за стола и убежала в комнату Ольги. Оттуда послышался патефон.

— Вальс «На сопках Маньчжурии», — объявила Женя, появляясь. Она раскраснелась, глаза и щеки ее горели. — Приглашают дамы, так как их больше. Собогаволите, дорогой москвич? — она приглашала Алексея.

— Не могу.

— Не умеете? Даже забавно — не умеющий танцевать москвич!

— Не могу, — повторил Алексей.

— На что же это похоже? — спросила Женя, оглядывая всех. Шуткой она пыталась скрыть смущение. — Не похоже ли это на оскорбление личности? Вон он какой, лирик! Придется танцевать с Серафимой.

— Проверим, — сказала Таня, поднялась и подошла к Алексею. — Я приглашаю вас.

Алексей снова отказался. Беридзе, и тот удивился.

— Ты что, милый?

— Я сказал: не могу! Извините! — уже с некоторой злостью отрезал Ковшов.

— Приглашайте меня, — предложил Георгий Давыдович. — Танцор я не из важных, однако заvertеть могу до смерти.

Таня внимательнее взглянула на помрачневшего Алексея и протянула руку Беридзе:

— Покружмся.

Ольга с большой симпатией поглядывала на Ковшова. Она много слышала о нем от Беридзе.

— Помогите мне закурить, — попросила она его; бинты на руках мешали ей.

Подойдя с зажженной спичкой, Алексей невольно встретился с ней взглядом. Ему показалось, что в широко раскрытых глазах ее, в глубине, лежит страдание.

— Не люблю, когда женщины курят, — сказал Ковшов, отгоняя табачный дым.

— Медики много курят, профессиональная привычка. Лично я почти равнодушна к табаку. Она потушила папиросу. — Вы действительно не танцуете?

Он ответил не сразу:

— Танцую. Может быть вам покажется смешным и наивным, но я действительно как-то сейчас... ну, вот просто не могу танцевать. У меня жена на фронте. И даже не на фронте, а за фронтом...

— Вовсе это не смешно и не наивно! — взволнованно сказала Ольга и неловко пожала ему руку забинтованной своей рукой.

Они молчали, прислушиваясь к тягучей и грустной мелодии вальса.

— Мне очень хочется подружиться с вами, — сказала Ольга. — Порой так нужен умный и верный друг! Что я хотела вам сказать? Да! Я рада за вас, очень рада. Вы счастливый человек, хотя вам и не легко сейчас. В вашей любви нет сомнений, вас, очевидно, любят так же верно и чисто, как любите вы. А бывает другая любовь — темная, гнетущая. Представьте себе, вы полюбили, впервые в жизни — преданно, горячо. Но вот однажды видите — ваша любовь неправильная, она — несчастье. Но она существует, от нее так просто не откажешься. Вы не слышали пословицы: «Если хочешь быть любимой — люби»? Очевидно, это лживая пословица. Но я в нее верила. Я решила любить так, чтобы моя любовь сделала недостойного человека хорошим. — Ольга закрыла глаза; измученно лежали на коленях ее забинтованные руки. — А потом пришлось убедиться, что любовь непоправима, она безнадежна... Осталось одно: бороться с ней.

Ольга отошла к двери и сиротливо стояла там. Гнетущее чувство передалось от нее Алексею. Он не мог не подойти к Ольге, а подойдя, не знал, какими словами ее утешить.

— Ольга Федоровна... Я рад, что встретился с вами, — сказал Алексей. — Мне хочется, чтобы вы поверили в нашу дружбу. Знайте, я всегда готов прийти на помощь, сделать все, лишь бы вам было лучше.

Он прижался губами к пахнущему лекарствами бинту на ее руке и, незамеченный никем, пошел к выходной двери.

Глава одиннадцатая

О старых грехах

По настоянию Татьяны Васильченко, Коля Смирнов созвал комсомольское собрание. Только он объявил повестку дня и предоставил слово Тане, как появились Батманов, Залкинд, Беридзе, весь состав партийного бюро и некоторые начальники отделов. Комсомольцы, вплоть до Генки Панкова, поняли, что руководство стройки придает большое значение предложению их бывшего комсорга.

— Продолжаем нашу работу, — с достоинством сказал Смирнов и кивком головы пригласил Татьяну говорить.

Деловито изложив сущность своего проекта, девушка обратилась ко всем комсомольцам с призывом добровольно записываться в сквозную колонну связистов.

— Нам представляется возможность на деле доказать свой патриотизм, — говорила Таня.

Попросил слова Батманов.

— Невозможно больше, друзья мои, обходиться без проволочной связи, — сказал начальник строительства. — Нам она нужна, как человеку нужны глаза, уши и рот. Вы слышали Васильченко — провод можно подвесить за шесть недель.

Ближе всех к Батманову сидел Генка Панков, он с жадным вниманием, чуть приоткрыв рот, пытливо смотрел на Василия Максимовича. Батманов заметил подростка и часто поглядывал в его сторону.

— Можно, разумеется, приказом назначить в колонну всех, кого назовет Васильченко. Я не хочу этого делать. Связистам предстоят большие испытания, придется работать в тайге при лютом морозе. За это нужно браться добровольно, с открытой душой и решимостью. Так на фронте бойцы идут выполнять важное задание. Кто не чувствует уверенности в своих силах, у кого нет такой решимости — пусть уж лучше остается на своем теперешнем месте.

— Кому дать высказаться, у кого есть предложения? — Коля с высоты своего роста оглядывал товарищей.

— Нечего высказываться, начинай записывать! — закричал кто-то.

— Запиши меня!

Смирнов постучал карандашом по столу:

— Шуметь не надо. Будем работать спокойно.

Приняли решение: поддержать инициативу Татьяны Васильченко, просить руководство закрепить за коллективом комсомольцев строительство проволочной связи, как самостоятельный объект.

— Теперь откроем запись! — сказал Коля.

Подходили парни и девушки — чертежники, счетоводы, машинистки. Таня среди них увидела секретаршу Залкинда, молоденькую девушку с круглым личиком.

— Правильно, Зина! — одобрил ее парторг.

Услышав любимое имя, Алексей вздрогнул и внимательно посмотрел на девушку. Петя Гудкин взволнованно шептал на ухо Васильченко:

— Мне очень хочется пойти с тобой, Татьяна. Но я говорил тебе: Ковшов переводит меня на проектирование. Это же мечта моя!

— Оставайся, пожалуйста, со своей мечтой! — Таня отвернулась от чертежника.

— Итти мне или не итти, как думаете? — спрашивала Женя Алексея.

— Воля ваша. А как вы сами считаете?

— Мне безразлично! — пожала плечами Женя. — Я экономист, выполняю нужную работу. По совести, не очень хочется уходить отсюда. Ковшову не понравился ее ответ.

— Да меня Гречкин все равно не отпустит, — добавила она. — Он говорит — я его опора. Ручаюсь, это обо мне он нашёптывает сейчас начальнику строительства.

Действительно, Гречкин придвинулся к Батманову и доказывал ему: хорошо, что все комсомольцы готовы итти с Татьяной Васильченко, но некоторых отпускать нельзя, они нужны как специалисты.

— Будем утверждать состав колонны и тогда посмотрим.

Коля Смирнов передал Залкинду записку; прочитав ее, Михаил Борисович подошел к Батманову.

— Смирнов просит отпустить его. Я поддерживаю просьбу: он будет верным помощником Татьяне.

— Правильно, — согласился Батманов и глазами показал Залкинду на Генку Панкова.

Паренек, улучив минуту, подошел к Смирнову и попросил внести его в список.

— Кто этот маленький мальчик? — нарочито громко и строго спросил Батманов.

— Это Панков Гена. Я доказываю, что нельзя ему идти с нами — не соглашается.

— Я не маленький. Сила у меня есть. Не хуже других буду работать. Уж девчонкам-то не уступлю, — сердито бубнил Генка, смущенный вниманием начальника строительства.

— Запрещаю брать несовершеннолетних! — резко сказал Батманов, обращаясь к Смирнову и Тане Васильченко. — Повторяю: вам предстоит трудный поход, не игрушки.

На другой день начальник строительства, в присутствии Залкинда и Беридзе, вызвал Таню и Смирнова.

— Я утвердил список колонны. Главный инженер лично будет наблюдать, чтобы в течение пяти дней вас снабдили всем необходимым. Ровно через пять дней отправляйтесь. — Батманов, встав из-за стола, подошел к Тане: — Давайте заключим договор, Татьяна Петровна. Вы представляете мне график вашего движения — столько-то километров провода за сутки — я утверждаю его и каждый день буду следить за вами. Если недодадите хотя бы километр — пеняйте на себя, попадет.

— С радостью подпишу такой договор! — сказала Таня.

— Подписывать не надо, просто скрепим его рукопожатием.

Батманов крепко пожал маленькую горячую руку девушки.

— Ну, Татьяна, берегись теперь! — предостерег Залкинд не то серьезно, не то шутя.

Возвращаясь от начальника, Смирнов и Таня заметили в коридоре Генку. Он жался к стене и встретил их хмурым, неласковым взглядом.

— Нельзя! Понимаешь, нельзя! Неужели ты не веришь мне? — сказал комсорг, обнимая паренька.

— А мы потихоньку, никто и не узнает, — ворчал Генка, вырываясь, но Коля его не отпускал.

— Не сердись. Ты же видишь, это зависит от начальника, он запретил тебя брать.

— Знаешь что? Если не боишься, иди сам к Батманову и проси его, — предложила Таня. — Разрешит — возьмем. Ведь возьмем? — Таня подмигнула Смирнову.

— Конечно, возьмем.

— Разговаривайте сами с вашим Батмановым. Очень вы мне нужны! — обозлился Генка, почувствовав неискренность в словах Тани и Коли.

Но вечером секретарша доложила начальнику строительства:

— К вам просится мальчик, Гена Панков. Можно?

— Зовите!

Подросток растерянно вошел в большой кабинет и остановился у дверей. Василий Максимович с удивлением признался себе, что взволнован его приходом.

— Заходи смелее, товарищ. Что скажешь?

Генка, оробев, не поднимал глаз, которые так понравились Василию Максимовичу пылкостью и умом, сквозившими в них.

— Настаиваешь на своем? — спросил Батманов.

— Все ребята идут, а мне одному оставаться? — с обидой в голосе сказал Генка.

— Но кто ж виноват, что тебе только пятнадцать? Работа трудная, не всякому взрослому под силу.

— Я выдержу.

— А если что-нибудь случится с тобой? Твой отец меня не помирует тогда.

— Отец-то как раз и пустил бы, — твердо сказал Генка и поднял, наконец, глаза на Батманова.

— Пустил бы отец, говоришь?

— Ну да, пустил бы. Он меня два раза в экспедицию брал.

Батманов неторопливо прохаживался по комнате, Генка зорко следил за ним. Начальник строительства остановился и положил руки на генкины плечи, ощутив ладонями их мальчишескую худобу.

— Что ж с тобой поделаешь, ладно! Держись теперь, не жалуйся и не хнычь.

— Вот еще! — Генка рванулся к двери.

Батманов с неохотой отпустил его и долго глядел ему вслед. Очень долго. На звонок Василия Максимовича вошла секретарша.

— Не пускайте ко мне пока никого, — сказал он ей глухо.

Делегаты съезжались на конференцию. Было что-то одинаковое в этих разных людях — их обветренные лица, беспокойные глаза, боевое настроение. У них много накопилось претензий к управлению, и они торопились скорее предъявить их, забыв о том, что имеют дело с новым руководством.

Батманов и Залкинд сразу уловили этот общий дух представителей трассы.

— Они предъявляют нам счета, не оплаченные Сидоренко и Грубским, — недовольно сказал Василий Максимович, отпустив очередного начальника участка. — Готовы штурмом опрокинуть управление. На конференции надо поговорить об этом, а то всё пойдет однобоко.

— Неправ ты, по-моему, — возразил Залкинд. — Пусть они штурмуют управленцев, особенно Федосова и Либермана. Штаб у нас теперь такой, что выдержит любой натиск. Люди с участков злы на управление за то, что оно не сумело направить их, было безучастно к их нуждам. Многие, очевидно, будут выступать с обидными для нас обвинениями, например, Таня Васильченко. А кое-кто, вероятно, выступит и в защиту штаба. Я вижу большой смысл в этом столкновении управленцев с трассовиками. — Парторг засмеялся. — Да ведь и не закажешь им, что говорить. Придется слушать да мотать на ус.

— Я за то, чтобы историей не заниматься. Есть ли надобность вспоминать старые грехи?

— Нельзя их быстро забывать, Василий Максимович, — настаивал Залкинд. — Ты и сам говорил, что теперь мы отвечаем за принятое наследство...

Батманов тепло встретил Рогова, они не виделись с того момента, как тот отчалил от Старта на катере вслед за аварийной баржей.

— Спасибо, Александр Иванович, за инициативу и решительные умелые действия на пятом участке! — пречувственно благодарил Батманов, оглядывая крепкую фигуру Рогова в хорошо сшитом военном костюме.

Рогов подробно доложил о делах участка, а потом окровенно высказал свои претензии и напал на снабженцев. Василий Максимович

соглашался с ним, занося записи в большой блокнот. Рогов мимоходом задел инженеров:

— Народу-то много собралось, все они, я видел, сидят и чертят, а проектов пока не видать.

В его словах отчетливо прозвучали нотки пренебрежения.

— Проекты создаются годами, — сухо ответил Батманов. — Беридзе и его помощники принимают все меры, чтобы выдать нам проект в течение двух-трех месяцев. Если это им удастся, считай, что они установили своего рода рекорд. Кстати, проект уже виден тем, кто хочет его видеть. Ты со своим участком на левом берегу — это уже частица нового проекта.

Настроение Батманова переменялось, он замолчал и уткнулся в бумаги.

... Большой деревянный клуб управления преобразился. В нем побелили стены, сменили мебель, украсили его лозунгами. Откуда-то привезли цветы и поставили у портрета Сталина на сцене.

Конференция открылась торжественно. Делегаты с подъемом выбрали рабочий президиум, почетный президиум, мандатную комиссию, секретариат. Залкинд начал доклад с того, что поздравил делегатов с открытием первой партийной конференции строительства. Парторг говорил просто, уверенно и с той особой силой логического убеждения, которая всегда характерна для опытных политических руководителей-большевиков. Он рассказывал о труднейшем положении на фронтах, о том, что вся страна, по призыву вождя, превратилась в единый военный лагерь. Строительство еще не совсем похоже на часть этого гигантского боевого лагеря. Если сравнивать их со всей страной, то процесс мобилизации сил на стройке еще отстает. Парторг обстоятельно нарисовал задачи партийных организаций участков.

— Надо быстрее заканчивать перестройку. Каждый участок за короткий срок должен стать слаженным предприятием, которое выпускает для фронта свою продукцию — километры уложенных труб. И снова скажу вам, товарищи-коммунисты: выходите на передний край нашего созидательного боя за нефтепровод!

Верный своему обещанию, Залкинд хотел открыть прения выступлением Васильченко. Но Таня передала ему записку: она раздумала, выступать не будет. Она сидела сейчас рядом с Алексеем и подтрунивала над ним. Выступавший в это время инженер Мельников с четвертого участка — молодой человек с быстрой речью и стремительными жестами — критиковал главного инженера и его аппарат за то, что они замкнуто ведут работу над проектом.

— Надо открыть шлюзы для потока массовой инициативы, — говорил оратор. — Новый проект — это не только основные решения, как пройдет трасса, но и тысячи разных рационализаторских предложений, идущих в фонд Государственного Комитета Обороны.

— Правильно! — выкрикнул Ковшов с места.

— Его ругают, а он радуется, — тихо засмеялась Таня. Она уже подметила эту черту в Алексее: он открыто, без досады и сопротивления принимал критику.

— Дельная ругань — великая вещь, — шепнул ей Алексей, записывая что-то в делегатском блокноте. — Я и вас заранее могу поблагодарить за ядовитую речь.

— А если речи не будет?

— Сомневаюсь! Характерец у вас такой, что вы не удержитесь.

— Скажите, а где главный инженер? Почему он не на конференции? Я его встретила, когда шла сюда, на мой вопрос он ответил как-то загадочно.

— Беридзе беспартийный, — сказал Алексей, невольно смутившись. Таня удивилась.

— Почему он беспартийный?

— Не сумею ответить вам на вопрос. Можете, однако, мне поверить: Беридзе настоящий беспартийный большевик.

— Вам придется выступать не только за себя.

— Я знаю. — Алексей взглянул на нее с признательностью — ему было приятно, что Таня думает о Георгии Давыдовиче.

Выступление секретаря парторганизации пятого участка Котенева отвлекло Таню от мыслей о Беридзе. Все представители трассы так или иначе касались работы управления. Речь Котенева была особенно резкой. Бездеятельность и неверие старого руководства в неотложность строительства парализовали коллектив пятого участка. Вернее, коллектив, лишенный ясной цели, размагнитился, перестал быть коллективом. Сигналы коммунистов о том, что необходимо заменить негодного начальника участка и двух его помощников, не были приняты во внимание. Зачем было Сидоренко снимать с работы этих трех людей, когда он помышлял о ликвидации самого участка и всей стройки?

— Можно ли простить, что сотни строителей, которые могли принести пользу на фронте как солдаты, оказались на положении бесполезных людей? — с горечью спрашивал Котенев.

Залкинд поглядывал на сидевшего рядом с ним Батманова. Тот внимательно и спокойно слушал, не пропуская ни слова из речи. Тане Васильченко выступление Котенева не понравилось.

— К кому он с этим обращается? — недоумевала она.

И тут же послала записку в президиум с просьбой дать ей слово.

— Слово имеет товарищ Сморчков, приготовиться Васильченко, — улыбаясь объявил Залкинд.

Шофер ненадолго задержался на трибуне, и Таня не успела даже набросать схему своей речи.

— Я так понимаю нашу главную зимнюю задачу, — говорил Сморчков: — Мы должны к весне развезти по трассе трубы. Конечно, для этого нужны и машины исправные, и умелые шоферы. Машины и шоферы у нас есть, налаживаются, вроде, и дороги — правда, не идеальные, в пределах возможностей. Только и с этим может ничего не получиться.

— Почему? — спросил Батманов из президиума.

— Возить большие грузы на дальнее расстояние зимой, в лютые морозы, когда дороги все время замедает, — трудно, очень трудно. А с трубами будет просто мука. Вы видели их? Каждая труба — это дура длиной в одиннадцать метров и весом в тысячу килограммов. Представьте себе несколько таких штук на машине — их надо благополучно провезти по скверной дороге, километров, скажем, сто. Задача!

— Вы сомневаетесь в том, что она выполнима? — спросил Батманов.

— Нет, не сомневаюсь, — быстро ответил шофер. — Только надо показать всем шоферам, что задача выполнима.

— Как это сделать?

— Есть предложение пробиться на автомашине из конца в конец трассы, невзирая на погоду и состояние дороги. Если мне будет разрешено, я берусь провести груженую машину из Новинска до Джагдинского пролива. Даю слово коммуниста перед партийной конференцией,

что сделаю это. И мой товарищ, тракторист Силин, просил передать конференции, что и он берется сделать такой же рейс на тракторе.

Аплодисменты были ответом Сморчкову. Первым ударил в ладоши начальник строительства. Появление Тани на трибуне вызвало оживленный гул — многие знали ее и с интересом ждали выступления. Речь Васильченко оказалась неожиданной, и не только для Батманова.

— Здесь товарищ Котенев с благородным негодованием говорил об управлении, — так начала Таня. — Но мне не ясно: какое руководство он имел в виду? Новое или старое? Если сидоренковское, то я согласна подписаться под его заявлением. Мы все на горьком опыте узнали, что это за вещь — плохое руководство. Мы помучились с этим управлением, будь оно неладно! В защиту его никто не скажет доброго слова. О нем ли говорил Котенев?

Таня сделала паузу, и среди шума донеслись выкрики:

— Не хитри, Васильченко, ты отлично знаешь, кого он имел в виду!

— Конечно, он говорил про старое управление!

— Старое? Хорошо! Но зачем же говорить про старое управление, если его нет и в помине? По-моему, нет никакого смысла беспокоить мертвых. Товарищ Котенев немножко запоздал со своими претензиями! Очевидно, о новом руководстве ему пока нечего сказать. Разрешите мне восполнить этот пробел.

В зале раздались смех и восклицания:

— Восполняй, Татьяна Петровна!

— У нее приемы заправского оратора, — нагнулся Батманов к Залкинду.

— Может быть это покажется странным, товарищи, — продолжала Таня, — но моя речь защитительная. Я хочу сказать доброе слово о новом управлении.

И Таня рассказала, как она шла в Новинск, чтобы подрасть за свое предложение и вообще за трассу. Как перед ней открылся план действий батмановского штаба, его стратегия и тактика в широкой подготовке строительства.

— Мы привыкли пренебрежительно махать рукой на управленцев. — При этих словах Таня сделала небрежное движение рукой. — Но как бы при этом совсем не промахнуться! У нас теперь есть штаб, который умеет хорошо приказывать и строго спрашивать.

Среди шума аплодисментов Залкинд наклонился к Батманову и сказал, откровенно торжествуя:

— Вот оно как бывает в нашей жизни, дорогой мой! Не так, как ожидаешь, а гораздо лучше, умнее!

Смеясь и на ходу перебрасываясь шутками с делегатами, Таня шла к своему месту. Батманов ласково провожал ее взглядом. Неожиданно Василий Максимович попросил Залкинда дать ему слово для короткого внеочередного заявления.

— Я искренно благодарен Татьяне Петровне за ее горячую защитительную речь, — поднялся над столом Батманов. — Но хочу, в свою очередь, подать голос в защиту товарища Котенева и других, выступивших с резкой критикой. Мы — наследники старого управления и не можем откреститься от его долгов, от его грехов. Смелее будьте в вашей критике.

Василий Максимович сел на место и прищуренными глазами посмотрел на Залкинда. Тот улыбался. Парторг был доволен — все шло хорошо. Прояснились отношения между людьми, крепла их дружба. Его порадовал Алексей Ковшов честным душевным рассказом о достиже-

ниях и неудачах в работе над проектом. Гречкин дельно и смело журил руководителей ближних участков за бессистемную расстановку рабочей силы. Рогов поделился опытом организации участка на левом берегу и высказал хорошую мысль о том, что надо шире привлекать к строительству нанайцев и все население Адуна.

Конференцию пришли приветствовать представители только что бывшей из Рубежанска новой партии рабочих. От их имени говорил старый землекоп Зятков. За ним выступал секретарь парторганизации третьего участка Темкин. Он затронул важный вопрос о месте руководителя в низовом коллективе, о его стиле работы, о его отношениях с партийной организацией.

Человек маленького роста, Темкин почти не виден был из-за трибуны. Поглаживая светлые редкие волосы по обе стороны ровного пробора, он жаловался на Ефимова, начальника своего участка. Говорил Темкин странно — тихим, едва слышным и каким-то шерстящим голосом:

— Все подмял под себя начальник. День и ночь кричит, беснуется. Никому не доверяет, хочет все охватить самолично. Никто ему не указ. Распоряжение о переходе на левый берег он выполнил по-своему: послал рабочих, а сам со своей конторой и всеми бытовыми предприятиями остался на старом месте. На партийную конференцию не поехал: некогда ему, разве оторвешься от дел? Что с человеком стало? Я с ним до войны работал — совсем другим был, жили мы душа в душу. А сейчас ругаемся беспощадно.

— Представляем себе, как это у вас выходит: он, наверное, кричит, а тебя не слышно! — крикнули из зала.

Залкинд не удержался от улыбки, хотя к словам Темкина отнесся по-серьезному. Он знал Ефимова по работе в Новинске, и темкинский отзыв неприятно поразил его.

«Срочно побывать на участке Ефимова», — записал парторг для себя. Такими заметками был испещрен делегатский блокнот Залкинды. Каждое выступление рождало все новые и новые мысли. «Какая сложная машина, эта стройка», — с беспокойством и одновременно с удовлетворением отмечал про себя Залкинд и приходил к выводу, что надо просить крайком и Москву освободить его от обязанностей секретаря горкома. Дальше совмещать работу было невозможно.

Два дня работала конференция. В заключение делегаты приняли письмо к товарищу Сталину — они давали слово коммунистов, что выполнят в срок правительственное задание по укладке дальневосточного нефтепровода.

Глава двенадцатая

Умара Магомет торопится на трассу

Потемневшая, почти черная дорога пролегла по белой глади Адуна. Грузенные машины через каждые десять минут скатывались с наезженного крутого берега на лед и быстро исчезали за поворотом.

Пользуясь хорошей погодой, со Старта усиленно везли на трассу продовольствие и материалы. Со всего края непрерывно прибывали группы рабочих — их тоже надо было перекинуть на трассу до первых буранов.

Предстоял выход очередной партии строителей на дальний участок — на пролив. Людям нужно было покрыть расстояние в несколько сотен километров. Батманов поручил их отправку Ковшову, Либерману

и Родионовой. При этом было сказано решительно: они отвечают за сохранность каждого человека. Раню утром они втроем пришли на Старт.

В просторном бараке от двух раскаленных железных печей—нестерпимая жара. Ярко светила огромная электролампа, подвешенная на шнуре под деревянной крышей. В помещении шум голосов. Колонна в триста человек готовилась в путь. Ольга Родионова — в цыгейковой шубе и пушистом сером капоре—осматривала людей: как обуты и одеты. Фельдшер каждого снабжал вазелином на случай обморожения.

Возле барака Либерман придирчиво проверял снаряжение колонны, погруженное на две автомашины—продовольствие, походные кухни, запасное обмундирование, личные вещи рабочих. Нерасторопность, неполадки! Он ругался с десятником Гончаруком, возглавлявшим колонну,—высоким, сумрачного вида человеком с густыми черными бровями и синеватыми после бритья щеками.

— Откуда же мне знать, что вы собирались дать нам еще и рыбу! Сами не уследили, а теперь бранитесь, — нервничал Гончарук.

— Маменька родная, нельзя человеку слово сказать! Вы должны требовать. Чем больше потребуете, тем больше вам дадут — есть такой закон природы.

Ковшов отозвал Гончарука и вместе с ним обошел отъезжающих, проверил их по спискам, записал поручения. Здоровенный детина, тракторист Ремнев, расспрашивал, куда они едут, сколько времени пробудут в пути — это интересовало всех.

— Участок у вас самый дальний и трудный, — говорил Алексей. — Продвигаться будете от участка к участку. Где позволит дорога — на машине, где на своих двоих. Обманывать не хочу: и в дороге, и на месте придется, конечно, немало перетерпеть.

— Трудностей не боимся, сынок, ко всякому лиху привычны, — отозвался сутулый и на вид очень сильный старик, землекоп Зятков. — Только бы пошустрей добраться до этого пролива. Важно осесть на месте и вцепиться в работу, остальное придет само собой.

Ольга спорила с маленьким, широким в плечах человеком.

— Не могу пустить вас, вы простужены, — говорила она спокойно, но настойчиво. — Сляжете в дороге. Лучше переболеть здесь. Ничего страшного не произойдет, если вы задержитесь на три дня.

— Ничего не слягу, — наступал на нее человек. — Зачем мне болеть? Я здоров, как коров. На кашель не смотри, он у меня всегда, он от дыма, я курячий.

— Не будем возвращаться к этому. Я вас не могу пустить, — решительно сказала Родионова и пошла дальше.

Человек опередил ее и загородил дорогу, став прямо перед ней. Разгоряченный, он снял шапку, обнажились большие уши и торчащие вихрами черные жесткие волосы.

— Будем возвращаться! Я тут скорей больной буду. Для меня без работы сидеть — собака-жизнь. Меня на стройка сам Дудин посылал, секретарь крайком партии. А ты болеть велишь! — Он все больше сердился. — Почему ты такой бездушный, доктор? Не могу я отстать от товарищ. Вместе все хотим быть. Седьмого ноября хотим уже на участка быть, план свой выполнять хотим. И так время теряем. Должен ехать. Не мешай.

— Я вам хорошего хочу, не плохого, — уговаривала Родионова.

— Не надо мне такого хорошего, пусть будет плохое.

Готовые к походу люди прислушивались к спору и посмеивались.

— Пустите вы его, ничего ему не сделается! — попросил Ремнев за товарища.

— Это Умара Магомет, сварщик. Не пускаю его, он простужен. Скандалит, — сказала Ольга подошедшему Ковшову.

— Пустяк, ничего не болит, ничего не простудился. Скажи ей, товарищ инженер, пусть не мешает. На фронте из-за насморк или кашель от боя не освобождают.

Умара насел уже на Ковшова, ловя его взгляд маленькими блестящими глазками. Алексей придирчиво осмотрел сварщика, тепло одетого в новое ватное обмундирование.

— Не держите его, пусть едет под мою ответственность. Если заболится, я его вылечу, когда приеду на пролив.

— Вот спасибо, инженер! Никогда не забуду. Ай спасибо! — закричал Умара Магомет, легко подхватил мешок с вещами и первым кинулся на посадку.

Люди разместились в десяти крытых грузовиках-фургонах. Перед самым отправлением колонны подкатил на легковой машине Залкинд. Он был в тулупе и меховых унтах. Как выяснилось, парторг собрался на третий участок. Его сопровождал Темкин. Залкинд отправил свою машину в гараж и забрался вместе с Темкиным в один из фургонов к рабочим. Тяжелые автомашины неторопливо покатались по льду. Умара Магомет высунулся из фургона и крикнул Ольге:

— Доктор, эгей! Приезжай, пожалуйста, на участок, ко мне в гости. Рад буду! Посмотришь на мой сварка, погреешься. На мое здоровье посмотришь. Приезжай, ждать буду!

Алексей и Ольга, словно повинувшись призыву Умары, немного прошли за машинами. Ольга казалась сумрачной. Алексей постеснялся ее расспрашивать; с того памятного вечера он не виделся с ней.

— Мне нужно поговорить с вами, — неуверенно сказала Ольга, подняв на него свои большие печальные глаза. В капоре с длинными наушниками она казалась большой девочкой. — Очень нужно поговорить.

— Хорошо.

— Вы нас забыли. Серафима не раз вас вспоминала. Она и Беридзе — как няньки. У них обоих материнская потребность кого-нибудь опекать. Я вас тогда напугала, поэтому вы не приходите, да? Вы не бойтесь меня. — Насмешливые искры мелькнули в ее глазах. — Я буду вас ждать.

Она улыбнулась и прибавила шагу. Немного озадаченный, Алексей пошел искать Филимонова, но Ольга окликнула его.

— Алексей Николаевич, вы простите меня. Я не в своей тарелке и говорю не то, что хочу. Мне нужна ваша поддержка. Помните, вы предложили мне ее? Так вот, я уже прошу о ней. — Она вынула из рукавочки забинтованную руку и дотронулась до его груди. — Мне больше не с кем посоветоваться. Беридзе я почему-то стесняюсь. Таня меня в этом не совсем понимает. Рогов вчера уехал, да ему как раз и не скажешь об этом. Вам я доверяю...

— Что случилось, Ольга Федоровна?

— Мне позвонил один знакомый, Хмара. Приятель мужа. Я его знаю по Рубежанску. Темный, плохой человек! — Ольга поежилась. — Он мне передал, что муж мой Константин Родионов... умер по дороге на фронт... скоростижно...

Она взяла себя за горло. Ковшов отвел эту руку, сжимающую горло.

— Спокойнее, Ольга Федоровна... Вы же сильная..

— Нет, нет. Я не знаю, умер он или...

— Но вы говорите...

— Когда Хмара мне сказал, я растерялась. Он раз пять окликнул меня, пока я опомнилась. Потом у нас начался бестолковый разговор. Я твержу: «Не может быть!» А он: «Что не может быть? Все люди смертны»...

Алексей слушал ее, волнуясь и не выпуская ее руки из своей.

— Я не верю, что он умер. Тут что-то странное. Странное и страшное! Ужасно, если он умер, но еще ужаснее, что я не верю в это! Хмара должен притти ко мне поздно вечером.

Подошел Филимонов.

— Я вечером буду у вас, — сказал Алексей Ольге.

Трактористы в замасленных полушубках ждали Ковшова и Филимонова возле мастерской.

— Двигай! — крикнул Филимонов. — «Улитки» пойдут потом, когда проверим их.

Визжали полозья тяжело нагруженных, укрытых брезентом санных прицепов. Тракторы один за другим, скребя гусеницами, трогались с места и выходили на ледовую дорогу. Им предстояло дотащить груз на участки, покрыв расстояние в сто—двести километров.

Остались четыре «улитки» — так называли на Старте большие крытые деревянные прицепы-домики на полозьях. В каждом была дверь и два маленьких окна, над крышей торчала труба с колпаком.

По мысли тракториста Силина, «улитка», приданная к трактору, предназначалась для обслуживания ледовой трассы. Тракторист и его напарник должны были поддерживать дорогу в проезжем состоянии, оказывать помощь автомашинам в случае аварий. Домик мог служить и мастерской, и жильем, и складом.

У одной из «улиток» Ковшова и Филимонова поджидал Силин — плотно сбитый парень с открытым лицом и хитроватыми глазами.

— Ну, готовы ваши дома-передвижки, — сказал Ковшов. — Посмотрим, каковы они на ходу. Сморчкова отправляем сегодня, потом уж и ваша очередь.

— Я готов в путь хоть сейчас..

Предложение Сморчкова и Силина о сквозных рейсах на автомашине и тракторе по всей трассе было принято, и несколько дней шофер и тракторист тщательно готовились к трудной поездке.

— Показывай свою квартиру, Силин, — сказал Филимонов.

Тракторист взбежал по деревянной стремянке внутрь «улитки». Следом за ним, наклоняясь, чтобы не стукнуться о притолоку, вошли инженеры. В домике пахло свежеструганным тесом, железом и щами. Втроем здесь было не повернуться. Тесное пространство занимали два спальных места — одно над другим, по вагонной системе, железная печка с коленом трубы, верстак и тиски, два табурета, ящики с продовольствием, уголь и дрова, разный железный хлам, ящики с инструментами и запасными частями.

Силин, опередивший инженеров, старался прибрать свою тесную квартирку: запихнул ногой под нары какой-то мешок, снял с верстака миску и хлеб, поправил одеяло на койке.

— Извините, не знал, что поинтересуетесь внутренностью, — оправдывался тракторист.

— Что ж ты для нас наводишь порядок? Порядок и для себя нужно соблюдать, — усмехнулся Филимонов. — Мы тут посидим, провези нас до технической базы.

Силин выбежал, и через минуту затарахтел трактор. Домик дрогнул, закрипел, дернулся раз-другой—и двинулся. Ковшов и Филимонов едва не свалились от толчка. Присев на табуреты возле печки, где пламенел уголь, они смотрели друг на друга, как еще не познакомившиеся соседи в поезде. За короткое время инженеры подружились и, часто сталкиваясь по работе, привыкли многое делать вместе или советуясь друг с другом. «Улитка» была одним из многих технических усовершенствований, которые вводились на строительстве. Сейчас, по существу, шло ее испытание.

— Правильная вещь, — сказал Алексей. — Сделаем таких еще несколько штук. Только нужно хорошенько продумать размещение барахла внутри. Всё свалено как попало.

— Закусим? — спросил Филимонов и вынул из кармана полушубка завернутые в газету ломти хлеба.

Они энергично жевали холодный хлеб с отвердевшей кетовой икрой и говорили о зимней сварке труб. Бывший главный инженер Грубский, ссылаясь на технические авторитеты, доказывал, что сварка труб зимой недопустима. Будто бы стыки, сваренные зимой при низкой температуре, в летнее время будут сильнее испытывать внутреннее напряжение в металле вследствие разницы температур. От этого прочность трубопровода понизится, и могут быть разрывы стыков под высоким давлением перекачиваемой нефти.

Алексею доводы показались убедительными. Он предложил, не отказываясь от зимней сварки, смягчить ее условия. Не поговорив предварительно с Беридзе, он разработал технологию смягченной зимней сварки. Чтобы избежать воздействия на металл низкой наружной температуры, Ковшов решил делать сварку в особых полуразборных переносных камерах с внутренним обогревом воздуха. Эта идея понравилась и Филимонову.

Результат получился неожиданный. Беридзе сразу забраковал сварку в камерах, легко доказав, что она технически и экономически нерентабельна. Соображения Грубского он назвал инженерской заумью, так как сварка зимой, по его мнению, практически не влияла на прочность стыков. В довершение всего он отчитал Ковшова за трату времени на бесполовые проекты. Алексей без огорчения, даже с видимым удовольствием передавал теперь Филимонову свой разговор с главным инженером.

Скрип и содрагания «улитки» прекратились. Инженеры вышли. Блеск солнца на снегу, нестерпимый после полутьмы, заставил их зажмуриться.

Подошел Силин, ждал оценки. Алексей сказал:

— «Улитка» хороша. Готовьтесь к отъезду.

На технической базе шла погрузка труб. Они лежали штабелями на приподнятых над землей стеллажах, протянувшихся на километр вдоль берега. Автомшины с санными прицепами подкатывали к стеллажам и становились под погрузку. Двое рабочих откидывали толстые стойки прицепа. Двое других, зацепив трубу с обеих сторон крючьями, тащили ее по наклонным рельсам к спуску. Похожая на дуло большого орудия, груба со скрежетом и визгом скользила по рельсам и плавно скатывалась на раму прицепа. На каждую машину нагружали до четырех труб.

— Теперь другое дело: три минуты — и готово, — сказал Алексей, следя по часам за погрузкой. — И совсем легко, а то, подумать только, на горбу таскали такую тяжесть!..

— Пойдем к Сморчкову, он здесь, — предложил Филимонов.

Шофер, с озабоченным лицом, обстоятельно и, видимо, не в первый раз осматривал прицеп, стойки, удерживающие груз пяти труб, сцепление прицепа с автомашиной.

Вокруг стояли в ожидании другие шоферы — товарищи Сморчкова. Они переговаривались:

— Ехать ему до самого пролива. Туда и дороги нет.

— Неужели трубы до конца потащит?

— Нет, зачем же! Трубы он разгрузит на седьмом участке и там возьмет в кузов обычный груз.

— Рискованное дело!

— «Рискованное»! У нас среди шоферов есть такие орлы, что боятся на две сотни километров в рейс итти. Разные предлоги выдумывают, чтобы только не ехать. Пусть попробуют отказаться, когда Сморчков сделает свой прогон по всей трассе!

— Ну как, товарищ Сморчков? — спросил Филимонов, подходя к машине.

— Готов, жду вашей команды, — ответил шофер.

— Если готовы — отправляйтесь.

— Желаю удачи, от всей души! — Алексей протянул шоферу руку. — Надеюсь встретиться на проливе.

Сморчков распрощался с инженерами и с товарищами, забрался в кабину, подозвал напарника и мягко нажал на рычаг. Машина мгновенно преодолела тяжесть прицепа, потом с заметным усилием стронула его с места. Перед инженерами проплыл профиль Сморчкова, смотревшего прямо перед собой. В своей шапке-ушанке он походил на пилота.

Ближний путь по Адуноу, как и говорили на Старте, был вполне проходим. Машины с колонной Гончарука к ночи добрались до третьего участка, куда ехал Залкинд. В дороге парторг не терял времени даром: пересаживаясь из машины в машину, он знакомился с попутчиками, рассказывал о строительстве, отвечал им на бесчисленные вопросы.

Люди держали себя, как одна семья, перебивавшаяся со старого места жительства на новое, — их сроднила тревога за Москву и сознание того, что они в этот суровый час объединились для общей задачи. Недаром они с такой надеждой ждали ответов парторга: каждый из них и личной судьбой был связан с боями, что шли на Западе. Сын старика Зятькова сражался под Ленинградом, младший брат — на Черном море. У Гончарука на Украине остались под немцами родители и сестры. Тракторист Ремнев рассказывал, что недавно проводил на фронт закадычных дружков. Два брата сварщика Умары Магомета проделали тяжкий путь отступления от белорусских границ до Москвы...

Временное бездействие томило новых строителей нефтепровода, не терпелось поскорее добраться до пролива и взяться за работу. Людей подбодрило беспрепятственное движение по ледовой магистрали, они заметно повеселели.

— Зря, выходит, настраивали нас на трудную дорогу, — говорил Ремнев, осторожно поворачиваясь в кузове машины, чтобы огромным

своим телом не потеснить лежавших рядом товарищей. — Быстренько доедем.

Из темноты фургона снова прозвучал голос Залкинда:

— Не обольщайтесь, товарищи. Впереди долгий путь и тяжелый. Еще придется помучиться.

На участке парторг поручил Темкину устроить на отдых уставших за дорогу людей. Распрошавшись с ними, он отправился в контору, жалея, что в ночное время нельзя сразу же посмотреть хозяйство участка. Слова Темкина подтверждались: Ефимов нарушил приказ управления — до сих пор он оставался со штабом на правом берегу.

Освещая путь фонарем, Залкинд шагал по торосистому льду Адуна и раздумывал о Ефимове. Михаил Борисович помнил его: Ефимов прибыл в Новинск среди первых комсомольцев. Он хорошо работал и выдвинулся из рядовых плотников в руководящие работники. Его приняли в партию. Незадолго до войны Ефимова послали на строительство нефтепровода.

Участок стоял на месте покинутого три года назад нанайцами небольшого стойбища Гирчина. Залкинд однажды приехал сюда в связи с тем, что жители Гирчина перебрались на левый берег, слившись в один колхоз с другим стойбищем. Низенькие круглые фанзы стояли вперемежку с одноэтажными широкими домами, построенными участком. Контора участка, должно быть, жила привольно — Ефимов один занимал целый дом.

Залкинд заметил скопление грузовых машин возле этого дома и вступил в разговор с шоферами, толпившимися у крыльца.

— Вы у Ефимова спросите, почему мы торчим тут! — ответили они. — С одного берега на другой гоняет, ничего не поймешь.

— С утра еще сказали, что начальник участка новый приказ нам будет объявлять — вот и ждем.

У Ефимова все было заведено, как в крупном учреждении — кабинет, большая приемная, секретарь. В приемной теснились люди, сидели, стояли, переговаривались между собой, спорили с рыхлой флегматичной женщиной, сидевшей за секретарским столом. Несколько человек окружили Сморчкова. Шофер рассказывал о партийной конференции. Увидев Залкинда, он поспешил к нему.

— Сморчков? Ты уже здесь?

— Что ж получается, товарищ Залкинд? — взволнованно заговорил Сморчков. — Мне ведь снарядиться надо, я спозаранок дальше ехать должен. А здесь ни черта не добьешься. Горючего на заправку не дают, и покормить не догадались. Один начальник участка власть имеет, остальные у него пешки. И попасть к нему труднее, чем к наркомку. Вы уж помогайте...

— Ничего, Сморчков, все получишь, немножко потерпи.

Залкинд присел, закурил и завел беседу с ожидавшими приема. Они, не стесняясь, ругали Ефимова. Десятники ждали весь вечер, пока начальник участка лично посмотрит и утвердит расстановку бригад на завтра. Экспедитор возмущался тем, что Ефимов не подписывает какую-то бумажку на получение хлеба для рабочих левого берега: пекарня, как и все бытовые предприятия, оставалась еще на правом берегу. Комендант рабочего поселка нервничал: нужно было к утру успеть подвезти дрова из лесного склада. Однако Ефимов почему-то не давал разрешения на транспорт.

— Своими двумя руками и дурной головой хочет заменить тысячу рук и пятьсот хороших голов, — проговорил Сморчков.

В кабинете Ефимова, как и в приемной, скучали несколько посетителей, и, судя по ожесточенным лицам, уже давно. Внимание Залкинда привлекла стоявшая у печки небрежно заправленная кровать. Странно было видеть ее в служебном кабинете. Ефимов громко кричал в трубку телефона. Он не оставил ее и при появлении Залкинда, только встал, чтобы с ним поздороваться. Из выкриков Ефимова можно было понять: он разговаривает с председателем рыболовецкого колхоза, требует вернуть данные займы пятьдесят килограммов гвоздей. Со своим измученным, небритым, казалось неумытым лицом, седыми волосами и воспаленными глазами, он выглядел больным.

Наговорившись досыта, Ефимов опустил ожидавших его работников и с усталой улыбкой посмотрел на Залкинда.

— Давненько не видел тебя, Михаил Борисович. В гости пожаловал ко мне? Раздевайся, у меня тепло.

— Сколько тебе лет, товарищ Ефимов? — спросил парторг.

— Тридцать три. Почему заинтересовался?

— Помнишь Терехова? Ты ровесник ему, а по виду годишься в деды и уж наверняка в папашу. Седой, страшный, форменный старик. Болелешь, что ли?

— Не болею — измотался с участком. Трудно работать в военное время. Людей толковых нехватает, то того, то другого нет. Управление не пойму — зачем-то на левый берег надо перескакивать. Только устроились — и все снова налаживай. Круглые сутки нервничаешь, кричишь. Нет покоя ни на минуту. К вечеру голова разрывается, только и выезжаю на пирамидоне.

Как бы в доказательство, Ефимов достал из ящика стола пакетик пирамидона, вытряхнул порошок на язык и запил его водой. Залкинд наблюдал за ним, с трудом сдерживая раздражение.

— Значит, на пирамидоне выезжаешь? Плохого ты себе коня выбрал. На нем далеко не ускачешь.

— Да, подохну, наверное, скоро, сгорю на работе, как говорится, — охотно согласился Ефимов. — Придется вам, товарищи, искать другого начальника участка.

— Эх ты, неврастеник! Тряпка! — вспыхнул Залкинд. — Я-то думал, из тебя работник получится.

Он встал и вплотную подошел к столу Ефимова. Тот растерянно поднялся с места.

— За что ты на меня, Михаил Борисович, накинулся?

— За то, что проваливаешь дело! За то, что надежд наших не оправдал!

— Не оправдал надежд? Делаю все возможное. Если что не так... большого никто не сделает.

— Все делаешь не так. Сам не понимаешь, что делаешь.

— Работаю день и ночь. Никому не даю покоя. Живу в кабинете, даже койку свою поставил здесь.

— Вот, вот! Задергал себя и людей. Занимаешься каждым килограммом горючего, вместо экспедитора или агента по снабжению. Боишься, что рабочие лишнюю буханку хлеба съедят. К тебе вынуждены приходиться за разрешением на каждый рейс машины. Это у тебя называется — бороться за экономию? Одним словом, решил на участке работать единолично, никому не доверяя. Чему ты тогда научился, если не понял главного: вся сила в коллективе? Правду говорят, будто люди для тебя — пешки.

— Я никогда от тебя ничего подобного не слышал, — беспомощно бормотал Ефимов.

— Так слушай, коли заслужил! Я Терехова, товарища твоего, не даром вспомнил. Условия у него легче, чем у тебя? Нет! Он настоящий директор, глава заводского коллектива, не экспедитор. И не сидит, представь себе. Терехов всегда побрит, свеж, в новом костюме — сидит в кабинете, как на именинах. И умирать не собирается — знает, что партии и государству здоровые и здоровые работники нужны, чтобы врага победить. Я был у него на днях на заводе — и словно кислороду надышался. Давно ли он задание получил, а уже дает фронту боеприпасы. А тебе с кабинетом жалко расставаться, и ты сидишь в нем, когда дело твое и люди — на том берегу. Выходит, права партийная организация: снимать тебя надо с должности, не справляешься ты с ней.

Ефимов переменялся в лице, губы у него задрожали, задержались:

— За что же снимать? За преданность мою?

— Одной преданности мало. С тебя спрос большой, ты — руководитель.

Залкинд провел рукой по лицу и сел. Он был взволнован и заставлял себя успокоиться. Неужели ошиблись они в Ефимове, и придется теперь снимать его с работы? Ефимов с гримасой проглотил еще один порошок.

— Запутался, сбился с правильного пути, — сердился Залкинд. — Или не видишь сам, что запутался? Прислушался бы к голосу Темкина — голос у него тихий, зато верно поставленный. Звал бы на помощь управление. Оно не за горами, и хорошая дорога теперь к нему идет. Откуда в тебе спесь? Ты даже от партийной конференции отмахнулся. Дела важные, видите ли, помешали — пятьдесят килограммов гвоздей вырубал. Какой делец! Вот и не понял, что такое война!

Ефимов снова полез в стол.

— Довольно тебе порошки глотать! Другое лекарство я тебе пропишу.

Они посидели молча. Из приемной доносились голоса. Залкинд прислушивался к ним.

— Что ж мне делать-то, Михаил Борисович? — с отчаянием спросил Ефимов. — Ты убил меня совсем.

— Уж и убил! — усмехнулся Залкинд. Он облокотился на стол и посмотрел Ефимову в глаза. — Батманов, наверное, будет настаивать на твоём отстранении, и справедливо. Но я в партию тебя принимал, и мне за тебя обидно. Не хочу, чтобы ты сам себя раньше времени хоронил. Твой участок возьму под личную опеку. Попробую с коллективом тебя сдружить, посмотрю, сможешь ли ты работать в тысячу рук, а не в две. Трудиться будешь, как сейчас — день и ночь, только без порошков. Либо станешь нормальным начальником участка, либо придется тебе начинать все сначала, с рядовых плотников. Понял?

— Понял, — слабым голосом ответил Ефимов.

— Голос-то у тебя, как у Темкина стал — тихий, — улыбнулся Залкинд. — А он что-то раскричался, слышишь? — Они оба взглянули на дверь. — Иди, зови сюда людей, всех, сколько есть. Они работать хотят, нечего их держать в приемной.

Теперь Залкинд скинул с себя полушубок. Он стоял посредине комнаты, ждал людей — и они входили, неуверенные, сердитые, хмурые...

Дверь открыла сама Родионова. Кажется, она была искренно обрадована — стояла около Ковшова, пока он раздевался.

— Серафима ушла в гости. Беридзе дома, — говорила Ольга. — Но вы ко мне...

При ярком свете лампы под желтым шелковым абажуром в глаза Алексею бросилось, что хозяйка одета не по-домашнему: в костюме, боты.

— Вы собирались уходить? — спросил он.

— Нет, уже нет. Но еще пять минут, и я пошла бы искать вас. Спасибо, что не забыли.

Ольга коснулась висков кончиками пальцев — они были у нее длинные и тонкие, чуть красноватые в суставах. Она прислушивалась.

— Нельзя так нервничать, вы взвинтите себя до истерики. Давайте поговорим спокойно, обсудим трезво...

— Вы правы. Я, наверное, доведу себя до безумия. Утром вам дико показалось, как я говорила о смерти мужа...

Сбивчиво и беспорядочно она рассказала о Константине. Они познакомились в Рубежанском медицинском институте, когда Ольга была еще студенткой, а он преуспевающим, красноречивым доцентом кафедры невропатологии. После первой же лекции Родионов начал ухаживать за ней — настойчиво и как-то безапелляционно. После выпускного вечера началась их совместная жизнь. Были в ней хорошие дни, и сейчас она не могла бы сказать о них ничего дурного. Каким внимательным, заботливым и даже нежным мог быть Константин, когда хотел! И этот человек сделал ее несчастной. Нет нужды вспоминать во всех подробностях, как она постепенно перестала доверять ему. Наконец, пришло прозрение. Полное. Это случилось в его последний приезд к ней. После ласковых и нежных предисловий Константин заговорил о белом билете. Ко всему другому он оказался и трусом.

— Я не могу, не могу понять, — с тоской и негодованием говорила Ольга, — откуда эти люди? Почему они сохранились? Они легко относятся к жизни, смеются над работой, общественным долгом, над семьей, над любовью, над детьми... И Константин, и Хмара — они одинаковые. Событыльники. Друзья во всем. Только и разницы, что один — врач, другой — геолог. Ненавижу их обоих!

Она подошла к двери. Ей все казалось, что идет Хмара.

— Перед вашим приходом я снова перечитала письмо Константина. Ложь! Вчера он прятался от мобилизации. Может ли он сегодня искренно написать такое письмо? Прочтите сами, если хотите, — она схватила розовый конверт и протянула Алексею.

— Не буду читать. — Ковшов брезгливо посмотрел на письмо.

— Не верю и никогда не поверю! Они задумали какую-то гнусность. И у меня такое чувство, будто я тоже замешана в ней.

Ольга села возле Алексея. Он чувствовал, что она ищет в нем защиты. Ее волнение, ее тревога передались ему.

Он сказал:

— Решим так. Вам нужно перебороть себя. Постарайтесь отнестись к этому человеку, что придет к вам, без предубеждения. Скорее всего, он только передатчик этой печальной вести. Тогда ваша недоверчивость и подозрительность нелепы. Если же Хмара действительно участвует в каком-то обмане, и цель его — уверить вас в смерти мужа, то вы лишь насторожите его. Я готов присутствовать при вашей встрече. Но лучше все-таки не мешать вам. Без меня он будет вести себя откровеннее. Я посижу у Беридзе. В случае нужды вы позовете меня.

— Верно, Алеша, верно. — Ольга быстро встала, в ней проснулась энергия. — Как вы хорошо решили. Пусть будет так. Я одна приму Хмару.

— Можно задать один вопрос?

— Спрашивайте, Алеша.

— Вот вы очень решительно заявили: Родионов и этот геолог — Хмара — скверные и даже опасные люди. По отношению к вам лично? Или вы считаете их опасными и социально? Чего от них можно ожидать?

— Справедливый вопрос. Плохо, что я сама себе его не задавала. — Ольга ответила не сразу. — Да, мне кажется, что от них можно ожидать плохого, и даже очень плохого. И не только для меня, но и вообще... Не думайте, что во мне говорит оскорбленное достоинство или обида. Я сейчас объективна. Судите сами. Они эгоисты в каждой своей черточке. То, что мы считаем главным в жизни, им безразлично. Я могу кое в чем ошибиться, но я знаю, до чего они морально испорчены. Эта любовь к деньгам, вещам и удовольствиям. Эти насмешки над всем, что дорого настоящему человеку. Это глупое пристрастие к заграничному. Это неуважение к людям. Как я не увидела этого раньше! Да нет, Хмару я раньше разгадала. И всё пыталась настроить Константина против него.

Ольга с мрачной решимостью порылась в коробке, достала кусок черной ленты и прикрепила его к портрету мужа.

— Траур. Жив ли, умер ли — все равно. Теперь мне нужно переодеться.

— Я пройду к Беридзе, — сказал Алексей.

— Только не говорите у Беридзе о Хмаре. Там сидит Таня, а она не любит слышать о нем. Боюсь, как бы она мне не помешала.

Дверь в комнату Беридзе была чуть приоткрыта. Алексей остановился в коридоре. Таня сидела рядом с Беридзе за столом, темный колпак настольной лампы скрадывал свет, их лица тонули в полумраке.

«А ведь хорошая бы получилась пара! Георгию пора заводить семью. Сто лет ищи — и не найдешь такую, как Таня», — подумал Алексей, искренно радуясь за товарища.

— Хорошо, что вы праздник пробудете здесь, — говорил Беридзе. — Я ходил сам не свой, пока Батманов не согласился отложить отправку вашей колонны. Хоть эти три дня видеть вас, слышать вас...

— Зато я не рада. Лучше бы завтра выходить. Зачем вы меня тревожите, Георгий Давыдович?

— Я сказал вам. И скажу еще раз. Буду говорить без конца: полюбил я вас! Понимаете, полюбил! — Беридзе с какой-то ликующей силой произнес эти слова признания.

— Не надо! — вскрикнула Таня. — Разве можно так, сразу? Я же все понимаю. Вы одиноки. А характер у вас такой: вы обязательно должны о ком-нибудь заботиться. То, что вы называете любовью ко мне, это только готовность любить, заботиться о ком-то. Я прошу вас, не говорите об этом со мной.

— Вы уйдете с колонной, и мы долго не увидимся. Почему же я сейчас не могу высказать то, что все равно должен когда-нибудь высказать?

Ковшов оказался в неудобном положении человека, который невзначай подслушал чужой секрет. Но и в комнату Родионовой он вернуться не мог. Он хотел закрыть дверь — и не закрыл: всем сердцем Алексей был на стороне Беридзе и хотел знать конец объяснения.

— Почему вы не верите мне! — донеслось восклицание Георгия Давыдовича. — Я искренно говорю то, что чувствую.

— Верю в вашу искренность. И не верю, что можно с первого взгляда полюбить человека. Давно ли мы с вами познакомились?

— А если я такой, что могу полюбить сразу, с первого же дня? Как мне доказать вам мою любовь?

«Попался, борода!» — с улыбкой подумал Алексей.

— Как можно полюбить, не зная человека? За что полюбить? — спрашивала Таня растерянно.

Они замолчали. В тишине четко тикали ходики.

— Что же делать, Таня? — вздохнул Беридзе. — Скажите, я подчинюсь вам...

— Наверное, надо подождать. Думается, все это у вас пройдет так же быстро, как и появилось.

...Неожиданно раздался громкий стук во входную дверь. Ольга выбежала встретить гостя. Ковшов притворил дверь к Беридзе и прошел на кухню, во владения Серафимы, где было тепло и пахло пирогами.

Поздний гость имел солидный вид. На нем было кожаное пальто, черные фетровые валенки с отворотами, кубанка, гимнастерка и галифе — ординарная одежда, излюбленная многими советскими работниками. Внешность его располагала к себе: широкое обветренное лицо, прямой взгляд темных глаз, твердые, слегка поджатые губы.

— Здравствуй, Ольга, милая, — воскликнул он, посмотрел Родионовой в лицо и поцеловал руку. — Ты проси, я неловко выполнил свою задачу. Много думал по дороге, и ничего умного не придумал. Жаль Константина, искренно жаль!

Он держался непринужденно, просто и в то же время смущенно, как и должен вести себя человек в его положении. Однако Ольге, обостренно воспринимавшей каждое слово и движение Хмары, показалось, что она уже уловила в нем какую-то фальшь.

Не дожидаясь расспросов, гость принялся рассказывать. Константин долго ждал ответа на свое заявление, а потом все произошло молниеносно: вызвали в военкомат и дали два часа на сборы. О смерти сообщили его попутчики по эшелону, они же прислали чемодан. Всех знакомых поразила смерть Константина, он не производил впечатления больного человека. Ему очень хотелось на фронт, он буквально рвался туда — и вот не доехал. Уж лучше бы, конечно, погибнуть в бою. Но ничего не поделаешь — суждено умирать не только в сражениях.

Ольга слушала, опустив глаза. Она не умела лгать сама и не могла слышать, как лгут другие. Ей хотелось остановить его, крикнуть в лицо: «Неправда! Константин не рвался на фронт, он трус — такой же, как и вы! И он не умер!»

Хмара вручил ей чемодан и подчеркнул: вещи в неприкосновенном виде. Ольга, не раскрывая, поставила чемодан под вешалку. Как бы считая законченной траурную часть своего визита, Хмара сказал веселым голосом:

— Не мешало бы помянуть дружка по обычаю. Не найдется ли у тебя немного водочки и к ней что-нибудь перекусить? Я здорово проголодался. — Хмара, смеясь, напомнил: — Ты меня не жаловала в Рубежанске, я порой боялся к вам заходить. Вооружала против меня Константина. И зря: я верный друг ему и тебе.

Ольга зашла на кухню, чтобы собрать ужин, и наткнулась на смиренно сидевшего Алексея.

— Я ему не верю! Понимаете, не верю! Он лжет! — прошептала она Ковшову на ухо.

Когда Ольга вернулась в комнату, Хмара сидел у стола и в упор смотрел на портрет в трауре, что-то бормоча и как-будто посмеиваясь.

Он не скрыл этого выражения, переводя взгляд на хозяйку, — и словно кипятком плеснул ей в лицо. Она все время ждала, что Хмара себя выдаст — так и вышло. Теперь она убедилась: ее обманывают. У нее хватило сил не растеряться.

За ужином Хмара развлекал хозяйку рассказами о жизни в крайнем центре. Хмара признался: как и раньше, он любит выпить, хорошо покушать, погулять, поволочиться, и вообще ничто из удовольствий ему не чуждо. Работа у него солидная, не беспокойная, его ценят, заработок и возможности, в общем, не хуже довоенного.

— Красивая ты, богиня! — сказал Хмара с искренним одобрением. — Константин не оценил тебя. Хочу дать совет, хоть ты, наверное, и рассердишься на меня: не слишком-то горюй о нем. Слезами его не воскресишь. Он был великий грешник. Лучше постарайся уравновесить его грехи своими грехами. Бог тебе простит их! — Выпив, Хмара сделался развязным, его учтивость пропала. Он попытался поймать руку Ольги своей жесткой рукой.

— Перестаньте! — резко отстранилась Ольга. Она уже не могла больше выносить наглуую болтовню Хмары и ждала, когда появится Алексей.

Ковшов, сидевший на кухне, отчетливо слышал каждое слово. Рассказ Хмары поначалу звучал правдоподобно, и Алексей подумал, что Ольгу обманывает ее предубеждение к этому человеку. Но по мере того, как у Хмары развязывался язык, Алексей терял к нему доверие и, не видя геолога, проникался к нему антипатией. Ковшов пожимал плечами. Как понять, почему эти люди, не лишённые ума и способностей, сами избрали для себя жалкую участь? Каким нелепым выглядел Хмара с его мелкими страстишками! А тот, второй, пустившийся во все тяжкие, лишь бы не попасть на фронт...

Услышав восклицание Ольги, Ковшов вышел из кухни.

— Можно к вам, Ольга Федоровна? — громко спросил он. Хмара вопросительно взглянул на хозяйку.

— Сосед. Инженер из нашего управления, — сказала она.

Алексей произвел на Хмару, казалось, приятное впечатление. Геолог легко завел с ним разговор. Он объяснил служебную цель своего приезда в Новинск, обнаружил знакомство с делами стройки, назвал Грубского старым товарищем. По мнению Хмары, в Рубежанске к строительству нефтепровода относятся отрицательно, считают его сейчас лишним, так как все силы нужно отдать фронту. Еще недавно Алексей пропустил бы эти слова мимо ушей. Но произнесенные Хмарой, они задели, возмутили его. Инженер с трудом подавил желание резко, в обычной своей манере, возразить.

Наконец гость поднялся. Он выразил надежду и пожелание увидеть Ольгу и Алексея у себя в Рубежанске. Одеваясь, сказал хозяйке

— Совет мой не забудь...

Ковшов сжал кулаки — его бесил цинизм этого человека. Едва гость ушел, Ольга устало опустилась на кровать. Глаза ее наполнились слезами.

— Возьмите себя в руки, нельзя же так! — коснулся ее плеча Алексей. -- Я догоню его, мне хочется с ним еще поговорить.

— Хорошо, хорошо, — безучастно соглашалась Ольга.

.. Ковшов вышел на улицу. Хмара стоял неподалеку от дома возле легковой машины, ожидавшей его.

— Расстроили вы хозяйку, — сказал ему Алексей.

— Что же поделаешь. Не обманывать же ее!

— Вы нагрязнули так неожиданно. Ольга Федоровна не верит, что Родионов умер, — вдруг сказал Алексей, подходя к Хмаре совсем близко.

Геолог, широкоплечий и сильный, стоял, заложив руки в карманы и широко расставив ноги.

— Не верит? Пусть проверит, в таком случае. Его похоронили на станции Тайшет. Вот женщина! Сколько он ее мытарил, а она его жалеет. Зря! Забыть его надо сразу. — Он посмотрел на Алексея и осклабился. — И думаю, она его забудет, очевидно с вашей помощью. Вам повезло, молодой человек!

Алексей ничего не успел ответить. Хмара сел в машину, пожелал спокойной ночи и умчался.

Глава тринадцатая Утро седьмого ноября

Голос Сталина возник внезапно, застал врасплох, хотя выступления ждали долго. Люди замерли на своих местах.

Сталин говорил спокойно, неторопливо, с огромной внутренней силой. Некоторые слова его, преодолевая тысячеверстные пространства, терялись в эфире среди шума и треска. Собравшиеся в клубе не услышали начала. Создалось такое впечатление, будто радиозузел запоздал включить передачу.

— Прозевали, растяпы! — звонко прошептал Гречкин и оборвал шёпот — стоявший позади Алексей толкнул его в спину.

Не отрывая глаз от репродуктора, побледневший Ковшов впитывал каждый звук, подчас скорее угаданный, чем услышанный. Вся сознательная жизнь поколения Алексея была неотделима от Сталина, от его деятельности, от его книг и выступлений. Со школьных лет, с того дня, когда прозвучали слова: «Клянемся тебе, товарищ Ленин»... для Алексея Ковшова и его сверстников Сталин навсегда стал тем единственным учителем, чей авторитет был неизменно ясен и непререкаем. Когда началась война и у многих, даже самых испытанных и мужественных людей дрогнули в тревоге сердца, мысли их с надеждой обратились к Сталину. И они услышали его проникновенные слова: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои».

...Теперь Сталин снова поднялся на трибуну. В эти минуты для Алексея ничего не существовало, кроме сталинского голоса. Этот голос вливал в него веру и волю.

Сталин не успокаивал. Он знал, что народу не нужны утешения, ему нужна правда. И, как всегда, народ услышал эту правду от Сталина: «...опасность не только не ослабла, а наоборот еще более усилилась. Враг.. угрожает нашей славной столице — Москве...»

Он, утвердивший в стране сознание, что самым ценным капиталом на свете является человек, мужественно сообщал народу о гибели в боях за Родину сотен тысяч советских людей. Глубокая боль слышалась в его замедленном голосе.

Не стыдясь окружающих, вдруг заплакала Женя, совсем по-детски, всхлипывая и причитая. Горячий ком подкатил к горлу Алексея, стеснил дыхание. Батманов, стоявший возле Жени, поднял руку и безмолвно погладил ее по голове: казалось, он приласкал всех, находившихся тут, будто одна за всех горевала эта веселая и полная жизни девушка.

«Наше дело правое, — победа будет за нами!»

Несколько минут в рупоре бушевала буря аплодисментов. И здесь — далеко от Москвы, среди глубокой ночи — три сотни людей, собравшихся в деревянном клубе на берегу Адуна, также неистово рукоплескали Сталину.

Гул репродукторов внезапно прервался, его сменили торжественные звуки гимна. Потом наступило безмолвие...

— Какое счастье, что у нас есть Сталин, товарищи! Что было бы с нами без него? — звонко крикнула Таня в тишине. И снова все зашумели, захлопали в ладоши.

Алексей выбрался из толпы. Его остановил Беридзе — взволнованный, бледный с воспаленными глазами:

— Пойдем ко мне, Алексей. Надо поговорить...

— Извини меня, Георгий Давыдович, не могу. Должен побыть наедине. Отложи разговор до утра. Да оно уже началось, утро. Потерпишь часа три?

— Потерплю, — буркнул Беридзе, резко повернулся и ушел, не оглядываясь.

Ковшова окликнул Гречкин.

— Подожди, Алексей Николаевич! Пойдем вместе, найдем двести...

Инженер ускорил шаги, будто не услышав окрика. Слова Сталина жили в нем, и он не мог допустить, чтобы значительность пережитого растворилась в пустяках, в малозначащих обыденных разговорах. Запахнув полушубок и надвинув шапку на уши, он побежал по укатанной и скользкой дороге — домой. Луна высоко стояла в небе; капли звезд неисчислимо усыпали чистый небосвод. Снег, снег простирался вокруг, зеленоватый и фосфорисцирующий под луной.

Алексей постоял возле общежития, несколько раз глубоко вдохнул свежий морозный воздух. Из клуба в разных направлениях растекались люди, голоса их звучали стеклянно и отрывисто. Завидев Гречкина, приближавшегося с Таней и Женей, инженер быстро вошел в дом. Одна из дверей в коридор приоткрылась ему навстречу. В нее просунулась голова Лизочки с светлыми редкими волосами. Она взглянула на него острыми глазами и с заведомым недоверием осведомилась:

— Моего-то не видали?

— Сейчас придет...

— Бегают все! Четырех детей заимел, скоро пятый прибавится, а самостоятельности не прибавляется ни на грош.

— Мы были с ним на торжественном заседании, потом слушали доклад товарища Сталина, — со сдерживаемым раздражением сказал Алексей.

Лизочка дрогнула и часто заморгала глазам.

— Батюшки! Почему же я не знала? О чем хоть он говорил-то? Скоро ли войне конец?

— Муж придет и расскажет, — буркнул Алексей и торопливо прошел мимо.

Ему хотелось сбросить чувство праздничной приподнятости, владевшее им. Он вошел в свою комнату и заперся. По обыкновению здесь было холодно: дыхание выходило изо рта белым паром, бархатный слой инея проступал на потолке и внешней стене.

Инженер быстро разделся и долго ворочался на жесткой, неровной постели, кутаясь в одеяло и полушубок. Из коридора послышались голоса. Лизочка встретила Гречкина упреками: почему не предупредил ее о докладе и не сказал, что задержится. Гречкин неуверенно и робко оправдывался.

Вмешалась и Женя. Ее всегда возмущало, что Гречкин, решительный и самостоятельный на работе, так по-ребячески боится своей Лизочки. Голоса зазвучали громче. Затем со стуком захлопнулась дверь. Перебранка переместилась в квартиру Гречкина.

Алексей услышал мягкое шарканье валенок и негромкий, уверенный стук в свою дверь. Он не отозвался.

— Спит. Проспит все на свете, — с недовольством сказала Женя.

— Оставь его в покое, что ты его преследуешь? — тихо упрекнула ее Таня.

— Мне надо с ним поговорить. В клубе я подошла к нему, а он не обратил на меня внимания.

— Ты устрой ему скандал здесь, в коридоре, по лизочкиному образцу, — с насмешкой в голосе посоветовала Таня.

Девушки постояли у дверей и удалились. В доме все стихло, только ветер пел по-комариному, просачиваясь в тонкую щель между двумя соединенными кусками стекла.

Ночь была на исходе, но сон к Алексею не шел. Мысли, тесня одна другую, проносились в голове. Снова и снова слышались слова: «Враг... угрожает нашей славной столице — Москве». Он пытался представить себе, что сейчас там?.. Как родители, Митенька? Где Зина? Увидеться бы с ними, сказать хоть слово, обнять их! Алексей не сомневался теперь, что стройка нефтепровода необходима для войны и сам он нужен стройке. Его место оказалось не менее важным и ответственным, чем то, которое он мог бы занять, обороняя Москву. Залкинд верно сказал: «Воевать надо там, где тебя поставили старшие товарищи. Наше боевое задание — отстаивать Москву на берегах Адуна». Оспаривать это равносильно отрицанию непреложной истины о единстве фронта и тыла.

Все так, все правильно... Эти вопросы незачем перерешать. И все же порой трудно было (сердцу, не уму) признать равноценными роль инженера, проверяющего в тиши кабинета очередной лист проекта, и роль командира взвода, который, под грохот артиллерийского огня, поднимает своих солдат в атаку. Когда приходили особенно тревожные вести с подмосковного фронта, хотелось быть не строителем, а бойцом.

В коридоре, против кабинета Алексея, висел плакат. С него на проходящего грозно смотрел раненый солдат и строго вопрошал: «Что ты сделал для фронта?» Вот так выглядела бы сама совесть, если бы попытаться ее изобразить: «Враг угрожает Москве — а что же ты? Или тебе нечего защищать?..»

Наконец Алексей заснул не то на час, не то на минуту. Снились разные пустяки. Но, пробудившись, он почувствовал, что лицо у него мокро от слез. Что ему снилось? Сон перенес его на московскую выставку в павильон Севера. Они с Зиной сидели на террасе, ели мороженое с клубникой. Откуда-то доносилась музыка. Зина подняла ложкой крупную ягоду и протянула ее Алексею:

«Это лучше вашей дальневосточной голубицы?»

И Алексей не смог удержать слезинки.

«Почему, Алеша, ты плачешь?» — забеспокоилась Зина и нагнулась к нему, чтобы вытереть глаза кружевным платочком.

«Какими мы были! Как жили мы, счастливые дети!» — сказал Алексей.

«Были? — удивилась Зина. — Разве мы умерли? Я тебя не понимаю, Алеша».

«Мы теперь не такие», — сказал он. Хотел добавить, что война закончила с их безмятежностью, и удержался: «Не надо ее прежде-

временно тревожить, пусть она еще немного поживет в мирном времени»...

После речи Сталина, начальник строительства и парторг вернулись из клуба в управление.

— Иметь бы провод до острова, со всей трассой сейчас связались бы и побеседовали всласть, — сказал Батманов, входя в кабинет.

На столе у него стоял селекторный аппарат. Он связывал только с ближними участками, до Тывлина, где находился сейчас штаб Рогова. Василий Максимович сел за стол и привычным жестом подтянул аппарат к себе. Залкинд в задумчивом молчании бродил по кабинету.

— Надо Беридзе найти, пусть придет, — сказал Батманов. — Наверное, он не спит.

— Не вызывай его, Василий, — возразил Залкинд. — Я ему дал слово, что именно сегодня, седьмого ноября, мы разберем его заявление о приеме в партию. Сейчас не надо его тревожить.

— Верно, я забыл. Хотя сам давал ему рекомендацию. А ты что не раздеваешься? — спросил Василий Максимович. — Раздевайся, садись, будем вызывать участки. Узнаем, какими делами решил наш народ ответить на выступление товарища Сталина.

— Я приму участие в разговоре с Ефимовым, потом поеду на Старт. Там тоже решили считать седьмое ноября рабочим днем.

Залкинд присел на ручку кресла, расстегнул пальто и снял шапку. Батманов включил селектор. Кто-то на трассе монотонно передавал сводку погоды. Женщина-диспетчер со второго участка отрывисто и немного нервно сообщала о пропаже автомашины, вышедшей в Новинск три дня назад. Громче остальных звучали два мужских голоса: низкий, глухой — инженера Некрасова с третьего участка, и высокий, звонкий — инженера Мельникова с четвертого. Мельников пересказывал содержание доклада Сталина Некрасов все не мог успокоиться, что у них на участке поздно узнали о сталинском выступлении. Кроме голосов, селектор доносил неясные сложные шумы.

— Дышит наша трасса, живет и борется, — тихо сказал Батманов.

Он неподвижно сидел у аппарата, подперев щеку рукой, и внимательно вслушивался. Слушать трассу было его излюбленным занятием.

— Товарищ Мельников, я Рогов. Прежде всего поздравляю с наступившей годовщиной Октября и с подарком, который всем нам сделал Иосиф Виссарионович, — слышался хриловатый голос начальника пятого участка.

— Спасибо. Примите мои ответные поздравления, — отозвался Мельников. — Порадовал нас Иосиф Виссарионович.

Батманов молча переглянулся с Залкиндом.

— На митинге мы решили вызвать на соревнование ваш коллектив, — продолжал Рогов. — Завтра у вас будет с договором секретарь нашей парторганизации Котенев, пока сообщаю предварительно. Вы слушаете меня?

— Слушаю, — подтвердил Мельников. — опередили вы нас! Мы тут все никак не договоримся: кого вызывать — вас или третий участок.

— Обязательства наши такие, заметьте себе, — четко выговаривал Рогов. — Срочно закончить работы по зимней дороге, за две недели привести ее в полный порядок. Самые необходимые помещения, бытовые и служебные — склады там, жилье, гараж, пекарню, баню — построить до конца этого месяца.

— Слышишь! — повернувшись к Залкинду, воскликнул Батманов.

— Кроме того, наши шоферы Махов, Солыцев и другие, после встречи со стахановцем Сморгчковым, приняли отдельное обязательство: теперь же начать развозку труб, не дожидаясь, пока дорога будет совсем хорошей. Отметим ли себе? — Тон у Рогова был наставительный, он говорил, как старший с младшим.

— Отметил, почему же не отметить, — уже ворчливо сказал Мельников.

— Значит, могу сообщить управлению, что вы приняли наш вызов?

— Вот вопрос! Я еще не слышал, чтобы кто-нибудь отвергал вызовы на соревнование. Присылайте вашего Котенева.

— Слышали, товарищ парторг? — повторил Батманов и удовлетворенно откинулся на спинку кресла.

— Меня беспокоит третий участок, этот Ефимов, — поднялся Залкинд. — Вызывай его и Темкина.

Но тут Рогов стал выкликать Новинск. Он обрадовался, когда отозвался Батманов, — по голосу было слышно, как Рогову приятно в этот час поговорить с начальником строительства.

— Сегодня мы работаем. Через два часа всем коллективом станем на вахту, — докладывал Рогов. — Хотим с помощью стахановцев сделать за день два дела... Пробить соединительные пути от ледовой дороги на Адуне до трассы и начать постройку городка для автоколонны. Обещаю, Василий Максимович, к вашему приезду на участок оборудовать образцовое общежитие для шоферов.

— Не обещай, вдруг я завтра же нагрюну. Спасибо скажу, если построишь обыкновенное общежитие, чтоб людям тепло было и чисто.

Залкинд нетерпеливо прохаживался взад и вперед, и Батманов зашепел.

— Александр Иванович, ты видел людей Гончарука. Тех, что направлены мной на пролив? — прервал он Рогова.

— Они ночевали у меня и позавчера двинулись дальше.

— На машинах?

— Да. Боюсь, с шестого участка им придется пешком топать, дальше не проехать.

— Как их настроение? Все ли здоровы?

— Больных не было. Хотел я задержать их на праздник — не согласились. Там у них один горячий парень есть — Умара Магомет, он торопится на пролив, словно его там пряниками будут угощать. Вообще жаль, что отпустил их, они сегодня мне пользу принесли бы.

— Еще вопрос, — торопился Василий Максимович. — Я эстафетой послал пакет на девятый участок — Панкову. Срочно вызываю его в управление. Получил?

— Получил и успел передать Сморгчкову. Он парень надежный, доставит на место.

— Отлично! У меня пока все, Александр Иванович. Отдохните часок, и на вахту!

Управленческому диспетчеру не сразу удалось вызвать Ефимова. Залкинд хотел уже уходить, когда резкий голос начальника третьего участка послышался среди общего шума. Батманов отошел от стола и жестом пригласил Залкинда занять его место. Ефимов в патетическом тоне начал поздравлять начальника стройки и парторга с праздником. Залкинд не дослушал его...

— Вы с какого берега говорите? — спросил парторг.

— Пока с правого, — замялся Ефимов. — Мы почти уже перебрались. Имущество все на той стороне. Я тоже собираюсь.

Залкинд покраснел, глаза у него сузились и потемнели.

— Вы еще так год прособираетесь!—крикнул он. — Я вижу, по-хорошему с вами не дотолкуешься. Разговор на этом кончаем и возобновим в полдень, когда вы уже будете на левом берегу. Где Темкин? Наверное, помогает вам «собирается»?

— Он на той стороне. С утра проводим митинг, и прямо с митинга все пойдут на работу.

— Скажи этому человеку, — подошел к Залкинду Батманов: — Если он немедленно не прикроет свою шарашкину контору и не перескочит на левый берег, то может вообще не торопиться. Я прикажу, чтобы его не пускали на левый берег.

Выслушав парторга, Ефимов с минуту еще сидел у селектора в каком-то оцепенении, потом быстро собрал бумаги, взял со стола календарь, часы и письменный прибор, окинул прощальным взглядом кабинет и вышел к машине, чтобы ехать на левый берег.

...Рабочий день — седьмое ноября — начался в шесть часов.

Темкин стоял на поваленном дереве и тихим своим голосом рассказывал сгрудившимся вокруг него строителям третьего участка о выступлении Сталина. Темнота раннего зимнего утра скрывала и площадку на берегу, и полотняный поселок из палаток, и самих людей. Красный свет фонарей «летучая мышь» в руках Некрасова и Ефимова освещал лишь тех, кто был поближе.

... В это же самое время трепещущие огни множества берестяных факелов ярко осветили нанайское стойбище Тывлин. Огромная толпа строителей и нанайцев запрудила широкую улицу селения. Люди переговаривались, окликали друг друга, смеялись, запевали песни. К Адуну несся мощный гул слившихся воедино голосов. Из дома правления колхоза вышел Рогов, председатель сельсовета Максим Ходжер, инженер участка Прибытков, Котенев и помощники Рогова — Хлынов и Полищук. Стоя на крыльце, они любовались игрой пляшущих факелов.

— Разводите бригады, — сказал Рогов. — Повторяю еще раз... Твой объект, Максим, — дорога от трассы через Кривую протоку к Адуну. Полищук поведет своих людей по реке до Шаманьего острова, и от этого места будет пробивать путь к трассе по снежной целине. Я, Прибытков и Котенев идем с остальным народом готовить площадку под городок автоколонны.

Ходжер, Хлынов и Полищук сошли с крыльца и слились с толпой. Она зашевелилась, зашумела еще больше, и вскоре от нее отделились и потекли в противоположные стороны два огненных потока.

Рогова оставила группа шоферов. В руках у них были лопаты, кирки и факелы — вздетые на палки консервные банки с паклей, смоленной в керосине.

— Куда же нам все-таки податься? — спросил начальника участка шофер Махов, молодой парень с красивым и нежным, как у девушки, лицом. — И дороги — наше шоферское дело, и к постройке своего общежития хочется руки приложить.

— Ладно, пойдете со мной, — снисходительно позволил Рогов. — Дорогу за вас, так и быть, сделают другие...

Алексея разбудили хлопоты Лизочки в коридоре. Своенравная соседка нисколько не считалась с окружающими. Один из четверых отпрысков Гречкина ревел басом, и Лизочка полным голосом бранила его.

Пригладив заиндеветые, едва не примерзшие к подушке волосы, инженер откинул одеяло и полушубок и, стараясь не обращать внимания на холод, включил свет. Он взглянул на часы: рабочий день — седьмое ноября — начался и для него.

Как бывший фронтовик, Ковшов, едва рука его окончательно зажала, был назначен командиром взвода всевобуча.

В нижней сорочке и ватных брюках он выскочил из комнаты, побежал умываться. В коридоре, в ряд по ранжиру, стояли трое мальчиков и девочка, похожие друг на дружку одинаковым румянцем на пухлых щеках, льняными волосами и светлоголубыми глазами. Старший, лет шести, с важностью держал в руках красный флажок. Перед маленьким строем возвышался шарообразный Гречкин. Он шагал на месте большими серыми валенками:

— Раз, два... раз, два...

Лизочка выглядывала из полуоткрытой двери и незлобиво ворчала:

— Спектакли устраивашь, боец всевобуча!

Алексей поздоровался с каждым из детей за руку, поздравил с двадцать четвертой годовщиной Октября.

— Шоколад за мной, — пообещал он девочке.

— Невеселый нынче праздник у нас, — подхватила Лизочка. — Даже ребятишек нечем порадовать.

— Дядя Алеша, дай мне флажок, как у Коли, — попросила девочка.

— Флажок тоже за мной, — сказал Ковшов, поднимая пухлую, тяжелую девочку и целуя ее в похолодевшую щеку.

Гречкин шел за Алексеем, за ними гуськом шествовала детская шеренга.

— Что с тобой вчера стряслось, Алексей Николаевич? — поинтересовался Гречкин. — Ты убежал от меня, будто несчастье случилось какое.

— Ничего не случилось... Спать захотелось.

— А к тебе девушки стучались...

Гречкин остановился около умывальника, ребятишки тоже. Семейство в десять глаз пристально наблюдало за умыванием Ковшова, потом прежним порядком проводило его до комнаты. В коридор выбежала Женя, одетая в зеленый лыжный костюм. Причесываясь на ходу, она торопилась к умывальнику:

— Не опоздала? У меня часы с загадкой, то вперед скачут, то отстают:

Алексей надел телогрейку, перетянулся широким солдатским ремнем, перекинул через плечо противогаз. Подхватив лыжи, они поспешили на пункт сбора. На улице было еще темно, их сразу охватил жгучий мороз.

— С двадцать четвертой годовщиной Октября вас, Алексей Николаевич! — крикнула Женя, догоняя их. — Первый раз в моей жизни седьмое ноября — рабочий день.

— Ничего, Женя, — отозвался Алексей. — Припомним немцам этот рабочий день.

Занятия начались с лыжной зарядки. Ковшов шел впереди взвода, прокладывая лыжню по глубокому снегу. Тепло прилиvalo к телу, мороз скоро перестал ощущаться, рукавицы пришлось заткнуть за ремень — руки горели. Алексей, пока единственный, хорошо ходил на лыжах, остальные только учились. Он то убыстрял, то замедлял ход, наблюдая за отстающими. Петлял в реденькой, наполненной светом березовой рощице. Забрался на крутую сопку. Раскинув руки в стороны, птицей слетел вниз и заставил бойцов одного за другим спускаться по уклону. Лыжники падали и съезжали сидя, вздымая в воздух легкую снежную пыль.

— Повторить, не падая! — скомандовал Алексей сверху. — А вы? Ждете отдельного приказа? — спросил он Гречкина, топтавшегося возле него.

На занятиях Алексей держался сурово, строго и никому не давал поблажки. И Гречкин, и Федосов, и Кобзев, и Петя Гудкин, независимо от должностей, были для него рядовыми бойцами. На него не подействовал умоляющий взгляд начальника планового отдела. Снова раздалась команда:

— Боец Гречкин, выполняйте приказание!

Гречкин пригнулся и пододвинулся к скату, будто хотел слезть с него. Лыжи рванули его вперед, тело отстало, он шлепнулся и съехал по уклону на спине. Алексей приказал повторить спуск. С почти довольным видом Гречкин во второй раз сносно съехал с горы и упал только у самого подножья.

Командир объявил перекур. Бойцы курили, держа в покрасневших руках наспех скрученные толстые папиросы. Ковшов выговаривал:

— Еле-еле шевелитесь! Ходите, как по канату, боитесь упасть. В прошлый раз читали с вами передовую «Правды» — требуется умение воевать на лыжах, а мы пока и кататься не научились.

Вернулись в клуб, место сбора, погрелись, послушали последние известия по радио. Вторым часом была строевая подготовка. Ковшов опять не дал бойцам ни минуты покоя. Особенно досталось Гречкину. Он плохо воспринимал команду, никак не мог научиться ходить в ногу, поворачивался не в ту сторону. Ковшов приказал ему выйти из строя и несколько минут гонял одного, тренируя следовавшими одно за другим приказаниями. Напрягаясь изо всех сил, Гречкин старался не сбиться. Люди в строю улыбались. Алексей сам едва сохранял серьезность, следя за неуверенными движениями и мрачным надутым лицом Гречкина. Перед тем, как отпустить людей с занятия, Алексей сказал плановику:

— Нельзя быть неловким. Тренируйтесь больше, и помимо занятий. Когда придется иметь дело с настоящими фрицами, на тренировку времени не дадут, и от вас мало будет толку.

— Не беспокойтесь, толк будет, — сердито буркнул Гречкин. — Не хуже, чем некоторые тренированные будем воевать!..

В столовой Алексея поджидала Женья. Она самовольно взяла на себя опеку над ним. И сейчас ему не пришлось ждать захлопотавшейся официантки, обслуживающей половину зала, — завтрак стоял на столе. Сегодня забота девушки почему-то особенно растрогала инженера. Пряча от нее глаза, он склонился к глиняной миске, в которой, на мятом картофеле, лежал кусок яркокрасной соленой кеты.

— Не спалось вам сегодня, наверное, дорогой москвич? — спросила Женья. Прихлебывая чай, она поверх большой глиняной кружки смотрела на него темными беспокойными глазами. Полное лицо девушки еще не отошло от мороза и полыхало розами на щеках. — Сегодня вряд ли кто спал спокойно.

— Почему так? Я, например, спал спокойно и видел довоенные сны. Будто бы в павильоне Севера, на выставке ел мороженое с клубникой. И никакой войны. — Алексей хотел ответить в тоне возражения, но помимо воли слова о выставке прозвучали грустно. — От мороженого стало холодно, проснулся, и оказалось, что моя голова примерзла к подушке.

— Я тоже не сомкнула глаз, — сказала Женья, не обращая внимания на попытку Ковшова свести разговор к шутке. — Знаете, я роди-

лась в ночь с шестого на седьмое и всегда этим гордилась. В один день совпадали два праздника.

Она дождалась, когда он сделал последний глоток невкусного, почти несладкого чая, и встала. С завтраком они покончили в пять минут.

— Поздравляю вас, Евгения Ивановна, от чистого сердца, от глубины души! — с жаром сказал Алексей. — Напрасно вчера не сказали мне про день рождения. Отпраздновали бы потихоньку.

— Вы слышали как я вчера разревелась? Столько народу кругом, и в такой момент я не сдержалась. Как-то уж очень тяжело мне стало. Ведь сколько радостей у нас всегда было припасено к Октябрю! А сейчас и горе, и кровь, и гибель таких вот молодых, как вы и я.

Он дружески взял ее за руку. Они поднимались по лестнице. Женя благодарно ответила на его пожатие своими пухлыми пальцами.

— Я хотела вчера рассказать вам про все это, но не достучалась — должно быть, вы спали. Мы приходили вместе с Таней. Потом она ушла к Ольге, и я вволю наплакалась в одиночестве. — Она помолчала. — Вот сегодня все будут поздравлять меня: «Желаем вам, Женичка, в текущем году найти хорошего мужа». Гречкин уже поздравил — в точности такими словами. Будто все счастье в хорошем муже! Спасибо вам, что вы обошлись хоть без этого пожелания.

Она совсем на себя не походила сегодня: ни улыбки, ни смешка, какая-то необычная для нее серьезность. Ковшов проводил ее удивленным взглядом.

Тополев уже сидел на месте. Он приходил с утра очень рано. По совету Беридзе, Ковшов усадил старика в кабинет — «скорее втянется в поток». Они поздоровались за руку, но сухо и молча. Отношения сложились между ними неприязненные — так захотел Тополев, старший по возрасту. Целыми днями он сидел против Ковшова и, отрываясь от бумаг, изредка, впавшими глазами, равнодушно посматривал в окно или на приходивших к Алексею людей. Молодой инженер обходился с Тополевым предупредительно, ни в чем не проявляя своих прав начальника отдела. Задания он передавал старику от имени главного инженера. Тополев выполнял их неторопливо и как-то холодно, хотя и аккуратно. Иногда безучастность старика возмущала Ковшова, и он еле сдерживал возникавшее в нем желание крупно поговорить со своим заместителем. Единственный в аппарате, старик оставался вне тревожений и споров, связанных с проектом.

Просматривая составленную вчера ночью памятку неотложных дел на сегодняшней день, Алексей вздохнул. Перечень был велик и кое-что в нем переходило из памятки в памятку уже несколько раз.

Ему не приходилось больше сетовать на расточительную потерю времени, на то, что начальство медленно раскачивается. Работа хлынула, как наводнение. Руководители строительства словно уговорились всеми способами увеличить его нагрузку. Непосредственным начальником был главный инженер, он часто и ревниво напоминал об этом. Ему казалось, что Ковшов занимается чем-то посторонним, не имеющим отношения к инженерной работе. Батманов давал ему задания, не осведомляясь — имеет ли он возможность их выполнить. Залкинд тоже не отставал от него, редкий день проходил без какого-нибудь партийного поручения.

Обязанностей и забот было бы, пожалуй, меньше, откажись Алексей от чего-нибудь. Он не отказывался. Он сам хотел как можно больше работы: в хлопотах утихали тревоги. Он улыбался, когда от Батманова, Залкинда или Беридзе, в самый разгар рабочего дня, получал

новое задание — неизменно более срочное и важное, нежели все предыдущие. Залкинд однажды заметил его улыбку и понимающе сказал:

— Интереснее всего жить, когда работы сверх головы. Правильно? Учи, свет-Алеша, чем больше с человека спрашивают, чем больше у него обязанностей, тем, значит, нужнее он коллективу.

В очередном письме Зине Алексей написал: «Я поставил перед собой и своими людьми задачу справляться с любой работой. Мне теперь кажется — нет предела силам человека, надо только очень много с него спрашивать. Прямая пропорция: больше нагрузят — больше потянешь. Может быть, я невзначай открыл новый закон природы производительности труда?».

Он посылал такие письма в адрес тещи. Не зная, когда они дойдут до Зины и дойдут ли вообще, он все же не мог не писать время от времени о том, как живет, как работает, о чем размышляет. Это стало какой-то душевной потребностью. С некоторых пор сочинение этих своеобразных отчетов требовало немало ночных часов: чтобы добросовестно изложить события очередной недели, нужно было исписать толстую тетрадь. Однажды он попытался воспроизвести историю одного только дня — получилось непомерно длинно, и он пожимал плечами, перечитывая конспективное перечисление дел, совершенных за сутки. Хлопот этого обычного будничного дня хватило бы, пожалуй, на целую жизнь какому-нибудь скучающему молодому человеку прошлого столетия, из числа тех, что гением великих писателей оказались запечатленными в десятках книг.

И сегодня заботы сразу увлекли Алексея в свой поток. С утра часа два-три он не отрывался от проекта. Эти первые часы были лучшим временем суток — голова свежая, меньше беспокоят посетители.

Ветер пробирался в невидимые щели стен и оконных переплетов, выдувал из комнаты тепло. Посидев с полчаса раздетым, Алексей снова надел полушубок. Вздохмаченный Кобзев и три других инженера сидели вокруг Ковшова и дымили махорочными закрутками.

Наморщив лоб и постукивая карандашом по виску, Алексей проверял расчет пьезометрического уклона, составленный для участка нефтепровода на левом берегу. Этот расчет служил одним из доказательств преимущества нового направления трассы. Беридзе намеревался вместо двух перекачечных станций на материке строить одну. Вторая намечалась по проекту Грубского для преодоления гряды сопок на правом берегу. Поскольку на левом берегу это препятствие не встречалось, отпадала и нужда в дополнительной станции.

— На конечном пункте сколько у вас остается давления? Полторы? — спрашивал Ковшов, не глядя на инженеров.

— Полторы атмосферы, — отвечал Кобзев, ревнивым взглядом провояжая каждое движение начальника отдела, то прикидывавшего цифры на логарифмической линейке, то записывавшего их на бумаге.

— И какой же вывод? — спрашивал Алексей.

— Вторая станция не нужна.

— Вывод хороший, — сказал Алексей и посмотрел на Тополева. — Одной станции хватит для перекачки нефти от Джагдинского пролива до самого Новинска.

Кузьма Кузьмич с недовольным видом отгонял наплывавшие на него клубы махорочного дыма и на замечание Алексея не отозвался. Алексею, довольному итогом, хотелось пронять старика, и он громко сказал:

— Одной только электроэнергии экономится сто киловатт на тонну нефти. Здорово! Это сверх того, что мы сокращаем срок строительства, сберегаем рабочую силу и материалы.

Он явно адресовался к Тополеву, и, заметив это, Кобзев тоже повернулся к старику. Кузьма Кузьмич спокойно отсыпал из большой бутылки в табакерку зеленый нюхательный табак и не обращал на них никакого внимания.

В кабинете давно уже позванивал телефон. Звонки учащались, стали продолжительными и резкими. Не поднимая трубки, Алексей посмотрел, прищурившись, на аппарат и усмехнулся:

— Беридзе звонит. Он не отступится! Вашим расчетом, Кобзев, его не успокоить. Будет ругать за пролив. Тащите материалы по проливу, быстро!

Телефон умолк. Кобзев разложил на столе кипу чертежей и таблиц. Во всей работе над проектом переход через пролив между материком и островом оставался труднейшим этапом. Эту двенадцатикилометровую водную преграду нельзя было ни перепрыгнуть, ни обойти стороной. В проливе нефтепровод мог пройти только под водой. Трудная даже на суше, укладка его во много раз усложнялась в проливе.

По проекту предполагалось сваривать летом на берегу двенадцатиметровые цельнотянутые трубы в плети по сто-двести метров длиной. Потом эти эластично выгибавшиеся махины весом в пятнадцать-двадцать тонн надо было затаскивать с берега на большие баржи. Приваривание конца опущенной в пролив плети к новой намеревались вести непосредственно на воде, что было крайне неудобно и не давало возможности применить механизмы. Пробная попытка приварить две плети на всегда зыбкой поверхности пролива окончилась катастрофой. Обе плети трубопровода ухнули на дно. Большой морской катер, на котором начали было сварку, опрокинулся, словно игрушечный.

Кроме трудностей сварки, возникла и другая проблема. Чтобы предохранить трубопровод от промерзания зимой, требовалось по всей длине зарыть его на два метра в землю. Мелководная часть пролива — на четыре километра с одного и на четыре с другого берега — промерзала до дна. Поэтому и здесь следовало зарыть трубопровод в грунт, и лишь в глубокой, не промерзавшей насквозь части пролива укладывать прямо по дну. Для углубления нефтепровода в мелководной части необходимо было предварительно вырыть на дне траншею. Летом ее рыли пловучие землечерпательные караваны; они снялись перед ледоставом, успев сделать лишь часть работы.

Не случайно внимание главного инженера с первых дней было приковано к проливу. Рыть траншеи землечерпалками и сваривать трубопровод считалось возможным только летом. Для этого требовались два летних сезона, и к тому же возникли сомнения вообще в пригодности принятого метода сварки плетей на воде.

На два летних сезона рассчитывать не приходилось, строители в своем распоряжении имели одну зиму и одно лето. Беридзе и решил поэтому вести работу на проливе, вопреки установившимся правилам, вместо лета — зимой.

Первая задача — зимняя сварка труб — разрешалась, по замыслу Георгия Давыдовича, благополучно: он предлагал производить ее на берегу и потом перемещать тракторами сваренные плети на лед пролива. Ковшов успешно разрабатывал технику такой сварки. Решения второй задачи найти не удалось. Ни Беридзе, ни Ковшов не знали, каким образом они будут зимой рыть траншеи в проливе.

— Кто чертил и считал? — спросил Ковшов у Кобзева, отодвигая лист со схемой и расчетом передвижки плети сваренных труб по льду. Лицо его приняло недружелюбное выражение.

— Что такое? — поинтересовался Кобзев, близоруко нагнувшись к чертежному листу.

— Ошибки и мазия!

Кобзев склонился еще ниже, волосы упали ему на лицо.

— Чья работа? Петькина? Позовите его, скажу ему два слова.

— Скажите их мне. Я проверял и принял чертеж, я и виноват. Вот и сейчас смотрю и не вижу ошибки.

— Я говорю, позовите Гудкина! — повторил Алексей настойчиво. — Не берите на себя обязанностей доброго дядюшки, слишком много у вас племянников найдется!..

Кобзев недовольно поднялся и пошел за Петькой. Алексей заметил на себе взгляд сидевшего против него старика. В этом взгляде померещилось ему сочувствие и заинтересованность.

— Что будем делать с рытьем траншей в проливе, Кузьма Кузьмич? — поддаваясь минуте, спросил Алексей. — Ничего у нас не придумывается. В практике вашей не встречалось ли подобного случая?

Тополев не отвел взгляда и задумался. Вошли Кобзев и Петька — они отвлекли Алексея. У обоих был возбужденный вид. Кобзев, кажется, успел отругать техника. Старик, собиравшийся что-то сказать, покачал головой и отвернулся к окну.

— Вы упросили Кобзева и меня дать вам самостоятельную проекторочную работу, — сухо сказал Ковшов Петьке. — Вам надоело чертить и копировать. Вы, якобы, научились более серьезному делу. Хорошо, мы уважили вашу просьбу. И вы обязаны были стараться сделать работу доброкачественно. Вот и постарались! — Алексей подкинул лист ватмана. — Сделано левой ногой. Разве можно так работать в военное время?

— Я переделаю, Алексей Николаевич, — жалобно сказал Петька и потянул к себе чертеж.

— Нет уж, — не согласился Алексей и положил на лист руку. — Так тоже не годится. Подпись свою надо ставить под той работой, которая не требует переделки. Раз вы ее посчитали законченной и расписались — защищайте ее. Может быть, я неправ.

— Конечно, правы, чего уж говорить! — возразил Кобзев.

Он нашел ошибку в расчете и энергично зачеркивал столбцы цифр и строчки формул жирным черным карандашом. Вскипая, инженер принялся отчитывать Петьку:

— Я же тебя предупреждал: расчет нагрузки на лед, расчет прочности льда — ответственная вещь, смотри не напортачь!..

— Разве можно назвать эту пачкотню чертежом? Подтирки, намазано, зачеркнуто, текст выведен куриным почерком, — добавил Алексей. — Я сто раз говорил: каждый чертеж должен выглядеть безукоризненно.

— Я думал перерчертить, не успел, — оправдывался Петька.

— Надо успевать! — Алексей покосился на телефон, опять начались продолжительные звонки. — Недостатком времени вообще ничего и никогда не оправдывайте. Мне товарищ Кобзев доложит через пару дней. Может, придется снова превратить вас в чертежника.

— Алексей Николаевич! — воскликнул Петька зазвеневшим голосом. — Я даю вам слово. Довольны будете. Простите для первого раза. Я теперь сам себе спуска не дам!

И он с ожесточением ткнул себя кулаком в висок. Инженеры переглянулись, серо-желтые усы Тополева дрогнули.

Резко распахнув дверь, в комнату вбежала запыхавшаяся Муза Филипповна:

— Главный инженер требует вас немедленно. Он звонил вам тысячу раз, вы не отвечали. Идите сейчас же!

— Хорошо, — сказал Ковшов и снова повернулся к Гудкину: — Смотри у меня, Петюньчик!

— Без вас не уйду, — объявила Муза Филипповна. — Он знает, что вы сидите в кабинете и не поднимаете трубку. Велею притащить вас хотя бы мертвым.

Алексей собрал чертежи и пошел за секретаршей.

— Он с утра чем-то обеспокоен, — на ходу рассказывала она. — Заходил к вам и наскочил на Тополева, тот ему что-то наговорил. Мембрану пришлось менять в его телефонном аппарате: звонил, звонил вам и трахнул с досады трубкой об стол...

Беридзе в шубе грузно сидел за большим письменным столом. На столе стояла электрическая плитка, он грел руки над раскаленной спиралью.

Громко, на всю комнату шумел селектор на тумбочке у стола. Главный инженер мельком взглянул на вошедшего Алексея и, склонившись к микрофону, крикнул:

— Товарищ Прибытков, я никак не пойму, в чем же вы не сошлись с Роговым?

Голос Прибыткова был едва слышен. Алексей сильно напрягал слух, чтобы тоже разобрать слова инженера пятого участка.

— Я же говорю... Приготовили площадку под автогородок: срубили деревья, раскорчевали пни, сделали котлованы. Рогов сразу же велел закладывать общежитие и гараж. «Я, говорит, обещал Батманову до его приезда построить образцовое общежитие. Вдруг он через три дня нагрянет...»

— Очень хорошо, чем быстрее — тем лучше! — одобрил Беридзе. — Вы за то, чтобы городок строился долго?

— Я за то, чтобы городок строился быстро и в то же время грамотно с инженерной точки зрения.

— Именно? — торопил Прибыткова главный инженер.

— Рогов распорядился строить общежитие на «стульях» обычного типа и без подполья для вентиляции. Таким образом, он отменил ваш типовой проект. Если в этом месте вечная мерзлота, дом долго не простоит. Придется потом строить новый для людей, которые придут после нас. Вы сами все время говорите: любое гражданское сооружение надо строить капитально, чтобы им долгие годы могли пользоваться эксплуатационники — будущие хозяева нефтепровода.

— Что вы предложили Рогову, как инженер участка?

— Я настойчиво потребовал придерживаться утвержденного вами типового проекта.

— Ну?

И тон разговора, и резкие жесты, и лицо главного инженера, плохо умевшего скрывать свои настроения, говорили Алексею, что Беридзе взбуроражен. «Неужели он так рассердился на меня? Наверное, что-нибудь случилось», — размышлял Ковшов.

— Рогов не стал меня слушать, — жаловался Прибытков. — Заявил, что знает, как строить дома без проектов. По его мнению, в районе Тывлина нет вечной мерзлоты. Приводит в пример дома нанайцев.

— По вашему мнению: есть там вечная мерзлота?

— Я не утверждаю наверняка, но она возможна, район северный. Надо проверить.

— Чего же вы хотите от меня? — сердясь, спросил Беридзе и постукал толстым карандашом по столу.

— Прикажите Рогову в точности руководствоваться типовым проектом!

— Не могу этого сделать! — отказался Георгий Давыдович.

— Почему не можете? — изумился Прибытков. — Зачем же тогда вы дали участку типовый проект.

— Таких вопросов я от вас не ожидал, товарищ Прибытков. Вы инженер не молодой, опытный. Типовой проект дан как сумма наших основных требований к строительству на вечной мерзлоте. Однако он не догма, не рецепт на все случаи. Возможно, Рогов прав. Мне тоже кажется, что в районе Тывлина нет вечной мерзлоты. Тогда от некоторых условий проекта надо отказаться. С другой стороны, Рогов, может быть, ошибается.

— Я вас не понимаю, — сказал Прибытков. — Что же тогда остается делать?

— Очень плохо, если вы сами не знаете, что вам делать. Инженер на участке — хозяин производства и главный технический законодатель, не какой-нибудь безропотный исполнитель и копировщик чертежей проекта. Вы обязаны точно знать, есть ли вечная мерзлота на месте постройки. Коли есть — вы предлагаете строить по проекту. Нет — вы даете дополнительные решения.

— В том-то и дело, что Рогов не хочет ждать проверки.

— Понимаю его, — усмехнулся Беридзе. — Он хочет строить быстро, тогда как вы, видно, слишком медлительный человек.

— По-вашему, мне надо отступить? Так, что ли?

— Нет, ни за что! Отступать не разрешаю! — закричал Беридзе. — Надо заставить Рогова признавать авторитет инженера участка.

— Так помогите мне укрепить мой авторитет!

— Согласен помочь. Но не хочу быть вашей нянькой. Тогда уж наверняка он перестанет с вами считаться. Сами завоевывайте себе авторитет. Настаивайте на своем, деритесь. Однако не теряйте здравого смысла. Ваши споры не должны замедлять темпов постройки...

Закончив переговоры, Беридзе выключил селектор и принялся набивать табак в большую трубку.

— Ему трудно с Роговым, — сказал Алексей. — Прибытков академикен и склонен скорее к проектной работе. Рогов же вообще, как я заметил, склонен преуменьшать роль инженеров в строительстве.

Беридзе поднял сердитые глаза на Алексея, словно только сейчас заметил его.

— Что это значит, товарищ Ковшов? Почему я должен расходовать на вас столько времени? То вы вообще отсутствуете, то вас не дозовешься. Что это за манера не отвечать на телефонные звонки? — Беридзе выложил все это разом. В подобных случаях он переходил с «ты» на «вы».

— Я вас слушаю, — сказал Алексей.

— Вот вы все слушаете, жаль, толку от этого мало. Генеральный проект у вас совсем не движется.

— Почему так считаете? — возразил Ковшов. — По-моему, движется.

— Только по-вашему! — фыркнул Беридзе.

— Позвольте доложить, — спокойно сказал Алексей, уставив серые глаза в искаженное гневом лицо Беридзе.

— Я недоволен, совершенно недоволен, — бормотал главный инженер, а сам с любопытством смотрел на листы ватмана, разложенные перед ним Ковшовым.

— Расчет подтвердил возможность обойтись одной станцией на материке, если идти по левому берегу, — докладывал Алексей.

— Я и не сомневался в этом. Для меня лично расчет и не нужен, — Беридзе небрежно отбросил лист, но не прежде, чем пробежал его глазами. — Меня интересует пролив.

Алексей подробно рассказал, что делает по проливу. Беридзе увидел петкий чертеж с перечеркнутым расчетом и снова рассердился.

— Я неудовлетворен. С проливом у вас полная остановка. — Он приподнялся и оперся руками о стол. — Вы даже и не подошли к решению вопроса о траншее.

— Подскажите, в каком направлении решать задачу траншеи?

— Почему я должен подсказывать? — Беридзе взмахнул рукой, шуба сползла с его плеч, он ее не поднял. — Вы сами не бьетесь, ждете, пока я подскажу да расскажу. Один я всего не придумаю. Заставьте помозговать своих инженеров, они у вас бездельничают. Даже в мирное время не рекомендовалось получать незаработанные деньги.

— Кого имеете в виду? — быстро спросил Алексей. — Только укажите конкретно и справедливо. На мой взгляд, люди трудятся много и добросовестно.

— Тополев, на ваш взгляд, работает много и добросовестно? — крикнул Беридзе. — Старый саботажник!

— Это уже далеко не огульное обвинение. Только с Тополевым я ничего не могу сделать. Я вам говорил о нем несколько раз.

— Нечего мне говорить об одном вздорном старике несколько раз! Извольте сами справляться со своими подчиненными. Не можете добиться от него настоящей пользы — отправьте в отдел кадров, пусть его уволят по какой-нибудь статье «г», без выходного пособия. У нас не приют для престарелых бездельников.

Алексей молчал, понимая, что возражения бесполезны. Конечно, маститого инженера нельзя было отправить в отдел кадров, тем более уволить.

— Представьте, что получается! — продолжал возмущаться главный инженер. — Проект задерживает всё строительство, а в это время начальник производственного отдела занимается посторонними вещами и покрывает своего заместителя.

— Я не занимаюсь посторонними вещами и совсем не покрываю Тополева.

— Я заходил к вам в половине девятого, вас не было и в помине. Вы, как чиновник, являетесь на работу тютелька в тютельку в предудачное время!

— Я был на всеобуче и пришел на работу без пяти девять.

— Вот-вот, у вас много занятий, не имеющих отношения к делу. Я могу освободить вас от всеобуча.

— Зачем же? Разве я лучше или хуже других? И всеобуч не помеха для работы.

— Живая помеха сидит в вашем же кабинете. Когда я завел с Тополевым разговор, мне стало ясно, что он совершенно не в курсе дела. Вы не вовлекаете его в работу.

Ковшов переждал новую вспышку и заметил:

— Тополев заслуживает особого подхода. Все мы в нем заинтересованы, а подойти к нему не сумели. Не надо забывать, человеку шестьдесят лет.

— Барышня в пышном газовом платье! Нужен особый подход, чтобы на подол не наступить! — съязвил Георгий Давыдович.

— По отношению к нему мы допустили серию бестактностей, — продолжал Ковшов. — Вы его распекли при первом же знакомстве — раз. Назначили ко мне заместителем, не поговорив с ним, — два. Я посадил его в свой кабинет и заставил сидеть против себя, как мальчика, — три. В стенгазете его обидели — четыре... Сказать по правде, сейчас я бы не возражал, если бы у меня его забрали. Он меня стесняет. Гипнотизирует сердитыми глазами, нюхает зеленый табак и молчит, как камень. Пытался с ним поговорить серьезно — не вышло, он оборвал меня и высказался в таком роде: «Я свой план в жизни выполнил. Посмотрю, какой показатель будет у вас»...

— Не хочу больше слушать о нем! — сказал Беридзе. — Можете хоть под стеклянный колпак его поместить, как редкий вид кактуса. Я вас позвал не из-за него.

Во время разговора главный инженер трогал бумажные листки, наколотые булавками по большой схематической карте строительства. Это у него была своя памятка-картотека. На листках записывались самые важные вопросы. Тот или иной листок не снимался с карты, пока обозначенный на нем вопрос не был решен. Алексей вспомнил, какой шум произошел на днях из-за листков Беридзе: новая уборщица, посчитав их за мусор, побросала в корзину.

Георгий Давыдович уловил усмешку в глазах Алексея и сказал с неприязнью:

— Надо быстрее заканчивать работу над проектом. Меня Залкинд сегодня предупредил: предстоит бой с Грубским у краевого начальства. Я намерен лично проверить наши основные предположения. В ближайшие дни отправлюсь на трассу. Весь спорный материковый участок пройду на лыжах, прощупаю и левый, и правый берег. Лучше, если вы пойдете со мной. Могу, разумеется, обойтись и без вас.

Он вопросительно посмотрел на Алексея. Зазвонивший телефон не дал Алексею ответить.

— У меня, пожалуйста, — сказал Беридзе и передал трубку Ковшову.

— Здравствуйте, молодой человек, с праздником вас! — послышался глуховатый голос Залкинда, и Алексей невольно подумал, что в самом голосе парторга кроется доброта. — Очень занят сейчас?

— Обыкновенно. Не очень.

— Сможешь зайти?

— Сейчас зайду.

Положив трубку, он ждал продолжения разговора с Беридзе. Алексей чувствовал: Георгий Давыдович хочет сказать ему нечто важное.

— Идите, вы свободны, — поднялся Беридзе.

— Вы хотели что-то сказать...

— Ступайте к Залкинду, — настойчиво повторил Беридзе. — Вы обещали сейчас же притти. Не ждать же ему вас!

Беридзе набросил шубу на плечи, сел и уткнулся в бумаги. Не понимая причины его раздраженности, Ковшов постоял с минуту. Но Беридзе перестал, казалось, его замечать.

(Продолжение в следующем номере.)



ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ

★

ИСПАНСКИЕ СТИХИ

Испания!
Мы не забыли
то время,
тот тридцать шестой,
когда мы,
как будущим, жили
твоею военной
судьбой;

тот год,
когда после работы
мы снов
не видали иных,
а только
твои пулеметы
и песни
отрядов твоих:

те дни,
когда, спрятавши книжки,
глаголы
оставив учить,
из школ убегали
мальчишки —
патроны тебе
подносить;

когда,
свою бурку расправив,
как черные
крылья орла,
перед вами
явился Чапаев,
и к нам
Ибаррури пришла.

В Москве
за вечернею чашей
тебя

называли порой
подругою младшею
нашей
и нашею
младшей сестрой.

Не верил я
ни на мгновенье
тому,
что палач-генерал
поставил тебя
на колени
и душу твою
растоптал.

Всю ночь
за тюремною дверью
израненный
узник поет.
Я этому
голосу верю:
Испания наша
живет.

Идет металлист
к паргизанам,
батрак
в партизаны идет.
И я повторять
не устану:
Испания наша
живет.

Вторую неделю
бастует
чугунолитейный
завод.
Как заповедь,
произношу я:
Испания наша
живет.

Сегодня, как в юности,
снова,
другие
оставив слова,
твержу я
три вещи слова:
Испания наша
жива!



АНГЛИЙСКАЯ БАЛЛАДА

На мыльной кобыле летит гонец:
«Король поручает тебе, кузнец,
Сработать из тысячи тысяч колец
Платье для королевы».

Над черной кузницей дождь идет.
Вереск цветет. Метель метет.
И днем и ночью кузнец кует
Платье для королевы.

За месяцем—месяц, за годом—год
Горн все горит, и все молот бьет—
То с лютою злобой кузнец кует
Платье для королевы.

Он стал горбатым, а был прямым.
Он был златокудрым, а стал седым.
И очи весенние выел дым
Платья для королевы

Жена умерла, а его не зовут.
Чужие детей на кладбище несут.
— Да будь же ты проклят, мой вечный труд—
Платье для королевы!

— Когда-то я звезды любил считать,
Я тридцать лет не ложился спать,
А мог бы за утро одно отковать
Оковы для королевы.

★

СТИХИ АЛЕШИ НОВИКОВА*(Из пьесы)*

В родной земле полковник и солдат,
закрыв глаза, навтыяжку лежат.
Они все время думают о том,
как мы воюем и как мы живем.

Часы Москвы пробили поздний час,
но мы еще не закрывали глаз:
на жестких койках в комнатах больших
мы до рассвета думаем о них.

В июньском небе тихо и темно,
а в общежитье светится окно.
И за столом весь вечер инвалид
о подвигах и битвах говорит.

Мой храбрый друг, сраженный наповал,
я за тебя войну довоевал.
Две пули слал, губителей губя:
одну—свою, вторую—за тебя.

В подземных штреках я не позабыл,
что больше бигвы шахту ты любил.
Две нормы сделал, помня и любя:
одну — свою, вторую — за тебя.

А над могилой в облаке ветвей
две песни спел залетный соловей.
О славной смерти, о большой судьбе,
одну — о нас, другую — о тебе.



ИСПАНЕЦ

ВЛАДИМИР ЛИФШИЦ

★

Печные трубы,
 трупы,
 ямы,
Дорога,
 солнце
 и песок,
И грубый —
 в память Гвадарамы —
Шрам
 через лоб
 наискосок...

Потом французская граница.
Допрос.
Колючка лагерей.
Ажанов замкнутые лица.
Похлебка
 в миске
 у дверей...

Я был один.
Меня забыли.
На день?
 На год?
 На полчаса?..

Потом я спал.
Меня будили
Семьи погибшей голоса.
Я видел, как, присев за столик, —
Скорей,
 скорей,
 другие ждут! —
Благочестивейший католик
Вершит над нею скорый суд:
Вот пуля старцу,
Вот — подростку,
И кровь окрасила известку,
И сквозь дымок —

весь в белом —
 Пий,
 Тот самый —
 помнишь? —
 «Не убий!..»

И в душу мне вошла усталость
 Тяжеловесно, как свинец.
 Скрывать не буду:
 Мне казалось,
 Всему конец,
 Почти конец.

Сквозь тяжкий сон
 На узкой лавке,
 Прямой и жесткой,
 Словно гроб,
 Я видел немца низкий лоб
 И усики, как две пиявки.

Так прожил я четыре года.
 Потом война!
 Потом побег!
 Друзья,
 оружие
 и свобода —
 И снова счастлив человек!..

Сперва нас было трое.
 Вместе
 Мы были силой.
 Не солгу,
 Сказав,
 Что силу нашей мести
 Вовек не одолеть врагу!
 Был русский.
 Он бежал из плена.
 Был я — испанец.
 Был француз.
 Он старой сводней звал Петэна.

Нерасторжимый наш союз
 Скрепили мы среди развалин,
 В ночи,
 с оружием в руках,
 Одним понятным словом:
 Сталин! —
 На трех несхожих языках...

Потом нас было триста!
 В дело
 Шли автоматы и ножи,
 И смерть
 над немцами
 висела

От Сен-Дизье
до Монтаржи! .

.

Вновь надо мной
Родного края
В дымках тревожных небеса.
В душе звучат, не замирая,
Друзей далеких голоса.
Бой не закончен!
Мы упрямы!
И снова — солнце и песок,
И врублен —
в память Гвадарамы —

Шрам
через лоб
наискосок.

1948 г.



СЛОВО О БЕЛИНСКОМ,

*произнесенное при закладке памятника ему в городе Пензе
13 июня 1948 года*

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ

★

Когда огнем разящих молний
Страну Советов жгла война,
Великий Сталин нам напомнил
Бессмертных предков имена.

В разгаре битвы исполинской
В подразделениях наших сил
И твой, Виссарион Белинский,
Неукротимый дух царил...

Ты был глашатаем свободы,
Народным светочем во мгле.
Ты зорким оком видел годы
Разумной жизни на земле.

Сквозь мрак, сквозь тучи грозовые —
Из глубины далеких лет
Ты разглядел зарю России,
Несущей миру правды свет.

Посев чембарский в тучный колос
Трудом потомков превращен.
И в наши песни входит голос
Давно умолкнувших времен!

Чудесный образ возвышая,
Встают и мрамор и гранит.
И память Родины живая
В веках Белинского хранит.



СТИХОТВОРЕНИЯ

К. МУРЗИДИ

★

КАКОЕ У ПРАВДЫ ЛИЦО?

Какое: суровое, грозное,
Прямое, холодное, вьюжное,
А может быть, грустно-серьёзное,
А может, доверчиво-грустное, —
Какое у правды лицо?

Веселая ль самоуверенность,
Иль быстрая черт переменчивость,
А может быть, просто растерянность,
Мечтательность или застенчивость, —
Какое у правды лицо?

Какое: слегка утомленное,
Спокойное, светлое, нежное,
Чуть скорбное. чуть изумленное
Иль равнодушно-небрежное, —
Какое у правды лицо?

А правда войдет и отважится,
И скажет, слегка смущена:
— Со мной ты, но часто мне кажется,
Что я у тебя не одна.

Я думал, что самоуверенно
Посмотрит она, не любя,
И ей улыбаюсь растерянно:
— А я, я один у тебя?

Мелькнула улыбка ответная,
И где-то совсем в уголке
У правды веселая, светлая,
Живая слеза на щеке.

По-зимнему шарфом обмотана,
Выходит любовь на крыльцо
И плачет от счастья... Так вот оно,
Какое у правды лицо!

★

ВДОВА

Среди мужчин походкой строгой
Она прошла своей дорогой.

Они пытались посмотреть
В ее глаза его глазами.
Но так сумел он умереть,
Что мы, живые, стали сами
Оберегать ее в пути
И помогли бы, как когда-то,
Глаза такие же найти,
Какие были у солдата.
Мы понимали, что из нас
Не всякий был ее достоин
И лишь один не поднял глаз,
Нивесть с чего печальный воин,
Широкоплечий, молодой,
Весь в орденах, совсем седой.

И тут едва мы не сказали
Ей: — Оглянись! Ему: — Взгляни!
Мне так хотелось, чтоб они
Случайно встретились глазами.
Но сердце требует: уйди,
Их встреча где-то впереди,
Им не нужна твоя услуга,
Оставь их, продолжай свой путь...
Ты прав в одном: когда-нибудь
Они еще найдут друг друга!



КОРОЛЕВСКАЯ КРОВЬ

Роман *

СИНКЛЕР ЛЬЮИС

★

38

Всё началось внезапно, через неделю после Нового года. Во вторник Нийл сидел за своим столом в банке, когда честный Джуд Броулер (его дом был виден из окон дома Нийла, но, несмотря на такое близкое соседство, Джуд каким-то загадочным образом умудрялся теперь не попадаться на глаза Нийлу) подошел к нему и сказал:

— Нийл, ты знаешь, что лично я — человек без предрассудков, но все, повидимому, считают, что я обязан оберегать жену и дочь, так что, пожалуй, лучше нам с тобой больше не встречаться.

И, не дожидаясь ответа, неуклюже вышел.

Затем Нийла, которого и так уже изводило постоянное наблюдение Пратта, начали дружно травить все бывшие приятели. Кэртис Хэвок, завидев его издали во дворе, кричал жене:

— Господи, опять этот черномазый!

Светский шеголь Элиот Ханзен звонил Вестэл и туманно давал понять, что, когда ей надоест позорное существование жены негра, он с удовольствием будет возить ее в рестораны и посмотрит, что он может для нее сделать. (Она это рассказала Нийлу).

Но тяжелее всего было встречать Роднея Олдвика и слышать его елейное «Доброе утро, Нийл».

Затем, как холодный душ, возникла уверенность, что слухи уже ползут по всему городу. В кафе, где теперь обычно завтракал Нийл, к нему, сидевшему одиноко за столиком, подошел какой-то незнакомый человек, смуглый, с драматической внешностью, и, наклонясь к нему, сказал тихо:

— Вы меня не знаете, я — торговец фруктами, и меня считают греком, а на самом деле я, как и вы, полунегр. Но я это скрываю. Послушайте меня, брат, делайте и вы то же самое.

Самое явное оскорбление нанес ему Эд Флирон, нынешний мэръ Гранд-Рипаблик, избранный после Уильяма Стоппла. Эд был владельцем большого аптекарского магазина (с удешевленными ценами), где продавались сэндвичи, резиновые купальные чепчики, твердые, как камешки, леденцы, велосипеды, электрические вентиляторы и некоторые лекарства — все это было нагромождено в беспорядке на прилавках, и покупателей обслуживали неумелые продавщицы, которых следовало бы отослать обратно на ферму.

* Окончание. См. «Новый мир» №№ 4 и 5 с. г.

Раз, когда Вестэл не было дома, в столовую Кингсбладов вошел торжественный, как на параде, Флирон и выпалил:

— Я мэр города и имею несчастье быть вашим соседом.

Нийл, конечно, вскипел:

— В самом деле, Эд? А я думал, вы живете в Шведском овраге.

— Без дерзостей, Кингсблад! Я мэр города...

— Всё еще?

— И я вам заявляю, что мы не допустим, чтобы черномазые затесались в приличный район, где живут белые, и портили наших детей и пугали женщин.

— И снижали цены на участки в этом районе? Это обычные доводы, Эд.

— Да, и чёрт меня возьми, если это не веские доводы! И вы еще не то услышите!.. Эй, смотрите! Если мои полицейские сильно заинтересуются вами и вашими действиями, не приходите тогда к мэру жаловаться.

— Чтобы я к вам пришел жаловаться? Да я скорее... Ну, ладно. Убирайтесь!

В следующий вечер Нийлу нанес визит постоянный соперник мэра Флирона, бывший мэр Стоплл, который в свое время как агент Бертольда Эйзенхерца первый занялся благоустройством Силвен-парка. Но этот не буянил, у него были другие приемы. О неграх — ни слова. Он проворковал:

— Нийл... миссис Кингсблад, у меня есть клиент, который буквально бредит Силвен-парком, ему хочется обязательно сюда перебраться... и ему очень нравится ваш дом. А для вас я как раз кстати присмотрел прехорошенький домик в Кано-хейтс, совсем рядом с домом этого замечательного малого, Люсьена Файрлока. — Он не сказал, что это так же близко к дому Эша Дэвиса и недалеко от Шугэра Гауза. — Хотя он не такой нарядный, как ваш, но зато вид там гораздо лучше. Не говорите мне о здешних красотах — там такой волшебный вид на Саус Энд, что просто дух захватывает! Если бы мне удалось убедить вас, почтеннейший, подумать о таком обмене — и с приплатой, заметьте! — я бы вам это устроил. Думаю, вы не прочь сделать выгодное дело, как и большинство людей, ха-ха-ха!

Нийл сказал:

— Нет. Это — наш дом.

Вестэл сказала:

— Разумеется, нет. Нелепая идея! И с какой стати на Кано-хейтс? Там ужасно пестрое население — евреи, итальянцы и даже... О, теперь понимаю!

Мистер Стоплл изложил свою точку зрения в деликатной форме:

— Вы не находите, миссис Кингсблад, что сейчас такое высокомерие с вашей стороны несколько несвоевременно? И никакой другой покупатель вам такой цены не даст. Но я подожду несколько дней, подумайте. До свиданья.

Нийл сказал:

— Ему уже известно...

— Ну, разумеется, известно, мой милый. Уже, наверное, все знают... А что, на Кано-хейтс, очевидно, живут все преуспевающие черномазые, вроде этого доктора Мелоди?

— Понятия не имею.

— А разве никто из твоих... разве у тебя нет ни одного знакомого негра на Кано-хейтс?

— Я этого не говорил! Я не сказал, что никого не знаю на Канно-хейтс. Я просто ответил тебе, что не знаю, живет ли там доктор Мелоди! И я этого действительно не знаю!

— Ах, Нийл, никогда ты прежде не говорил со мной таким тоном!

— Да, правда... Извини, пожалуйста. Не будем ссориться из-за пустяков.

Он видел, что она делает сверхъестественные усилия удержаться от реплики «не я начала», и это его ободрило.

— Мы не допустим, чтобы они нас рассорили и таким образом добились своего.

— Конечно, нет, Нийл... Не думаю, чтобы им это удалось.

В этот и все последующие дни они гадали, сколько людей уже знает и что они говорят об этом. Для Вестэл было огромным утешением то, что соседские дети еще не изменили своего отношения к Бидди — они в ней видели лишь очаровательного и умного бесенка, зачинщицу всех проказ, под предводительством которой они производили во дворе невероятный шум. Исключением была одна только Пегги Хэвок, ближайшая соседка. Она всегда была адъютантом Бидди, а теперь редко выходила на ее зов, и Вестэл было больно смотреть, как Бидди, устав звать Пегги, стояла озадаченная и, медленно чертя по снегу своим красным ботинком, в тщетном ожидании не сводила глаз с двери Хэвоков.

Большинство соседей, встречая их на улице, были усиленно приветливы и крайне неразговорчивы. Взгляды их говорили, что они видят в Нийле, и даже в Вестэл, что-то новое и предосудительное. Откровеннее других оказался их милый сосед, мистер Топмэн, который, несмотря на шестой десяток, все еще служил кассиром в Торговом банке.

Он остановил Нийла на улице и сказал робко:

— Нийл, я слышал, что в вас есть негритянская кровь. Признаться, меня это удивило. Я всегда думал, что все негры — черные, и отчаянные воры. Неужели я ошибался?

Он обращался к Нийлу, как к высшему авторитету в этом вопросе, и Нийл авторитетно заявил:

— Да, ошибались.

— Это очень интересно! А скажите, негры охотно возвращаются в свою Африку?

— По-моему, они туда вовсе и не возвращаются.

— Неужели? А я и не знал! Вот мой знакомый швед уехал же обратно к себе на родину?

— Швед — другое дело.

— Разве? Я это так спрашиваю, просто хочется знать. Скажите, Нийл, вы не знаете ли негра-проповедника в Атланте, штат Джорджия, — я о нем читал в газетах — его звать... точно не помню, но что-то вроде Джордж Браун. Вы знаете, о ком я говорю?

— К сожалению, нет.

— Или не Джордж, а Томас? Возможно, что Томас. Я думал, вы знаете... А вот что вы мне еще скажите, это меня всегда интересовало: сколько зарабатывают в год первоклассные цветные дирижеры — ну вот хотя бы Дюк Эллингтон?

— Вот этого, к сожалению, не могу сказать.

— Неужели не знаете? Жаль. Ну хорошо, скажите мне еще: правда, что все негры непременно хотят иметь белых жен?

— Я в этом сильно сомневаюсь, но наверное сказать не могу.

— Странно. А я полагал, что вы, цветные, знаете всё о таких делах.

Если и было что-то комичное в усилиях мистера Топмэна найти общие темы разговора с этим эфиопом Кингсбладом (которого он знал всего только тридцать один год), — комедия кончилась, когда он заботливо осведомился:

— А если у вас с Вестэл родится второй ребенок, не может так случиться, что он будет черный, как уголь?

Вопрос этот, если принять во внимание прозрачно-белую кожу Бидди, показался Нийлу в ту минуту смешным и даже чуточку рассердил его. Но позднее, после того, как он слышал уже с десятков таких вопросов и сто намеков, они его совсем не сместили, а сердили и возмущали до последней степени. Он расспросил Эша Дэвиса, что говорят законы генетики, и получил категорический ответ, что от смешанных браков «цветных» и белых даже и в одном случае из десяти тысяч не рождаются дети темнее «цветного» родителя. Оказывалось, однако, что среди таких детей природы, как директора колледжей, торговцы швейными машинами, популярные лекторы, распространено другое мнение. Эти утверждали, что когда кто-либо с 0,000001 процента негритянских ген женится на девушке белой, как алебастр (а алебастр известен своей белизной), то у них безусловно все дети могут родиться черными, как душа тирана. Никто из этих хлопотунов о благе общества никогда не наблюдал подобного рода случаев, но это не играло роли, ибо все они слышали об этом от кого-то, кому определенно рассказывали о таких случаях.

Только спустя некоторое время Нийла озарила мысль, что если у таких родителей и может родиться черный ребенок, он будет для них прежде всего их ребенком, которого они не могут не любить.

Орло Вэй сказал Вэндеру (оба были столпы силвен-паркского общества):

— Он — дурак, но он всегда был мне добрым соседом (их дом как раз напротив моего), и я не знаю, можно ли, собственно, считать его негром, если в нем только одна тридцать вторая...

Но мистер Вэндер зарычал:

— Если человек публично заявляет, что он — негр (притом не в шутку, а всерьез), и сам себя исключает из рода человеческого, то он для меня негр, хотя бы в нем была не одна тридцать вторая, а одна сто тридцать вторая черной крови.

— Пожалуй, вы правы, — с готовностью согласился Орло.

Скоро всему Гранд-Рипаблик стало известно, что Нийл, «если хотите знать точно», — на четверть негр.

Спасаясь к Дэвисам и Вулкэйпам, он радовался, что теперь не нужно больше лгать Вестэл. Какими-то неведомыми путями на Майострит все уже узнали о его выступлении в клубе, и одни прониклись к нему дружескими чувствами, другие только смеялись. Он и сам не заметил, как у него вошло в привычку почти каждый день по дороге из банка домой забегать к Джону и Мэри. А у Эша он часто встречался с Софи, и она будила в нем какую-то тревожную нежность и неясное чувство ожидания.

Он искал у них утешения, так как не проходило дня, чтобы кто-нибудь не дал ему почувствовать, что он «цветной».

Том Кренвей не мог придумать, какими словами уязвить его, и поэтому только делал негодующую мину. Седрик Стаубермейер пытался смотреть на него так, как белый смотрит на негра. Зато Роза Пенлос,

жившая в соседнем квартале, при встрече всегда с робкой приветливостью махала ему рукой. Кухарка их, Ширли Пзорт, не разобравшись, вообразила, что это Вестэл негритянка, и была к ней необычайно нежна, видя в ней такую же эмигрантку, как она сама. Доктор Коп Андерсон, химик, сослуживец Эша, посетил их вместе с преподобным Ллойдом Гэдом, свободомыслящим пастором. А в банке Люсьен Файрлок постоянно искал случая демонстративно пожать Нийлу руку на людях.

Затем у Нийла произошел разговор с личностью, известной всему дому много лет под названием «старичок, который ходит на кухню». Этот поставщик часто появлялся в сумерки с корзиной и приносил на продажу жирную курицу, вишневую пастилу, яйца или какой-нибудь затейливый кофейный торт в стиле рококо, испеченный его женой на ферме за озером «Дэд-Скво». На этот раз его неуверенный звонок с черного хода раздался поздно, в двенадцатом часу ночи, и Нийл и Вестэл с тревогой подумали: уж не пьяный ли это Кэртис Хэвок, или воинственный мэр Флирон со своими полицейскими. Вестэл отважно, как отряд гелохранителей, вооруженных автоматами, пошла отпирать, Нийл пошел за ней.

Человечек, стоя в полутьме на цементной площадке, сказал:

— Мистер Кингсблад... Нийл... сегодня я ничего не принес. Я только что узнал, каким вы оказались молодцом, и пришел сказать вам спасибо.

Зато в автобусе какая-то незнакомая старушка, обратясь к Нийлу, разразилась следующей тирадой:

— Послушайте, мой милый ниггер, вы знаете, как покарает вас господь за то, что вы нарушаете его заповедь — чтобы эфиопы оставались нашими слугами и знали свое место на кухне, а не ездили в автобусах вместе с порядочными белыми людьми? Кто не слушается слова господня, тому уготовано место в аду среди скрежета зубового — так сказано в библии, так говорит господь, да будет благословенно его имя!

Все это было только вступлением, за которым последовали письма.

Дедушка Эдгар Саксинар написал из Миннеаполиса, что Нийл — неблагодарный мальчишка и лгун, что никакой Ксавье Пик никогда и не жил на свете.

Бертольд Эйзенхерц, владелец Силвен-парка, написал из своей зимней виллы в Пальм-Бич, что он, конечно, высоко ценит знакомство с Нийлом, но если Нийл согласится переехать в другое место, он обеспечит ему всякие материальные выгоды.

Дрэксел Гриншоу в своем письме сетовал на то, что такой джентльмен, как мистер Кингсблад, привлек всеобщее внимание к людям несчастной цветной расы и только ухудшил их положение.

Посыпались и анонимные письма — своеобразная дань известности, — писанные в болезненном экстазе всякими психопатами, которые, когда они не пишут писем, после полуночи для развлечения крадутся по глухим переулкам и отравляют кошек.

Первым пришло письмо на разграфленном листке из блокнота, явно писанное рукой ревматика, в невзрачном конверте с кое-как нацарапанным адресом.

«Дорогой мистер Кингсблад, продувной негр!

Вам, наверное, и не снилось, что я узнаю насчет вас, как вас вывели на чистую воду и как вы признались, что столько лет выдавали себя за порядочного белого человека. Теперь вас поймали с поличным и вы стали просто черномазым, но вы еще делаете вид, будто ничего не

случилось, и доказываете, что негры не хуже белых. Если бы вы читали Библию, вы бы другое запели. Там ясно сказано, что бог создал негров для служения белому человеку. Если бы бог хотел, чтобы негры были, как белые, и становились врачами и адвокатами и так далее, он бы их покрасил в другой цвет, а он их сделал такими омерзительно черными, как вы, чтобы показать, что они низшая раса. Неужели и теперь не понимаете? Вы просто об этом не подумали.

Беда в том, что вы, черные, никогда не пробуете пошевелить своими так называемыми мозгами, а если бы подумали хорошенько, так поняли бы то, что я говорю, и убралась бы обратно в свои хижины, там ваше место.

Да, хорошенькая шутка получилась с вами, мистер Копченый! Будьте же молодцом и поймите, как вы смешны, когда выступаете с какими-то речами и доказываете свое невежество. Признайтесь, что вы оказались в дураках—и я вас прощу, и забудем старое. Конечно, надо прямо сказать, — это мое счастье, что я получил образование, а вы, негры, все народ темный, но вы не смейте ни слова пикнуть про сенаторов от Миссисипи и Луизианы, они — благородные джентльмены, а такие черномазые нищие, как вы, недостойны им башмаки чистить. Зарубите это себе на носу, мистер Образованный негр, и благодарите вашего

Неизвестного доброжелателя.

P. S. В другой раз вы так дешево не отделаетесь, мы не позволим черномазым изображать из себя белых. Так что будьте осторожны, вы не знаете, сколько глаз следит за вами, и не можете знать, когда падет удар».

Из доброй дюжины анонимных писем, полученных ими, только одно было адресовано Вестэл. Оно было аккуратно написано на машинке, на полотняной бумаге, и от него пахло духами:

«Дорогая Весталка¹ (или Девственница?), наше скучающее общество крайне обязано вам и вашему прекрасному муженьку за скандал, который на целые годы даст нам тему для веселых шуток. Просим сообщить, не собирается ли ваш драгоценный супруг баллотироваться в члены Конгресса в качестве представителя цветных джентльменов и таким образом дать вам возможность щеголять своими «прелестями» и пятидесятидолларовыми шляпками в высших (цветных) кругах Вашингтона, как вы до сих пор щеголяли у нас в Гранд-Рипаблик. Ваша дочь, маленькая фея, которая настолько «выше» всех обыкновенных негрят (мы давно находили очень странным ее хвостовство и кривлянье), в Вашингтоне сможет общаться с равными ей детьми, скороспелыми отпрысками негров-профессоров, еврейских «специалистов» и послов Гаити.

Несомненно, если ваша «лучшая половина» теперь не сможет заработать на кусок хлеба, вас поддержит подачками ваш представительный, хотя немного угрюмый папаша.

Можете передать мужу (кстати, вам не приходило в голову, что из него мог бы выйти превосходный хорист?), что нам здорово надоело нахальство негров. Ваш милый муженек не мог выбрать более неудачного момента для объединения с этими господами. Так значит черномазые уже требуют себе права сходиться с Дочерьми американской революции, а их женщины не желают больше служить в кухарках и прачках, так как они все — бывшие лейтенанты? Ну и ну!

Передайте своему очаровательному другу сердца, что неграм не будет жизни, пока они не поймут, что мы «предубеждены» не против

¹ Вестэл — по-английски означает «весталка».

их прелестного цвета кожи и носов, а против их постыдных болезней, паразитов, против их лени, убийственной нечистоплотности и глубокого невежества. Мы, конечно, понимаем, что вы все это видите не хуже нас, и отдаем должное мужеству женщины, которая остается верна этому образцу неандертальской породы. Воображаю, как вы стонете от наслаждения в его объятиях!

О, не оправдывайтесь, дорогая миссис Кингсблад, я надеюсь, и множество женщин, чьи разговоры мне пришлось слышать, также надеются, что внимание, которое всегда вам оказывал мистер Элиот Ханзен, приведет вас к новому «интересному положению». Все мы очень ревниво следим за теми хитростями и кривляниями, которые вы пускаете в ход, чтобы привлечь мужчин сомнительного сорта, и с большим вниманием будем следить за вашей двойной игрой.

А может быть, у вас и вашего Нийла хватит ума убраться из города? Глас народа — глас божий.

Ваш искренний друг».

Протянув Нийлу это послание, Вестэл сказала с диким блеском в глазах:

— Нельзя ли как-нибудь доказать, что в моих жилах тоже течет честная негритянская кровь?

39

Надежды и похмелье новогоднего праздника остались позади, и Нийл опять был прежде всего человеком, у которого есть свое дело, служба в банке, в реальном мире акций, облигаций, мрамора и праттовщины.

Через десять дней после Нового года, в пятницу утром, мистер Пратт позвал его к себе в кабинет.

Мистер Пратт был человек достойный и практичный, хотя и принадлежал к епископальной церкви. Он совсем по-отечески сказал:

— Садитесь, Нийл, голубчик.

Соединив пальцы обеих рук, он поднес их щитком к глазам и поверх них посмотрел на Нийла.

— Я прихожу к заключению, что слова, сказанные вами на клубном вечере насчет вашего происхождения, не были шуткой, что вы тогда не были пьяны, как я предполагал. Вы сожалеете теперь, наверное, о том, что сделали, и сами увидите, как сильно это повредит вашей карьере. Но вот не знаю, понимаете ли вы, Нийл, как серьезно это вредит мне, так как я отвечаю за репутацию и устойчивость банка...

Как коренной янки, я всегда очень жалел вас, цветных, и всегда держался того мнения, что было бы милосерднее не давать вам образования выше четырех классов, для того, чтобы у вас не появились ложные понятия и чтобы вы не сознавали всей глубины своего несчастья. Но что касается вас лично, Нийл, в вас, мне кажется, белая кровь преобладает над всякими задатками низшей расы, и вы всегда с искренней преданностью соблюдали интересы нашего учреждения, как и наше учреждение всегда соблюдает интересы своих служащих.

Положение создалось тяжелое, но, вы видите, я не проявляю неуместного любопытства, не спрашиваю вас о причинах вашего поведения, и мы будем вас поддерживать до последней возможности и постараемся найти способ оставить вас на службе. Но... вы сами поймете, что некоторое время вам лучше не иметь дела непосредственно с посетителями. Мы не можем допустить, чтобы говорили, что наш банк приютил цветных, в то время как столько белых — ветеранов войны начинают искать работу.

Так что, к сожалению, я вынужден буду назначить другого заведующего нашей Консультацией для ветеранов, а вам подыщу счетную работу во внутреннем помещении, где никто из клиентов вас не увидит, и не будет поводов к недоразумениям. Есть столько нетактичных людей! Но, несмотря на перемену работы, я постараюсь, чтобы правление не снизило вам оклада... пока. Ну, вот так, Нийл, — добавил он с наигранной веселостью. — Уверен, что вам мои соображения ясны.

— Да.

И это все, что сказал цветной человек, чтобы вывести из затруднения бедного мистера Пратта.

Он вернулся к своему столу в Консультации, им задуманной и организованной, собрал свое личное имущество: фотографию Вестэл и Бидди, трубку и итальянскую монету, найденную на поле битвы.

Его позвали к телефону. Говорил доктор Нормэн Кэмбер.

— Нийл, не можете ли сейчас же притти в кабинет вашего отца? Я звоню оттуда. Ваш отец скоропостижно скончался несколько минут тому назад.

Он подумал: «Это просто нелепо. Это какая-то мелодрама». Он ощутил даже некоторое, не лишнее приятности, возбуждение от такого множества событий сразу. И только постепенно до его сознания дошло, что никогда больше он не сможет поговорить с отцом, не увидит его застенчивой улыбки, не услышит его шуток. Никогда не сможет примирить его с тем, что он, его сын, стал негром.

Он вспомнил, как отцу хотелось пожить подольше и стать родоначальником королей. Вспомнил, как он заботился о доме и всегда что-то мастерил. Потом подумал: «Когда же будут хоронить — в воскресенье или понедельник? Если в понедельник, то придется ли после похорон вернуться в банк? Я, наверное, нужен буду в Консультации». И тут же вспомнил, что он никогда уже больше не будет нужен в Консультации.

Эти рассеянные мысли уступили место чувству нежной жалости к матери, которая будет теперь так одинока... Нет, она не останется одна, с нею Джоан... А он как раз теперь счел нужным превратить их обоих в негритянок, обречь на одиночество, извечное одиночество негров среди белых.

Он шел из банка, думая о матери, которая даже в таком страшном горе не посмеет отвести душу ни с одним из ближайших соседей.

40

Зубоврачебный кабинет доктора Кеннета Кингсблада находился на Чиппива-авеню недалеко от Второго национального банка, в так называемом Доме специалистов. В вестибюле толпилось столько мужчин на костылях, мужчин с забинтованными руками, бледных матерей с детьми на руках, что в лифт удалось попасть только в третий рейс. Лифтерша была хорошенькая. Она кокетничала с молодым человеком в белой куртке, но тем не менее нашла время улыбнуться и Нийлу и сказала очень ласково:

— Пятый этаж! Вам выходить.

Нийл подумал: «Видно, она не знает, что меня ждет на этом этаже, в нескольких шагах от ее лифта!»

Жутко было в чистенькой и банальной приемной доктора Кеннета — два рыжих кленовых стула, обитых клетчатой материей, такой же кле-

новый стол с грудкой иллюстрированных журналов и всегда горевшей электрической лампой, на абажуре которой изображен был фрегат под всеми парусами. Жутко стоять тут и смотреть на кленовую кушетку с клетчатыми подушками, где лежит мертвый отец. Голова была в тени, ее заслонял стол, на котором лежала книга для записи больных, раскрытая сегодня утром, — последняя фамилия аккуратно вписана полчаса назад. На раскрытой странице — старые отцовские очки, ненужные теперь. Правая дужка подклеена кусочком пластыря, посеревшим от времени, — и Нийлу вспомнилось, как отец, весело глядя на него сквозь стекла, обещал как-нибудь сходить к оптику на этом же этаже и отдать починить очки.

Помощница доктора Кеннета, плача, смотрела на вяло распростертое худое тело, и на ее покрасневшем лице было растерянное, удивленное выражение.

В ту минуту, когда Нийл подошел к доктору Кэмберу за утешением, которое может дать только врач, ввалился брат Роберт, говоря уже с порога:

— Хорошо, что вы меня застали в банке, доктор. Я только что собирался итти в пекарню и тогда мог бы не скоро попасть сюда... Ах, папа, папа! Не могу поверить, папа, что тебя больше не будет с нами!

Он набросился на Нийла:

— Это ты его убил! Он не выдержал твоих сумасбродных фантазий! Ты виноват в его смерти, и я этого тебе никогда не забуду!

Но доктор Кэмбер сказал повелительным тоном:

— Замолчите, Боб! Ваш отец умер от закупорки сердечных сосудов, смертью естественной в его возрасте. Нийл тут не при чем. Отец, вероятно, гордился его мужеством.

Доктор Рой Дровер, председатель Федерального клуба, и доктор Кортец Келли, сосед Нийла, любитель охоты на уток (их приемные были в этом же доме) вошли и, казалось, сейчас же загромождили всю маленькую комнату. Дровер, посмотрев на Нийла с демонстративной враждебностью, возразил Кэмберу:

— Ну, этого нельзя утверждать, коллега. Возможно, что поведение Нийла сильно повлияло на отца. Откуда мы знаем?

— Да ну полноте, Рой! — запротестовал доктор Келли. — Нийл, конечно, идиот, и я надеюсь, что его выгонят из нашего квартала, как всякого черномазого, но в смерти старика он не виноват. Идемте, Рой.

И оба медика вышли, продолжая пререкаться и в передней, а Нийл, Роберт, доктор Кэмбер и дрожавшая от волнения девушка—все стояли и молча смотрели на человека, лежавшего так неестественно тихо на кушетке.

Нийл вспоминал, как в октябре отец весело сметал на лужайке у дома опавшие листья и говорил, как всегда, такими обыденными словами: «По-моему, осень — лучшее время года. Она такая мирная. Я всегда был занят с утра до ночи, хотя и не разбогател от этого, и вот теперь жду не дождусь, чтобы осень жизни принесла мне покой и радость. Люблю покой».

Но не этого покоя он ждал: лежать в приемной, свесив застывшие теперь, нервные руки.

«Неужели я его убийца? Так он и не узнает ничего насчет потомков Екатерины Арагонской, а ведь, может, это и была правда. И эту его надежду тоже я убил?»

Доктор Кэмбер положил ему руку на плечо, но Нийлу хотелось, чтобы здесь была Вестэл... и Софи. И Мэри Вулкэйп.

Роберт громко всхлипывал. Он был самый старший из детей доктора Кеннета, но в нем осталось много детского, и он чаще всех приходил к отцу со своими горестями даже тогда, когда уже сам был отцом. По своему умственному развитию он был крестьянский парень-переросток, и сейчас, глядя на него, потрясенного, испуганного, Нийл понял вдруг, каким ударом для этого простоватого, любящего семьянина, для которого главное в жизни было материальное благополучие, явилось открытие насчет родства с неграми.

Пришел Роберт Херт, владелец похоронного бюро, и с этой минуты до того момента, когда гроб был опущен в январскую землю, распоряжались всем оба Роберта. У них было так много общего. Оба священнодействовали, оба с усердием соблюдали всякие мелочи ритуала, оба были уверены, что доктору Кеннету доставит большое удовольствие, если ему положить в гроб под голову чистую и мягкую подушечку.

И оба одинаково были убеждены, что это Нийл убил отца.

Худошавое, доброе лицо отца в гробу было подкрашено и жутко похоже на лицо восковой куклы. Нийл смотрел на нарядную обивку гроба, видневшуюся сквозь открытое отверстие в крышке, и гадал, весь ли гроб обит внутри или, для экономии, только то место, которое видно. Ему ненавистна была вся эта мишурная пышность смерти, не оскорблявшая почему-то его друзей и родных. Ненавистны оба шёпотом совещавшихся Роберта, которые всем своим видом говорили: «Не горюй — смотри, как бодро мы это переносим... все обошлось удивительно дешево. Круглосуточное обслуживание».

Из-за них Нийл чувствовал себя здесь посторонним — а ведь это был дом его отца!

Мать стала похожа на клочок тумана. Она казалась спокойной, не плакала, не пользовалась этим единственным днем, когда она была в центре внимания, чтобы выставлять напоказ свое горе. Она смиренно делала то, что ей велели два Роберта. В тоне, которым они обращались к ней, звучало мужское покровительство, и они услужливо, но неумело пытались снять с нее бремя скорби, которую неспособны были понять.

Оба Роберта были в высшей степени польщены появлением на похоронах и мэра Флирона и бывшего мэра Билла Стоппла, которые, держа шляпы в руках, дипломатически поглядывали на Нийла, как бы безмолвно обещая, что на сегодня они оставят его в покое.

А гроб стоял посреди гостиной, и вокруг теснились чужие люди (Нийл готов был поклясться, что эти люди до сих пор никогда и в глаза не видели доктора Кеннета), и раскрашенная фигура в гробу, казалось, ожидала, и все вокруг как будто ожидали, сидя на взятых на прокат стульях, и мешала дышать невероятная масса цветов, а портрет (карандашом) доктора Кеннета был обрамлен полосой черной материи, второпях вырезанной из старой занавески, оставшейся от времен затемнения. Два Роберта забыли убрать трубку доктора Кеннета, и она лежала на своем обычном месте, на пианино, — единственный предмет в комнате, который не участвовал в этой комедии притворства и ничего не ожидал.

Роберт Херт, как епископ, поднял руку, Роберт Кингсблад сделал то же самое и повернулся к матери, которая сейчас в первый раз громко заплакала. Вошли, как автоматы, несколько смущенные участники церемонии, которым предстояло нести гроб. Среди них были и Седрик Стаубермейер и Вэндер, соседи, больше всех негодовавшие на Нийла.

Ни один из вошедших ни разу не заговорил с ним, — они, входя, только кланялись бледной и корректной Вестэл и возбужденной Бидди.

Гроб, в наклонном положении спускаясь вниз по лестнице, медленно двинулся из дома. Тут только Нийл впервые почувствовал всю безнадежность смерти. В последний раз отец его спускался по этим ступеням, по которым он столько лет взбегал и сбегал так суетливо, так весело. И этот последний путь он не мог уже пройти сам, его несли, и он не мог в последний раз оглянуться на свой дом.

Херт разместил всех в автомобиле, соблюдая старшинство, как на каком-нибудь придворном приеме,—очевидно, он полагал, что смерть—монарх обидчивый и требовательный в отношении приличий. Элис, жена Роберта, и Китти Сэйуорд поспорили, кому из них ехать с мамой. Роберт Херт разрешил их спор с ласково-успокоительной благочестивой миной, как бы говорившей: «Все проходит, и это пройдет, и вы будете удивлены и умилены скромностью моего счета за похороны».

Автомобили ехали с зажженными фарами в знак того, что это — похороны. Закон штата, заботясь о том, чтобы покойник не был обижен, наказывал штрафом всякого, кто пересекал дорогу погребальной процессии.

Гроб, качаясь, поплыл вверх по ступеням в силвен-паркскую баптистскую церковь, где уже ожидал доктор Шелли Бэнсер, в пастырском облачении, с таким видом, словно он никогда не играл в карты и всю жизнь провел в полутемной монастырской келье, размышляя о чуде Воскресения. Он сказал утешительную надгробную проповедь и обещал всем, что они скоро увидятся со своим дорогим покойником, но это звучало у него совсем не радостно.

Нийл опять подумал о чужих людях, пришедших сюда оплакивать его отца. Кто они все? Пациенты? А может быть, некоторые из них знали его отца лучше, чем он. Он почувствовал себя одиноким, и вдруг чуткая рука Вестэл успокоила его.

Он заметил, что многие смотрят больше на него, чем на пастора. Да, ведь для половины этих людей он — негр, который выдавал себя за белого, который был уличен и будет изгнан из города. Потом он увидел в задних рядах двух неожиданных гостей, чьи взгляды пытались сказать ему, что у него есть верные друзья, — это были Ивэн Брустер и доктор Эмерсон Вулкэйп, коллега его отца по профессии, с которым доктор Кеннет при жизни не сказал ни одного слова.

На кладбище было ветрено, и над головами немногих, оставшихся у могилы и дрожавших от холода, бодрые слова доктора Бэнсера, казалось, метались в воздухе, как хлопья серого снега.

Потом все ушли и оставили его отца одного на кладбище.

Когда они вернулись домой, Вестэл, до сих пор такая кроткая и терпеливая, заговорила с ним резко.

— Перестань сентиментальничать по поводу смерти папы. Ему ты уже ничем не поможешь, а для меня и нашей дочки тебе надо сделать очень многое. Ты хоть раз задумывался над тем, что Бидди в большой степени и твоя дочь тоже и так похожа на тебя беспечностью? Во имя своей пресловутой любви к правде и справедливости ты превратил нас в отверженных. Ну а какие же у тебя дальнейшие планы насчет нас? Ты не советовался со мной, выступать ли тебе публично, так теперь тоже сам решай и скажи мне, что делать.

— Да что ты, Вестэл... ты была на похоронах такая чудная — и вдруг...

— Пожалуй, я была слишком чудная... Ответь мне: что ты намерен делать, если старый осел Пратт выгонит тебя из банка?

— Не знаю.

— А не находишь ли ты, что пора об этом подумать?

Он только головой кивнул.

41

Вечером они сидели одни, печальные, и читали. Когда в передней раздался звонок, Вестэл подумала вслух:

—В одиннадцатом часу — кто это может быть? Должно быть, братец Роберт пришел посидеть, поплакаться. Пойду скажу, что мы уже ложимся спать.

Из-за отпертой двери донесся в столовую слитный шум голосов и чей-то хохот, хриплый и насмешливый. Нийл встал, готовый к бою, но в эту минуту услышал голос Вестэл — как слишком высокий звук флейты. Она кого-то приглашала: «Ну, конечно, входите. Рада вас видеть. Очень мило с вашей стороны...»

В дверях столовой появились три черных физиономии и одна мертвенно-белая, все с выражением веселого злорадства. Это были: Борус Багдол, хозяин «Веселого джаза», Хэк Райли, демобилизованный, белая женщина, полька, которую звали Фэйдис, а фамилии ее никто никогда не слышал, и черная роза — Белфрида Грей, которая воскликнула:

— Я всегда давала себе клятву, что когда-нибудь приду сюда с парадного хода — вот и пришла!

— Вот и пришли, — любезно подтвердила Вестэл.

Борус, самоуверенный и томный (его острый нос, дерзко торчавший над галстуком спортсмена, придавал ему вид черного ястреба), подмигнул Вестэл, иронически посмотрел на ошеломленного Нийла и сказал развязно:

— Добрый вечер. Моя фамилия—Багдол, я кабатчик. Слышал, что у нас в городе обнаружен еще один случай смешанного брака, а я всегда навещаю такие пары и приглашаю их в нашу компанию.

Фэйдис радостно прокричала:

— Да, мы с ним тоже смешанная парочка. Он раньше гулял с Бел, но она стакнулась с Хэком, и теперь Борус — мой парень, а я такая же белая, как вы, пожалуй даже белее, но все-таки я люблю моего коричневого крепыша! Да, Вестэл, я, как и вы, живу с цветным, и могу сказать — они умеют приласкать женщину!

Нийл перевел дух, собираясь уже вышвырнуть непрошенных гостей, но тихий голос Вестэл произнес так, что только он мог ее слышать.

—Нет! Я хочу тебе показать, каковы твои высокообразованные друзья.— Затем весело: — Садитесь все. Белфрида (надеюсь, вы не в претензии на мою фамильярность?), ну как вы живете?

Она была так спокойна и весела, что обезоружила этих людей, пришедших издеваться над ними: шутка теряла смысл. Борус, как человек со светским опытом, еще стоял в непринужденной позе — он был немного выше Вестэл. Он сказал снисходительно:

— А знаете, леди, вы — молодчина.

Он разглядывал ее с таким веселым изумлением, словно знал все ее тайные мысли, ее снобизм и великодушие, знал ее и в бальном платье и в купальном костюме. От этого взгляда Вестэл вспыхнула и сбилась с тона. Сказала поспешно:

— Нийл, я пойду принесу гостям чего-нибудь выпить. А ты пока займи их.

Нийл подумал, что Борус производит впечатление человека, который всегда начеку, держит нож за пазухой и готов к быстрым действиям. Он сказал, предчувствуя плохой конец:

— Чего ради вы ворвались к нам?

— Может быть, только для того, чтобы побесить вас, а может, мы хотели узнать, кто вы такой—честный ли негр или еще один святоша и спесивый умник, болтающий о равенстве рас. Мы хотели посмотреть, захотите ли вы якшаться с нами, черномазыми?

Нийл сознавал, что ему следовало бы оскорбиться, но почему-то он совсем не чувствовал себя оскорбленным. Высокие социальные перегородки, которые как он до сих пор полагал, существуют между капитаном Кингсбладом из рода Кингсбладов и Борусом, черным барменом, оказались мифом, и он думал: «Может быть, дружба с таким Борусом будет для меня счастьем, когда все фетеринги ополчатся против меня?»

— Думаю, что да, Борус, — сказал он очень серьезно. — Но я еще новичок. Буду рассчитывать на вас, если можно.

— Безусловно можете, — ответил Хэк Райли, а Борус протянул тонкого человека, который не то принимает, не то примет когда-нибудь это всерьез (или почти всерьез):

— Что ж, пожалуй.

Вошла Вестэл, неся на большом подносе виски, лед и содовую. Хэк неуклюже вскочил и протянул руки, чтобы взять у нее поднос, но ловкий Борус опередил его и принялся смешивать виски с содовой, а Хэк и Фэйдис тем временем застенчиво оглядывали комнату, которая как будто излучала безмятежную уверенность. Все выпили, и картина совершенно изменилась: здесь не было более чернокожих нахалов, вторгшихся в дом к негодующим белым, здесь дружно веселились шестеро молодых, любящих посмеяться, поострить, посквернословить. Хохотали над анекдотами Боруса о жадных белых полисменах, над характеристикой, которую Хэк дал белым сержантам, хохотали, вспоминая первое удивление Вестэл при виде гостей.

Белфрида осведомилась о Бидди.

— Ужас, как выросла! — тоном нежной мамы сказала Вестэл.

— Надо ей давать побольше брюссельской капусты.

— Да, я уже об этом думала.

— А как Ниггер — то есть Принц?

Разговор неизбежно коснулся расовой дискриминации.

Борус был целиком согласен с мистером Фетерингом насчет образования негров.

— На что черному литература, если у него будет изрядная пачка ассигнаций и славная бабенка — розовая или коричневая? — говорил он с ядовитой усмешкой.

А Хэк Райли признался:

— Я над вами посмеяться пришел, вывести вас на чистую воду, а вы, оказывается, молодчина! Пожалуй, вам туго придется среди белых. Ну так что ж? Вот я же прожил всю жизнь, не зная светлого дня! Хотел бы я на вас посмотреть, если бы вам пришлось стать грузчиком или «искателем жемчуга»¹.

Вестэл поняла буквально выражение «искатель жемчуга». Она сказала решительно:

¹ На американском воровском жаргоне «искатель жемчуга» — карманный вор.

— А я уверена, что он бы это отлично делал: он такой замечательный пловец.

Она не понимала, почему ее слова вызвали такой дружный хохот.

Гости просидели меньше часа. На прощанье Белфрида погладила Вестэл по руке, и веселая компания умчалась в роскошном автомобиле Боруса с криками: «Вы оба молодцы! Приходите к нам в «Джаз».

Некогда их единоплеменники плелись пешком по дорогам Каролины, в то время как белый «масса» галопировал на лошади, — но в машине негр передвигается так же быстро, как белый.

Нийл сказал весело:

— Они грубоваты, но забавные. И могут оказаться настоящими друзьями в черный день. Неужели тебе не понятно, почему я ими всерьез интересуюсь?

Вестэл смерила его холодным взглядом:

— Этими шутами? Да ты окончательно рехнулся, мой милый?

— А мне показалось, что они и тебе понравились. Ты была так приветлива.

— Просто не хотела, чтобы нам с тобой перерезали горло.

— Какой вздор! — возмутился Нийл.— Да они в сто раз порядочнее Кэртиса Хэвока и гораздо лучше воспитаны.

— Невелика заслуга — быть лучше Кэртиса! И неужели тебя не раздражает наглая усмешечка этого противного Багдола? С каким удовольствием я бы отстегала его кнутом! Я не южанка, но я белая до мозга костей!

— Гм.. наглость Боруса меня раздражает не более, чем плотоядная улыбочка Элиота Ханзена и его старания при каждом удобном случае потрогать тебя! Борус смелый и мужественный человек — это видно. Может быть, мы еще когда-нибудь будем рады иметь его соседом.

— Ты, но не я. Я там жить не буду.

— Вот как? Ну что ж... Пойду, пожалуй, пройду перед сном.

Ему сейчас очень хотелось изменить своей деспотической жене. Молодые и добродетельные мужья часто приходят к этому, когда их одолевает какая-нибудь мучительная забота, и они чувствуют, что новые, неиспытанные ласки других, более страстных женских рук могут успокоить их и внести какую-то ясность во все. Нийлу сильно хотелось позвонить Софи Конкорд.

Но после пятиминутного лечения холодным воздухом и одиночеством он вернулся домой и до полуночи спорил с Вестэл.

Наступил февраль, и по тротуарам, обледелым под зыбкой пеленой снега, стало опасно ходить. Пытаясь подняться в гору, автомашины буксовали и съезжали назад, а предохранительные цепи бились о крылья, и целый день слышалось это раздражающее хлопанье

В столице Америки несколько сенаторов-южан не давали своим коллегам, таким же титанам, даже поставить на голосование билль, запрещающий нанимателям отказывать кому-либо в работе из-за цвета кожи.

Форт Самтер¹ опять обстреливался, в южных штатах опять нарушали Американскую конституцию, и теперь их в этом тайно поддерживали более многочисленные группы медянок² на Севере. Новый Джеф-

¹ С осады южанами форта Самтера в 1861 году началась Гражданская война в Америке

² Змеями-медянками называли в эпоху Гражданской войны в Америке тех северян, которые были тайными сторонниками южан.

ферсон Дэвис¹ еще не был избран, но идеалы рабовладельческого Юга были самым недвусмысленным образом провозглашены. Боевой призыв к вооруженному восстанию последовал со стороны этого старого «аристократа-плантатора», мистера Дэвида Кона, который в «Ежемесячнике Атлантики», всегда готовом к услугам, недавно писал следующее:

«Есть белые и негры, которые добиваются декрета федерального правительства об уничтожении изоляции черных на Юге. Им не мешает быть осторожнее. Я нимало не сомневаюсь, что если они добьются своего, белые Юга, все, как один, схватятся за оружие, и во всей стране вспыхнет гражданская война».

Теперь не было Авраама Линкольна, чтобы двинуть войска. Прошло уже восемьдесят пять лет с тех пор, как началась война между Севером и Югом. И вот теперь эту войну выиграл Юг. И в замерзшем городишке одного из северных штатов Среднего Запада негру Нийлу Кингсбладу грозила безработица—не из-за нерадивости или некультурности, а из-за цвета его кожи, хотя в действительности кожа у него была не цветная, а белая. А господь попрежнему управлял миром, и в этом мире творилось что-то непонятное, удивлявшее полным отсутствием всякого смысла.

42

— Если учесть, что британцы, французы, голландцы, испанцы, португальцы делали экскурсии в свои колониальные владения, населенные людьми с темной кожей, и привозили оттуда служанок, а также и то, что мавры двигались и на юг Африки и на север Европы, если к тому же принять во внимание влияние жарких южных вечеров на плоть человеческую, то надо полагать, что в жилах всех «белых» в Европе и Америке, от британских герцогов до политиканов Джорджии, есть какая-то доза так называемой «негритянской крови».

Так разглагольствовал Клемент Брейзенстар, который уже вернулся в город и жил у Вулкэйпов. Нийл очень обрадовался, увидев опять его черную клоунскую физиономию, но возмутительная идея Клема его несколько задела. Что стало бы с тем зданием, которое он так тщательно возводил на своем несчастье, если бы можно было доказать, что Вестэл, и Джон Уильям Пратт, и Уилбер Фетеринг, и Родней Олдвик такие же «цветные»?

В этот вечер у Клема оказалось в запасе еще несколько таких же «бомб» Он говорил:

— Если в тех районах Юга, где семьдесят-восемьдесят процентов населения — цветные, белым не нравится, что они меньшинство, так обязательно извращать все законы и обманывать правительство с целью во что бы то ни стало сохранить господство. Есть еще один выход — пускай делают то, что они так часто великодушно предлагают недовольным неграм: пусть выселяются в другие места...

Вероятно, с появлением хлопкоуборочных машин и культиваторов для риса через какие-нибудь пятнадцать лет четыре-пять миллионов негров, работавших на плантациях, переберутся на Север, и честные граждане Севера будут иметь возможность увидеть, создадут ли там негры «белый вопрос»...

.. Когда негры срываются с цепи и начинают драться с белыми торговцами и полисменами, их злоба прямо пропорциональна той злобе белых, которую они испытали на себе. Это — древний закон биологии революций...

¹ Президент Конфедерации отделившихся южных штатов (1861—1865).

Предрассудки — драгоценнейшая привилегия невежд, и если семь мудрейших из всех мудрецов мира в течение семи часов подряд трезво и убедительно будут доказывать, что такой негр, как Эш Дэвис, — не менее достойный избиратель и собеседник за столом, чем средний белый бутлегер, — всякий правильно воспитанный южанин, а в особенности южанка, выслушав их до конца, только усмехнется учтиво и ответит: «Вы, друзья, не знаете черномазых так, как знаю их я, и как бы вам это понравилось, если бы ваши семь дочерей вышли за негров?»

И Клем весело захохотал.

Нийлу нужно было уйти не позднее двенадцати—час, когда всякий спор о расовом вопросе только начинал разгораться. Выйдя от Вулкэйпов, он наткнулся на Уилбера Фетеринга, который прохаживался взад и вперед мимо дома и ничуть не был смущен тем, что его увидели.

Уилбер сказал весело:

— Как живете, Кингсблад? Приятно провели вечер? Вы, я вижу, как и я, любите ходить сюда для изучения нравов бедных угнетенных черномазых.

«Вот оно что! Значит, это от Фетеринга Род Олдвик получил информацию насчет «агитаторов»!»

Нийл, буркнув что-то неопределенное, прошел мимо.

На другое утро он в банке видел, как Фетеринг говорил что-то Эшиелу Денверу. И после этого Денвер поздравил его:

— Нийл, я хотел бы, чтобы вы всеми силами старались угодить мистеру Пратту. Он очень хороший человек, человек с высокими моральными правилами. Он мне рассказывал, как в детстве у него раз не нашлось пенни, чтобы опустить в кружку пожертвований на воскресную школу. И как только он разравнял граблями чью-то лужайку и получил за это пенни, он прошагал пять миль, чтобы отдать его заведующему воскресной школой, торговцу обувью, а тот был так тронут поступком мальчика, что подарил ему пару залежавшихся в лавке резиновых сапог! А уж к нам, служащим, мистер Пратт относится идеально! Просто идеально!

— В чем дело, Эшиел? К чему это вы клоните?

— Видите ли, от некоторых из наших крупных вкладчиков поступили жалобы на то, что у нас служат неарийцы. Вы знаете нас, Нийл. Мы с мистером Праттом сделаем для вас все, что в наших силах. Но...

Одного только вкладчика, повидимому, не возмущало присутствие Нийла в банке — Люсьена Файрлока.

Он передал записку в ту уединенную клетушку, где теперь сидел Нийл, приглашая его позавтракать вместе. Нийл был очень доволен этим. Вот уж две недели он ходил завтракать один, сторонясь людей, в какую-то грязную сосисочную.

Файрлок повел его в весьма претенциозный ресторан «Монпарнас», даже более шикарный, чем «Фьезоле», где посетители щеголяли светскостью и остроумием. Когда они вошли, Нийлу показалось, что всегдашние смотрят на него кто презрительно, кто враждебно, и ему стало неприятно больше за Люсьена, чем за себя.

Их встретили любезно, отвели очень удобный столик, но Нийл сразу увидел Рэнди Спруса и Буна Хэвока: косясь на него, они что-то говорили старшему официанту. Было ли это плодом его фантазии или действительно прислуживавший ему и Люсьену официант вдруг повел себя нахально? Он стоял, заложив ногу за ногу, и бросил им небрежно:

— Как вы насчет телячьих отбивных?

— Телячьи отбивные? Ну что ж, это годится, — сказал Люсьен, а Нийл молчал, ему не хотелось отвечать. Официант обратился к нему:

— И вам тоже, почтеннейший?

— Да.

— Они вам понравятся, ребята, вот увидите. Наши лучшие посетители их хвалят.

«Может быть, официант просто не вышколен и потому дружелюбно фамильярен?»

Люсьен досадливо хмурился, и Нийл решил:

«Будь я один, мне было бы наплевать. Но ни с кем из моих друзей-белых я больше в ресторан не пойду, чтобы не ставить их в неловкое положение. Они не поймут, в чем дело, а объяснять я не могу. Они скажут. «Почему ты не пожалуешься?»»

Во время завтрака они с Люсьеном говорили не о неграх, а о Дианте, супруге издателя газет, Грегори Марла. С исключительной энергией и беззастенчивостью Дианта пыталась верховодить во всех областях изящных искусств, начиная с городского камерного театра и кончая «Ассоциацией международной политики». И она добилась бы своего, пожалуй, если бы способна была остановиться после третьего коктейля.

(Нийл поймал себя на мысли, что ему не полагается подобным образом критиковать белую леди).

Потом Люсьен вдруг выпалил:

— Я знаю, что вы перестали бывать в Федеральном клубе. Почему?

— Я больше не член клуба.

— Все равно — они не посмеют вас выгнать, если вы придете!

— Ну и что бы я этим доказал?

— Не знаю... — сдался Люсьен, — быть может, доказали бы неверность моего главного довода в пользу изоляции негров: довод этот — органическая разница между неграми и белыми. Ах, Нийл, дорогой мой, из-за вас у меня появились странные еретические мысли, а ведь я вас, собственно, почти не знаю. Может, оно и лучше, что я вас мало знаю, а то я чего доброго стал бы солнцепоклонником или розенкрейцером!

Нийл возвращался в банк, не чуя земли под собой.

Среди дня мистер Пратт вызвал его к себе и сказал — на этот раз без всякой суетливой ласковости:

— Я не хочу, чтобы вы ходили завтракать в общественные места с белыми — это вызовет толки. Вы обещаете, что это не повторится?

— Что?! Нет! Разумеется, не обещаю.

— Нийл, с моей стороны было большим великодушием оставить вас на службе, несмотря на жалобы клиентов. А оценили ли вы это? На днях вы были в гостях у негра, какого-то Вулкэйпа, и провели вечер в компании черных бунтовщиков, которые хотят разрушить всю нашу экономическую систему.

Нийл встал.

— Если вы этому верите, то вы способны поверить чему угодно. Я подам заявление об уходе.

— Это будет для нас большим облегчением, Кингсблад, и я постараюсь простить вам, что вы злоупотребляли нашей добротой. — Мистер Пратт хотел подать Нийлу руку, но тот вздохнул:

— Вы очень любезны, сэр, но я предпочитаю не подавать руки белым. Прощайте, сэр.

Он поискал Эшиела Денвера, чтобы проститься. И увидел, что тот прячется от него в нише.

Взяв подмышку фотографию Вестэл и Бидди в серебряной рамке, Нийл ушел из банка — безработным негром.

Нужно было еще уплатить последний взнос за дом, — но это только несколько сот долларов, а у него 1127 долларов 79 центов в банке и преданная жена.

В банковском счете он был уверен.

43

Вестэл, отпрыск тысячи Бихаузов, так удивилась бы, если бы кто-либо из ее родни оказался безработным, как если бы он превратился в готтентота или индейца. Но во время паники 1929 года ей было уже пятнадцать лет, и она помнила, что тогда некоторые весьма почтенные люди, окончившие Йельский или Дартмаутский университет, обанкротившись, мужественно продолжали жить, несмотря на то, что имели меньше десяти тысяч годового дохода.

Ее не тревожило то, что у Нийла нет никаких доходов. Ему остается только сделать выбор: поступить ли в банк «Блу-окс», где, вероятно, и платить будут больше, или в менее крупный Торговый банк.

Нийлу в самом деле еще никогда в жизни не приходилось искать работы, если не считать того времени, когда он, школьник, занял у дяди Эмери травкосилку и решил ходить на поденную работу (за лето он выкосил три лужайки по тридцать пять центов за каждую, но эта профессия не сулила ничего в будущем, так как он растратил весь свой заработок на сельтерскую воду с мороженым). То, что он, окончив университет, получит место во Втором национальном банке, казалось ему таким же естественным, как получение ручных часов в подарок от отца в день выпуска. И он еще не понимал, что свету попросту нет дела до участи робких и осторожных мятежников с той минуты, как они перестают участвовать в безопасной игре в прагтовщину. Таких не преследуют, таким просто говорят «дома нет», когда они приходят сказать, что умирают с голоду.

Нийл не хотел осчастливить банк «Блу-окс» предложением своих услуг, ибо он не уважал Хэвоков. Нет, он лучше пойдет в Торговый банк, где служит кассиром тихий, как мышка, мистер Топмэн. Вестэл требовала, чтобы он поехал туда в автомобиле, это придаст ему весу. Нет, нет, ей автомобиль совсем не нужен, она идет в Женский клуб поиграть в бридж и отлично может доехать туда в автобусе.

Нийл весело влетел в темноватое и тесное помещение Торгового банка, но мистер Топмэн за перегородкой отпрянул от окошка с таким испугом, как будто было известно, что Нийл кусается. Он очень неохотно проводил Нийла к директору, который как-то на турнире Загородного клуба хвалил его игру в теннис, а сейчас как будто не узнал его и промямлил: «К сожалению, у нас не предвидится никаких вакансий».

Уже с меньшей уверенностью в успехе — всё меньшей и меньшей уверенностью — Нийл ходил по другим банкам, в Комиссионную контору, в Северное страховое агентство Скотта Заго.

Мистер Заго был страшно занят, так, по крайней мере, объяснил Нийлу Верн Эвондин, заведующий конторой, приторно вежливый старик, который и сам когда-то был богачом. Когда предприимчивая юная фирма Нийл и К° косила лужайку перед домом мистера Эвондина, мистер Эвондин сказал мальчику: «Какое великое открытие ты собираешь».

ся сделать в жизни? Будешь искать золотое руно или хижину на Иннисфри»¹.

— Я еще не решил, кем мне быть, врачом или летчиком, — ответил ему Нийл.

Несколько дней назад именно Верн Эвондин, как секретарь Федерального клуба, сообщил Нийлу по телефону, что он исключен из членов клуба. Сейчас, слушая сбивчивые и нерешительные объяснения Нийла, что он хотел бы получить место в их конторе, Эвондин видел в нем негра, чье бесстыдство просто забавно. Он даже не потрудился сказать «нет». Ответом Нийлу была только усмешка.

В универсальном магазине «Эмпориум» Леви Тарр сказал, что в счетном и кредитном отделах у него уже и так слишком большой штат, а вот не согласится ли Нийл быть продавцом? «Попробуйте, а? Плата невелика, но вы можете очень быстро дослужиться до должности агента-закупщика. Я был бы рад, если бы вы решились у нас работать. Во-первых, вы человек интеллигентный, во-вторых, я давно хотел убедить отца принять на службу несколько негров. Вы сыграете, так сказать, роль клина».

Нийл очень учтиво соврал что-то насчет «других предложений».

«Вот еще! Я в качестве «клина»! Я буду распинаться перед старыми дамами, чтобы всучить им ленты или другую дребедень, которую им тут продают!»

Он, скрепя сердце, отправился в «Компанию электричества», к своему тестю, Мортону Бихаузу. Он демонстративно перестал бывать у Мортонна с того вечера перед Новым годом, а Мортон перестал выдавать Вестэл деньги, которые она до сих пор кое-когда от него получала. Представ перед этим монументом, Нийл заявил:

— Я прошу работы вовсе не как милости! Думаю, что я достаточно опытный работник.

— И вы, конечно, думаете, что сможете прилично содержать мою дочь после того, как восстановили против себя всех порядочных деловых людей в городе! Так вот слушайте, что я вам скажу: если вам представят какое бы то ни было место в нашем учреждении, так это будет только из милости. Понятно?

— Понятно, — ответил Нийл, повернулся и вышел.

Был уже второй день его погони за каким-нибудь заработком, и в конце этого слякотного дня он поехал на южную окраину города для переговоров с «Обществом жилищного кредита». На улицах было довольно скользко, и он заехал по дороге в какой-то гараж, чтобы надеть на шины предохранительные цепи. На мокром полу с крыльев машины скалывал лед негр-обмывщик, весь измазанный, в рваном комбинезоне. Негр ему улыбнулся и помахал рукой. Ошеломленный Нийл не сразу узнал в этом гноме капитана Филиппа Уиндека, с которым познакомился в «Веселом джазе» — тогда он был в форме летчика, такой подтянутый и эффектный.

— Фил! — воскликнул он с жаром, удивившим их обоих.

— Как поживаете, капитан... Нийл? — спросил грязный негр с некоторым смущением.

Когда они одолели неизбежные подступы к настоящему разговору, Нийл осведомился:

— Ну, а как же с вашим учением в технической школе? Будет у вас возможность продолжать его?

¹ Хижина Иннисфри — символ тишины и уединения в поэме английского поэта Иейтса.

— Нет, у меня нехватило энергии взяться за это... Опять начать сначала эту блестящую карьеру, которая после учения, делающего вас офицером и джентльменом, приводит вас в гараж и дает вам в руки тряпку для протирания машин. Я слишком остро чувствую себя отщепенцем. Начав искать работу, я увидел, что чин офицера мне только вредит. Белые инженеры говорили, что это их оскорбляет...

... Ну, вот я и пошел обычной дорогой негров. Путь скитаний. Желаю вам никогда на него не вступать! Из города в город — из Омаха в Даллас, в Сиэтл, в Питсбург. Скажут тебе, будто в соседнем городе берут на работу черных, — и мчишься туда в товарном вагоне, а оказывается — ничего подобного, никто и не думает нас брать. Я стосковался по Гарнет и родному городу. Ведь я вырос здесь, на Севере, и люблю его холмы и реки. Словом, я вернулся. Скоплю несколько долларов — и опять попробую: или институт, или скитания...

Поверите ли, в каждой механической мастерской я просил только одного: дайте мне на пробу изготовить любую деталь, которую вы делаете, на револьверном станке. А мне всегда отвечали одно и то же: «Как же, станем мы рисковать такой дорогой машиной ради какого-то чернокожего механика». Да, таковы дела!

Он смотрел на Нийла с вызовом, но Нийл сказал просто:

— Фил, я тоже негр, и меня тоже из-за этого выгнали со службы.

Сердитое выражение сразу исчезло с лица Фила, он старательно вытер руку тряпкой и протянул ее товарищу — такому же капитану, как он, и такому же нищему искателю заработка.

Когда у Фила рабочий день кончился, а Нийл успел получить отказ еще в одном месте, они пошли выпить кофе в столовую для шоферов, где всегда теснилось столько посетителей с измазанными лицами, что хозяин уже не пытался различить, кто из них цветной, а кто белый.

Фил говорил:

— Вы, вероятно, видели моего папашу Клота Уиндека, — он лифтер в здании банка «Блу-окс». Бедный старик совсем убит моими мытарствами и падением. Он всегда уверял, что способен убит летному делу я унаследовал от него: ведь он тоже летает — в лифте, до двенадцатого этажа.

— Один раз мне повезло, — рассказывал за кофе Фил, — я поработал неделю в Денвере шофером. В понедельник дали мне новенькую красную красавицу-машину, и дело у меня шло отлично. Я научился говорить «Слушаю, сэр» и «Так точно, мэм» именно так, как надо, и получать «на чай» так же спокойно, как я получал жалованье офицера. Ни одного несчастного случая, ни скандала, ничего, — ни один полицейский ни разу не покосился на меня. Но во вторник какой-то белый пожаловался в контору, что его вез негр, — и в среду меня прогнали. В четверг я нашел другую работу — водителем грузовика. Но четверо белых шоферов подстерегли меня, избили, а грузовик подожгли... заявлять в контору не стоило, сами понимаете, — и я залез в товарный поезд, который шел в Шейен. Одним словом — читайте Уитмэна: «Америка, люблю дружбу между твоими детьми, твоих сильных людей, товарищей, помогающих друг другу в трудах».

— Рано или поздно я непременно дам белым сражение, — размышлял вслух Нийл. — Фил, когда вас доводят до бешенства, вы думаете о пулеметах?

— Думаю, но гоню такие мысли. О господи, разве белые понижают, сколько терпения у цветных! Ангелы не стерпели бы того, что терпят они.

Никогда Нийл не мог бы говорить так свободно, горячо, поэтично и кощунственно-смело с Джудом Броулером или шеголем Элиотом Ханзенем. А расставшись с Филом, он по дороге домой думал о том, что его Вестэл готова встретить ласково Джуда или Элиота, — но только не Фила Уиндека, не этого грязного механика из гаража, человека, которому кричат: «Эй ты, парень!»

Последний взнос за дом был уплачен.

— Теперь он наш навсегда! — ликовал Нийл, и они с Вестэл носились по синей с коричневым гостиной, по «солярию», по маленькой столовой, где все было — красное дерево и хрусталь.

— Ну скажи по совести, Нийл, если бы ты не знал, чей это дом, он ведь и тогда показался бы тебе чудесным? — восторженно спрашивала Вестэл.

— Ну конечно!

Сейчас было не время говорить ей, что у них осталось в банке только семьсот шестьдесят семь долларов шестьдесят один цент да его воинская пенсия, такая маленькая, что о ней и говорить не стоило, и что роль молодого белого джентльмена, который играет в безработного негра, быстро теряет свою романтичность.

Но несколько дней спустя пришлось все же сообщить ей, что никакой работы не предвидится.

— Видно, придется тебе помочь мне что-нибудь найти, какую угодно работу, — сказал он.

Вестэл начала действовать. Она отпустила Ширли — по-хорошему, так что та, уходя, поцеловала Бидди и тепло простилась с молодой хозяйкой, как с товарищем по несчастью, такой же, как она, жертвой тех, с Уолл-стрит. Потом Вестэл стала экономить на еде, отменила почти обязательное в их обиходе кино, грозно наблюдала за Принцем, аппетит которого никак не уменьшался, отказала Бидди, просившей купить ей пони.

Через некоторое время они продали автомобиль. А в Соединенных Штатах сказать «он продал свой автомобиль» все равно, что сказать «он продал в рабство своих четырех дочерей». Цену им дали приличную — после войны автомобилей нехватало. Но не иметь собственного автомобиля, хотя бы плохонького, было равносильно гражданской смерти для преуспевающего американского дельца и популярной, имеющей множество общественных обязанностей светской дамы, всячески старавшейся поддержать свое достоинство, в то время как прежние закадычные приятельницы смотрели на нее так, как будто впервые ее видели и не находили в ней ничего привлекательного.

Взамен других даров, которых каждую минуту требовала и не получала Бидди, Вестэл купила ей за пятнадцать центов книжку со «смешными картинками». Заглянув в этот образец распространенной литературы, заменившей в Америке и сказки братьев Гримм, и «Ветер в ивах», Нийл увидел, что здесь немалое число картинок изображало негров в шутовском и отвратительном виде.

Но он ничего не сказал — надоело читать проповеди. Он просто украл у дочери это замечательное произведение и бросил его в печку. Затем сел, обуреваемый тревожными мыслями о будущем Бидди-негритянки. Какая школа, какая профессия, какой брак возможны будут для нее, когда это станет официально известно?

Ему слышался голос Вестэл, укорявший его: «Надо было подумать об этом раньше, чем высказывать с сумасшедшими заявлениями». Он слышал раскатистый голос Уилбера Фетеринга: «Как бы вам это по-

нравилось, если бы дочь ваша вышла за негра?» И в самом деле, спрашивал себя Нийл, хотел бы он, чтобы его Бидди вышла за парня вроде Уинтропа Брустера?

«Отчего бы и нет, — если бы Уин прельстился такой властной и непоседливой девчонкой, как Бидди. Он самый милый и развитый из всех мальчиков, каких я видел в своей жизни.

Какой я неисправимо белый... Самый губительный каприз природы после того, как она изобрела землетрясение и чуму! Сравниваю Уинтропа с теми, кто явно ниже его, да еще при этом люблюсь своим мужеством!»

Этими мыслями он с Вестэл не делился.

Когда Орло Вэй утром ехал в своем хорошо обогреваемом автомобиле к себе в оптическую мастерскую и увидел этого ниггера Кингсблада, нищего, у которого нет даже автомобиля и прислуги, который плетется пешком в этакый ветер на свои ежедневные поиски работы, и когда этот Кингсблад, поскользнувшись на засыпанном снегом льду, волчком завертелся на месте и замахал руками, пытаясь сохранить равновесие, — Орло даже захохотал от полноты морального удовлетворения.

Но жена его, Вэрга, перешла улицу и смущенно вручила Вестэл кусок пирога с кленовым сиропом. Вестэл яростно убирала комнаты, не зная, умиляться ей или обидеться, ибо миссис Вэй безусловно принадлежала к более низкому слою того социального торта с кремом, который назывался Силвен-парк, и была не ровня Вестэл — по крайней мере до сих пор.

44

Жизнь отшельницы была не по вкусу Вестэл. Она любила сборища и развлечения всех видов. Не в ее характере было сидеть дома и тешиться благородством своих принципов.

Ее отец был одним из самых «идейных» изобретателей гражданских обязанностей и верил, что контракты, как брачные, так и на электрическое освещение, заключаются на небесах, но тем не менее он уговаривал дочь бросить законного мужа, вернуться домой и развестись. Тогда ей опять можно будет, во всеоружии своего арийского превосходства, ходить на вечеринки, где едят омаров а-ля-ньюбург и играют в «Кто я?». А если это не выйдет — тогда он обещал поселить ее в каком-нибудь живописном месте, где никто не узнает о позорном происхождении Бидди.

Когда она заходила навестить отца, он поднимал глаза от письменного стола — казалось, это письменный стол сам смотрит на нее — и говорил веско:

— К чему топить себя, Весси? Я говорил с дядей Оливером и с преподобным Ярроу, никто больше их не верит в святость брака, если этот брак — настоящий. Но они согласны со мной, что нельзя считать брак настоящим, когда женщину предательски вовлекли в союз с сумасшедшим, дегенератом или негром, а тем более, когда муж имеет все эти три качества. Мы не развода потребуем от этого Кингсблада — мы попросту аннулируем ваш брак.

— Дудки!

— Что ты сказала?

— Я говорю дудки!

— Ты находишь, что прилично разговаривать так с отцом?

— Я ужасно люблю Нийла. Он веселый — то есть был, пока не стал каким-то ходячим митингом. И потом — я не хочу его срамить!

— А меня ты не срамишь? Нет?

— Возможно.

— В таком случае ты, конечно, не можешь рассчитывать, что я...

— Мы и не рассчитываем. Ничего нам от тебя не нужно. Ни цента не возьмем! К тому же, Нийлу предлагают замечательную должность — я тебе ничего не скажу, пока это не станет официально известно. Ах, папа, ведь ты же не станешь меня травить, правда?

— Нет, я хочу тебя спасти.

И опять все сначала.

Что бы ни думал Элиот Ханзен о Нийле Кингсблэде, изменнике своему классу и расе, — но жене Нийла он ясно дал понять, что он, Элиот, после этого еще более предан ей и смиренно готов предложить ей совет, сочувствие, деньги на мелкие расходы, разговоры об опере, братское рукопожатие и все другое, что ей от него будет нужно. Эта готовность на все, в соединении с привлекательной наружностью худощавого, стройного и румяного Элиота и его манерой смотреть на нее, склонив голову набок, как такса на обожаемого хозяина, делала Элиота более опасным для Вестэл, чем можно было бы подумать.

Если не считать Элиота и Кэртиса Хэвока, среди мужчин, еще несколько недель тому назад составлявших «компанию» Нийла и Вестэл, не было людей беспутных. Все это были степенные домоседы, которые смутились бы в чужой спальне и растерялись при одном только виде розовой прозрачной рубашки. Если бы они когда-нибудь поинтересовались смыслом других слов, кроме слов «торговый баланс», «мотор» и «эти там фашисты», — то слово «вепегу» для них означало бы спорт полевой а никак не половой¹. Зато уже Элиот грешил за всех своих робких друзей. Он был таким же специалистом по части разврата, как Джуд Броулер — по ловле форели на муху, а Том Кренвей — по изготовлению различных салатов. Если какой-нибудь жене наскулил муж, достаточно было ей, на глазах у людей, обменяться многозначительной улыбкой с Элиотом, чтобы испытать вновь острое и приятное волнение и приобрести лестную для женщины репутацию. В космосе Гранд-Рипаблик можно найти все, хотя бы в миниатюре, — и Элиот Ханзен представлял собой сочетание Казановы с царем Соломоном и с наиболее приемлемыми чертами маркиза де Сад — в сокращенной для популярных журналов версии.

Бывать у Элиота в доме, даже только у его жены Дэйзи — считалось рискованным, и Вестэл пришла сюда только потому, что они с Дэйзи, Помоной Броулер и Вайолет Кренвей состояли в «цветочной комиссии» приходской церкви. Члены комиссии были приглашены к Дэйзи на чай — и возмущены тем, что угощали их именно чаем, а не чем-либо другим. А так как они к тому же все друг друга терпеть не могли, то сосредоточили внимание на Вестэл и дали ей понять, что желают услышать подробности о ее семейных неприятностях.

— Что это я слышала — Нийл переходит в другой, более крупный банк? — прощбетала Вайолет, а расстроенной Вестэл слышались в этом другие слова: «Что теперь будет делать твой бедный сумасброд, когда его выгнали со службы?».

¹ Английское слово «вепегу» имеет два значения: псовая охота и половые излишества.

— А как нога у Нийла — окрепла? Она не помешает ему будущим летом играть в теннис? — спросила, как бы желая ее утешить, Помона, а Вестэл слышала: «Неужели он посмеет сунуться в наш милый клуб, рискуя тем, что аристократы вроде моего мужа, охраняя фамильную честь, покажут ему, как втираться в наш круг, и расшибуют его черную плоскую морду!».

Дэйзи Ханзен пустила пробный шар:

— Честное слово, Вестэл, я без ума от вашего мужа! А интересно знать, в а м он после стольких лет все еще кажется таким очаровательным, как всем нам?

И Вестэл немедленно истолковала это по-своему: «Ну же, расскажи нам, как ты отказалась спать с этим гнусным обманщиком, узнав, что он... Ну, ты знаешь — что!».

И в ответ на все это Вестэл стала восхвалять своего Нийла, скромно изображая его таким новым Аполлоном с чертами Аякса и святого Себастиана.

Крылось ли за их словами то тайное, что ей чудилось, действительно ли они радовались тому, что она переживает трагедию, или то был плод ее больного воображения, — все равно Вестэл было мучительно не по себе от этого заглядывания к ней в душу, от роли эксцентрической подружки негра. Она почувствовала большое облегчение, когда вошел Элиот и весело пропел:

— А что же это вы, девушки, не пьете коктейлей? Пойдемте, Весси, помогите мне приготовить их.

В этом аристократическом модном доме благоустроенная буфетная с миниатюрным белым эмалевым ледником заменяла Элиоту кафе на бульварах, и здесь, за коктейлями и итальянским вермутом, начинались многие из его самых удачных романов. Священнодействуя, сбивал он коктейль в серебряном кувшине (в котором имелась вмятина с тех пор, как Дэйзи швырнула им в голову мужа) и, глядя снизу вверх на Вестэл, которая была на полдюйма выше его, мурлыкал:

— Я вам рассказывал анекдот о летчике, который поставил у себя в самолете кушетку?

— Нет... То есть да... В общем, я не хочу слышать ваш анекдот.

— Отчего же? Напрасно, дитя мое, вы много потеряете. Скажите, вы помните Брэdda Крайли, адвоката — он жил здесь раньше и переехал в Нью-Йорк?

— Помню, как же. Мы были знакомы.

— Так вот, доктор Келли недавно был в Нью-Йорке и рассказывает, что Крайли завел себе там любовницу — настоящую нью-йоркскую актрису — и она у него как сыр в масле катается. Он ей подарил кровать в шесть футов шириной с матрасом из губчатой резины. Да, так-то, дитя мое!

Затем, неизвестно почему, Элиот стал говорить о солдатах и их любовных похождениях в Европе, упомянул вдруг о своей даче на реке Биг-Игл, которую его приятели на своем убийственном жаргоне называют «гнездышком любви». Вестэл понимала, что хочет всем этим сказать Элиот с хитростью, присущей оптовым торговцам мороженым. «Видишь, люди попрежнему делают это, — так почему тебе нельзя?»

Ее душило какое-то смешанное чувство — было и занятно и противно.

«Никогда бы он не осмелился делать мне такие намеки, если бы я не была женой цветного... Теперь я знаю, как Элиот обхаживает женщин, когда колокола любви начинают звонить в этом детски не-

развитом мозгу... Мистер Ханзен, если вы еще раз тронете мою руку, я стукну вас по голове вашим собственным кувшином.

...И знаете, что особенно забавно? Борус Багдол проделал бы все это гораздо лучше. Борус — животное, но он гораздо опытнее этого буфетчика-любителя: он ведь жил в Гарлеме...

...Непременно поговорю сегодня с Нийлом начистоту — ведь все это мне приходится терпеть из-за него! Я не очень жаловалась до сих пор — но пора покончить со всем этим. Нам надо уехать, переменить фамилию, — и я уже позабочусь о том, чтобы Нийл больше не вытаскивал на свет божий эту чепуху насчет своего славного предка. Сегодня утром я проснулась расстроенная и все старалась понять, какое же преступление я совершила, — а потом вспомнила, что я замужем за негром... и выхода нет. О господи!».

Так думала Вестэл, пока душка-Элиот взбалтывал коктейль и пробоовал его, и болтал, и улыбался ей.

45

Нийл не знал раньше, что для множества людей поиски работы гораздо тяжелее, чем работа: это больше треплет нервы, унижительнее — и за это ничего не платят.

Пешком, чтобы не тратить денег на автобус, он дделся из конторы в контору, с завода на завод или в торговый склад. Ноги скользили на обледенелых тротуарах — стоял конец февраля, и было так холодно, что не выполнялась первейшая обязанность сознательных граждан и домохозяев — чистка тротуаров. Если с них сметали снег, который был некоторой опорой для ног, то как только подтаивали снежные сугробы вдоль обочин, тротуары превращались в сплошной ледяной настил, сквозь который виден был цемент, и на этом катке все прохожие ломали ноги или на каждом шагу шлепались и, сидя на льду, с негодованием оглядывались вокруг.

Когда температура понизилась до пятнадцати градусов ниже нуля, потом до семнадцати, потом до двадцати пяти, горожане стали выходить в громадных ботах с пряжками и теплых наушниках под кашторовыми шляпами, жалея, что в угоду моде отказались от облезлых котиковых шапок, какие носили их более достойные и теплее одевавшиеся предки.

Чиппива-авеню, местное Корсо, оживленная и почти величественная в октябре, теперь была покрыта прослойками льда, а вдоль тротуаров тянулись валы грязного слежавшегося снега, и, с сожалением выйдя из теплого автобуса, несчастные люди должны были брать этот серый барьер. Не видно было больше малиновых тентов, в витринах были выставлены не летние платья и костюмы, не красные лодочки, а печки, фланель, порошки от кашля. Гранд-Рипаблик утратил вид молодого, оживленного, растущего города: дома выглядели низенькими, дряхлыми, затерянными в снегу под мокрым небом, которое, казалось, никогда больше не заблестит лазурью. Встречались и салазки, и лыжники, и цветущие дети в красных шапочках и капорах, — но только не в тех унылых заводских районах, где Нийл искал работы.

Никогда еще он так не тосковал по весне, по теплым тихим дням, ласковому солнцу. Он казался себе стариком, который гадает, сколько раз еще суждено ему увидеть благодатное лето.

Бродя в этом преддверии ада, где все было беспросветно-серо, от одной негостеприимной двери к другой, Нийл иной раз и набредал на места, где ему предлагали работу — но все такую мелкую, канцеляр-

скую, которая (как он думал) может только испортить ему будущность. «Я больше не брезгаю никакой работой, но эта была бы плохим прецедентом», — уверял он себя и плелся дальше.

В погоне за работой... в погоне за работой... Еще два квартала обойти... два холодных квартала... Работы!

Где то время, когда он снисходительно соглашался занять какой-нибудь пост, когда искал места с гарантией подходящего продвижения? Он больше не заявляет, что «дело не в жалованье, это не главное». Да, жалованье — главное, жалованье — великая вещь! Жалованье. Деньги. Каждую неделю получка!

Работы! Работы! Работы! Весь день гранить мостовую, шагать сквозь мокрый снег, в голод, больно ушибая ноги о чернеющие глыбы льда. Ноги устают в галошах, усталые ноги месят снег, шагают под проклятый припев: Работы! Работы! Работы! Ищет работы уже не будущий банкир, а усталый негр, который вдруг увидел, что надо же как-то жить!

Месяц назад он сам себя предупреждал, что тяжело будет нищему негру в этой христианской стране, что даже один день прожить под шелчками и обидами и постоянной угрозой новых унижений — трудно. Но тогда он еще не представлял себе, как и что это будет ад, каково ходить целый день в мороз, выслушивать оскорбления нанимателей, щупать тощий кошелек — и завтракать одним только кофе или супом в каком-нибудь грязном кабаке, терпеть адскую боль, когда стонут все сухожилия в хромой, трясущейся ноге, которую он чуть не потерял, защищая свободу белых американцев и их право отказывать в работе черным американцам.

Если бы даже государство дало ему значительно большую пенсию за ранение, — он не может вести существование пенсионера без дела, не может мириться с тем, что вся жизнь станет какой-то унылой богдельней, и Вестэл и Бидди узнают крохоборство нищенского существования подле утратившего всякое самолюбие бездельника.

Он задавал себе вопрос: «Если бы я знал, как трудно будет найти заработок, объявил бы я тогда так запальчиво, что я негр?»

Эти сомнения будили в нем упрямый гнев.

«Я не мог поступить иначе... Я должен был сказать... Погоня за работой... Я должен был сказать.. Погоня за работой... Я должен был... Ох, как болит нога... и как холодно!».

Но, несмотря ни на что, он всякий раз, когда приходилось заполнять анкету, в графе «Раса» писал «Цветной».

Он, разумеется, ходил и на завод Уоррейта, но не захотел беспокоить Файрлока, а незнакомый ему служащий отдела найма мог предложить ему только место табельщика с жалованьем в двадцать шесть долларов в неделю — занятие для старика.

Рассказы приятельницы Вестэл, миссис Тимберлэйн, об игрушечных дел мастере Флидженде привели Нийла к нему, и старик принял его хорошо, но оказалось, что в мастерской игрушек нет такой работы, которую он, Нийл, умел бы делать. Он видел теперь, что, считая себя ценным и хорошо подготовленным к жизни членом общества, он, в сущности, умел только организовывать состязания в гольф и загородные прогулки да вести книги в банке. Даже в банке он не выходил за пределы самых шаблонных обязанностей — и считался украшением Второго национального главным образом потому, что у него была приятная улыбка, что он был зять Мортон Бихауза, бесспорный консерватор, христианин и белый.

Он думал: «Я гребу хорошо — но хуже любого индейца. Я умею водить машину — но любой шофер такси делает это лучше меня. Я умею отлично жарить щуку на костре — но этот талант доходов не дает».

Софи и Эш представлялись ему в новом свете. Прежде он, при всей своей любви к ним, смотрел на них сверху вниз. Теперь ему было ясно: он, Нийл, может умереть с голоду, Софи же и среди белых считается мастером своего дела — и как сестра милосердия, и как певица, а Эш Дэвис всегда заработает себе кусок хлеба, потому что он не только химик и лингвист, он может быть упаковщиком, музыкантом, официантом, поваром, педагогом и вероятно (Нийл вздохнул) даже актером шекспировского театра или председателем правления какой-нибудь стальной компании.

При следующей встрече с Софи, Эшем и Мартой этот простодушный сын провинциальной Америки с заметно возросшим смирением спросил у них, бывалых жителей больших городов, не знают ли они, где можно достать работу.

— Дитя, надо будет мне за вас приняться... Вам следует держать с нами связь, — сказала Софи со вздохом. — Ступайте вы на Майо-стрит, и там Вандербильд Литч устроит вам тепленькое местечко. У него и похоронное бюро, и страховое агентство, и касса ссуд, словом—это деляга, ловкач... и, между прочим, единственный шпион и сплетник в нашем «Бронзвиле»¹. И, я думаю, он дорого даст за то, что высокообразованный человек, близкий к местной знати, будет работать у него.

— О!.. Не думаю.. — сказал Нийл с расстановкой. Мысленно он давал себе клятву: «Нет, до этого я не дойду!» — и тут же, ужасно сконфуженный, поймал себя на том, что Майо-стрит и негры-бизнесмены все еще очень далеки ему, и прав был Хэк Райли, когда упрекнул его, что он «играет в негра»

Но нет, он не играл, если даже и не совсем понимал себя и свои желания в непрерывной погоне за работой.

Он сунулся было в типографию своего соседа, Тома Кренвея, но тот выгнал его. На мукомолке Лэверика его былой партнер в покер, Джой Лэверик, угостил его виски и осведомился, можно ли на Майо-стрит найти подходящих девок, но когда Нийл попросил работы, Джой заорал:

— Тебе? Работу у меня? Чёрта с два! У меня принцип — вашего брата на работу не принимать.

Наконец он получил место в магазине «Beaux Arts».

Это была чистая случайность. Он уже хотел было пройти мимо шикарного и дорогого «Магазина дамских мод», в витрине которого были выставлены платья, духи в золотых и хрустальных флаконах, украшения, свитеры, легкие, как дыхание невинного младенца, — но вдруг ему пришла мысль войти и попытать счастья у бывшего партнера в гольф, Харли Бозарда, владельца магазина. Харли был тучный, но подвижной и энергичный мужчина в очках, гордившийся тем, что его знают в «Клубе 21» в Нью-Йорке, и понимавший кое-что в картинах.

Нийл раньше отказался пойти в продавцы к Леви Тарру. Он был еще настолько наивен, что считал более приятным продавать нилонные чулки женам крупных лесопромышленников на золотистых коврах «Beaux Arts», чем одетым в ситец домашним хозяйкам на скрипящих, ничем не покрытых полах «Эмпориума».

¹ «Бронзвиль» — район, где живут «бронзовые» — негры.

Гранд-Рипаблик — город провинциальный, и здесь на всех предприятиях, за исключением таких, как завод Уоргейта, хозяин сам набирает служащих, не поручая этого какому-нибудь доктору философии, который больше верит всяким «методам испытания способностей», чем своим собственным глазам. Харли Бозард принял Нийла в своем обитом шелком кабинете и приветствовал его, как мужчина мужчину, но с утонченной вежливостью.

— А, как поживаете, дружище? Не видал вас сто лет! Чем теперь занимаетесь?

— По этому поводу я как раз к вам и пришел, Харли. Вы знаете, я опытный счетовод.

— Погодите, погодите, погодите! — Харли помахал своим фарфоровым мундштуком, словно очертив магический круг, и закрыл глаза в священном трепете, ибо он «был впоен медвяной росой» и одержим Идеями. Он в такие минуты вдохновения напоминал сочинителя реклам или декоратора интерьеров.

— Нийл! Мой отдел спорта еще до сих пор не налажен как следует. Я все ждал какого-нибудь человека с великими идеями, и может быть вы окажетесь им! Значит, у меня отделом спорта будет вестать великий теннисист, знаменитый мастер гольфа, мастер лыжного спорта, рыболовства, да еще в придачу отличившийся на войне герой! Ого, дружище! «Капитан Кингсблад приносит с собой дыхание великой природы, советы этого мастера спорта к вашим услугам». Вот находка! Я уже предвижу, что вы станете у нас закупщиком, заведующим, расширите отдел, чтобы он был достоин такого заведующего. Но, я думаю, вам надо сперва ознакомиться с техникой продажи, а пока вы будете учиться, я вряд ли смогу платить вам больше сорока долларов в неделю. . Нет, дам вам сорок пять! Но что вам может помешать в скором времени получать двести в неделю, а то и стать моим компаньоном! Ну как, Нийл, по рукам?

Нийл сказал: «По рукам» и пошел звонить Вестэл

— Есть! Я нашел работу!

— О, милый, как я рада! Ты так намучился... А что за работа?

— Мне поручают реорганизовать отдел спорта в магазине Харли Бозарда.

— О!

— Конечно, сначала придется быть чем-то вроде продавца...

— О!

Никогда еще у Вестэл не было такого скучного голоса. Не более жизнерадостно звучал ее вопрос:

— А что он сказал насчет... он согласен принять цветного?

— Что сказал? Ничего. И разговора об этом не было, да и я совершенно забыл, что я «цветной раб».

— Да, да, ты не цветной, ты славный капитан Кингсблад и моя единственная любовь, и прости, что я отнеслась недоверчиво... Я немного удивилась, вот и все. Харли ведь из тех, что мягко стелят.. Но я уверена, что все будет замечательно!

Нийл сейчас уже совсем не был в этом уверен. Он вспомнил, что Харли ему всегда не особенно нравился: туша в модном костюме, неловко орудующая клюшкой для гольфа. И он думал: «Не такой уж я великий воин или исследователь, чтобы привлечь в магазин толпу поклонниц, которым требуются вдохновенные идеи насчет пикников»...

«Вот еще! Беспокоиться о том, что я недостаточно хорош для магазина Харли! У меня опять есть работа — это главное!»

Он приступил к работе с понедельника. В воскресной газете в обычную рекламу магазина «Beaux Arts» было включено следующее объявление в рамке: «Мистер Харли Бозард имеет честь сообщить, что прославленный воин и спортсмен, капитан Нийл Кингсблад, согласился сотрудничать в его магазине английских игр и спорта и готов поделиться своим ценным опытом, приобретенным во многих странах, со всеми любителями спорта на открытом воздухе».

В воскресенье вечером химик Коп Андерсон и преподобный Ллойд Гэд, священник-конгрегационалист, сообщили Нийлу по телефону, что Харли Бозард и его подручные распространяют по городу эту новость, нашептывая всем и каждому: «Приходите к нам, вас будет обслуживать негр-джентльмен, увидите, какая умора! Можете задавать ему любые вопросы».

Придя в первый день утром на работу, Нийл уже не увидел ни Харли, ни его кабинета. В грязном, сыром коридоре «служебного» входа его встретил какой-то мизантроп с сальными волосами, в пиджаке из альпага, и сказал сердито:

— Вы обязаны отмечать время прихода и брать номерок наравне со всеми, Кингсблад. Ступайте в отдел спорта, там мисс Гарр покажет вам, как выписывать чеки, и научит обращаться с покупателями, если вы способны чему-нибудь выучиться. Вот ваш шкаф, и, пожалуйста, не забывайте его запирать, а от чужих шкафов, смотрите, держитесь подальше! И какого чёрта они позволяют черномазому раздеваться в одном помещении с порядочными людьми — ей богу, не понимаю! Но не воображайте, что если у хозяина в голове помутилось, так и мы, простые люди, дадим себя с толку сбить!

У Нийла так и чесались руки дать ему оплеуху.

Инструкторша Нийла, мисс Гарр, оказалась худой сердитой особой. Она заставила его прождать десять минут, пока не наговорится с тремя другими продавщицами. Все они украдкой поглядывали на него и хихикали, и до него доносилось слово «ниггер». Когда мисс Гарр, наконец, стала обучать его высшей математике выписывания чеков и искусству отличать лодочную подушку от теннисного мяча, она все время пятилась от него, словно боясь загрязниться.

Негры должны уметь молчать.

Если армия продавцов встретила прославленного эксперта по спорту враждебно, то многоголовое чудовище, именуемое «покупательницами», приветствовало Нийла усиленными вихляниями и глумливым визгом. Казалось, все женщины города (среди них было и несколько знакомых) ринулись сюда, чтобы поглазеть на него и сказать несколько фраз, которые как будто касались спорта, на самом же деле звучали так: «Так вы действительно негр и обладаете такой сверхъестественной половой силой, как все говорят? А что же мне — только игриво поглядывать на вас и быть готовой позвать на помощь — или можно пойти дальше этого?».

Их бурно дышащие груди, их пристальные взгляды, противная манера вилять плечами говорили слишком внятным и непристойным языком.

Они глазели на волосы негра (медно-рыжие), на лицо негра (обветренное и красное), на большие руки негра (цвета терракоты и усеянные веснушками), на длинные ноги и мощный торс негра. И так как известно, что все негры — тупоумные и любят, когда над ними потешаются, — то дамы разбирали его по косточкам, стоя так близко, что он все слышал.

Они наперебой задавали ему уйму самых неожиданных и разных вопросов: ловится ли в Новой Шотландии¹ лосось на муху — и на какую муху? Возможно ли, чтобы Джо Луис одолел Джека Демпсея?² Известно ли ему, к какому разряду теннисистов принадлежит кузен спрашивавшей, Уильям Гетч из южно-милуокского Загородного клуба? Что такое китайские шашки — что-нибудь вроде игры в маджонг? Сколько стоят шахматы?.. О, вообще, любые шахматы. Во сколько обойдется поездка будущим летом в рыболовный лагерь на озере Винниджигонабаш семье, состоящей из нее, мужа, двух мальчиков (девять с половиной и одиннадцать лет), дочери (седьмой год) и свекра, который любит игру в подковы, и будут ли там цены выше, чем в 1939 году?

Единственный вопрос, который задел Нийла за живое, задала сорокалетняя матрона, с физиономией, на которой было написано: «меня не проведешь!», и с голосом, напоминавшим бряцанье колокольчика на шее коровы. Она сказала глумливо:

— Наверное, всем вам, цветным солдатам, не терпелось добраться до французских девочек?

А одна молодящаяся старуха с весьма странной фигурой настаивала, чтобы он показал ей свитеры, хотя они продавались в другом отделе, и все время сладко улыбалась ему, поглаживая себя по бедру, которое, как он подозревал, было отчасти сооружено из подложенных носовых платков. Его чуть не стошнило, но он выдержал и это.

Когда он был белым, будущим банкиром, человеком, с которым надо было считаться, он никогда не встречался с женщинами, от которых так воняло, как от этих. Он уговаривал себя, что они — исключение, что это женщины того сорта, которые, сломя голову, бегут смотреть дом, где произошло убийство. Но его не радовала перспектива быть для них здесь приманкой, уродом, выставленным на показ.

Многие из них терлись около него, подходили ближе, чем нужно, другие с содроганием отступали, как только он протягивал им какой-нибудь крокетный молоток. Но все они, независимо от их физических ощущений, никогда не называли его «мистер». Обращаясь к нему, говорили: «капитан», «эй, вы» или «слушайте».

Изредка сопровождавшие этих дам мужья были не лучше и внушали Нийлу настоящий ужас. Он ясно слышал их протесты: «Не хочу я говорить с этим ублюдком». А еще противнее был дорогой старый друг, Харли Бозард, который постоянно вертелся поблизости и мысленно потирал руки. И еще больше, чем Харли, приводили его в отчаяние демобилизованные солдаты, приходившие сюда со своими подругами. Эти ликовали при виде такого унижения бывшего офицера и спрашивали злорадно:

— Послушайте, капитан, способны вы подобрать моей девушке пару лыжных штанов? Я хочу, чтобы вы внимательно проверили, хорошо ли они облегают ей зад. Понимаете?

Бывали мучительные минуты, когда он замечал издали Вайолет Кренвей, Розу Пенлос или Дианту Марл, которые обходили толпу, избегая его отдела, и удалялись, презрительно раздувая ноздри и как бы мысленно подбирая юбки, чтобы не запачкаться. А раз, глядя вслед Дианте, он увидел майора Роднея Олдвика, который стоял у одной из высоких белых колонн, выпрямившись и скрестив руки, и наблюдал за ним, без всякого издевательства, просто забавляясь. В эту минуту Нийл испытал то чувство острого унижения, от которого у человека

¹ Часть Канады.

² Боксеры.

вдруг слабеют ноги и которое кроткого раба превращает в бешеного убийцу.

Но его ярость быстро испарилась. Продавать всю жизнь свитеры и удочки? С чувством бесконечной усталости вернулся он в этот день домой, где Вестэл встретила его ледяным вопросом:

— Ну как?

Нашествие дам, смаковавших сенсацию, не продолжалось и недели. Уже через два дня Нийл большую часть рабочего дня проводил праздно, стоя за прилавком, который больно упирался ему в ноги.

В субботу утром Харли Бозард забил тревогу.

— Что, вы не можете получше обслуживать покупателей? Я видел, как они толпой валили сюда, потому что мы, не жалея средств, сделали вам рекламу, но вы продали очень мало. Поменьше думайте о своей красоте, Кингсблад, и побольше о том, как бы заставить публику покупать.

Нийл пошел домой к Вестэл, которая уже не просто нервничала, а была вне себя.

— Говорят, ты здорово веселишься там в магазине со своими новыми поклонницами, толпой вульгарных баб, и срамишь меня, разговаривая с ними обо мне и высмеивая меня.

— Да кто же мог...

— Мне это рассказала одна наша хорошая знакомая, не скажу — кто. Она меня пожалела, потому что собственными глазами все видела...

— А ты не захотела притти посмотреть, как я веселюсь...

— Конечно, не захотела!

— Ты не подумала о том, что мне, может быть, нелегко...

— Ох, ради всех святых, не надо громких фраз о том, какая это социальная несправедливость, что ты торгуешь чулками!

Он вышел, не ответив ни слова. К обеду домой не вернулся. Он устремился в объятия Софи Конкорд.

Пока он, ежась от холода, шел на Майо-стрит, гнев его в значительной мере остыл.

«Трудно бедной Вестэл. Она очень дорожит тем, что называет «положением в обществе». Да ведь и я раньше этим дорожил. Может быть, ей было бы лучше оставить меня, забрать Бидди и вернуться к отцу? Он ликвидирует свои дела, переедет с нею в Калифорнию — а там никто ничего не узнает. С какой стати ей и Бидди страдать из-за меня? Пожалуй, лучше нам расстаться раньше, чем Вестэл станет еще раздражительнее и скажет еще что-нибудь похуже. Милая моя Вестэл, как я любил тебя!»

Многолюдный дом, где жила Софи, походил на оживленную гостиницу. Здесь в каждой комнате ютилось по целому семейству негров, весело собиравшихся вокруг горшка с бобами. В холле громко проповедовал перед аудиторией, состоявшей только из него одного, Элдер Майес, черный толстый пророк-любитель, он же «холодный» сапожник и владелец «Храма откровения, божественного средоточия святости», для которого в данный момент не имелось помещения. Когда Нийл в шесть часов вошел в холл, там уже за столами сидели у стен веселые и шумные игроки, которые днем выполняли обязанности швейцаров и грузчиков, а вечером щеголяли в коричневых пальто и зеленых шляпах с перышком.

Софи на стук сказала певучим голосом: «Войдите», и Нийл ввалился в ее единственную комнату, куда он уже раз заходил, когда провожал ее домой, но тогда пробыл только несколько неловких минут и ушел.

Комната была угловая, квадратная. Бросалась в глаза смесь бедности с остатками былой роскоши. Старая расхлябанная кушетка была покрыта алой замшей, обшитой по краям полосками облезлой леопардовой шкуры, снятыми, вероятно, с какого-нибудь брошенного театрального костюма. На длинном столе — керосиновая печка с двумя горелками, чепчик сестры милосердия, целая батарея флаконов с разной косметикой и сочинения Джона Дьюи¹. На стене — картина Лючиони, изображавшая долину Вермонта, фотография какой-то негритянки, бесстыдно обнаженной, календарь с картинкой — котенок в корзинке. И среди всего этогохлама и беспорядка, в этой комнате женщины, слишком занятой, чтобы заниматься хозяйством, слишком интересовавшейся всем на свете, чтобы иметь время создавать вокруг себя обстановку, выгодно оттеняющую ее красоту, — сидела Софи, полируя ногти, за туалетным столом золотистого дуба, переделанным из канцелярского шкафика.

Она встала навстречу Нийлу, безмятежно спокойная, ничуть не испуганная его приходом, такая же рослая, как Вестэл, в широком пурпуровом халате, раскрытом на груди, коричневой, как осенние листья. Заметив, что Нийл шатается от усталости, она внимательно всмотрелась в него и, шепнув: «Ах, бедный мальчик», протянула ему обе руки, а он прижался щекой к ее гладкой груди.

Когда они, обнявшись, сели на кушетку, Софи сказала ласково:

— Милый мой, я знаю, тебе чертовски трудно в этом магазине. Я была там, но не подошла к тебе, чтобы не ухудшать положения. Но теперь ты испытал уже самое тяжелое, хуже не будет: ведь ты в первый раз заглянул близко в чужие злые глаза. Больше они уже не смогут сделать тебе больно, бедняжка!.. Я способна была бы сейчас полюбить тебя. Но... Ты сам сказал это: во мне не осталось диких страстей джунглей, я от всего этого отказалась ради своей миссии... И ты ведь сделал то же. Так поцелуй меня и ступай домой. Ох, до чего же я устала от этой идиотски добродетельной жизни и тяжелой работы! Если бы ты только знал, как я устала!

Этому типичному представителю мужской половины рода человеческого не приходило в голову, что и Софи тяжело, что и она тоже может пасть духом. С каким-то удивлением привлек он ее голову к своей груди, вместо того, чтобы искать утешения в ее объятиях, и нежно гладил ее волосы: «Вот теперь ты вся моя». Из милосердной матери она превратилась в ребенка. Сказала жалобно:

— Почему я в самом деле не могу быть твоей? Почему ты так сильно любишь эту женщину?

— Ну... во-первых, она красива, ты же сама сказала, -- как скаковая лошадь.

— Разве у нее такие ноги? — сказала серьезно Софи и, как балерина, вытянула сверкающую бронзовую ногу без чулка, шевеля пальцами.

— Не хуже.

— Нет, серьезно, за что ты ее любишь?

— Как тебе сказать... Пожалуй, ее можно определить словом «доблестная». Она — честная, справедливая, она старается каждому честно воздать должное.

¹ Современный американский буржуазный философ.

— И себе в том числе.

— Почему бы и нет?

— Слушай, мой стойкий мальчик, я не жалуясь на то, что ты так дорожишь Вестэл. Если она отнимет тебя у меня — а это ясно, так как она тебя до сих пор не бросила, — тогда я хочу думать, что она хорошая женщина. Обидно было бы уступить тебя какой-нибудь абсолютной мартышке! — Софи прижалась к его плечу. — Ладно, ладно, пускай она — чудо веков. Плохо только, что она училась в колледже, а не в школе жизни. Она никогда не принимала ребенка в такси, не должна была выгонять из своей спальни хозяина кафе, рискуя потерять место... Может быть, для тебя она и будет хороша, но...

Софи умоляла. Когда она снова заговорила, голос ее сначала звучал почти робко.

— Нийл, я вправду хотела бы когда-нибудь узнать ее поближе. Не думаю, чтобы это было возможно. Ну что ж... будьте оба счастливы, и оставайся с ней... ты, до мозга костей белый банкир!.. Иельский студент!

— Да я вовсе не в Иеле учился.

— О, господи!

— Софи... а если она не захочет жить со мною?

— Тогда заставь ее, чёрт тебя возьми! Не приходи несчастным покинутым любовником к старой тетушке Конкорд за советами! Здесь еще слишком много осталось от прежней, легко воспламеняющейся Софи. Вернись к своей знатной Вестэл, и дай тебе бог быть принятым в Союз сыновей американской революции, шалопаи!

Он поцеловал ее на прощанье спокойно и дружески. Возвращаясь домой, он, неблагодарный, мечтал не о Софи, не о Вестэл, не о какой-либо другой женщине, а о хорошей, настоящей, безобразной драке с такими людьми, как Харли Бозард, Уилбер Фетеринг и майор Родней Олдвик.

Когда он вошел в дом, Вестэл сказала серьезно:

— Я вела себя отвратительно и жалею об этом... кажется, жалею. Но не нравится мне, что наши дела принимают такой оборот. Нужно что-то сделать.

Новый, повзрослевший Нийл ответил ей ничего не говорящим поцелуем. Он был занят мыслями о своем будущем: ему уже слышался стук мечей и боевые трубы.

46

В воскресенье он целый день был угрюм и задумчив, вспоминая неделю унижений в магазине, где он, как большая хохлатая птица в тесной золоченой клетке, стоял, окруженный хихикающими любительницами птиц. Он решил не быть больше пассивным, не мириться с оскорблениями. Надо избрать линию поведения и держаться ее.

В понедельник утром, придя на службу, он не отметил время прихода и, пройдя прямо в кабинет Харли, сказал легким тоном:

— Это не работа, Харли, я ухожу от вас. Если захотите летом, чтобы я вас подучил гольфу, — я к вашим услугам. А пока всего хорошего!

Наступил момент, когда негру, даже такому новичку, как он, следовало или бросить вызов притеснителям или окончательно сдаться. В Тенесси произошел негритянский погром, первая массовая расправа с неграми после войны, типичная война полисменов с терроризированными темнокожими гражданами, их женщинами и детьми.

Нийл решил, что надо хоть раз хорошо позавтракать—тогда гораздо легче будет в такой холод начать снова поиски работы. Он отправился в «Фьезоле», ресторан отеля «Пайнлэнд», твердя себе: «Я вовсе не ищу столкновений, я просто отстаиваю свои права». На самом же деле он, конечно, лез на рожон.

Дрэксел Гриншоу с минуту как будто колебался, допускать ли его в помпейское святилище, но потом, молча поклонившись, проводил Нийла к третьеразрядному столику в глубине зала у колонны, — эти места предназначались для фермеров, сельских священников и тому подобной мелкоты. Цветной официант быстро и предупредительно подал Нийлу завтрак, и Нийл, довольный, уже подумывал, не выкурить ли ему еще хорошую сигару, как вдруг у его стола, словно дух из какого-нибудь расписного арабского кувшина, вырос управляющий, Гленн Тартан, и любезно осведомился:

— Как дела? Все в порядке? Обслужили вас как следует?

— Отлично, Гленн, просто замечательно, — сказал Нийл весело.

— Так вот учтите, что мы сделали все, как требует закон. Наши постоянные клиенты крайне недовольны тем, что цветные джентльмены, вроде вас, ходят сюда и портят им завтрак. Мы вас все же обслужили. Но я вас очень прошу больше не ходить в наш ресторан.

И Гленн торопливо отошел.

Нийл не успел опомниться, как к нему подошел Дрэксел Гриншоу, еще недавно так раболепствовавший перед молодым банкиром мистером Кингсбладом, и сказал смущенно:

— Я хочу дать вам дружеский совет, Нийл. Вам следует найти себе постоянную работу, быть почтительным к белым, знать свое место и держаться подальше от таких первоклассных ресторанов, как наш. На стороне белых — сила, и гораздо разумнее не раздражать их. Вот я отлично умею им угождать — никогда не имел ни единой неприятности. И меня никогда не выбросят на улицу, как выбросили вас из магазина Бозарда.

— А вы откуда это знаете?

— Мы, негры, должны все знать, чтобы как-нибудь прожить в этом гнусном мире белых. Так вот, голубчик, будьте благоразумны и сидите смиренно. Может быть, со временем, если вы заслужите себе репутацию смиренного негра, ваша дочь пойдет дальше, чем вы. — Вот как мои дочери — найдут чистую работу в каком-нибудь доме. Положение наше непременно должно измениться к лучшему, — но сейчас еще не время... Все эти разговоры о революции — сумасбродство и безобразие... Кстати, перестаньте вы набивать голову Филу Уиндеку вашими бунтовскими идеями! Он мой будущий зять, и я не хочу, чтобы вы его портили...

— Я его порчу?!

— Да, конечно. Вы идете по плохой дороге, Нийл! Теперь уже все равно, кем вы были. Теперь вы только негр — и больше ничего. Действуйте только наверняка, как я. Ну, а теперь уходите! Я рискую многим из-за того, что разговариваю с вами на глазах у всех.

«Моя дочка, моя легконогая красавица Бидди на «чистой работе» в чьем-нибудь доме — может быть, на кухне у Рода Олдвика!»

По настоянию Софи он, наконец, пошел на Майо-стрит к мистеру Вандербильду Литчу, видному члену цветных «Оленей»¹, которому при-

¹ «Олени» — организация типа «Клуба деловых людей».

носили большие доходы похоронное бюро, страховое агентство и рулетка.

Мистер Литч принял Нийла в своем роскошном кабинете с красными обоями и мебелью из нержавеющей стали, где сидела еще элегантно одетая цветная стенографистка, и сухо пояснил, что предпочитает не брать на службу белого, который приворяется негром только для того, чтобы примазаться к азартным играм.

«Что ж, — сказал себе Нийл, — я рад, что кто-то из цветных достиг уже такого высокого положения и может «осадить» меня так же хладнокровно, как дядя Оливер Бихауз!»

Он все-таки нашел в Файв-пойнтс кое-какую сверхурочную бухгалтерскую работу, которая давала кусок хлеба, у двух самых преуспевающих цветных дельцов в городе: Акселя Скэгстрема, хозяина фирмы «Кремнистая тропа», изготовлявшей лодки, и у Олберта Вулкэйпа, владельца прачечной «Nec plus ultra». Оба они являлись опровержением мнения Фетеринга о беспомощности и непредприимчивости чернокожих.

Мистер Скэгстром, женатый на белой (финке), был наполовину швед, на четверть негр, на четверть китаец, и, кроме того, в его жилах имелась и небольшая доля индейской и мексиканской крови, — так что, в общем, как видите, его следовало считать стопроцентным африканцем. Он изготовлял превосходные лодки, был набожный лютеранин и не одобрял того, что называл «пороками и ленью, которые так часто встречаешь среди цветных». Он ставил себе в великую заслугу, что на его фабрике работало столько же негров, сколько и белых. Это был типичный американский бизнесмен, но расовым вопросом он интересовался меньше, чем большинство белых бизнесменов, и охотно предоставил Нийлу работу у себя в бухгалтерии — по пятницам — с оплатой ниже, чем всюду.

Олберт Вулкэйп был брат Джона и дядя Райана, но отнюдь не дружен с ними обоими: по его мнению, они были слишком «левые». Олберт охотно принимал негров на работу в свою процветающую прачечную на Чикаго-авеню, но так как большинство его клиентов были белые, то он считал, что и все шоферы и приемщики прачечной должны быть белые. Договариваясь с Нийлом относительно работы сверхштатным счетоводом, Олберт сказал ему: «Не спорю, может быть, разные там идеалы и борьба за права расы — это хорошо, но человек прежде всего должен думать о себе, не так ли? Посмотрите, какая разница между моим счетом в банке и счетом Джона! А этот Райан? С таким образованием — батрак на ферме, ничего другого добиться не мог!»

Сидя над grosбухами у Олберта или Скэгстрема, в плохо освещенной конторе, где за спиной сердито трещал телефон, Нийл чувствовал себя совершенно так же, как во Втором национальном, с той только разницей, что оба его новых хозяина больше старались ему угодить, как человеку, который в конце концов может оказаться «белым». Но иной раз ему казалось, что легче было бы мириться с подозрениями мистера Литча, чем с этой угодливостью.

Когда он с возмущением рассказал Эшу и Марте о том, как его работодатели не доверяют неграм, те только посмеялись. Эш сказал:

— А из вас вышел бы способный эголог! Жаль только, что вы не заметили самого главного. Мы вам уже давно твердим, что негры — такие же люди, как все, и только вы да левые из Гарлема настаиваете, что черное дерево непременно должно быть лучше белой березы. Не надо быть апологетом черной расы! К тому же множество цветных и такое же множество наших друзей-белых считают, что завоевать всеобщие симпатии и попасть в члены Федерального клуба мы, негры, сможем

только тогда, когда среди нас будет много богачей, имеющих свои особняки. Правда, ирландцы и евреи веками пробовали этот способ и ничего не добились, — но что ж из этого!

Только один месяц искал Нийл работы, но этот месяц показался ему годом, столько он обошел мест. Все же он радовался, что у них с Вестэл, несмотря ни на что, есть свой священный и надежный очаг — долг за дом был выплачен сполна! Нийлу это сейчас было гем необходимее, что ходить было некуда — ни постоянного места службы, ни клуба, ни старых друзей, в доме которых можно было бы рассчитывать на хороший прием. Не будь у них своего дома, Нийл не был бы уверен, что Вестэл останется с ним.

Они чаще всего проводили вечера дома. А в тех случаях, когда бывали где-нибудь, всегда погом жалели об этом.

Луиза Уоргейт, жена Уэбба, всегда казалась Нийлу образцом дамы высшего света: хорошо воспитанная, образованная, всегда серьезная и немного не от мира сего. Она была урожденная Осток из Ютики и познакомилась с Уэббом, когда он учился в Гарвардском университете. Она занимала настолько высокое положение в обществе, что могла себе позволить иметь вид простой фермерши: выходила к гостям в садовых перчатках, веснушчатая, с ненакрашенными губами. В ее манере держать себя так и чувствовалось: «Мы здесь так высоки над всем, что ничего не знаем о сестре Конкорд, о прачечной Олберга, о белых коттеджах, купленных в рассрочку». Миссис Уоргейт была матерью товарища Нийла, Экли, и Нийл с детства помнил ее: всегда одинаковая улыбка, прохладная рука, мятные лепешки в шоколаде в серебряной коробочке, — но никогда ни песен, ни пирогов, ни катанья с горы на санках. Никогда.

Когда Нийл и Вестэл оказались изолированными, как бы в концентрационном лагере, они получили от миссис Уоргейт любезное приглашение на обед — в первый раз в жизни. После проблеска искусственной экзальтации Нийл решил, что Луиза Уоргейт чувствует себя виноватой перед неграми, так как она не сделала для них всего того, что собиралась сделать, когда уговаривала Уэбба дать им работу на заводе. Этим он объяснял приглашение Луизы. Нийл начинал теперь замечать это чувство неловкости и вины перед неграми у некоторых порядочных людей. Особенно у священников и юристов, знающих законы США.

Вестэл сказала:

— Знаешь, мне не очень улыбается этот визит.

— И мне тоже. Это будет вроде чаепития в морге. Но нам, по-моему, следует показать, что мы оценили ее доброе отношение. Я знаю, как тебе тяжело, что тебя избегают все, кого мы раньше считали порядочными людьми...

— Раньше считали?

— ...Знаю, как тебе тяжело жить отшельницей. Поверь, я страдаю за тебя, но молчу, по своему обыкновению.

— Полно, Нийл. Я вовсе не собираюсь хныкать и изображать из себя христианскую мученицу. Привыкну. Но иной раз я задаю себе вопрос, не лучше ли было бы для тебя, если бы я... Нийл, нет ли у тебя на примете какой-нибудь очень славной цветной женщины, которая была бы тебе лучшей опорой, чем я?

— Может быть, и есть, но я полюбил тебя на всю жизнь и хочу оставаться верным своей любви.

Вестэл просияла. Но, как истинная дочь Гранд-Рипаблик, сказала только:

— Ладно, Ромео, едем!

Дом Уэбба Уоргејта на бульваре Варенн, откуда открывался вид на долину Соршэй, походил на Туренский замок с красной крышей и был даже больше, чем дом-усадьба на холме, принадлежавший Берти Эйзенхерцу. Здесь было больше всяких флигелей, пристроек, карнизов, фронтонов, декоративных дымовых труб, калиток, водоемов, в которых не было ничего, кроме старых афиш, фигур вроде фавнов из чего-то вроде мрамора, контрфорсов, висячих садов, резьбы, флюгеров и створчатых окон самого современного, патентованного типа, но в доме было меньше книг и меньше картин, чем у Эйзенхерца. А в общем дом был первоклассный, европейский, но с отделкой во вкусе первых янки-лесорубов.

Миссис Уоргејт встретила Нийла и Вестэл со старомодной любезностью, напоминавшей о сером шелке, а Уэбб с нервной нерешительностью. Уэбб, как всегда, похож был на младшего бухгалтера и гробкопателя, на человека, собирающего бумажки и резинки, любопытного, но молчаливого и всегда словно опасавшегося, как бы кто не отнял у него чего-нибудь.

Они пили коктейли в малой гостиной. Передавая гостям бокалы, Уэбб имел несколько настороженный вид, как будто был не вполне уверен, что эти угольно-черные рабы не кусаются. С отцом Вестэл он целый век играл в бридж, — тем не менее, он сейчас как будто говорил мысленно: «Я так мало знаю вас, цветных, что даже не уверен, дозволяет ли этикет предлагать вам коктейль».

Столовая у Уоргејтов была очень большая, с балками, выкрашенными в золотой и малиновый цвета, и полом из узорных плиток. Прислуживала за столом пожилая шведка, — она, видимо, была посвящена во всё, так как подавала Нийлу и Вестэл тарелки с такой миной, словно это были раскаленные уголья. Мясо подали жесткое, в мучном соусе. Других гостей не было. Сын Уоргејтов, Экли, и его супруга отсутствовали так демонстративно и о них так выразительно молчали, что гости мучительно ощущали их присутствие.

В беседе старательно обходили вопрос о неграх. Вестэл первая умышленно ринулась в атаку.

— Подумайте, до какого умопомрачения доходят люди: воображают, будто я магически превратилась в черную даму. И кто! Люди, которых мы все знаем, у которых хватает ума только подписывать чеки. Бедные главари Лиги молодежи в большом затруднении: не хочется выгнать из правления дочь Мортон Великолепного, — и, пожалуй, самым простым выходом для них, бедных, было бы расформировать Лигу. Вы со мной согласны, мистер Уоргејт?

— Да... да, я понимаю, что вы хотите сказать, — пролепетал, запинаясь, Уэбб.

Он подозревал, что Вестэл балаганит, а Уэбб Уоргејт, великий специалист по продаже строительного картона и щеток из пластмассы в Чикаго, Венеции и на горе Каймакичалан, всегда испытывал головокружение и боль в глазах, когда на сцену появлялся юмор. Однако он, как один из руководителей Национальной ассоциации промышленников, должен был выполнить свой долг, и раз уже эги морские свинки сами напрашивались на вивисекцию, то он счел необходимым их поощрить и кстати через них ознакомиться с новыми веяниями. Он дрожащим голосом спросил Нийла.

— Скажите... быть может, вы найдете, что я непростительный профан в этом вопросе... Что, стремление к участию в политической жизни очень сильно сейчас среди... гм... цветного населения?

— Я тоже мало знаком с этим вопросом, сэр, но думаю, что да.

— Значит, вы, на основании личного опыта, в общем склонны так думать?

— Да... я... пожалуй, могу сказать, что я это замечал.

В дальнейшей беседе больше не было таких высокодраматических моментов.

Когда гости, простясь с хозяевами, сходили по ступеням итальянского мрамора, Вестэл со вздохом сказала мужу:

— Вот еще один дом, куда мы больше ходить не будем.

— Да, похоже на то.

— Ну и наплевать! Дед Уэбба пилил дрова у моего деда в Мэйне.

— В самом деле?

— Н-нет. Но это могло быть.

— Интересно, каким образом Уоргейты нажили столько денег и смогли построить такой дворец?

— А мне неинтересно. Я думаю о другом: почему они считают, что брюссельская капуста — вещь съедобная?.. Ах, милый, Уэбб вовсе не хотел тебя унижить. Просто он — человек недалекий и невежда. Ну и бог с ним, и со всеми остальными. Главное то, что мы вдвоем.

47

После дня, проведенного в поисках работы, Нийл был один дома. Вестэл, Бидди и Принц отправились в гости к Тимберлэйнам, одной из тех семей, которые не сторонились их и не проявляли к ним тактичной любезности, которая хуже глумления. Он стоял у западного окна «солярия» и размышлял

Не спаслись ли им бегством в один из больших городов или куда-нибудь в глушь, где их никто не знает? Нет. Вестэл и Бидди (и Принц тоже) слишком любят общество, чтобы удовлетвориться жизнью в лесной глуши, а в Нью-Йорке или Чикаго всё так сурово, прямоугодно, мрачно! Тесно им будет в наемной квартирке после этого дома, где такой простор для беготни и танцев, где можно кричать сколько душе угодно, а из окон виден Холм Эйзенхерца, освещенный сейчас последним кротким светом морозного мартовского дня.

На золотом фоне заката Дом на Холме имел величественный вид: это была кирпичная громада с тюдоровскими окнами и плоской крышей, окруженной балюстрадой, вместо уоргейтовских крыш и шатров. Сосны, росшие на склоне холма, рисовались на яблочно-зеленой полосе неба, а выше над ними раскинулся полог, в котором нежный персиковый цвет соперничал с пурпуром. Сосны и закат напомнили Нийлу былые путешествия в лодке по Сезерным озерам, так близко от этого города—его родного города Пусть его прежние друзья в Гранд-Рипаблик ведут себя теперь, как враги, они, по крайней мере, уделяют ему хоть какое-нибудь внимание, а в Мегалополисе не будет ни одного человека, который хотя бы желал ему зла. Нет, они останутся в Гранд-Рипаблик и бросят вызов всем!

Он вспоминал, как когда-то мечтал купить Дом на Холме. Тогда его ожидала карьера директора банка. Бидди приезжала бы на каникулы из Фармингтона или Брин-Мора, и дом наполняли бы ее сверстники, молодые Уоргейты, Спэрроки, Пратты, Дроверы. «Да, — говорил себе Нийл с удивлением, — вот чего я когда-то хотел добиваться! Нет, те-

перь борьба будет серьезнее. Хорошо, если удастся хотя бы сохранить наш коттедж». Он давал себе клятву оборонять его со всем терпением и всей свирепостью своих предков-индейцев, чьи вигвамы из древесной коры, должно быть, лет сто назад еще стояли тут, на склоне этого холма.

Пришла Вестэл, веселая, принялась готовить ужин. У всех сегодня было хорошее настроение. После ужина Нийл сообщил Бидди, что некогда жили на свете такие необыкновенные люди, которые назывались Ожибвеи и Чиппива, и лагеря их были расположены здесь, на холме, и, «может быть, вот здесь, где мы с тобой сейчас сидим, они сражались луками и стрелами между скал». Бидди была в таком восторге, что тут же притащила всех своих кукол, велосипед и немного упирившегося Принца и усадила их в кружок слушать рассказ отца.

Пока Вестэл укладывала Бидди в кровать, в строго положенный час, Нийл опять прошел на верхнюю веранду. Луна сияла во-всю, и тени веток чернели на снегу, истопганном ножками Бидди. «Все это—мое, наше. И тут мы трое будем проводить все дни, все вечера, всю жизнь».

Они с Вестэл все же сделали еще одну вылазку — на вечер, который устраивала Дианта Марл в студии Брайана Энгля — межрасовый и «высокоинтеллектуальный» вечер, который должен был показать широкую терпимость хозяйки. Но после этого вечера Кингсблады окончательно засели дома.

Дианта, как жена Грегори Марла, владельца обеих газет Гранд-Рипаблик, верховодила в местном высшем обществе. Но, кроме того, она и сама по себе была женщина замечательная: в сорок пять лет она была великим авторитетом во всем, что касалось Китая, хотя никогда там не была, с апломбом судила о Джемсе Джойсе, которого никогда не читала, о квалификации всех политических кандидатов, в особенности тех, кто никакой квалификации не имел, и сульфа-препаратах, которые она чуточку путала с витаминами. Как женщина-орагор, она способна была громить аудиторию не хуже любой «лидерши» в Нью-Йорке или Вашингтоне.

Терпимость ее в отношении негров была просто невероятна. Ей довелось раз завтракать за одним столом с негритяжкой, и она своей приветливостью добилась того, что несчастное существо заговорило совсем по-человечески. (За этим столом сидело еще шестнадцать человек, а облагодетельствованная Диантой негритяжка была лектором Нигерийского антропологического общества). Всякий раз, когда заходила речь о неграх, Дианта рассказывала этот случай в доказательство своей терпимости. Нийл и Вестэл слышали эту историю раз сто.

Газеты Марла занимали в вопросе о неграх весьма либеральную позицию. В передовицах высказывалось мнение, что нет оснований отказывать неграм в какой угодно работе, если они способны выполнять ее не хуже, чем белые. Но в редакциях и типографиях этих газет никогда не работал ни один негр.

Дианта давала обед, чтобы доказать, что белые и негры могут встречаться в обществе без всякого ущерба для кого бы то ни было. Однако она была не так безрассудна, чтобы устроить такую встречу в своем доме, и попросила Брайана Энгля предоставить для этого свою студию. Брайан Энгль представлял местный мир искусства и все еще верил, что Дианта действительно намерена заказать ему свой портрет.

Дианта, конечно, не настолько пренебрегала социальным кодексом, чтобы приглашать на вечер каких-то бедных негров, вроде Джона Вулкэйпа, простого швейцара в таверне «Сирена», помещавшейся в том же

доме, где студия мистера Энгля. (В этом же доме помешались фотография, нотный магазин, книжная лавка «Авангард» Риты Кэмбер, и целый день заливались соловьем учителя пения). Дианта решила пригласить только тех негров, за благовоспитанность которых можно было поручиться: Эша Дэвиса и Нийла Кингсблада.

Она позвала и Марлу Дэвис, которой никогда не видела. Но та не захотела прийти, показав этим неблагодарность чернокожих. Дианта мужественно проглотила обиду и объясняла всем интересующимся: «Пожалуй, и лучше, что ее не будет. Никогда нельзя знать, какую безграмотную девку мог подобрать этот недоучка и пролаза Дэвис».

«Nabeas cognis»¹, который Дианта прислала Нийлу, был написан в очень дружеском тоне. Когда Нийл был белым и кассиром банка, Дианта считала его скупным человеком, а теперь он был интересен, как горилла Гаргантюа — интересен в такой же степени и в таком же смысле. Нийл попробовал было отказаться, но Дианта настаивала, мило сердясь:

— Не глумите, Кингсблад! Неужели вы упустите такую возможность, помочь чем-нибудь своей расе? Да ведь вы у меня познакомитесь с лучшими людьми города!

Вестэл сказала:

— Я иду с тобой, Нийл. Ты думал, я допущу, чтобы Дианта в моем отсутствии, когда некому будет защитить тебя, стала выпытывать подробности того, что она называет нашими «любовными отношениями»?

В длинной студии, меблировку которой составляли, главным образом, штабеля непроданных картин, собралось шестьдесят приглашенных. Те, кто не знал раньше Эша и Нийла, сделали несколько грубых промахов, пытаясь угадать, кто же здесь негры, на которых можно бесцеремонно глазеть, и вынудили полковника Кренвея в негодовании удалиться раньше времени. Сегодняшний хозяин, Брайан Энгль, представлял собой молодого человека с намеком на бородку; он как будто только что вышел из инкубатора, но был довольно талантливый художник. Нийла он не удостоил внимания, а Эшу сказал, что он похож на сурового молодого дожа. А фотограф Лоренцо Гримад, нервный маленький брюнет, шепнул Эшу: «Единственное, что эти белые могут сделать для вас, это — дать вам работу. Правда?»

Доктор Коп Андерсон и его жена ошеломили присутствовавших здесь богатых филантропствующих неучей тем, что беседовали с Нийлом и Эшем совершенно как же, как с любым другим разумным человеческим существом. Их примеру последовали доктор Кэмбер, его жена, священник Ллойд Гэд, хотя для этих негры оставались той категорией людей, с которыми встречаешься только на заседаниях. Остальные гости — человек пятьдесят — только наблюдали за Эшем и Нийлом, ожидая, что они непременно выкинут что-нибудь непристойное или странное.

Не порадовала Нийла и первая встреча Вестэл с Эшем.

Вестэл до этого ни разу не видела Эша Дэвиса, знала только, что его очень уважает Нийл. И сейчас, взглянув на человека, с которым Нийл так дружески поздоровался, подумала: «Довольно благообразный негр, и очень хорошо одет, что-то вроде вышколенного камердинера». Она едва скрыла удивление, когда Нийл сказал, сияя:

— Вестэл, это мой лучший друг, доктор Дэвис.

¹ Здесь — предписание судьи о явке или доставке в суд обвиняемого.

«Доктор? — Что ж, возможно. Говорят, среди негров есть врачи».

Вслух она промолвила «Как поживаете?» таким тоном, который ясно говорил Эшу, что ей собственно решительно все равно, как он поживает, и она не желает этого знать, и не понимает, зачем это муж знакомит ее с какими-то цветными костоправами?

Эш поклонился — не очень низко — и тем кончилось. Такова была первая встреча жены Нийла с его другом, встреча, которой Нийл ждал с такой радостью.

Было много виски и изрядное количество салата из кур, но туристам скоро надоело глазеть на экспонаты Дианты. Разговор явно не клеился, пока в него не внес оживления Уилфрид Спод, придав ему весьма скверный оборот.

Вот человек, о котором стоит поговорить: Уилфрид Спод или «Фридрих Спод», как его называли гысячи людей, среди которых он пользовался печальной известностью. Человек, который был на короткой ноге со всеми гениями-разрушителями, самыми закоренелыми распутниками, пьяницами, самыми откровенными лесбиянками в Таосе, Тэкско, Вудстоке, на Минорке, в Мюнхене, Кармеле, Челси, Гринвиче и на левом берегу Сены. Человек, который в Гранд-Рипаблик был таким же неожиданным явлением, как утконос или ехидна.

Фридрих Спод родился в Канзасе, тем не менее он был писатель. И не думайте, что из тех писателей, произведения которых не печатаются. Его романы, настоящие справочники по всем видам блуда, где все непечатные слова печатались полностью, а слог напоминал рекламные каталоги универсальных магазинов, до самого начала второй мировой войны издавались частным образом в Париже на средства его жены.

Лицо у Фридриха было морщинистое и довольно-таки грязное, настоящая морда злой старой лошади, шея — всегда грязная, ногти с трауром, волосы не то чтобы очень длинные, но всегда нуждавшиеся в стрижке. Он носил неизменно короткую курточку из рубчатого плиса — костюм весьма не по возрасту для сорокалетнего мужчины, а традиционный головной убор Латинского квартала¹ — черную шляпу с широкими полями не носил только потому, что все этого от него ожидали, а он любил разочаровывать людей. Ее с успехом заменяла сильно засаленная кепка.

И у этого-то субъекта была жена — Сузэн, лет на шесть моложе его, кругленькая, чистенькая, прелестнейшая из всех голубок, еще не попавших в паштет. Она была художницей — если не считать того, что она не рисовала и не умела рисовать. И еще она была двоюродной сестрой Вестэл, законной дочерью адвоката Оливера Бихауза.

Познакомилась она с Фридрихом в Париже, где у нее было очень увлекательное, но пустое занятие: она называла это «изучать живопись». Она была одинока в чужом городе, не умела говорить по-французски, да и вообще мало что умела. Фридрих подцепил ее в кафе «Селект». Кормился он тогда юлько тем, что занимал у всех деньги. Клянчить он был мастер — делал это артистически, гораздо лучше, чем писал романы. Он не стеснялся просить много и брать сколько бы ни дали.

В первую их встречу Фридрих занял у Сузэн сто франков и в тот же вечер от нечего делать соблазнил ее. Узнав, что отец ее очень богат, он, зевая, женился на ней. Он жил с нею, не уделяя ей ни капли внимания, но и не питая к ней особой антипатии, а она его обожала, никогда не замечала, как он грязен, принимала его угрюмые выпады против тех,

¹ Квартал Парижа, где живут студенты, художники и вообще «богема».

кому он завидовал, за остроумие, а его клозетные саги — за настоящую литературу.

Когда немцы входили в Париж, Спод с женой бежали, и с тех пор они жили в Калифорнии на деньги Оливера Бихауза, которые вымогали у него угрозами, что приедут к нему жить, если он не будет им помогать. Иногда они (как, например, сейчас) действительно наезжали в Гранд-Рипаблик, — только для того, чтобы показать Оливеру, как ему будет плохо, если они останутся здесь.

Вот уже с месяц они снимали студию в доме таверны «Сирена». Су весело стряпала, ведала всеми финансовыми делами и застилала постель, когда удавалось стащить с нее Фридди.

Фридди и Су собирались опять ехать в Париж, как только там станет легче с продовольствием. А пока они мирились с американской кафельной ванной комнатой и развлекались, чем только могли. В этот вечер они, для развлечения, решили обласкать беспомощных черных варваров — Нийла и Эша.

Фридди, конечно, ни капельки не интересовали негры, но ему доставляло громадное удовольствие бесить друзей Дианты.

Сегодня он был в ударе. Он выпил — и, приветствуя Вестэл как кузину, пытался ее поцеловать. Выпил опять — и во всеуслышание поздравил свою весело настроенную жену с тем, что у нее нашелся хотя один родственник не идиот — этот негр Нийл. Потом он еще выпил — бесчисленное количество раз — и прочел гостям экспромтом целую лекцию, отнюдь не предусмотренную программой вечера.

Он утверждал, что музыка и скульптура у негров выше, чем у белых, что они — лучшие актеры и боксеры, что они обладают способностью полового гипноза, и в заключение объявил:

— Если вы все перестанете трещать, то, может быть, мне удастся упросить одного из наших цветных гостей объяснить нам, почему люди его расы настолько тоньше и восприимчивее вас, белых буржуа.

Эш сказал Нийлу тихо:

— Этот болван знает, что делает. Обычно такую медвежью услугу нам оказывают женщины. Единственный абсолютно верный способ погубить нас — это слишком усердно хвалить. Он, кажется, и меня сделает сегодня негроненавистником!

Однако издевательство Фридди Спода над гостями миссис Марл не могло продолжаться вечно. Дианта, конечно, не тренировалась в Латинском квартале, но она даже в большей степени, чем Фридди, обладала природной способностью отворачивать все на свете. Сегодня она что-то долго «раскачивалась», но после достаточного числа возлияний разом наверстала упущенное.

В Гранд-Рипаблик не принято говорить о даме, что она пьяница. Мы говорим обычно, что она «любит иной раз хлебнуть глоточек». Сегодня Дианта «хлебнула» множество «глоточков», больших и малых, и неожиданно перешеголяла Фридди. Она сумела рассердить двух своих гостей — судью Тимберлэйна и миссис Бэнсер, которые беседовали в уголке и не слушали Фридди, а потому не разделяли общего возмущения. Дианта подошла к ним и сказала голосом, в котором звучала вся скорбь мира:

— Право, я думала, что уж на вас обоих наверное могу рассчитывать, и вы проявите хотя бы простую учтивость к моим почетным гостям. И что же? Мистер Кингсблад и бедный доктор Дэвис вынуждены стоять, а вы тут монополизировали стулья!

Судья разыскал жену, и они сразу же ушли домой. Миссис Бэнсер опередила его на две ступеньки.

Затем Дианта завладела Эшем и кокетливо пожаловалась ему — так, чтобы ее слышали еще двадцать человек:

— Доктор Дэвис, я на вас в обиде! Почему вы не скажете вашим цветным дамам, чтобы они не пытались говорить, как мы? Получается сплошная неразбериха. Когда я позвонила вашей жене по телефону — и надо сказать, она долго заставила себя ждать! — я вообразила, что она белая, и была совершенно сбита с толку. Конечно, я обожаю негр-тянок и считаю их очень одаренными, но, честное слово, они не имеют никакого права отказываться — да еще таким тоном! — от приглашения белых.

После этого она принялась за Нийла:

— Вы, цветные, все как прекрасно поете свои гимны! Негритянские гимны — это высшее достижение американского искусства. А ну-ка — вы оба спойте нам что-нибудь. Эй, вы там! Тише, не галдите! Наши цветные друзья сейчас будут петь гимны!

— Я не знаю ни одного! — прорычал Нийл.

Эш Дэвис очень любил негр-тянские гимны, они вызывали в нем грустное умиление, и петь их перед пьяными белыми было бы профанацией. Эти песни пели его предки, негры и индейцы, бродя по древней тропе жажды и ужаса, пели тихо, только для того, чтобы не плакать. Эш сказал:

— Спасибо, но я их совсем не знаю, и, кроме того, мне, к сожалению, пора домой, миссис Марл.

Дианта разразилась шумными пьяными жалобами и незаметно для себя перешла на тот диалект, на котором говорили в хижине ее предков, на «задворках».

— Хотела бы я знать, — говорила она плача, — цените ли вы то, что я... я... сегодня вечером так старалась... так старалась для вас, черномазых?

На этом вечере были и Люсьен Файрлок с женой, и она, волнуясь, сказала Нийлу:

— Я — самая настоящая южанка, мистер Кингсблад, но мне хочется кричать во весь голос, что доктор Дэвис — наш добрый сосед, самый лучший из наших соседей в Гранд-Рипаблик. Он очень хорошо относится к нашим детям, и я просто возмущена. Я, собственно, не знаю, в чем мне перед ним извиняться, но мне хочется извиниться...

Нийл был огорчен тем, что хотя он познакомил Весгэл и Эша, они за весь вечер и словом не перекинулись. По дороге домой он с тревогой спросил у жены:

— Ну как тебе понравился доктор Дэвис?

— Доктор Дэвис? А который из них доктор Дэвис?

Единственным следствием этого вечера было то, что Нийл страстно ринулся в борьбу за свою новую веру. Эта вера была дамой его сердца, его мечом, его венцом, его бичом, его победой и его поражением. Она была его увлечением — и его молитвой, его безумием, его мученичеством и его торжеством.

Они сидели дома, где казалось еще уютнее в этот ветреный мартовский вечер, и Бидди наверху в детской пела, сама себя убаюкивая, когда позвонили и вошли члены Комитета домовладельцев Силвен-парка, четверо здоровенных мужчин с решительным видом, который говорил, что они предпочитают пока быть вежливыми, но, если понадобится, будут жестки. Это были: бывший мэр Стоппл, бывшие друзья Нийла —

Дон Пенлос, Джуд Броулер и бывший лесоруб мистер Вэндер, который в свою оптовую торговлю лесом ввел добрые старые методы членовредительства и был настолько же груб и честен, насколько Билл Стоппл был слашаво вежлив и жуликоват.

Все, кроме упрямого мистера Вэндера, вошли с готовыми улыбками и церемонно уселись на краешках стульев. В этой веселой комнате они казались неуместными, как стая черных головастиков. Нийл стоял у камина, а Вестэл, с каменным лицом, сидя за своим белым письменным столиком, играла лиловым гусиным пером.

Достопочтенный Стоппл, в качестве группенфюрера, заговорил первый, откашливаясь:

— Вот что, друзья, я недавно говорил вам про шикарный домик на Кано-хейтс. Я могу его вам показать. Местоположение одно чего стоит!

— Чего вам надо? Говорите прямо! — отрезала Вестэл.

— К вашим услугам, мэм. Разрешите вам сказать, во-первых, что никто так не уважает вашего папашу, как я.

— Разрешаю, если это вам так нужно.

Почтенного Стоппла начинала раздражать такая неблагодарность. Разве он не пришел сюда с бескорыстной целью, ради общего блага? Никто так не ратовал за общее благо, как Стоппл, но он хотел, чтобы и ему воздавали должное. Внешне он, впрочем, сохранял благородную выдержку человека, который стремится обеспечить себе голоса избирателей и быстрый оборот капитала.

— Ваше мнение — для меня закон, мэм. Так вот, меня беспокоит мысль, что вы не вполне счастливы здесь (тут Вэндер фыркнул) Я считаю, что Силвен-парк — лучшее место для жилья и не слишком дорогое, но с сожалением должен сказать, что здесь очень сильны общественные предрассудки. Я лично ими не заражен, мой девиз—«Живи и жить давай другим». Быть может, наличие этих предрассудков объясняется недостаточным религиозным воспитанием—не берусь судить. Как мирянин, я считаю, что нам не дано понимать задачи священника. И нам не следует...

— Может быть, вы перестанете философствовать и перейдете к делу? — еще злее огрызнулась Вестэл. А Нийл смотрел на большую тяжелую вазу, как бы оценивая ее возможности.

— Непременно, мэм. Так вот, видите ли, суть дела в том, что множество здешних жителей не желают иметь цветных соседей. Они не могут понять, что если Нийл и цветной, — он в этом не виноват. Но факт тот, что прогив вас нарастает, так сказать, возмущение. И вам, пожалуй, в другом районе будет лучше и гораздо безопаснее.

Он говорил таким спокойным ровным голосом, что у Вестэл не было повода опять его обрезать, — и Стоппл продолжал еще лакшнее.

— Мистер Бертольд Эйзенхерц, бывший владелец дома — очень благородный человек и согласен откупить его у вас за ту же сумму, которую Нийл выплатил за него, учитывая, что амортизация дома, в общем, покрывается повышением цен за это время. По-моему, это очень великодушное предложение, и позвольте вам посоветовать...

— Мистер Стоппл, мы это уже раз обсуждали,—сказала Вестэл.— Неужели вы серьезно воображаете, что мы согласимся?

Вмешался Дон Пенлос:

— Послушайте, Вестэл, мы пришли сюда скорее как ваши друзья, но ведь мы одновременно и уполномоченные домовладельцев Силвен-парка...

А Джуд Броулер выпалил:

— Нийл, ты понятия не имеешь, какого труда нам стоило удержать некоторых соседей от... гм... от скандала. У них лопнуло терпение. Ты с ними не шути! Они никак не потерпят, чтобы в нашем районе жил неариец и снижал социальный уровень здешнего общества.

— И подумать страшно, — вставил достопочтенный Стоплл, — на что способны некоторые отчаянные люди! Устроят кошачий концерт, напугают вашу милую дочурку... да и похуже что-нибудь сделают.

— Мэр, я не люблю шантажа. И шантажистов, — сказал Нийл, а Вестэл поддержала его кивком головы.

Тут за дело принялся Вэндер. Мистер Вэндер не учился в школе с Нийлом, не бывал с ним вместе на вечерах, не играл в хоккей. Он был двадцатью годами старше Нийла, и жизнь его в молодости была не сладка. Он был лесорубом в Великих лесах, мерз, разогреваясь только от работы топором. Он любил свою семью и свои сбережения и не любил негров и вообще всех, кто не носил фамилии Вэндер. У него был приплюснутый череп, свирепая нижняя челюсть, голубые глаза с неподвижным взглядом, и он не имел никаких сентиментальных возражений против употребления дубинки, веревки, огня и шепок, загоняемых под ногти. Он был дельный лесопромышленник-оптовик, но мог бы быть и хорошим капитаном корабля, премьер-министром, палачом или генерал-лейтенантом. Он рявкнул сейчас, как власть имущий, — да так, что Принц проснулся под кушеткой и рявкнул ему в ответ, а Вестэл вскочила и, перейдя комнату, встала рядом с мужем.

— Какой там к чёрту шантаж! — заорал мистер Вэндер. — Будет кое-что похуже шантажа! Вы, видно, себе не представляете, как люди обозлены тем, что рядом с ними живут черные. И я их вполне понимаю. Работашь доупаду, чтобы выплачивать налоги аккуратно, до последнего цента, — а тут, пожалуйста, под носом у тебя оказывается какой-то проклятый итальяшка, или жид, или пачкун-негр.

— Поосторожнее выражайтесь, дружище, — хихикнул Стоплл.

— А, чего там, эти черномазые привыкли ко всяким выражениям!

Вестэл, положив руку на плечо Нийла, удерживала его. Она рассмеялась, когда в голосе мистера Вэндера зазвучала лирическая нота:

— Честное слово, мне здорово осточертело слышать, как люди меня все время шпыняют: «А, так ты живешь в негритянском квартале? Признавайся — может, ты и сам черный?» Это они, конечно, просто дразнят меня. Раз в Чикаго я слышал, как ругался один рабочий — он был на каких-то городских работах, и там в конторе служило несколько негров. Он кричал: «Разве это не обидно, что черный сидит за письменным столом, а я должен работать лопатой!» И я вполне его понимаю. Сколько лет я из кожи лез, пока добился того, что имею, — каково же мне видеть, что вы, черные, живете не хуже меня? Клянусь богом, это несправедливо, и я этого не потерплю!

Стоплл опять воспарил, как воздушный шар, сверкающий, желтый, полный газа, эффектный шар, который, поднимаясь, неизменно шлепается обратно на землю и каждый раз этому удивляется.

— Ну, ну, друг Вэндер, вы сегодня, должно быть, встали с левой ноги. Но и с вашей стороны, Нийл, очень глупо говорить о каком-то «шантаже». В жизни не слыхивал, чтобы шантажист платил деньги. Где вы найдете людей, которые бы относились к вам лучше, чем мы? Я говорю жене: «Полина, я никак не ожидал от мистера Эйзенхерца такой щедрости! Мы знаем, что он дипломат и молодчина, говорю я ей, но все-таки, если присмотреться к нему, — скряга, сколько бы он ни покупал французских картин. А тут как расщедрился!» По правде говоря, Нийл, я был прямо-таки удивлен... Конечно, тут не обошлось

без моего влияния, но все же я был поражен, когда он так сразу и согласился вернуть вам полную стоимость дома, — деньги на бочку, и никаких «если» и «но» Так что если вы примете его предложение, вы на этом деле не потеряете ни одного цента. И имейте в виду, — в следующем раз к вам может притти комиссия уже из других людей, и, может быть, они отнесутся не так дружески, и вы тогда уже будете рады продать дом за бесценок!

— А может, будете рады убраться отсюда пока шкура цела, ни шиша не получив за дом! — прокричал Вэндер.

— Нет, не могу! Я его ударю! — сказал Нийл Вестэл.

— Не смей! Он только этого и ждет.

Вэндер фыркнул:

— Да, да, давайте, Кингсблад, немного подеремся, разомнем руки!

Но рука Вестэла крепко вцепилась в плечо Нийла. А Стоппл умащивал обе стороны:

— Ну, ну, ребята, не дурите! Мы пришли о деле говорить. Так вот, Нийл, через двадцать четыре часа я смогу предложить вам уже только меньшую, гораздо меньшую цену, а до тех пор вы мне можете позвонить в любое время, ночью или днем. Что ж, джентльмены, теперь все как будто ясно, но перед уходом я хочу заверить Нийла и его супругу, что мы им от души желаем добра! Покойной ночи, до свиданья! Сюда, джентльмены!

Вестэл обняла его.

— О, милый, милый мой! Я только теперь все поняла своей глупой головой! Не обращай внимания на этих недоношенных нацистов. Никуда мы отсюда не уйдем!

— Ты понимаешь, что может произойти что-то страшное?

— Ну и пусть!

Тень Софи промелькнула перед Нийлом, улыбнулась ему грустно, словно благословляя, и исчезла.

Он вздохнул:

— Зачем ты не дала мне ударить Вэндера?

— Тебя бы арестовали, об этом напечатали бы в газете и создали против нас дело. Кроме того, — добавила она рассудительно, — мистер Вэндер, вероятно, задал бы тебе хорошую трепку, а я не желаю, чтобы тебя изувечили. Ты мне нужен. Ах, Нийл, Нийл, теперь мы с тобой заживем, хотя бы нам это грозило смертью!

49

На другое утро Нийл, как всегда, брел по улицам, иззябший, унылый, сосредоточенно глядя себе под ноги, чтобы не поскользнуться на льду: ему нельзя теперь ломать ноги, они должны носить его, пока он не найдет постоянной работы.

И неожиданно в этот мартовский день работа нашлась.

Он зашел к Брандлю, в цветочный магазин на Белтрами-авеню, потому что ему захотелось купить для Вестэл парочку крокусов. Ульрих Брандль, старый баварец, у которого он в лучшие времена покупал орхидеи (белый шарф и белые лайковые перчатки Вестэл, ее улыбка, весь этот блеск... воспоминания белого человека.), встретил его очень приветливо:

— А, капитан, разрешите поднести вам этот букетик крокусов. Я слышал о вашем мужественном поведении. Я вам сочувствую, потому что и со мной такая же история. Я немец, но ненавижу Гитлера и вся-

ких угнетателей, и вот уж тридцать пять лет — я честный гражданин Америки. А теперь, когда я захожу в бар выпить стакан пива, я слышу, как люди говорят: «Немец хорош только когда он мертв». Все пред-рассудки друг друга стоят! Разрешите пожать вашу руку?

— Не найдется ли у вас случайно какая-нибудь работа для меня?

— Пожалуй, что и найдется. Я буду считать за честь то, что вы работаете у меня.

Так Нийл стал продавцом цветов, хотя о цветах, о способах их сохранения и упаковки он знал, вероятно, не больше, чем Хэк Райли с Майо-стрит. Но он был очень старателен, а покупатели пока не видели ничего ужасного в том, что их обслуживает негр. В магазине пахло теплой сыростью джунглей, вокруг лежали груды гладкой папиросной бумаги и золотой фольги — все это действовало так успокаивающе после миль странствования по заводам и конторам и жестких стульев в приемных работодателей.

Целыми днями он благодушно спорил с мистером Брандлем, который гневно громил все предрассудки и суеверия и сам, как выяснилось, не любил только англичан, евреев, бразильцев, ирландцев, пресвитериан, мормонов, жевательную резинку, подсолнухи, Генриха Гейне и автомобили с двумя дверцами.

Однако пенсии и скромного жалованья, которое Нийл получал у Брандла, было еще недостаточно, чтобы сохранять домашний очаг, который стал для него теперь символом его достоинства и независимости. Надо было искать выход — но где?

Тем временем измена пришла изнутри.

В последнее время он не знал, как ему держаться с родственниками, и думал о них с неприятным смешанным чувством иронии и глубочайшей вины. Раза два-три в неделю он заходил к матери и Джоан и видел, что они ведут жизнь отшельниц. Он твердил себе, что это сделал не он, а предрассудки их среды, но этот довод приносил ему мало облегчения, а им — ровно никакого. У старшей сестры, Китти Сэйуорд, теперь была для него наготове одна неизменная фраза: «Ну, что тебе нужно?»

Только один член семьи, кузина Патриция Саксинар, относилась ко всей этой истории, как к интересному приключению, и даже радовалась ей. Она поселилась в общежитии на юго-западной окраине города, работала и, видно, была довольна жизнью. Она была славная и добрая, как может быть добра только хорошая женщина.

У брата Роберта Нийл перестал бывать, так как жена Роберта, Элис, ужасно злилась на него, и ее в этом поддерживал брат, Хэрролд Уиттик. Элис была злая — как может быть зла только «порядочная» женщина. В марте она потребовала развода по суду, обвиняя Роберта в жестокости, в том, что он ее опозорил и обманул, не сказав ей до свадьбы о том, что он — цветной.

Когда Нийл сообщил эту новость Вестэл, она сначала не сказала ничего. Лицо ее выражало только нерешительность, но не то отвращение и негодование, которое ожидал увидеть ее муж. Наконец она заставила себя сказать:

— Да, Элис всегда была из тех жен, которые только о себе думают. А кроме того, вся ее родня на нее сильно наседали, требуя, чтобы она развелась с Робертом. Я по опыту знаю, каково это. Отец и сестра считают меня предательницей, оттого что я не хочу уйти от тебя. Но я пока не поддаюсь. Мне, как видно, не вырвать тебя из сердца, из души и тела. О, Нийл!..

Такие минуты бывали в начале их брака—когда вдруг у обоих рождалось страстное желание. И сейчас Нийл почувствовал в Вестэл эту напряженность желаний—ее смеющиеся глаза не отрывались от него, она дышала часто и неровно, полуоткрыв губы. Он подошел совсем близко — и тела их, как будто подчиняясь своей собственной воле, прильнули друг к другу. Нийл понимал, что она бессознательно верит в миф, будто все негры, даже высушенные чиновники и переутомленные и нервные ученые—чувственные животные, обладающие необычайной половой силой, и что ее вновь вспыхнувшая страсть к нему—только самообман, она воображает, что ее насилует сын Ксавье Пика, которого в действительности вообще и не существует. Но для психологических изысканий момент был неподходящий, — и он поцеловал ее, и услышал ее долгий вздох.

Он думал: если она решила остаться верной женой, она должна будет занять свое место—рядом с Мартой Дэвис и Коринной Брустер. А если у него будет настоящая жена, обожающий его ребенок и такой друг, как Эш, да еще притом Вестэл подружится с Мартой—чего еще может желать человек?

Он сказал Вестэл, что хочет позвать Эша и Марту обедать. Вестэл беспокойно задвигалась.

— Ты думаешь, это разумно? Я не сомневаюсь, что они — прекрасные люди, но не будут ли они себя неловко чувствовать? Пожалуй, это было бы не великодушно с нашей стороны.

— Эш — выдающийся химик, и они не раз обедали в обществе профессоров Сорбонны у Ритца, в Париже, так что вряд ли будут ошеломлены роскошью нашего дома!

— Не кричи на меня! Если тебе так уж хочется—пожалуйста, приглашай их. А откуда ты знаешь, что они обедали с профессорами у Ритца? Неужели они этим хвастают?

— Эш и Марта никогда ничем не хвастают! Насчет Ритца—это мое предположение.

— С какой стати профессора Сорбонны стали бы обедать с доктором Дэвисом? Разве он такой великий ученый? А если да —чего ради он придет к нам? Мы с тобой из химии знаем только одно—что соль в кофе сыпать не годится.

— Я тебе уже сказал, что он для меня не только известный химик...

— Ты этого мне не говорил, но все равно—продолжай.

— Он самый обаятельный человек из всех, кого я знаю.

— Ты забываешь, что я с ним уже знакома. Он производит впечатление приятного и воспитанного человека, но никакого особенного обаяния я в нем не заметила.

— Может быть, заметила бы, если бы захотела к нему присмотреться.

— Конечно, конечно. Ну что ж, мы их пригласим к нам, и я тогда хорошенько рассмотрю обоих!

Такого рода разговор не предвещал ничего хорошего. Да и Эш, когда Нийл по телефону пригласил их, спросил:

— А вы уверены, Нийл, что миссис Кингсблад это будет приятно?

Эш и Марта пришли хорошо одетые, внимательные, беседовали учтиво,—словом, все было прекрасно, но весь вечер у них был какой-то отсутствующий вид. Говорили они только в ответ на обращения Вестэл, а так как она их не очень поощряла, то разговор шел вяло. Нийлу пришлось говорить за всех, а он был не особенно изобретателен.

Вестэл вела себя убийственно. Она была слишком любезна, она соглашалась со всем, что говорили другие, не слушая, что они говорят.

— Я думаю, у президента сейчас немало хлопот из-за всех этих стачек,—начинал Нийл.

— Да, конечно... Ты говоришь—стачки?—вяло отзывалась Вестэл.

— Да, стачки сейчас повсюду,—вставлял вымученную фразу Эш.

Перед обедом Эш и Марта покорно приняли коктейли, но не допили их.

— Совсем как бедные родственники—стараются угодить,—пренебрежительно шепнула Вестэл мужу.

Сегодня он все закупил к обеду и убрал стол, а Вестэл приготовила обед и сама подавала его, не слушая робких предложений Марты помочь ей, и делая это с таким видом, словно говорила: «Ну, господин мой, ты доволен тем, что я смиренно прислуживаю этим черным, которые вторглись к нам в дом?»

Когда беседа уже почти замерла и никто не подхватил замечаний Нийла о воздушном транспорте и о баскетбольной студенческой команде, Эш вдруг встряхнулся и заговорил, как специалист, о будущем пластических масс.

— Они даже слишком практичны,—сказал он.—У нас скоро будут спальни—как для царицы фей, со скрытым освещением и прозрачной мебелью, так что весь тот вычурный хлам, который сейчас считается роскошью, будет казаться грубо примитивным и утилитарным.

— Я вижу, вы не одобряете людей, которые окружают себя красивыми вещами, — сказала Вестэл, и этим окончательно все испортила.

Когда они пили кофе в столовой и все тайно страдали и ждали, когда же окончится этот жалкий фарс, сверху пришла Бидди в пижаме—такое появление в столовой считалось полнейшим беззаконием. Она остановилась перед Эшем, с любезным и заботливым видом осмотрела его и сказала протяжно:

— А у вас лицо грязное!

Даже Вестэл была шокирована, но Эш засмеялся и сказал:

— Нет, деточка, это у меня такой загар.

— Вы ездили во Флориду загорать? Мои куклы тоже только что вернулись из Флориды. Они жили в Пальм-Бич и говорят, что там все очень дорого. Может, вы пили слишком много кофе? Моя мама говорит, что если я буду пить кофе раньше шестнадцати лет, я стану вся коричневая. Ну нет, я не хочу быть коричневой! А вам все равно, что вы весь коричневый?

Она спросила это с живейшим интересом и, не обращая внимания на сигналы матери, сердито качавшей головой, забралась к Марте на колени и прислонилась головой к ее плечу.

Тогда Вестэл вдруг стала шутить и смеяться с наигранной веселостью.

Эш посмотрел на нее пристальнее, чем до сих пор, потом, с искренней нежностью, на Бидди и сказал:

— Нет, детка, мне было бы все равно, что я коричневый, если бы не было на свете столько людей, которые не выносят солнца. Они любят погреба и анемию.

— А что это такое — янемия? — спросила Бидди.

Но Вестэл пропела весело, как в венской оперетке:

— Беги-ка, дочка, в кровать и не надоедай доктору и миссис... э..

Дэвис

Гости ушли; хозяйева не очень их удерживали.

Вестэл всхлипывала:

— Да, да, знаю, знаю, Нийл, что я вела себя ужасно, но не могу я, пойми! Меня не трогает, что ты—негр, потому что я не верю, что это правда, — по-моему, тут какая-то мистификация. Но и х и других цветных я не выношу—и ничего тут не поделаешь, бесполезно себя насилловать.

— Постой! Слушай...

— Не кричи на меня!

— Что я могу сделать? Эш и Марта так умны, так хорошо воспитаны, и если бы ты их обласкала...

— Вот в том-то и беда! Мне с детства внушали, что черные — смешные люди, которые всегда увиваются вокруг белых, смеются и говорят примерно так: «Ах, спасибо, мисс Вестэл, мэм, вы, белые, удивительно добры к нам, бедным черномазым». А этот Дэвис видит во мне только пустую дамочку, ни черта не смыслящую в химии и экономике. «Погреб и анемия»,—как вам это нравится! Ах, я знаю, что это нелогично, но не лежит у меня душа к ним —и все. А мне теперь нельзя волноваться, потому что я... я жду ребенка.

Когда Нийл, пытаясь выразить восторг, только выдал свою тревогу, Вестэл сказала серьезным тоном:

— Не будем говорить сентиментальной чепухи и делать вид, будто мы рады этому маленькому гостю. Я в отчаянии. Да, в отчаянии! Мне весь день сегодня хотелось бежать куда-нибудь, где меня никто не знает. Не могу я вынести мысли, что рожу негритенка! Вот Бидди — про нее почему-то мне не верится, что она негритянка, никак не верится! Но сейчас родить черного ребенка — нет, я этого не вынесу! Я и хочу сделать аборт — и не хочу, и не сделаю... и я с ума схожу!

Она плакала всю ночь. Испуганная Бидди прибежала узнать, «чем помочь бедной маме». А Нийл лежал на второй кровати и смотрел, как бегают по полу лучи света от проезжающих мимо автомобилей.

50

Она была Маленькая Женщина, Извечная Женщина, очень милая и добрая, всегда готовая помочь мужу и его друзьям во всем, что они затевают, — а заеи частенько бывали прескверные. Она пекла пироги для соседских ребятишек и с умилением слушала дурацкие передачи по радио. Она была примерной прихожанкой своей церкви и доброжелательной, услужливой соседкой. Она верила всему, что говорил священник, и член Конгресса от их округа, и тот безликий сеятель анархии, который изобретает фасоны обуви и всевозможные виды косметики. Это она, Маленькая Женщина, узаконила и оправдала все грабительские армии, все помпезные церкви, суды, университеты, «лучшее общество», и все войны и несчастья с тех пор, как свет стоит. И рекла Женщина:

«Я ничего не смыслю в антропологии, этнологии, биологии и всей этой никому не нужной ученой белиберде, — и говорите что хотите, ссылайтесь сколько вашей душе угодно на разные толстые книги — а я скажу свое: в конце нашей улицы, там, где пасут коз, живет семейство черных, и я их знаю, и я вам говорю, что черные — низшая раса, и я не допущу, чтобы их принимали на работу в магазины, банки, конторы, где мне приходится бывать. Я им, конечно, желаю всяких благ,—пока они знают свое место. А если некоторые уверяют, будто цветные такие же люди, как мы с вами,—так они и сами не верят в то, что говорят, и с какой стати я стану обращать внимание на пустую болтовню разных невежд?

Я — Маленькая Женщина всех веков, и моя стройная ножка попирает троны, и мечи, и митры. Для моего звонкого голоса слагаются все песни, для моего развлечения в скучные вечера сочиняются всякие истории. Объединение народов, любовь мужчин и женщин, их труд—все может существовать лишь в таком виде и форме, как велят священные законы, о которых я узнала от отца. А отец мой был человек замечательный и, будь он сейчас жив, ни за что бы не потерпел все эти глупости, которые выдумали безответственные люди. А законы отец узнал от своей матери, а ей про них сказал ее пастор, а пастору сказал епископ, которому их завещала его мать, а матери епископа их сообщил на спиритическом сеансе медиум, а медиуму в трансе они были возвещены в беседе самим господом богом.

Что бы вы там ни говорили, а итальянцы — жулики, «оки»¹ — беспомощные, никчемные бродяги, негры—лодыри, евреи—слишком хитры, а идея единого всемирного государства противна природе человеческой и всем принципам, провозглашенным Джорджем Вашингтоном,— и я не желаю больше слышать такой ереси! Я—Герта, Изидра, Астарта, я — секретарь Союза дочерей американской революции, и я заявляю вам: когда цивилизация целиком растворится во всеобъемлющей пристойности смерти, тогда повсюду всё будет тихо и прилично, и никто не будет больше умничать и высказывать с нелепыми идеями. А теперь давайте выпьем с вами еще по чашечке кофе и не будем больше говорить об этом».

51

Разговаривая с Нийлом по телефону, Эш сказал:

— Нет, по-моему, ваша жена вчера вечером вела себя очень мило, она изо всех сил старалась быть естественной. Вы должны иметь в виду, что пройдет немало времени, пока она привыкнет к общению с неграми. Я вот уж сорок лет пытаюсь привыкнуть к мысли, что я — не американский гражданин, отец семейства, химик, а негр, и все еще до сих пор это не укладывается у меня в голове. А вы сейчас обо всем этом не думайте, Нийл, потому что надвигается грозная опасность.

И Эш сообщил ему первые вести о «Сант-Табак».

Примчавшись после работы домой, чтобы узнать, как чувствует себя Вестэл (Вестэл чувствовала себя, как обычно, и рассердилась на него за то, что он упорно воображает, будто она должна себя чувствовать как-то иначе), Нийл позвонил Ивэну Брустеру, потом Копу Андерсону, и вот что он узнал.

«Сант-Табак» была новая организация, созданная в Гранд-Рипаблик и имеющая все шансы распространиться в других городах Севера. Это был заговор с целью прогнать обратно в южные штаты как можно большее число негров. Тем будущим членам организации, кто находил в ней сходство с Ку-Клукс-Кланом, организаторы объясняли: «Нет, никакого насилия мы не хотим. Напротив, мы хотим защитить цветное население от их собственных главарей, которые непременно навлекут на них погромы. Мы не будем агитировать за суды Линча и даже за избияения — пока эти ослы не начнут озорничать и раздражать полицейских. Наша политика вполне благожелательна и положительна: мы требуем, чтобы были уволены все негры, которые захватили на Севере места белых, и чтобы больше никуда не принимали ни одного негра».

Эта кампания за экономическое уничтожение негров проводилась очень ловко и умно. Название «Сант-Табак» образовалось из первых

¹ Жители Оклахомы.

букв тех английских слов, которые составляли лозунг организации. «Прекратить все безобразия, обезвредить негров». В инициативную группу входили мистер Уилбер Фетеринг под псевдонимом «Большая Гавана», мистер Уильям Стоплл — «Малая Гавана», мистер Рэнди Спрус — «Пинатела». Казначеем под кличкой «Старый кожаный кошелек» был мистер Нортон Трок из банка «Блу-окс», а из главных заправил назовем мэра Эда Флирона, доктора Кортца Келли и преподобного Джэта Снуда.

Роль Петра-Пустынника¹ в этом ордене играл Фетеринг, но затейливые псевдонимы и название организации придумали Рэнди и знакомый уже нам адепт Нового Искусства Рекламы, мистер Хэролд Уиттик — это ему пришла забавная идея изобрести «Португальский остров Сант-Табак», где был впервые открыт табак и откуда якобы изгнано все цветное население.

Многие из участников кампании носили значок с изображением монаха, курящего трубку; но их подвиги были не так безобидно-забавны, как весь этот ритуал, ибо в организацию входили солидные коммерсанты, и если местная знать — члены Федерального клуба — считала ниже своего достоинства вступать в нее, зато она усиленно ее субсидировала. Во главе стояли надежные, энергичные люди, опытные конспираторы, ловкие стратеги И всё, что они делали, становилось известно неграм раньше, чем об этом узнавали члены «Сант-Табак»: контора Рэнди Спруса, где разрабатывались все планы, помещалась в здании Национального банка «Блу-окс», а отец Филя, Клот Уиндеж, служил старшим лифтером в этом доме, и на его обязанности лежало убирать всю бумагу из мусорных корзинок.

Ивэн Брустер говорил Рэнди Спрусу, что члены организации сэкономили бы государству много денег, если бы негров принимали на работу, вместо того, чтобы тратиться на их содержание в тюрьмах и больницах, но Рэнди некогда было слушать какого-то болтуна-пастора.

Впрочем, хотя организация «Сант-Табак» и представляла собой серьезную угрозу, не одна она была виновата в массовом увольнении негров. Здесь сыграли роль скорее возвращение с войны белых солдат, стачки, переход заводов с производства танков на производство металлических частей для подтяжек, и распространённое мнение, которое усиленно поддерживали радио и эстрада, будто все негры — никуда негодные лодыри и олухи. Все эти обстоятельства, вместе взятые, вызвали повальное увольнение рабочих-негров, которое началось с первого апреля — дня шуток и обманов. Кампанию начал завод Уоргейта, откуда уволили двести чернокожих рабочих.

Директор объяснил им, что их отправляют опять в очередь безработных за благотворительной помощью, так как с прекращением военных заказов завод вынужден закрыть несколько цехов.

Однако некоторые из этих цехов через неделю-другую были снова открыты под новыми названиями, и весь штат служащих и рабочих в них на этот раз уже состоял из белых.

В Файв-пойнтс были уверены, что к концу года с завода Уоргейта будут уволены все остальные негры. Безработные стояли на всех углах — совсем не демонстративно, беспризорные, испуганные, и передавали друг другу слухи о каких-то мифических городах, где нужны рабочие руки: «Мне один парень говорил, что там берут черных».

В числе шестисот негров, пока еще работавших на заводе Уоргейта, был и химик Эш Дэвис.

¹ Проповедник крестового похода.

Эш весело говорил Марте и Нийлу:

— Если меня уволят, я смогу зарабатывать двадцать долларов в неделю: буду стоять для рекламы в витрине парикмахера, который выпрямляет волосы неграм.

Наивный Нийл возразил:

— Уоргейт вас ни за что не отпустит. Как можно! Ведь они наживут сотни тысяч долларов на ваших открытиях.

— Когда-нибудь наживут, но они в это не верят. Они считают, что я делаю свои опыты с чисто исследовательской целью и только зря болтаюсь у них на заводе. Вот вам пример: открытия негра Карвера насчет скромного земляного ореха дали Югу десятки миллионов, но самого Карвера попрежнему пускали только с черного хода. Вы, белые — идеалисты. Для вас «принцип» выше всякой наживы — принцип ненависти ко всему новому и неизвестному. Все-таки я не теряю надежды — авось меня оставят на заводе в качестве уборщика: я артистически умею подметать.

— А если нет, — подхватила, смеясь, Марта, — ты можешь стать «красной шапкой» и таскать багаж, как очень многие из наших, окончивших университет с отличием.

— Ну нет, на такую работу меня ни за что не возьмут. Даже докторов философии принимают в «красные шапки» в том случае, если они знают по меньшей мере семь языков, а я говорю только на трех.

К ним подошел Дрэксел Гриншоу.

— Слыхали про увольнение у Уоргейта? — спросил у него Эш.

Дрэксел сохранил обычный величественный вид.

— Слышал, конечно, но я этим не так расстроен, как вы, молодежь. Я на своем веку повидал, как притесняют нашего брата. И так ли это ужасно, как некоторые говорят? Ведь большинство уволенных — в наших местах люди новые, негры с плантаций, которые совсем недавно пришли сюда из самых глухих углов Юга. Это масса невежественных дикарей, которые только и умеют, что деньги транжирить. Я бы сказал — типичные иммигранты. Все мы, здешние старожилы, вот как я или Ол Вулкэйп, очень боялись, как бы белые не подумали, что мы — такие же, как это стадо. О, я их жалею, конечно, но лучше пускай уезжают обратно на Юг.

— Я тоже иммигрант, — напомнил ему Эш.

— Вы — другое дело. Вы — из наших.

— Каких это «наших»?

Дрэксел стал объяснять.

— Белые очень охотно берут на работу таких цветных джентльменов, как вы и я. Мистер Тартан говорит мне: «Мистер Гриншоу, не знаю, как бы без вас управлялись в «Фьезоле» и как могли бы удовлетворить наших первоклассных клиентов». Я делаю все, что в моих силах, — отвечаю я ему, а он мне: «Знаю — и мы это ценим». У меня есть несколько близких друзей — белых. И не думайте, что я — дядя Том. Нет, я требую уважения к себе. Вы, молодые, не знаете психологии белого человека. Сумейте стать ему нужным — и он будет к вам относиться более чем справедливо. И если они немножечко настроены против нас, — так в этом виноват черный сброд. Много лет назад мы здесь в Гранд-Рипаблик все были в прекрасных отношениях с белыми. Мои дочери в детстве играли с приличными белыми детьми, и когда я приходил в церковь, меня там встречали, как всякого другого прихожанина. Но этих нынешних плясунов и вертихвосток, которые стараются показать, что они не хуже белых, — и х белые терпеть не могут

Все белые требуют от нас одного—смирения, а смирение—одна из первых евангельских добродетелей, не так ли?

Нийл и Эш не слушали его—все это Дрэксел Гриншоу излагал им уже не в первый раз. Им все-таки нравился этот чопорный старик, отец их приятельницы Синтии Вулкэйп, джентльмен-слуга джентльменских слуг, сержант-южанин полковников-южан.

На той же неделе в одном из штатов глубокого Юга учинен был суд Линча над негром — ветераном войны.

От Дельты Миссисипи до Говардского юридического института и клубов Гарлема распространился ужас. Каждый негр, содрогаясь, бормотал: «Завтра это могут сделать со мной». Чернокожий коммунист и набожный фундаменталист с одинаковой тревогой оглядывались, выходя вечером на улицу. Эш Дэвис — с таким же отчаянием, как Шугер Гауз, Дрэксел Гриншоу и доктор Дариус Мелоди — так же как и Хэк Райли переживали этот кошмар еще много времени спустя. Они стонали: «Доколе, о господи?» без всякого смирения. А негр по имени Нийл Кингсблад в искреннем ужасе смотрел на свою жену и думал с трепетом: «Ведь это может быть и с нами, здесь, каждую минуту!»

С каждым днем все больше и больше негров увольняли с завода Уоргейта и с других предприятий помельче. С каждым днем все больше безработных толпилось на перекрестках Майо-стрит, все громче становился ропот, и власти предусмотрительно послали в негритянские кварталы добавочные наряды полицейских, а в полицейских несколько раз шыряли камнями,—и тогда отправили сюда еще новые отряды, и в результате один негр был застрелен, а четверо — арестованы, после этого с третьего этажа кто-то уронил на голову полицейскому деревянный брус, и Фетеринг зашумел:

— А что я вам говорил? Вступайте в «Сант-Табак»!

И с завода Уоргейта, из угольной компании «Аврора», с вязальной фабрики, из бригад грузчиков на элеваторах, из ремонтных железнодорожных мастерских начали поспешно выгонять негров,—и толпы на углах Майо-стрит стали еще шумнее — и сюда направили еще больше полиции — и так *per omnia saecula saeculorum*¹.

Среди лидеров «белых» профсоюзов начался раскол: треть протестовала, треть молчала, а треть злорадствовала.

Потом уволили и Эша Дэвиса, снабдив весьма лестным письменным отзывом о его работе.

Эша не предупредили об увольнении. Когда он в пятницу вечером вернулся домой, он нашел письмо Броулера. Прочитав его, Эш на один час утратил привычное равновесие скептика и светского человека и превратился в обыкновенного безработного, душа которого полна страха и возмущения.

Он написал в восточные штаты, в несколько учреждений, где его знали как специалиста. Ему ответили, что сейчас из армии возвращается очень много белых химиков и, кроме того, штатные служащие могут отказаться работать с человеком «не-арийской» расы.

Он весело сказал Марте, что предпочитает преподавательскую работу службе в каком-нибудь коммерческом предприятии. Он ведь может получить кафедру в любом колледже, а в частности—в том, где ему собираются присудить почетное звание.

¹ «На веки веков» (латинск.).

Среди университетских преподавателей действительно было несколько негров, их небольшая группа даже увеличилась за последнее время, но Эш не попал в число этих счастливых. Ректоры университетов любезно отвечали ему (в тех случаях, когда они вообще отвечали), что они, конечно, «не имеют никаких предрассудков», но все те многообещающие светлые личности, которые составляют штат университета, вероятно, откажутся работать с чернокожим.

Только много позже Эш, уехав в Нью-Йорк, получил место в небольшом негритянском колледже на Юге: оклад в 1 800 долларов в год и дом — только дома еще пока никакого не было.

Вслед за Эшем и Фил Уиндек лишился работы в гараже.

Потом уволили Дрэксела Гриншоу.

52

Гленн Гартан позвал к себе в кабинет Дрэксела Гриншоу и сказал, посмеиваясь:

— Должен сообщить вам печальную новость, старина, но имейте в виду, что я в этом совершенно не виноват. Хозяева решили завести в «Пайнлэнде» новые порядки, весь штат будет состоять только из белых. Так что, к сожалению... Но мы все желаем вам всех благ, и я уже продиктовал машинистке такую хвалебную аттестацию, что у вас глаза на лоб полезут.

Если Дрэксел, обычно такой красноречивый, и сказал что-нибудь в эту минуту — никто его слов не слышал.

Он пытался поговорить с главными пайщиками отеля «Пайнлэнд», но они были слишком заняты. Эти главные пайщики были доктор Генри Спэррок и миссис Уоргейт, жена Уэбба, которая считалась великой покровительницей негров. Доктор Спэррок был занят кампанией сбора на Красный Крест, а миссис Уоргейт — организацией общества, избравшего девизом слова Христа: «Не мешайте детям приходиться ко мне».

И Дрэксел уполз в свой трехкомнатный домик, где жил с дочерью Гарнет, и целую неделю от стыда никуда не выходил. Он боялся, что эти грубияны из Техаса и Арканзаса, которых прогнали с заводов и которые слоняются без дела вокруг закуской, будут насмеяться над ним.

Гарнет простилась с Филом Уиндеком и уехала на работу в Чикаго. А Дрэксел продал свой домишко и перебрался ко второй дочери, жене Эмерсона Вулкэйпа.

Как он себя ни сдерживал, он не мог не критиковать ее: она и стряпала, по его мнению, плохо, и постели застилала не так, и с ребенком не умела обращаться. Он решил (дочь ему об этом ничего не говорила), что надо днем уходить куда-нибудь из дому, и поступил официантом в какую-то мерзкую «обжорку». Через неделю его уволили за то, что он критиковал всё решительно и возмущался слишком высокими ценами. Олберт Вулкэйп хотел было помочь ему открыть собственный дешевый ресторан, но Дрэксел испугался ответственности.

Несколько месяцев он сидел без дела на крыльце и думал о том, знают ли эти никудышные белые официанты, которые теперь работают в «Фьезоле», что мистеру Рэнди Спрусу надо класть в кофе четыре куска сахара, — такие вещи помнил всегда только он, Дрэксел.

Дрэксел умер скоропостижно, когда был один в доме, во время летней грозы. На похороны приехала из Чикаго Гарнет. Она окончательно потеряла надежду выйти за Фила, который, теперь в компании с Шугером Гаузом, контрабандой возил виски в Оклахому. Созданная для

любви, теперь она—одинокая старая дева и служит стенографисткой в Чикаго.

Когда «Фьезоле» переменял черных официантов на белых, Рэнди Спрус, хихикая от удовольствия, сделал очередную запись в книгах «Сант-Табака». Бедный Рэнди! В один прекрасный день он попался в какой-то грязной истории с телефонной барышней и вынужден был удрать из города. Он делал так много зла, но все от простоты душевной. Если бы он когда-нибудь задал себе вопрос, за что он, собственно, ненавидит негров, он бы, вероятно, неожиданно открыл, что вовсе не питает к ним ненависти. Он никогда не присматривался ни к одному негру. Рэнди был такой благонамеренный человек! Говорят, он теперь великолепно устроился в парфюмерной фирме «Атомная бомба».

В том году даже в Гранд-Рипаблик в апреле выдавались совсем весенние дни. Насвистывая, Нийл расставлял в витрине пирамиды ранних нарциссов, и ему казалось, что он всю жизнь был только страстным любителем-цветоводом — и ничем больше.

Мистер Брандль был, видимо, встревожен полученными утром письмами и какими-то телефонными разговорами, во время которых он отвечал односложно: «Да», «Понимаю». Потерев руки и поерошив седую шевелюру, он дрожащим голосом сказал Нийлу:

— Нийл, я от всех слышу, что вы дружите с каким-то доктором Дэвисом, очень опасным негром-агитатором. Я бы рад душой за вас постоять, но годы войны показали мне, как человек может пострадать от сплетен и пересудов. Я могу загубить всю свою торговлю, а у меня старуха-жена.

Нийл вздохнул:

— Хорошо, Ульрих, я уйду. Сообщите главарям «Сант-Табака», что вы меня рассчитали.

Мистер Брандль сказал грустно:

— Я вам дам хорошую рекомендацию, и вы найдете другую работу. Где она, эта другая работа?

Вестэл не очень удивилась, когда он пришел домой в одиннадцать часов утра — безработным.

— Не горюй. Я знала, что так будет. Теперь я поступлю на службу и буду служить, пока не появится на свет маленький Букер.

— Как!

— Я уже говорила с Леви Тарром. Сначала буду работать не за прилавком, а в маркировочной. И, пожалуйста, спрячь в карман свою амбицию, не считай для себя оскорбительным то, что твоя жена работает, и не страдай за меня. Нам нужны деньги.

— Какая там амбиция! Я знаю, что нам нужны деньги.

Во время войны он привык видеть женщин в шинелях, в рабочих комбинезонах и не стыдился того, что жена пойдет работать, как стыдился бы этого его отец. Но у него были свои возражения, естественные для молодого белого джентльмена.

— А Букеру это не повредит?

(Они, не сговариваясь, называли так своего будущего ребенка, хотя ни он, ни она в сущности не одобряли скрытого в этом имени вызова обществу. Но оно как-то само собой навернулось на язык—и осталось).

— Конечно, нет, он—здоровый поросенок. И притом в магазине есть свой врач.

— Тебя там загрызут, как жену негра.

— Ну нет, меня не загрызут: сама зубастая. Я не такой терпеливый ангел, как вы, капитан! И знаешь, твоя мать (она молодец, на нее можно положиться) обещала каждый день брать Бидди из детского сада к себе до вечера. Проживем как-нибудь! А придет время—я все об этом думаю — и травля прекратится; она должна прекратиться. Разве мы не живем в стране свободы и справедливости? Ведь нам это с детства всегда твердили. Через год-другой дела твои опять наладятся, я брошу службу, буду сидеть дома с Бидди и Букером. Лежать в новеньком шезлонге и говорить горничной—томно этак: «Принеси мне мой маникюрный прибор, Анзолетта, да погляди в окно, как там мастер¹ Букер, играет ли в своем геликоптере». Ах, Нийл, Нийл, он ведь будет белый, и все это позабудется,—он будет белый, не правда ли?

Вестэл в самом деле поступила на службу в магазин Гарра. Очевидно, она была проворной и способной продавщицей, так как скоро ей уже поручили продавать мебель, в которой она знала толк. И очевидно, никто не осмеливался ее «задирать», по крайней мере—во второй раз.

Нийл вставал в седьмом часу утра, готовил завтрак, поднимал с постели Бидди, которой предстояло начать трудовой день и нести тяготы жизни, выпроваживал нового кормильца семьи—спешившую в магазин Вестэл, потом мыл посуду, убирал квартиру и провожал Бидди в детский сад. Но он вовсе не чувствовал себя приниженным,—напротив, был доволен, что может хоть этим немногим помогать Вестэл, доволен, потому что здесь, дома, было единственное место, где он мог работать спокойно и никто не попрекал его тем, что он—черный. Уныние охватывало его только тогда, когда он выходил искать более «мужского» дела (мужским делом было, например, писать цифры в гроссбухах и толковать об учетном проценте). Чувство беспомощности приходило только тогда, когда, покидая свое убежище, он шел выполнять родственные обязанности. Брат Роберт его возненавидел — он бросил службу и собирался переехать в Чикаго, даже не дожидаясь развода.

Иногда Нийлу, из чувства самосохранения, удавалось взвинтить себя до гнева на родственников. Почему они не могут примириться с тем, что по законам, которые они сами же одобряли, они — негры, и, как другие негры, мужественно смотреть в лицо жизни, расставшись с мифом белых о счастье быть членом фешенебельных клубов и получать приглашения в скучнейшие дома? Неужели так называемое порядочное общество, эта атмосфера беспокойной зависти, подозрительности и ревнивого оберегания своего благополучия—такое счастье, что, утратив его, он и его семья будут страдать от этого?

По временам все эти люди—за исключением матери—казались Нийлу совсем чужими. Ему были гораздо ближе не только Эш, Фил, Софи, но и любой юноша вроде Уинтропа Брустера, который теперь изучает в университете электричество и хороший тон, телеологию и баскетбол, увлекается симфониями Сибелиуса и танцами с девушками всех цветов и который на студенческих дискуссиях в аудитории, темной от табачного дыма, выступает так же смело и свободно, как любой из его товарищей, священных потомков норфольских плотников, киллернейских огородников, уэльских шахтеров и французских скорняков. Почему Китти и Чарли Сэйуорд не могут быть такими же реалистами, как этот мальчик?

Ему трудно было и самому быть таким «реалистом», трудно было требовать от Вестэл, чтобы она приняла, как факт, то, что ее дети — «цветные», чтобы научилась видеть во всех «цветных» просто людей, как все. Он обрадовался, когда раз в воскресное утро Вестэл сказала:

¹ «Мастер» — употребляется вместо «мистер» при обращении к мальчикам.

— Знаешь, что я сделаю? Возьму Бидди и пойду навестить Дэвисов (она никак не могла решиться называть их «Эш» и «Марта»). Я хочу, чтобы их дочка приходила к нам играть с Бидди.

— Да ведь Нора на десять лет старше Бидди.

Вестэл стала теперь очень обидчива.

— Что ж, если ты не хочешь, чтобы я пошла к твоим...

— Нет, нет, я страшно рад и очень надеюсь, что ты их полюбишь. Ты знаешь, что Эша уеволили?

— Вот как?

Ему было ясно, что она совершенно себе не представляет, насколько для Эша это увольнение страшнее, чем для какого-нибудь специалиста белой расы. Эш оставался пока в городе только для того, чтобы продать свой дом. Ему представлялись две возможности. либо его надует Франк Брайтвинг, либо обжулит Уильям Стоплл. Возможно, что Эш сейчас не в таком настроении, чтобы выносить покровительственную любезность Вестэл. Но она была так горда своим намерением, что Нийл не хотел ее огорчать. Она не позволила ему идти с ними. Она была полна решимости и благодушия, но все-таки ее покоробил чрезмерный восторг Бидди по поводу того, что она пойдет в гости «к дяде Эшу и тете Марте и девочке Норе».

У Бидди уже был готов подробный план постановки летом пьесы и большой оперы общими усилиями ее и Норы (которой она ни разу не видела). И когда Нийл объяснил ей, что Норы летом здесь уже не будет, Бидди отмахнулась от трезвой действительности с веселой самоуверенностью, унаследованной от матери. И Нийл подумал: «Это хорошо. Бидди будет такая же, как Уинтроп. Она скажет: «Ну да, я негритянка! И у меня еще один палец на ноге кривой. Ну и что?»

В этот холодный апрельский день, после завтрака, Вестэл, сияя, пошла к автобусу, а рядом с ней под скелетами кленов шла, подпрыгивая, Бидди. Они хотели вернуться домой к пяти. Но вернулись в четверть пятого, молчаливые.

— Бидди, ты же не маленькая! Саманими пальто и беги наверх играть, — приказала Вестэл девочке. Нийл застыл в ожидании. Его «Ну как?» звучало очень осторожно.

— Если уж хочешь знать, не очень хорошо. О, они нас приняли замечательно, и дом их мне понравился, но... Может быть, это вовсе не потому, что они негры, а просто они слишком интеллигентны для меня, но я вдруг подумала: насколько приятнее сидеть у Джуда Броулера и говорить об огородах! А Нора до тошноты ласково и покровительственно отнеслась к нашей бедной дурочке... Нийл, ты так-таки непременно хочешь, чтобы я подружилась с твоими цветными интеллигентами, разными индусами, корейцами, сионистами и эфиопами? Я так не терплю пропаганды! Право, милый, я не уверена, что у меня что-нибудь выйдет. Совсем не уверена.

Нийл тоже не был в этом уверен.

Эш не нашел себе еще места преподавателя (о кафедре в колледже он уже и говорить перестал), но все-таки продал дом через Франка Брайтвинга, который весело прохаживался насчет «вас, черномазых» и охотно взялся убедить покупателя купить дом за полцены... Эш думал, что на таком большом рынке, как Нью-Йорк, образованный раб легче найдет себе хозяина, и собирался покинуть Гранд-Рипаблик. «Вероятно, навсегда», — с горестью думал Нийл.

Вестэл отрывисто сказала, что не считает нужным пойти провожать Дэвисов. Кроме того, не может же она уходить из магазина в рабочие

часы! Справедливо или нет, но Нийл увидел в ее словах намек на то, что вот она, белая женщина с трагической судьбой, трудится в поте лица, чтобы кормить бездельника-негра, что такой героизм ей в тягость и его хватит ненадолго.

Жители Гранд-Рипаблик гордились новым вокзалом и его большим залом ожидания, на серых стенах которого висели портреты путешественников-исследователей: Радиссона и Гросейе, Дэвида Томпсона, Лесюера, лейтенанта Пайка и съера Даниэля Дюлута. Нийл почувствовал прилив гордости: «Ксавье был вот таким же большим человеком! Мы с Бидди — этой благородной породы, а не выскочки вроде Праттов и Уоргейтов».

Даже на долю уезжавшего Эша не досталось столько приветствий из толпы негров на перроне, сколько их выслушал Нийл. Как много он за эти полгода приобрел добрых знакомых, которых называл уже просто по именам! Все Вулкэйпы, Дэвисы, Брустеры, Фил Уиндек (Фил теперь был бутлегером и одевался чересчур шикарно, по утрированной экзотической моде мексиканцев и негров), Аксель Скэгстром, Борус Багдол, Уош, Хэк Райли, доктор Дариус Мелоди, Шугэр Гауз. Ну, а о Софи и говорить нечего — Нийл взял ее под руку, даже не сознавая, что делает, настолько естественным это казалось ему.

Все кричали Дэвисам: «Как жалко, что вы уезжаете, профессор!», «Эш, поцелуй от меня землю Гарлема», «Ах, Марта, мы будем скучать по тебе», «Скорее приезжай обратно, Нора». Когда Эш, наконец, отвернулся и прошел через открытую решетку на платформу, — в последний раз, так как ему уже не суждено было вернуться, — в глазах его не было и искорки надежды. Он покидал не только друзей, но и единственное место в Америке, где белые некоторое время не мешали ему считать себя ученым и полноправным гражданином.

Держа Нору за руку, Эш стал сходить по ступенькам на нижнюю платформу, где стоял поезд, и последнее, что видел Нийл, было выражение смущения и раскаяния на лице Эша, когда какая-то белая толстуха обругала его за то, что сама же его толкнула.

А за спиной Нийл услышал разговор двух белых. Один объяснял другому:

— Тот тип, которого они все провожают, — ученый негр, он служил чертежником или чем-то таким у Уоргейта. Скажем прямо, чем больше черномазых уедет, тем лучше станет в нашем городе.

Оба расхохотались, ибо они не чувствовали, что под их ногами уже колеблется земля.

Вечером дома раздался телефонный звонок, и женский голос, совершенно незнакомый Нийлу, спросил:

— Нийли?

— Да.

— Итак, твой друг Эш удрал, а твоего друга Дрэксела вышвырнули на улицу. Скоро наступит и твой черед, миленький!

— Кто говорит?

— Так я тебе и сказала! Я не хочу, чтобы банда черномазых вырождков знала мое честное имя. А что, это правда, что Вестэл по материнской линии тоже негритянка? Почему же вы оба, бесстыдные мошенники, не убираетесь из города? Никому вы здесь не нужны!

Нийл повесил трубку. Вестэл он ничего не рассказал.

Позже, когда они сидели и читали, Вестэл сказала тихо и внушительно:

— Не оборачивайся и слушай: кто-то подглядывает за нами в окно. Он вскочил, стремглав выбежал на улицу, но там никого уже не было.

Мистер Седрик Стаубермейер спрашивал своего соседа, доктора Кортца Келли:

— Разве вы со мной не согласны, что Кингсблад нанес отцу тяжкий удар и убил его своим поведением?

И тот самый Келли, который когда-то опроверг эту «научную» теорию, теперь соглашался: «Гм... Пожалуй».

Многолетняя ненависть к евреям сделала мистера Стаубермейера опытным и вдохновенным сочинителем слухов. Когда некоторые жители Силвен-парка говорили: «А я не вижу в Кингсблде ничего плохого, он, кажется, смирный и добрый парень», мистер Стаубермейер возражал:

— А вы знаете, что его выгнали из банка за растрату? Мало того — он поссорился с родным отцом и так неистово орал на него, что бедный старик умер на месте от разрыва сердца. Мне это говорила помощница старого доктора Кингсблада, которая была при этом.

— Да что вы! Неужели правда? Ну, тогда другое дело!

53

Эпидемия увольнений продолжалась, но не все еще было потеряно для обездоленных рабов в мрачной земле Египетской. Некоторые из вернувшихся с войны белых солдат заявляли, что если неграм можно было с ними вместе воевать в Европе, так им можно и обедать вместе с белыми в Миннесоте, — и они избрали Фила Уиндека в Американский легион.

Все же они как будто относились к неграм хуже, чем их отцы. Тридцать лет назад негры получали в Америке гораздо больше, чем желали, ибо желания их, очевидно, были гораздо скромнее. Тогда они требовали только крова над головой и обрезков мяса, и чтобы их не линчевали. Теперь они уже требовали всех человеческих прав, — а белые, восхищаясь собственной добротой, готовы были дать им миску холодного картофеля, но далеко не все склонны были допустить их к станку и к избирательной урне и бормотали: «Мы были слишком уступчивы. Надо поприжать этих обезьян раньше, чем они начнут заявлять, что способны всё делать не хуже нас». Никогда еще крестовый поход за права черной расы не был таким опасным делом, как сейчас, но зато всякое малейшее завоевание в этой борьбе было подлинным торжеством человеческого достоинства, а не просто красным бантом, нацепленным на несокрушимые цепи рабства.

Нийла немало порадовали бы скромные лавры Фила Уиндека (он не знал, как долго Фил колебался, принять ли их), но ему было не до того — он страдал от семейных передраг. Вестэл так быстро продвигалась по службе у Гарра, что она уже чувствовала себя не просто помощницей мужа, а женщиной, которая делает быструю самостоятельную карьеру в «искусстве торговли» (как она выражалась). Из молодой матроны она превращалась в независимую женщину. Она с увлечением объясняла Нийлу, что, когда появится на свет Букер, она возьмет к нему кормилицу, а сама станет закупщицей у Гарра, заведующей отделом; ей отведут отдельный кабинет, она будет ездить по делам в Нью-Йорк в отдельном купе, а в гостинице снимать апартаменты и заказывать дорогой обед.

«Может быть, она когда-нибудь откроет собственный магазин и даст мне, негру, у себя место швейцара. Не порчу ли я ей жизнь, цепляясь за нее? Не лучше ли отказаться от дома, переменить образ жизни?.. А смогу ли я жить один? Смогу ли приобрести такую квалификацию, которая дает возможность какому-нибудь Шугэру Гаузу крепко стоять на собственных ногах?.. Надо ли мне уйти от нее? Я это сделаю, если так лучше для нее».

Но такое великодушное решение не помогло ему, когда он через несколько дней, придя домой, оказался свидетелем любопытной сцены: Мортон Бихауз, при поддержке Оливера и сестры Вестэл (жившей в Дулуте), делал самую энергичную из своих попыток спасти несчастную дочь.

— А, Нийл, добрый вечер! Садитесь, — сказал Мортон так, как будто он, а не Нийл, был здесь хозяин. — Нам сегодня предстоит далеко не приятная обязанность, но я отдаю вам должное: хотя вы и поступаете, как человек безответственный, — намерения у вас хорошие. Я думаю, вы сами не понимаете, до какого позорного положения довели Вестэл и Бидди.

Вестэл слушала молча. Очевидно, она или была согласна с отцом, или обещала не вмешиваться.

— Если бы вы это понимали, — продолжал Мортон, — вы бы немедленно постарались положить конец этому. Они не виноваты, что вы — цветной, и не знаю, с какой стати вы требуете от них, чтобы они за вас расплачивались.

Нийл спросил:

— А вы хотите, чтобы я ее сам уговаривал меня бросить?

Торопливо вмешался дядя Оливер:

— Милый мой, ведь все совершенно ясно. Пока еще не поздно спасти их репутацию, но если вы будете тянуть...

— Нет.

— Что нет?

— Я сказал: нет. Я всей душой люблю Вестэл. Я отлично понимаю, как ей трудно. Я не буду пытаться повлиять на нее — пусть делает, как сама хочет, но не как вы хотите. Я женат не на вас.

— И слава богу! — сказал Оливер так же грубо, как он.

— Но насчет Бидди и будущего ребенка я решил вот что: если я негр, так и они — негры. Мы не будем больше стыдиться своей расы, этот стыд вы, белые, внушили нам.

— Так! — сказал дядя Оливер. — Понятно! Значит вы намерены этих двух невинных младенцев... скажем, заклеить...

— Нет, скажем иначе. Вы все еще никак не можете понять одного: я больше не считаю, что им лучше быть белыми. Я считаю, что мои друзья-негры ничуть не ниже вот такого черствого сухаря, как вы. Извините за грубость.

— Так. Понятно.

Оливер был юрисконсультom Эйзенхерца, знал все подробности о его недвижимости в Силвен-парке и об «ограничительной конвенции» — так назывались соглашения между белыми джентльменами, в силу которых белый, приобретая участок или дом, обязывался никогда не перепродавать их негру, хотя бы это был Дюма¹ или святой Августин. Эти «ограничительные договоры» действовали во всем городе, за исклю-

¹ Бабушка Александра Дюма была негрятка из Сан-Доминго, любовница маркиза Дави.

чением Файв-пойнтс, Кано-хейтс, Шведского оврага и нескольких участков осушенного болота, и были превосходным способом тактично показать всем порядочным и самолюбивым неграм, что высшая раса предпочитает, чтобы они были непорядочными, лишенными всякого самолюбия и всяких стремлений и держались подальше от белых.

Оливер тоже был хорошо осведомлен насчет «Сант-Табака» и пошел к Буну Хэвоку и Роднею Олдвику обсудить положение, хотя ни один из них троих официально не состоял членом «Сант-Табака».

В воскресенье днем Нийл и Вестэл услышали стук входной двери и затем в столовой — громкий, отчаянный плач Бидди. Когда они вбежали в столовую, девочка подняла голову и гневно посмотрела на них. Ее мокрые глаза были красны и полны неутешного горя.

— Мама, мама, — всхлипывала она, — миссис Стаубермейер говорит, что я негритянка.

— О-о!

— Разве я негритянка?

— Такая же, как твои папа и мама, а ты сама видишь, какие мы, — сказала Вестэл. — Разве мы не красивые?

— Правда, что я негритянка, как черный Самбо? И как тот противный мальчишка, что чистит всем сапоги?

— Ты ни капельки не такая, как черный Самбо. Ты такая, как дядя Эш и Нора.

— О, их я люблю.

— Ну рассказывай скорее, что случилось?

— Я играла с Тедди и Тесси Стаубермейер, и Тедди сказал, что я черномазая, а я сказала, что неправда, а он говорит, что его папа и мама все время смеются над моим папой, оттого что папа — ниггер и значит я тоже. И еще Тедди сказал, что они будут со мной играть, только если я разденусь совсем голой, а я не хотела.

— Зачем раздеться? — спросил Нийл с холодной яростью спокойного человека.

— Он и Тесси сказали, что раз я негритянка, значит я рабыня, а рабы должны ходить голые перед своими господами. А потом пришла их мама — она все слышала с веранды.

— Ну?

— И она им не позволила меня раздеть, потому что холодно, но сказала, что это хорошая шутка, так мне и надо и хотя мой папа задирает нос, он только ниггер и больше ничего. И велела мне уйти домой. И я ушла.

Они успокаивали Бидди, пока не заставили ее рассмеяться, и, укладываясь спать, она уже объявила, что она не только негритянка, как Нора, но еще индейская принцесса и называется Розмари-Котенок-Солнечный луч. Она уже признала себя отпрыском этих двух романтических рас — с увлечением, которого никак не мог вызвать в себе ее отец.

Выйдя из детской, Нийл прорычал:

— И надо же было ей узнать правду в таком виде, от этих дегенератов. Пойдем-ка, поговорим с Стаубермейерами.

Проходя по коридору, он заглянул в свою «берлогу», и ему бросился в глаза висевший на стене его любимый винчестер. Как будто без всякой связи с событиями он вспомнил, что отлично стреляет из винтовки и что этот вид спорта вполне совместим с хромой ногой.

Седрик Стаубермейер, владелец магазина ковров и красок, был не такой деловой и решительный мужчина, как его сосед Вэндер. Всегда надутый и раздражительный, притом еще бестолковый, он был опасен своей истеричностью. Увидев Нийла и Вестэл на пороге своей двери—дверь была из золотистого дуба, с зеркальным стеклом и завешена изнутри нарядной занавеской,—он явно растерялся и угрюмо буркнул:

— Входите!

Каминная полка в гостиной была тоже из золотистого дуба, с зеркалом, а на скатерти в более или менее «восточном» вкусе лежала брошюра Джэта Снуда.

Миссис Стаубермейер была воинственнее своего мужа. Эта мегера с распущенными седыми волосами стояла, уперев руки в бока, и смотрела на них.

Нийл сказал:

— Я не собираюсь вызывать полицию или делать другие глупости в таком роде, но если еще раз повторится то, что сегодня было здесь с моей девочкой, я вас проучу.

— А каким образом? — спросила миссис Стаубермейер.

На этот вызов ему трудно было бы ответить, но его выручил Седрик, который завизжал:

— Проучите? Нет, это в а с проучат! Если вам еще мало неприятностей, так вам добавляют! Вы знаете, как все соседи хотят избавиться от вас, черномазых? Все — и ваш покорный слуга тоже. Я всегда подозревал, что вы эфиоп или что-то в этом роде, потому что вы якшались с жидами и итальяшками!

— А вам, культурным христианам, известно, что ваш сынок хотел раздеть нашу девочку? — перебила Вестэл.

Миссис Стаубермейер визгливо захохотала и сказала сквозь смех:

— О, он уже настоящий мужчина. Все Стаубермейеры рано созревают. Но вы можете не беспокоиться, мэдэм, потому что мы вашу дочь больше к нам на порог не пустим!

Еще много дней Бидди то с ужасом, то с некоторой гордостью вспоминала пережитую драму и часто вздрагивала во сне. А среди соседей уже поползли всякие более или менее фантастические слухи о происшедшем, и немало передавалось версий о скандально-непристойном поведении Бидди. Нийл и Вестэл старались не пускать ее за пределы их двора и радовались:

— Слава богу и за то, что у нее всегда будет свой собственный хороший двор, где она может играть.

54

Мистера Оливера Бихауза осенила блестящая мысль: так как во всем Силвен-парке «ограничительная конвенция» действовала и в 1941 году, когда Нийл Кингсблад заключил контракт на покупку дома, — значит Нийл, скрыв, что он цветной, тем самым совершил тяжкое преступление против мистера Эйзенхерца и мистера Стоппла, против городских санитарных правил, конституции США, библии и Великой хартии вольностей. Оливер рассчитывал, что когда Нийл станет не только безработным, но и бездомным, Вестэл, наконец, уйдет от него. Оливер отлично знал уставы акционерных обществ, но мало знал женщин.

Так же мало, до удивления мало, знал их еще один человек: Нийл. Он воображал, что если Вестэл его поддержала, когда он нагрубил ее дяде, если она оставила Бидди в уверенности, что и папа и мама у

нее — «цветные», то, значит, можно надеяться, что жена всегда будет его верной союзницей.

Но прошло немного дней, и однажды, когда она вернулась домой с работы, Нийлу стало ясно, что запас любви и терпения у нее вовсе не так уж неистощим. Она с неудовольствием посмотрела на его костюм и сказала презрительно:

— Ты, кажется, становишься неряшлив? Надо все-таки сохранять опрятный вид, если еще рассчитываешь когда-нибудь получить приличное место.

— Мне не на что купить новый костюм, но я аккуратно чищу и глажу этот.

— Галстук у тебя чем-то испачкан.

— Я не такой чистоплюй, как Пратт. — Эта фраза у них вошла в обиход и раньше всегда смешила, но сейчас Вестэл не улыбнулась и продолжила атаку.

— И вообще я вижу, что ты опускаешься, и меня это тревожит. Вот еще доказательство — то, что ты часто теперь от меня убегаешь и проводишь столько времени с разными темными агитаторами вроде Брустера — так, кажется, зовут этого проповедника?

— Да, так его зовут — и тебе это отлично известно! А людям моей расы я не уделяю и четверти того времени, какое я раньше проводил вне дома, играя в покер с Джудом и компанией или уезжая на охоту и вообще занимаясь пустыми делами. Тебя ничуть не интересует борьба, в которой я теперь участвую, а когда я валял дурака, ты находила, что это достойное занятие для мужчины.

— И сейчас нахожу! Более достойное, чем якшаться с фанатиками и психопатами, желающими перестроить мир!

— Вестэл!

— Ах, надоело мне все это, до смерти надоело. Пойду вздремну перед ужином. Устала. Тяжелее всего для меня, Нийл, то, что в тебе как будто два человека: тот, за которого я вышла замуж, — и негр, интересы которого мне чужды. С кем же из двух я теперь живу?

Угнетенный тем, что он никак не может определить степени преданности Вестэл, Нийл пошел за советом к матери.

Стоял весенний день, на улицах было так весело на небе облачка играли в пятнашки с солнцем, а мать сидела за пасьянсом в комнате с опущенными шторами — холодный призрак женщины, детская душа в чистилище.

Он спросил умоляюще:

— Мамочка, научи, как мне убедить Вестэл, что ей живется не хуже, чем миллионам жен негров?

— Вряд ли тебе это удастся, сынок. Если ей кажется, что ей хуже, чем им, значит ей хуже. Пожалуй, тебе лучше отпустить ее, когда родится ребенок. Пусть уезжает куда-нибудь подальше. Ты будешь одинок — ты еще себе не представляешь, как одинок, — вот так же, как по твоей милости одиноки теперь мы с Джоан. Но что же делать — вам с Вестэл, я думаю, не ужиться теперь. Она женщина с характером. Может быть, лучше предложить ей уйти раньше, чем отношения между вами окончательно испортятся.

— Пожалуй, ты права.

Поздней весной, когда порой на полчаса еще выпадал снег, покрывавшая сливы в цвету, и сирень, и миндаль, но деревья уже почти все оделись листвой, мистер Бертольд Эйзенхерц, склонный к полноте муж-

чина, бывший дипломат, покинул свою виллу во Флориде и уехал домой — так неохотно, как будто он отправлялся в изгнание.

Сидя за столом красного дерева в библиотеке своего Дома на Холме, устремив глаза на фотографию с собственноручной надписью сэра Реджинальда Уайдскома, великого командора ордена св. Михаила и Георгия, соединив вместе кончики пальцев, похожих каждый в отдельности на его лысую голову в миниатюре, мистер Эйзенхерц слушал мистера Уильяма Стоппла, объяснявшего ему, что продажей дома Нийлу Кингсбладу, известнейшему агитатору-негру, они нарушили «конвенцию» и незаслуженно обидели белых домовладельцев Силвен-парка. Конечно, они тогда не знали, что этот Кингсблад — не белый, но с точки зрения закона это не оправдание. А еще хуже такого юридического промаха то, что если не принять срочных мер, то вся нераспроданная недвижимость мистера Эйзенхерца на этом участке может упасть в цене.

— А пока еще не упала? — забеспокоился мистер Эйзенхерц.

— Нет, пока еще нет, но все понимают, что упадет, потому что всем известно, какие эти негры грязные и шумливые. Конечно, мы с вами, мистер Эйзенхерц, люди без предрассудков, но факт остается фактом. Не так ли?

У Берти Эйзенхерца когда-то (в течение тех двух лет, что он провел в Португалии, куда ездил с дипломатической миссией) была любовница-мулатка, и он очень любил ее. Поэтому его раздражали эти расовые предрассудки, но ему нужны были деньги, ему всегда нужны были деньги, чтобы укрепить в себе шаткую веру в то, что он — большой человек. И, кроме того, хотя он и очень дорожил своими картинами Ренуара и собранием сочинений Генри Джеймса с его автографом, но он ведь был родной внук Саймона Эйзенхерца, самого ловкого и бессовестного грабителя, сумевшего отобрать у индейцев все права на леса северной Миннесоты.

И вот Нийл получил письмо от адвокатской конторы, где состоял компаньоном Родней Олдвик. Его в сухом и официальном тоне просили зайти в контору.

В воинственном настроении вошел он в помещение конторы и увидел Олдвика, который пытался пожать ему руку и вообще разговаривал с ним дружелюбно и весело.

— Нийл, лично я считаю, что вся эта кутерьма выеденного яйца не стоит, но, к сожалению, в силу принятой у нас «ограничительной конвенции», оба ваши соседа и фирма бедняги Стоппла могут подать на тебя в суд за мошенничество, так как ты, покупая дом, заведомо знал, что ты... скажем, «цветной», а выдал себя за белого.

Он победоносно поглядывал на Нийла, кажется, желая потешиться его гневом и услышать яростные уверения, что он вовсе не «знал заведомо» тогда, что он негр. Но Нийл хмурился и молчал, и Олдвик, немало разочарованный, продолжал:

— Мистер Эйзенхерц еще не переменял намерения вернуть тебе все деньги, выплаченные за дом. Но это уже больше не предложение, а требование. Он требует, чтобы ты немедленно освободил дом. Не все ли тебе равно, в сущности, — будет другой дом и другие люди, только и всего. Если откажешься, он обратится в суд, и тогда, полагаю, все издержки мистера Эйзенхерца по делу будут взысканы с тебя. А издержки будут большие — об этом я уже позабочусь! Ха-ха-ха! Ну как же, мой милый?

— Это мой дом, куплен законно, честно оплачен, и я из него не уйду.

— Да ну полно, Нийл, — ведь мы же с тобой светские люди.

— Я — нет.

— Ты же понимаешь, что ни логика, ни законность тут не помогут. Если обыватели Силвен-парка хотят, чтобы их нудная компания оставалась белой, как лилия, они своего добьются, и тебе будет гораздо приятнее в районе с более космополитическим населением — вот в таком, в каком живу я.

— Ты слышал, что я сказал.

— Слышал, конечно, мой милый. В таком случае позволь сказать тебе совершенно откровенно, что мы возбудим дело и выселим тебя из дома в самом скором времени. А если ты откажешься уйти, тебя отправят в тюрьму за неподчинение суду. Так-то! Ну, мы еще увидимся.

Нийл решил, что его адвокатом будет Суини Фишберг, а это было равносильно признанию, что дело правое, но что он, вероятно, его проиграет. Суини был полуеврей и полуирландец, полукоммунист и полукатолик, выступал как пропагандист, обличая предрассудки, и цинично высмеивал всякую пропаганду. Это был святой Франциск, в переделке Генри Менкена¹. Он охотно беседовал с Клемом Брейзенстаром, но еще охотнее ходил охотиться с Буном Хэвоком.

Суини Фишберг выслушал Нийла и сказал:

— Вы попробуйте побить их двумя доводами: во-первых, они не могут доказать, что вы негр, во-вторых, если в вас и есть гены негра, то их так мало, что по закону нет оснований считать вас негром.

— Нет, — возразил Нийл упрямо, — я хочу довести до конца борьбу против этих «конвенций». Мы добьемся, чтобы их признали незаконными. Раз меня заставили быть негром, так я и буду им.

— Заставили? Но вы ведь как будто помогли им в этом, не так ли? Вот еще один добровольный мученик! А я-то думал, что такой мастер гольфа на это неспособен. Все еще хотите воевать, чтобы спасти Джона Брауна² от петли? И почему все вы, чудаки и аболиционисты, приходите ко мне? Я — бостонский католик и республиканец. Судебный процесс будет вам стоить кучу денег, а их у вас нет. Эти чванные индюки Бихаузы поддержат нашего молодого бога, Рода Олдвика, а моя помощь вам тоже обойдется гораздо дороже, чем вы думаете, судя по этой убогой контуре. Нет, Нийл, вам надо ухватиться за предложение Берти, а ночью прокрасться к его дому и нарисовать на стенах свастики. Ну, ладно, ладно, не набрасывайтесь на меня! Я буду вести ваше дело и сверну Олдвику его напудренную шею!

Ускользнув от бдительного ока Рода, Суини Фишберг пошел прямо к Берти Эйзенхерцу и уговорил его отложить дело до осени. Суини, как все радикалы его типа, всегда жил надеждой, что через три-четыре месяца что-нибудь изменится, — авось, господь проснется и увидит, какие гадости его дети на земле делают друг другу.

Весть о том, что дело отложено и, значит, им придется все лето терпеть соседство ненавистных Кингсбладов, вызвала в Силвен-парке настоящую бурю. Вэндер и Стаубермейер содрогались при мысли об оскверняющем присутствии Бидди так близко от них, и слышно было,

¹ Американский журналист и критик.

² Джон Браун — аболиционист, пытавшийся поднять восстание рабов в Вирджинии в 1859 году.

как они орали: «Мы не станем дожидаться суда! Мы вышибем этих негров отсюда раньше, чем их соседство обесценит участки».

И почему-то никто из них ни разу не вспомнил о матери Нийла, у которой в жилах уж во всяком случае было больше «цветной» крови, чем в жилах ее сына.

В тот теплый вечер Принц носился по двору, как всякий счастливый пес, для своего возраста очень романтично настроенный. Они слышали, как он пел собачью песнь радостной любви. Но вдруг что-то его встревожило, и он, подбежав к открытому, но занавешенному окну, тихо, вопросительно залаял. Нийл вышел во двор, чтобы его успокоить, и когда он погладил гладкую шерсть, Принц поднял на него обожающие глаза и опять умчался обследовать место, где слышался необычный шум и, вероятно, бесчинствовала какая-то полуношница-белка.

Только что Нийл опять уселся читать газету, как он услышал за окном, совсем близко, неожиданный треск — выстрел из дробовика. Он вскочил и, не слушая воплей Вестэл: «Нет, не ходи, не надо!», выбежал на крыльцо.

Принц лежал у тротуара — кусок окровавленного мяса, уже коченеющий. Стоявший в оцепенении Нийл почувствовал, как что-то ветерком пронеслось мимо него, — и Бидди, в пижаме, выбежала на улицу и встала на колени у неподвижного тела собаки, единственного оставшегося у нее товарища. В сумерках Нийлу почудилось, что Принц поднял голову и с упреком посмотрел на него.

— Проклятые трусы! — простонала Вестэл. — Нийл, в следующий раз они вот так же могут подстрелить тебя или Бидди.

Два дня спустя, он нашел свою газету (которую почтальон оставлял на крыльце у дверей) на лужайке, изорванной в клочки, а на другое утро на стене их гаража кто-то намалевал огромными буквами: «Черномазый, выметайся отсюда». В тот же день пришло торжественное предупреждение от Ку-Клукс-Клана (хотя эта организация считалась уже несуществующей в Гранд-Рипаблик): «Лучше убирайтесь поскорее из этого района и не воображайте, что мы с вами шутки шутим. С вами расправятся во имя Креста Христова, всех честных женщин и американской цивилизации».

Нийлу и Вестэл оставалось только сидеть и ждать в настороженной тишине вечеров, вслушиваться и ждать. Что еще они могли сделать?

Мистер Джозеф Лавджой Смит (он подписывался просто «Джоз. Л. Смит») родился в северной части штата Нью-Йорк. Он объяснял всем: «Нет, я не в родстве с мормоном Джозефом Смитом, хотя он беседовал с ангелами очень близко от того города, где я родился. Но я — дальний родственник того Геррита Смита, который был отчаянным аболиционистом и трезвенником, что не мешало ему оставаться почтенным земельным спекулянтом».

Мистер Смит был тучный, тяжелый на подъем, кроткий человек лет шестидесяти, хозяин первоклассной книжной лавки около Чиппивавенно, где продавались также игрушки и канцелярские принадлежности. Он был сектант и республиканец — чуть правее центра, но верность аболиционистским традициям и стыд за Геррита Смита, который в конце концов отрекся от своего союзника Джона Брауна, заставляли его постоянно терзаться тем, что он «делает так мало для бедных черномазых». Он возмущался, читая в газетах о судах Линча, он старался продать как можно больше книг Мирдаля, Кейтона и Дюбуа — и не знал, что еще можно сделать.

Нийл и Вестэл покупали у него в лавке журналы и рождественские открытки. Его коричневый дом, похожий на большую наседку, был неподалеку от их дома, и они видели, как прогуливался старик — в дождливую погоду под зонтиком. Но разговор их сводился к таким фразам, как «Доброе утро» или «Есть у вас набор акварельных красок?»

Когда мистер Смит неожиданно явился к ним в дом и сел отдышаться в гостиной, Нийл и Вестэл были озадачены. Посидев немного, он, наконец, сказал, отдуваясь:

— Может, вам это неинтересно, но я хочу, чтобы вы знали, что мой отец еще юношей участвовал в Гражданской войне в последний год, а дед со стороны матери был полковник Вермонтского полка и в родстве с Оуэном Лавджоем, убежденным противником рабства. Но вот, видите ли... надеюсь, вы извините, что я пришел без приглашения... Я счел своим долгом притти и сообщить вам то, что слышал. Мне предложили участвовать в этом деле, и таким образом я узнал, что кое-кто из ваших соседей собирается напасть на ваш дом и выгнать вас.

— В самом деле? — (Это спросил Нийл).

— Разрешите узнать — вы намерены оборонять свой дом?.. Драться с ними?

Нийл вопросительно посмотрел на Вестэл, и она ответила:

— До последней капли крови.

Тогда и он сказал ровным голосом:

— Я предпочел бы, чтобы они не лезли к нам, но если полезут — у меня тут есть кое-какое оружие.

А мистер Смит пустился в рассуждения:

— Вообще говоря, я не сторонник насилия и употребления оружия. Я даже на куропаток охочусь раз в год, не чаще. Но мне не нравятся эти самосуды. Если вам пригодятся патроны для десятикалиберного дробовика, я вам их с удовольствием одолжу. Ружье у меня очень старое. Да, между прочим, я пробовал выпытать что-нибудь у того субъекта, что пришел меня мобилизовать,—это Кэртис Хэвок, ваш ближайший сосед,—я спросил у него, когда именно решили на вас напасть, но он не хотел сказать... Кстати, мистер Кингсблад... Нийл, вы не согласились бы работать у меня в магазине—и приступить завтра же, если это вас устраивает.

— Знаешь, — сказала мужу Вестэл, когда Смит ушел, — видно недаром говорят о различии между расами. Никакая банда негров, какие бы они ни были негодяи, не может сравниться с Кэртисом, и Фетерингом, и Стаубермейерами. Мне они начинают надоедать.

День в книжной лавке Смита прошел так обыкновенно, что Нийл даже испытывал некоторое разочарование. Никто на него не пялил глаз, никто не отказывался принять из его «черной» руки дюжину синих карандашей № 2. В перерыв за ним зашла Вестэл из магазина, чтобы вместе итти завтракать. Они поехали домой в автобусе, и никто не обратил на них внимания, так что они даже чувствовали себя как-то странно.

Но потом им стало уже не странно, а опять страшно... Потому что в этот вечер к ним явился некий мистер Матозас, мужчина с такими усами, какие отпускали велосипедисты 1890 года, сыщик Особого отряда при комиссаре безопасности (другими словами — начальнике полиции). Вошел, поигрывая своим котелком.

— Пришел получить у вас кое-какие сведения для комиссара — обычная формальность, — промурлыкал он.

Вестэл не понравился посетитель, его котелок и выглядывавшая из бокового кармана полицейская дубинка в кожаном чехле — и она ответила очень резко:

— Сообщите комиссару, что вы нашли поведение жителей этого дома весьма подозрительным: вся семья сидит дома, в своем собственном доме, слушает радиопередачу «Наша страна — страна свободы» и читает речь президента Трумэна.

Матозас был очень веселый малый, любил посмеяться, хотя красные костяшки его пальцев были перебиты от упражнений в членовредительстве. Он расхохотался и сказал:

— Да, да, обязательно скажу это комиссару. Он будет доволен, что хоть одно семейство ведет себя степенно в этом беспутном, насквозь проспиртованном городе... А славная у вас дочка!

— Да, мы это заметили. Но где же вы могли ее увидеть? Ведь уже с полчаса, как она спит наверху.

— О, я частенько прохожу мимо вашего дома. Нашему Особому отряду приходится повсюду расхаживать.

Нийл перешел в атаку.

— Что вам от нас нужно?

— Начальник хочет вас кое о чем предупредить. Ваша жена родственница судьи Бихауза, и, конечно, начальник сам бы к вам зашел, но судья Бихауз ни о чем слышать не хочет и объявил нам, что не желает вмешиваться и пусть закон делает свое дело.

— Какой закон? Какое дело? Может быть, вы разъясните нам свои угрозы? — сказал Нийл.

— Угрозы? Это вы мне говорите, когда я пришел сюда только для того, чтобы предупредить вас по секрету, что если вы намерены собрать пожитки и сейчас же улизнуть, наш отряд поможет вам всем, что в наших силах! Ну, а если не хотите... Заметьте, я ничего не знаю ни про какие нападения, но если незаконно соберется толпа и на вас нападут, мы можем опоздать, и тогда вам будет плохо! Ну, покойной ночи.

Когда он ушел, Нийл сказал Вестэл:

— Начальник этого парня, комиссар безопасности, не только назначенец мэра Флирона, но и большой друг его и Уилбера Фетеринга, и — как это ни странно — Рода Олдвика. Знаешь что, Бидди надо унести из дому сейчас же, скорее!

Они подняли и одели девочку, и Нийл понес ее, сонную, к своей матери, а Вестэл шла рядом, подобная Диане, одетой в пальто из верблюжьей шерсти. Обрато они почти бежали, таким было тревожно.

Не зажигая огня, они из темноты гостиной наблюдали за улицей. Нийл снес вниз из своей «берлоги» любимую винтовку. Пальцы стыли на холодном стволе.

Был приятный, теплый вечер, манивший всех на воздух после долгого заключения суровой северной зимой. Но Нийлу казалось подозрительным, что на улице так людно. Ему чудилось, что каждый прохожий замедляет шаги и смотрит на их дом.

И среди гуляющих Нийл и Вестэл заметили проходивших как будто «совершенно случайно» сыщика Матозаса, мэра Флирона и мистера Уилбера Фетеринга.

Но в этот вечер ничего не случилось, решительно ничего, и они легли спать. Спали плохо, Нийл все время вставал и выглядывал в окно. Он

не заметил ничего подозрительного... если не считать того, что сыщик Матозас всю ночь стоял во дворе Кэртиса Хэвока под платаном и курил сигареты. Но что же из этого? Может быть, он просто любит платаны и сигареты.

За утренним чаем Нийл сказал:

— Я уверен, что это будет сегодня ночью.

Вестэл кивнула головой, и он спросил умоляюще:

— Разве ты не хочешь уйти?

— Ни за что.

— Я могу позвать кое-кого из знакомых мужчин — вот хотя бы одного негра, капитана Уиндека. Почему тебе не уйти на эту ночь к отцу, чтобы не мешать нам?

— Ты хочешь, чтобы я ушла?

— Да, хочу.

— Ну, а я не уйду! — сказала Вестэл.

Патриция Саксинар приехала из своего общежития и зашла в лавку Смита повидать Нийла. Отец ее, совершенно порвавший с Нийлом дядя Эмери, сказал ей, что в дом Нийла собираются бросить бомбу.

Нийл позвонил по телефону Филу Уиндеку, в гараж, где у Фила теперь была новая работа, чистая, но низко оплачиваемая. Потом позвонил Ивэну Брустеру, но ни тот, ни другой ничего толком не знали. Он пожалел, что нет в городе ни Эша, ни Райана Вулкэйпа. Попытался дозвониться к доктору Копу Андерсону, рассудив, что этот медведь, который относился к своим друзьям-неграм точно так же, как к друзьям-белым, а то и немного лучше, в случае стычки был бы полезен, как опытный боксер. Но оказалось, что Андерсон с женой уехали в Милуоки.

Мистер Смит принес ему в лавку две коробки патронов и сказал:

— Вот—нашел у себя случайно. Может, пригодятся вам, когда осенью захотите на охоту сходить.

Патроны эти для Нийла были ценны, только как антикварная редкость и как доказательство доверия. Они были десятикалиберные, а десятикалиберные ружья можно было увидеть в Америке только во времена Гражданской войны.

Как и вчера, они с Вестэл вернулись домой вместе в автобусе. Они были взвинчены и спокойны, как люди перед боем. Не хотелось готовить обед, и они пообедали сэндвичами и кофе. Нийл больше не уговаривал Вестэл дезертировать. Она ничего особенного не говорила, но вид у нее был воинственный.

Они сбегали к бабушке проведать Бидди и быстро возвратились. Нийл начал сносить в гостиную свое оружие и патроны.

Из гостиной, где они и сегодня не зажигали света, видно было полукруглое крыльцо, и когда раздался звонок, они увидели у входной двери Патрицию — и впустили ее с большой радостью.

Через три минуты — новый звонок. Вестэл, исполнявшая обязанности дозорного, крикнула Нийлу от окна:

— Это какой-то красивый молодой человек... Военный... как будто в форме Американского легиона... Вот так штука! Ей-богу, это, кажется, цветной!

Она пошла отпирать и впустила Фила Уиндека — он опять был в военной форме, бравый, подтянутый, вооруженный автоматическим пистолетом калибра 45. Вестэл держала себя с ним так же непринужденно, как с Пат, — более свободно и естественно, чем со следующим волонтером, Суинп Фишбергом.

Этот лохматый и язвительный ворчун имел не более воинственный вид, чем профессор Эйнштейн. Он сказал.

— Такого рода услуги мы оказываем всем нашим клиентам, а большинство из них в этом очень нуждается.

Он неодобрительно отнесся к пистолету Фила: «Запрещено, бесполезно и пахнет насилием». Тем не менее он отдал его Филу обратно.

Потом, медленно шагая посреди улицы и совершенно открыто неся самым непрезентабельным образом на плече свой огромный дробовик, появился тучный и сгорбленный старик с носом, как у кролика, но с глазами старого ястреба — Джозеф Лавджой Смит, некогда член окружного комитета Республиканской партии. И тотчас вслед за ним пришел Люсьен Файрлок — этот шел, волнуясь, глядя в землю, с задумчивым, сосредоточенным видом, и нес в красивом чехле автоматическое ружье Марлина. Когда Патриция открыла ему дверь, он сказал:

— Добрый вечер! Что, мистер Кингсблад дома?.. А, Нийл, добрый вечер. Здравствуйте, сестра.

Последнее относилось к вошедшей вслед за ним Софи Конкорд в форме сестры милосердия под темным плащом.

Нийлу она только молча кивнула головой, а Вестэл сказала весело:

— Я решила, что, может быть, смогу вам тут быть полезной, миссис Кингсблад, если понадобится стряпать или перевязка какая-нибудь.

Последним явился преподобный Ивэн Брустер, доктор богословия, в пасторском воротнике и черном жилете, который он надевал очень редко, и с винтовкой подмышкой.

Люсьен Файрлок спросил у него:

— Вы не слышали, мистер Брустер, какие кандидаты выдвинуты в Миссисипи?

Сказать Ивэну «мистер» ему было труднее, чем назвать его «генерал» или «ваше преосвященство».

Джоза Смита познакомили с Филом Уиндеком и Ивэном. Он крепко пожал им руки, а затем сказал Нийлу:

— Не помню, чтобы я до сих пор когда-нибудь встречался в обществе с цветными джентльменами. Они, оказывается, говорят почти без акцента!

В доме Нийла стало весело. Был один из тех вечеров, какие бывают в Силвен-парке в начале лета — пели птицы, во дворе шумели дети, вокруг все было так мирно, — а в доме — солидный запас оружия и патронов, и горячего кофе, сваренного Вестэл и Софи. Нийл показывал Софи, как надо держать ружье, она, нажимая курок, непременно закрывала глаза, а Вестэл хохотала над ней.

— Этот сегодняшний званый вечер с оружием напоминает мне те времена, когда я начал учиться греческому языку у одного священника в Массачузетсе,—сказал Ивэн.—Шалаш в саду заменял ему кабинет, и он, бывало, сидит за столом и читает греческое евангелие, а рядом наготове заряженное ружье, чтобы стрелять кроликов, которые пожирали его морковь...

Они услышали звон стекла и стук — в окно «солярия» бросили с улицы камень. Все бесшумно перешли в гостиную и увидели в призрачных камерках, что на той стороне улицы толпилась кучка людей... Раньше чем начать воевать, Ивэн предусмотрительно потушил газ в кухне и подал на стол блюдо с готовой яичницей. Осажденные брали ее прямо руками и ели, а Нийл потушил все лампы в доме. В соседних дворах двигались какие-то люди — тихо, как тени, не слышно было ни шума, ни смеха. Нелепо было бы видеть в этом какую-то опасность. Но Нийл торопливо расставил по местам своих защитников.

— Позвони полиции, Нийл, — настаивала Вестэл.

— Вряд ли от этого будет какая-нибудь польза.

— Все-таки не мешает выполнить законную формальность, — заметил Фишберг.

Когда Нийл позвонил дежурному сержанту в главное полицейское управление, сержант ответил ему уклончиво:

— Вы говорите, мистер, вокруг вашего дома толпятся люди? А что у вас — зверинец, что ли?

— Нам угрожают, я... я негр, и они хотят выгнать нас отсюда.

— Ах, какие безобразники! Так вот — черномазый, вот как? Где, вы сказали, ваш дом? На Майо-стрит?

— Я уже вам сказал, где.

— Да, я знаю все, Кингсблад. Мы имеем сведения, что там у вас хулиганят какие-то парни. Ну так что же, разве вы — старая дева? Какого чёрта вы трусите? Недаром говорят, что вы, черномазые, боитесь собственной тени. Соседи хотят немного пошуметь — а вы уже беспокоите полицию! У нас (зевок) есть более важные дела.

Нийл сообщил своей армии о положении дел:

— Это интересно. Полиция, очевидно, предупреждена обо всем заранее. И мэр Флирон — один из тех соседей, которые хотят меня выселить. Ну, и полиция у нас!

— Ого! — сказал Суини Фишберг. — Вы бы еще не то сказали, если бы побывали в стачечных пикетах.

Никто больше не смеялся. Нийл выбрал себе для стрельбы пост у окна гостиной, у другого окна поставил Фила Уиндека.

Суини пришла мысль телефонировать в контору шерифа Элекса Сноуфлауера, который не был подчинен Флирону. Но подергав в темноте рычажок телефона, Суини сказал с беспокойством:

— Провод перерезан.

Люсьен Файрлок и досадовал на себя и не понимал, как это вышло, что он оказался по эту сторону баррикады. Но он решительно обратился к Филу

— Мистер Уиндек, когда вы хотите остановить кого-нибудь, но не убить и не ранить тяжело, куда надо целить?

Такой мирный вид был у этой улицы предместья, и сучья деревьев черной сеткой тихо качались на фоне освещенных окон. Но в этой мирной тишине быстро назревала угроза. Десятки мужчин и возбужденных женщин заполняли дворы напротив и потоком хлынули на улицу. Более агрессивно настроенные мужчины проталкивались в середину, и их физиономии убийц казались еще более отталкивающими в сочетании с вычурными галстуками и почти джентльменскими пиджаками. То были уже не человеческие существа — то были пузыри в темном потоке ненависти. Застыв у окна, Нийл смотрел — и увидел, что во главе толпы были Уилбер Фетеринг, преподобный Снуд, Хэрролд Уиттик и Седрик Стаубермейер, а, так сказать, главнокомандующим — тупоумный, но стойкий Вэндер. За ними двигалось человек семьдесят-восемьдесят горлопанов и маньяков с искаженными лицами: соседи победнее, соседи побогаче, группа каких-то хулиганов, которых Нийл и в глаза никогда не видел, и разъяренных святош из «Скинни» Снуда.

Но он разглядел и довольно большое число людей, которые протестовали, размахивая руками и суетясь в толпе: Чарлз Сэйуорд, Эшиел Денвер, Нормэн и Рита Кэмбер. А прелестная Вайолет Кренвей разжигала жажду убийства, охватившую толпу, своим визгом: «Ох, будьте осторожны, будьте все осторожны!» Ее бледное личико порозо-

вело от радостного предвкушения ужасов. Отряд из пяти служителей бога — Бэнсер, Гэд, Ленстра, отец Пардон и раввин Сарук — стоял, как заслон, подняв руки к небу и увещевая толпу — с опозданием на двадцать лет.

Суини Фишберг при свете карманного фонарика вглядывался в толпу, время от времени записывая имена будущих свидетелей. Ни Рэнди Спруса, ни мэра Флирона, ни Роднея Олдвика не было видно, — впрочем, на крыше дома Джуда Броулера стояли какие-то люди, лица которых невозможно было разглядеть.

Сначала люди толпились на улицах, на пересечении которых стоял дом Нийла, и во дворах у Кэргиса Хэвока и Орло Вэя (незаметно было никаких признаков протеста со стороны хозяев). Потом они двинулись на тротуар, примыкавший ко двору Нийла, и протестующие священники были отгеснены в густой мрак под деревьями.

— Вы слышали — он убил своего отца! — прокричал чей-то голос, и с десятков незнакомых голосов ответили: «Ну да, слышали — и мы ему сейчас зададим!»

Вдруг нападающих, видимо, что-то отвлекло — и некоторое время Нийл не мог разглядеть, что там происходит. Потом увидел: к его крыльцу сквозь толпу шли трое мужчин. Они шли с таким видом, как будто были солдатами славной армии 1776 года, и Нийл узнал Джона Вулкэйпа, Олберта Вулкэйпа и Бурса Багдола. Ученый, коммерсант и бандит были одинаково охвачены бескорыстным и благородным гневом, — и тот самый Олберт, который так старался всю жизнь не прослыть воинствующим негром, теперь кричал во весь голос: «Пропустите нас, вы!» Разглядев черное лицо Бурса, толпа поняла, кто это такие, и сомкнулась вокруг них. Нийл их больше не видел. Он видел только темную массу толпы, взмахи дубинок, и услышал один короткий вскрик.

Потом толпа, как медленно разливающееся болото, потекла во двор Нийла. Без мыслей, и даже почти забыв страх — до такой степени взорвало его это наглое вторжение, — Нийл побежал, прихрамывая, к входной двери, отпер ее, распахнул и встал на пороге с винтовкой на руке. Он ощутил приятную вечернюю свежесть и заметил, что за ним стоят Фил и Вестэл с нелепо большим автоматическим пистолетом.

Он крикнул:

— Я застрелю всякого, кто сделает хотя бы один шаг.

Толпа застыла на месте. Из передних рядов бывший лесоруб Вэндер прокричал резко и решительно:

— Не валяйте дурака! Или вы сегодня же вечером уберетесь из нашего района, или мы разрушим этот дом дотла и управимся со всеми проклятыми ниггерами, которых там найдем!

Нийл сказал спокойно:

— Мистер Вэндер?

— Да?

— Мы обычно говорим не «ниггер», а «негр».

Тут сорвался с цепи Джэт Снуд:

— Идем, братья! Вперед! Это святое дело! Вперед!

Нийл прицелился, и Фетеринг крикнул:

— Берегитесь!

Но Вэндер прорычал:

— Он не посмеет стрелять!

Вэндер, Снуд и Фетеринг двинулись к Нийлу. В это же мгновение из толпы кто-то выстрелил, и пуля, пролетев над плечом Нийла, угодила в Вестэл. Он слышал, как она ахнула. На секунду повернул к ней голову. Но она сказала отрывисто:

— Пустяки. Чуть задело руку. Стреляй!

Однако Нийл медлил, потому что он был стрелок-спортсмен и сейчас старательно выбирал между Вэндером, Снудом и Фетерингом. Конечно, Вэндера надо бы первого, но и этот миссионер ада имеет свои заслуги.

Он выстрелил. Первая пуля попала доктору Джэту Снуду в правую ляжку — и он упал. Вторая пробила правое колено Фетеринга, но третья пролетела мимо Вэндера (видно Нийл уже начинал нервничать) и, срезав палец на ноге Стаубермейера, заставила его с воем убраться домой.

Толпа шатнулась назад. Из нее начали стрелять. Тогда мистер Джоз. Л. Смит из верхнего окна — это было окно белорозовой спальни Бидди — пустил в ход свою десятикалиберную пушку, и осыпал дробью № 6 всю банду. Она рассеялась, вопя о помощи.

Полицейский автомобиль должно быть ожидал где-то в нескольких шагах отсюда. Когда загрела артиллерия мистера Смита, раздался сразу же звук рожка, и автомобиль осторожно проехал сквозь расступившуюся толпу. Полисмены выскочили из него и кинулись к стоявшим в дверях Нийлу, Филу и Вестэл.

Впереди всех бежал сыщик Матозас. Очевидно ему и его сподвижникам даны были точные распоряжения. Они схватили Нийла и Фила, а на Вестэл, которая стояла за их спиной с Софи, перевязывавшей ей руку, Матозас только заорал:

— Ступайте в дом! Вы нам не нужны. Нам нужны только эти черные, которые устроили тут погром и стреляли в почтенных людей!

Вестэл ласково отстранила Софи и громким ясным голосом сказала Матозасу:

— Тогда придется вам взять и меня. Разве вы не знаете что и я тоже негритянка?

Один полисмен шепнул другому:

— А я и не знал, что она черномазая.

Другой ответил:

— Не будь идиотом! Неужели не видишь это по ее челюсти?

Матозас скомандовал:

— Мы вас не возьмем. Ступайте в комнаты и перестаньте тут агитировать и напрашиваться на сочувствие.

Он хотел схватить ее за плечо, но не успел.

— О, вы возьмете меня! — сказала Вестэл очень любезно и изо всех сил треснула сыщика по голове рукояткой своего пистолета.

Когда ее гнали вместе с Нийлом к полицейской машине, она стиснула его руку.

— Тебе тоже так страшно, как мне, Нийл? Ты держи меня за руку в машине. Хорошо? Там так темно внутри, но если ты будешь держать мою руку, мне будет не очень страшно. Какое замечательное начало карьеры для маленького Букера! Нийл, ты слышишь? Слышишь, как Джозеф Смит орет на полисменов? Все-таки есть еще очень много хороших белых, правда?

— Идите, идите! — сказал полисмен.

— Мы идем, — сказала Вестэл.

Перевела с английского М. Абкина.



КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

БАГРИЦКИЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ

(По неопубликованным материалам)

ВСЕВОЛОД АЗАРОВ

★

1

*И каждое слово, что пишем мы,
Должно заключать в себе —
Ответственность перед сегодняшним днем,
Опыт минувших дел.
Мы поняли славу негромких дел,
Могучих будней поход.
Скромных людей, которым нет
Равных на земле...*

(Из черновиков поэмы Эдуарда Багрицкого «Последняя ночь»).

В архиве Эдуарда Багрицкого в одной из папок хранятся исписанные красным карандашом листки с оборванными краями.

Это неопубликованные донные автобиографические заметки поэта, писавшиеся в последние годы его жизни. В них Багрицкий оставил нам правдивый рассказ о своих творческих поисках, о том, какой великой школой стала для него революционная действительность.

«... Научила меня понимать стихи Роста, в которой я работал в 1920-м году, — вспоминал о своей юности поэт. — ...Мне казалось, что русская поэзия должна вернуться к своему первому истоку, к «Слову о полку Игореве», что современность и фантастика, окруженная символами, дополнят друг друга.

... Вечерами я писал стихи о чем угодно: о Фландрии, о ландскнехтах, о Летучем Голландце. Тогда я искал ложных исторических аналогий, забывая о том, что было вокруг... я еще не понимал прелести

использования [в литературе] собственной биографии. Гомерические образы, вычитанные из книг, окружали меня. Я еще не был во времени — я только служил ему... Я боялся слов, созданных современностью. Они казались мне чуждыми поэтическому лексикону — они звучали фальшиво и ненужно. Потом я почувствовал провал — очень уж мое творчество отъединилось от времени.

Два или три года не писал я совсем. Я был культурником, газетчиком — всем, чем угодно, — лишь бы услышать голос времени и по мере сил вогнать его в свои стихи. Я понял, что вся мировая литература ничто в сравнении с биографией свидетеля и участника революции.

Итак, уже в юношеские годы Багрицкий стремился проникнуть в сокровищницу народной русской поэзии. «Сон Игоря» — поэма, написанная Багрицким в 1919 году и, к сожалению, не дошедшая до нас, по воспоминаниям слушавшего ее в двадцатые годы М. Тарловского, была прекрас-

ным перепевом «Слова». Впоследствии образы гениального древнерусского певца о походе Игоря Багрицкий ввел органически в «Думу про Опанаса»

Знаменательна запись поэта о РОСТА. Ростинская работа Багрицкого перекликается с вдохновенным поэтическим трудом Владимира Маяковского. Подобно Маяковскому в коллективе знаменитых «окон РОСТА» Багрицкий был основным автором одесской Юграста. Он давал темы художникам, писал многочисленные стихотворные подписи к плакатам. Багрицкий придавал большое значение этой своей работе, вспоминал потом с благодарностью о ней не раз

Самое важное в приведенной выше записи — это мысли Багрицкого о бесценном опыте художника, живущего одной жизнью со своим народом, сражающегося под знаменем Революции, о том, что без такого опыта не может существовать народное, реалистическое искусство.

Поэзия Эдуарда Багрицкого, волевая, заряжающая сердца читателей бодростью, полна верой в счастливое будущее нашего народа, верой в коммунизм.

В его зрелых произведениях действительность изображалась не отвлеченно, а в ее непрерывном революционном развитии.

Поэзия его исторически правдива, конкретна, в ней живет революционный романтизм, который, как говорил тов. Жданов на I Всесоюзном съезде писателей, должен «входить в литературное творчество, как составная часть, ибо вся жизнь нашей партии, вся жизнь рабочего класса заключается в сочетании самой суровой, самой трезвой практической работы с величайшей героикой и грандиозными перспективами».

«Дума про Опанаса» была одним из первых больших произведений советской поэзии, вобравшим в себя опыт гражданской войны, замыслом своим, необычайно простым, подлинно поэтическим, адресованная самому массовому читателю. Значение «Думы», ее впечатляющая сила и воспитательная роль не уменьшилась и сегодня, ибо идея ее понятна и близка миллионам, образы продиктованы восприятием бойца Октября.

В «Думе» нет и следа стилизации. В полной мере использовал Багрицкий в поэме богатства русского языка. Все ожило

в ней, объединилось для утверждения общего замысла — слова былинных сказаний, песенный лад дум Шевченко, колоритный словарь первых лет революции, гражданской войны.

Слова, созданные современностью, казавшиеся поэту еще недавно чуждыми, звучали теперь сильно и убедительно.

Сюжет поэмы взят из реальной действительности, образы Опанаса и Когана жизненны, в поэме нет ни одной неправдоподобной черты.

Если бы Багрицкий ограничился рассказом о том, что произошло на самом деле и происходило в сходных обстоятельствах еще много раз, то есть о предательстве Опанаса и постигшем его возмездии, мы не имели бы передающей героике, дух гражданской войны, замечательной, революционной поэмы.

Утверждающее романтическое начало «Думы», дающее перспективу на многие годы вперед, не снимает ее реальной основы.

Разоблачая фальшивую, враждебную романтику Опанаса, поэт противопоставляет ей героическую, революционную романтику.

«Дума про Опанаса» с ее главным героем, украинским крестьянином, пытающимся укрыться от революционных бурь за соломенным плетнем дома и отброшенным немолимой логикой классовой борьбы в стан врагов, «Дума», в образе комиссара Когана воспевающая героизм и бесстрашие воинов большевистской партии, своей темой и художественными принципами близка другому замечательному произведению советской литературы, эпопее Шолохова «Тихий Дон».

Трагедия Григория Мелехова и бесславный конец Опанаса обусловлены одной и той же исторической закономерностью. Они изменили родной земле, пошли против своего народа.

Острое ощущение Багрицким своего времени, предвидение будущего живут и в последующих его книгах «Победители» и «Последняя ночь». В стихотворении Эдуарда Багрицкого «ТВЦ» раскрыт во всем его благородстве, духовной красоте образ бесстрашного героя революции.

В словах Дзержинского, преобразенных в суровые, отточенные, как сталь, стихи, воплощена полная любви к трудовому человечеству и ненависти к врагам его правда пролетарского гуманизма:

О мать-революция! Не легка
Трехгранная откровенность штыка.
Он вздыбился из гущины кровей,
Матерый, желудочный быт земли.
Трави его трактором, песней бей.
Лопатой взнуздай, киркой проколи.
Да будет почетной участь твоя,—
Умри побеждая, как умер я.

В борьбе за счастливое будущее грядущих поколений, а если придет смертный час, то и тогда, поэт хотел походить во всем на своего героя. Новое, социалистическое качество лирики Багрицкого заключается в том, что «мы» и «я» в ней слиты воедино. Это не «мы» «Пролеткульта», отвергающее за многоликим, а по существу безликим «мы» надежды, помыслы каждого участника коллектива. И это не гипертрофированное «я», живущее только личными интересами, утверждающее «свободу личности» от коллектива, родины, жизни, интересов народа.

Сливаются наши бытия,
И я—это ты! И ты—это я!
Юность твоя—это юность моя!
Кровь твоя—это кровь моя!

Так обращался Багрицкий к своему герою. Они встретились в первый год революции, они сражались бок о бок на фронтах гражданской войны, и сейчас поэт и товарищи его по борьбе идут одной дорогой.

В цикле стихов о людях первой сталинской пятилетки Багрицкий воспел рядовых строителей, прокладывателей новых путей. Сама природа трудится на социализм. Но люди должны преодолеть ее косность, ее активное сопротивление. Так возникает конфликт между человеком, носителем нового, и упорной в своей дикости стихией.

Расширяя в книге «Победители» круг тем, включая в сферу влияния поэзии, казалось бы, вовсе не поэтические образы, Багрицкий выступал как новатор, прокладыватель путей в завтра. Лирика Багрицкого не чуралась обыденных, простых «прозаических» тем. Она превращала их в поэзию.

Зрелый мастер, округленный достигнутым им теперь чувством нового, поэт утверждал мечту, неразрывно связанную с нашей борьбой, романтику, неотъемлемую от стремлений строителей социализма.

Багрицкий любил свой народ, жил одним интересами с ним, записывал его песни, изучал наречия и говоры.

Он писал о себе: «Я много ездил по стране, но никогда не был праздным наблюдателем. Ездил я, как охотник, ночевал в деревенских избах, в лесах Тамбовской губернии, в Архангельской тундре, прислушивался к языку».

В книгах Багрицкого звучит живая речь современника. Это принципиально новый стих.

Новаторство Эдуарда Багрицкого не только в острой постановке и разрешении темы. Оно в современности образа, в богатстве и полноте языка. Как много внес он в обиход нашей поэзии новых народных, рожденных революцией и войной слов!

Багрицкий не боялся показаться в «Думе» чрезмерно простым, как не боялся он в последующих, включенных в книгу «Победители» стихах и необходимых при разработке новых тем усложненности: «Мои стихи сложны, и меня даже упрекают в некоторой непонятности. Это происходит оттого, что я часто увлекаюсь сложными образами и сравнениями, но я думаю, что в конце концов я смогу так владеть материалом, чтобы о сложных вещах писать просто».

Багрицкий мечтал о встрече со своим читателем, встрече, которая принесет радостное сознание достигнутой победы. Он так верил в эту встречу, столь часто мысленно, душевно переживал ее, что мог себе представить до мельчайших деталей:

Чорт знает где,
На станции ночной.
Читатель мой,
Ты встретишься со мной,
Сутуловат,
Обветрен,
Запылен.
А мне казалось,
Что моложе он...
И скажет он,
Стряхая пыль травы:
А мне казалось,
Что моложе вы!

Багрицкий знал своего читателя, верил в его привязанность.

Необычайно острым, зримым, переходящим из одного стихотворения в другое было для поэта ощущение времени. Он был в союзе со своим веком, в одном лагере с ним.

Революция, которую Багрицкий назвал матерью, усыновила его романтическую песню. Поколение Победителей признало его своим поэтом!

Он говорил: я жду, когда получу сборник стихов (я еженедельно читаю несколько новых сборников), прочитаю который я буду кричать: «Вот пришел он, перед которым я снимаю шапку». Я убежден, что еще доживу до его прихода. Он скоро придет...

(Из воспоминаний о Багрицком А. Гидаша).

«Проезд МХАТ'а, дом 2, квартира 9. Телефон 4-82-78». Я читаю адрес в старой записной книжке и с грустью думаю, что уже много лет незачем туда заходить и звонить.

Небольшая комната, где половина стен заставлена аквариумами. Шкаф, рядом полка с книгами. В углу — охотничьи ружья, кавказская шашка. Против балконной двери у стены кушетка, перед ней стол, над изголовьем кушетки — телефон.

Из окна своего шестого этажа поэт глядел на зеленые и оранжевые крыши, на радиомачты Москвы.

Не уставая звонил телефон, хлопали двери. К нему приходили все, кто искал его совета. Но не к каждому он был одинаково ласков.

Багрицкий не терпел эстетов, приспособленцев.

Чтение халтурных, фальшивых стихов доставляло ему почти физическое мучение, к авторам их он был беспощаден. Он говорил с возмущением: «...мажут, а тут кровью изойдешь пока напишешь!» Зато заботой, дружеской поддержкой окружал он тех, в кого верил.

Рождение новых, хороших стихов у товарищей было для Багрицкого подлинным праздником. Так читал он в 1933 году всем приходившим только что написанную поэму «Мать» Дементьева, говоря: «Я рад, что не ошибся в нем!»

Работая с поэтами, он говорил о недостатках без обиняков, в лицо. «Пишите так, чтобы мне за вас не было стыдно» — таков был завет Багрицкого молодым поэтам.

В последние годы своей жизни Эдуард Багрицкий уделял особенно много внимания редакторской работе. Он редактировал отдел поэзии в журнале «Новый мир», рецензировал книги в издательствах «Федерация» и «Советская литература».

В архиве поэта в Институте мировой литературы имени А. М. Горького сохранилось до ста рецензий Багрицкого, написан-

ных для издательств. Некоторые из них коротки — там, где Багрицкий пишет о книгах избранных стихотворений сложившихся мастеров или же присоединяется к развернутым отзывам предыдущих рецензентов. Багрицкий обстоятелен, когда речь идет о новом имени, новом явлении в поэзии.

Перечитывая его отзывы сейчас, вновь и вновь поражаешься прозорливости человека, его умению в творчестве молодого поэта отыскать главнейшее, то, что потом станет ядром всех последующих его книг, дойдет до сердца читателя.

В 1930 году Багрицкий прочел в рукописи произведение молодого, еще никому не известного поэта «Путь к Социализму». Автору этой поэмы, уроженцу Смоленщины, был двадцать один год, звали его — Александр Твардовский.

Два образа противопоставлены в поэме — Михайлова, председателя сельскохозяйственной артели, и Кулагина, кулака, при-
выкшего —

Держать батраков и батрачек,
Поденщиков в поле гонять,
И пока не придет.

Не попросит
и не заплачет,
Хлеба весной никому не давать.

В поэме была описана первая колхозная весна, весна решительного наступления на кулачество.

Тракторы, пришедшие на село, радость колхозников, встречающих их приход пением «Интернационала», поющих так, «точно в первый раз на этом свете», — детали быта, само ощущение времени, тревожное и радостное, были переданы Твардовским из первых уст, взволнованно и правдиво.

Твардовский пишет о труде радостном, социалистическом, приходящем на смену подневольному труду из нужды:

Работают бабы
И песни орут.
Ведро с водой
далеко остается.

И так они жнут,
жнут
и жнут,
Что сердце у каждой
От радости бьется.

Несомненно, в поэме «Путь к Социализму» было многое предвосхищавшее будущую «Страну Муравью», уже трясся по проезжей дороге еще не названный по имени Моргунок.

Единоличник лежит на возу —
«Свое собственное везу».

Но не было в первой поэме Твардовского того, что впоследствии с такой щедростью возникло в последующих, — основы, песни!

А песен, в которых поется о том,
Что мы в колхозе первое лето,
Что вот мы с поля вместе идем. —
Песен таких покамест нету.

В статье «О себе», предвещающей недавно выпущенный Гослитиздатом однотомник, Твардовский пишет: «Моя поэма «Путь к Социализму», озаглавленная так по названию колхоза, о котором шла речь, была сознательной попыткой говорить в стихах обычными для разговорного, делового, отнюдь не «поэтического» обихода словами. Такие стихи — езда со спущенными вожжами: утрата ритмической дисциплины стиха, проще говоря, проза».

Багрицкий, первый рецензент первой поэмы Твардовского, в ту пору и сам сознательно вводил в свои стихи слова из повседневного обихода, перемежал песенные музыкальные строфы стихами, несшими на себе нагрузку прозы.

Но не этой общностью поисков объясняется его напряженный интерес к произведению Твардовского. Поэма «Путь к Социализму» взволновала Багрицкого одушевленной талантом актуальностью, острой социальной направленностью, тем, что сам Твардовский сформулировал так:

Запомним, запишем
Эту весну,
Как революцию
Или войну.

А. Твардовский, к которому я обратился с просьбой сообщить, в какой мере повлияла оценка, данная Багрицким, на судьбу поэмы, пишет: «Имел ли этот отзыв влияние на судьбу рукописи? Решающее. Попросту, она была издана только благодаря ему. Мне в то время (осень 30 года) уже отчаявшемуся видеть свое произведение в печати. «посоветовали обратиться к Багрицкому». И Твардовский вспоминает, как он приехал к Багрицкому в Кунцево, где его ждала приветливая встреча, друже-

ское внимательное отношение, справедливая оценка.

«Он прослушал всю мою поэму — и даже ту неловкость, что я ему столько читал, отнимал время, сгладил собственным чтением своих новых стихов... Повидимому, он обладал и добрым сердцем, и той обширностью взгляда в литературных делах, которая позволяла ему отмечать своим вниманием работу, казалось бы, совершенно чуждую ему по духу и строю».

Вот почему особенно уверенным, написанным как бы с учетом того, что будет создано только долгие годы спустя, представляется нам хранящийся в Институте мировой литературы листок с кратким отзывом Эдуарда Багрицкого:

«Мне кажется поэма Твардовского «Путь к Социализму» единственным в настоящее время художественным произведением, в котором актуальная тема дана в настоящем поэтическом освещении. Абсолютная простота ее, разговорный язык, которым она написана, ритмическое разнообразие ее, все это делает поэму понятной массовому читателю.

«Путь к Социализму» должен быть напечатан, ибо это первый опыт настоящего и серьезного подхода поэта к теме сегодняшнего дня».

Следует привести вслед за этим отзывом другое высказывание Багрицкого.

В нем Багрицкий противопоставляет творчество поэтов, живущих одной жизнью со своим народом, смело разрешающих темы современности, — изыскам поэтов формалистов, холодному ремесленничеству, равнодушию.

Вот отрывок из неоконченной статьи Багрицкого, написанной в последние годы его жизни:

«Сен Жюст говорил в Конvente: «Надо карать не только преступников и предателей, но и равнодушных. Равнодушие — это один из страшнейших ущербов, наносимых республике». Эту формулу Сен Жюста частично можно применить и к нашей поэзии. Мы явственно разбиты на два лагеря. Одни живут сегодняшним днем, современностью, они стараются увидеть корни действительности, разобраться в происходящем, найти свое место в творческой жизни страны. Другие отсиживаются за готовыми эстетическими формулами. Мне, как редактору, приходилось и приходится

иметь дело и с теми и с другими. Стихи второй группы часто бывают технически сделаны так замечательно, что пальцы оближешь, и при всех их формально блестящих достоинствах такие стихи никому не нужны.

Человек старается написать особенно виртуозно, осложняет композицию, употребляет головоломный словарь, размеры, рифмы и все-таки стреляет вхолостую. Помоему, это происходит оттого, что за всеми этими вывертами не чувствуется живой, сегодняшний, близкий человек.

Это равнодушие одного типа. Но есть равнодушие другого типа: это равнодушие некоторых поэтов-лефовцев, чье творчество мистифицирует читателя внешней злободневностью и политической актуальностью. Что же получается, если присмотреться к этим стихам? Живая жизнь подменяется готовыми, заранее данными формулами.

К примеру — ломка старого крестьянского быта, ломка психологически мелкого собственника оформляется определенными лозунгами, собирающими в себе опыт борьбы и большой работы. Эти же товарищи берут готовые лозунги, отрывая их от жизни. Поэтому за внешней революционностью их стихов нет отношения автора к происходящему, что делает такие стихи маскировкой равнодушия».

В этом высказывании Багрицкого нет равнодушных слов. В нем живут благородная тревога за судьбу советской поэзии и суровая непримиримость к тем, кто тормозит ее движение. Эта тревога жила и в сердце Горького, когда он призывал советских писателей жизненно и творчески встать на точку зрения для того, чтобы разоблачить грязные преступления, подлость кровавых намерений капитализма, для того, чтобы понять, как велика сила революционной правды. «Тревога,—писал Горький, — ...испытывается не только мной, она знакома Николаю Тихонову, одному из талантливейших наших литераторов, автору статьи «О равнодушных», она чувствуется в дружеских беседах с наиболее чуткими из литературной молодежи — той, которая искренно и живо озабочена судьбой литературы и понимает ее культурно-воспитательное значение».¹

Эта же забота была и у Багрицкого. То, что он говорил свыше пятнадцати лет тому назад, не потеряло своей значимости и сегодня.

Еще в двадцатые годы в Одессе Багрицкий руководил рабочим литературным объединением «Потоки Октября». С большой заботой и вниманием относился он не только к молодежи, но и к старым производственникам, участникам пролетарской печати, в равной мере любящим труд у станка и литературу.

Среди отзывов Багрицкого, до настоящего времени оставшихся вне поля зрения исследователей, находятся его письмо и рецензия, дающие анализ работы одного из старейших наших рабочих поэтов А. Благова:

«Книга т. Благова объединяет в себе стихи с 1926 по 1931 г. В его стихах мы встречаемся с творчеством настоящего пролетария. Т. Благов в отличие от старых рабочих поэтов ничего не символизует, его лексика свободна, арсенал «молотов, наковален, цепей» в ней отсутствует.

И поэтому его простые, написанные четырехстопным ямбом стихи производят настоящее впечатление.

Т. Благов принадлежит к той категории старых, рабочих поэтов (ее к несчастью у нас мало), которые не останавливаются на учителях своей молодости, а растут вместе с временем, беря у новой поэзии то, что необходимо для творчества.

Книга т. Благова—одна из редких книг. Ее необходимо издать».

Сборник Благова «Ступени» под редакцией Багрицкого был в 1932 году выпущен издательством «Федерация».

Шестнадцатого сентября 1933 года Багрицкий направил в издательство «Советская литература» письмо:

«Некогда (года полтора назад) мы издали книгу тов. Благова, старейшего ивановского рабочего поэта. Книга была проредактирована мной, имела широкую прессу и, по-моему, быстро разошлась. Стихи т. Благова лично мне очень нравятся. Это настоящая рабочая поэзия без громких фраз и трескотни. Сейчас ивановская общественность празднует 50-летний юбилей т. Благова. У него к этому времени поднакопились стихи. Я думаю, можно было бы издать очень не плохую книгу... я лично очень хотел бы сделать книгу т. Благова».

¹ А. М. Горький. О литературе. М, 1935, стр. 175.

Здесь чрезвычайно характерно то принципиально важное значение, которое Багрицкий придает подлинной рабочей поэзии, лишенной «пролеткультовской» трескотни и космизма, поэзии, близкой народу.

Избранные стихотворения Благова Эдуарду Багрицкому уже не довелось увидеть.

Одним из главных достижений Благова Багрицкий считал то, что он растет вместе со своим временем

Самым непростительным для поэзии был, по глубокому убеждению Багрицкого, разрыв со своим временем, замыкание в камерном, узком мирке.

Мог ли поэт, написавший в «Человеке предместья»: «Ты услышишь, как время славят наши солдатские голоса», мириться с вневременной, так называемой «чистой» поэзией?!

Вот его отзыв на книгу стихов некоей «камерной» поэтессы «Лирический порядок»:

«В книге собраны стихи с 1923 по 30 г.г., поэтому-то впечатление от книги остается странное. Все события, прошедшие за эти 7 лет, вся огромная работа и огромное вдохновение этих 7 лет даже стороной, даже дыханием не прикоснулись к этой книге. Культурно написанная, сделанная по всем правилам поэтического мастерства, книга — пережиток средней акмеистической школы довоенной эпохи.

Дань современности дается только в явном влиянии Пастернака, чувствующемся в некоторых стихах.

«...тихий, нетронутый бурями мир, где в осенней глуши серебряный бор, помнишь?! Достоевский, споры, твой «мятеж», жимолость в снегу... и этому приблизительно посвящена вся книга. Даже попыток пересмотреть и обновить свое поэтическое хозяйство не делается. Считаю невозможным печатать эту книгу».

Книги самого Багрицкого полны огромным вдохновением пережитых лет. Мотивируя отказ от издания книги другого автора, Багрицкий писал:

«Несмотря на то, что по словам автора время действия новеллы — десятилетие (1920—1930), отзвуки этого времени в его работе отсутствуют.

Мир для Вознесенского неподвижен, изменились только вывески.

Новеллы Вознесенского — типичное «нижское» творчество, несложный сюжет, обязательно любовь, действующие лица инженеры, актеры, простодушные крестьяне, причем о социальной структуре этих людей (т. е. о самом главном) даже не упоминается.

Мне кажется, что книгу эту издавать не следует, она никому не нужна».

Осознавая всю ответственность, лежащую на его плечи, Багрицкий — воспитатель литературной молодежи, Багрицкий-редактор относился к доверенному ему делу с большой требовательностью, никогда не вступая в сделки со своей совестью.

Вот что писал он о представленной в издательство книге стихов Сергея Маркова «Тавро»:

«Книга Маркова является типичным продолжением гумилевской линии в современной поэзии.

Революция для Маркова является только хищнической авантюрой, игрой для сильных духом и телом людей. Ни о какой классовой установке в книге Маркова нет и речи. Стихи написаны академично...»

Такая рецензия — это не только оценка данной книги. Это удар, направленный против попытки поэтической реставрации пережитков старого, свидетельство прочности и принципиальности позиций, занимаемых Багрицким на идеологическом фронте.

Для Багрицкого литература была кровным, святым, самым дорогим делом. Вот почему такой гнев, такой отпор вызывали в его душе пошляки, карьеристы, те, кто, спекулируя на актуальной теме, пытался принизить честное звание литератора. Об одном из таких халтурщиков Багрицким был дан уничтожающий отзыв:

«Более легковесной и наглой книжонки трудно себе представить».

Займствуя форму у Маяковского и Асеева, К. выпячивает свои убогие мыслишки, не считаясь ни с литературной политикой, ни с правилами хорошего литературного вкуса».

Такому же справедливому разгрому подвергались писания Крюковского, озаглавленные «Жиряткин по колхозам»:

«В книге излагается история некоего писателя, занявшегося поездкой по колхозам. Автор старается противопоставить явного лодыря, белоручку и бездарность кол-

хозникам, весело работающим в степях За-волжья.

... Не говоря уже о безусловной вредности и клеветническом подходе гр. Крюковского к товарищам, едущим в колхозы, плохо еще и то, что автор главное свое внимание обращает не на понимание социальной структуры колхоза и принципов организации труда в нем, а на точную этнографическую запись разговоров. Книга написана неизвестно для чего: то ли для издевательства над Жиряткиным, то ли для точнейшей записи случайных разговоров в колхозах. Я **против**.

В этой рецензии одинаково волнует нас и искреннее возмущение Багрицкого профанацией важнейшей государственной темы и та профессиональная, писательская гордость, с которой поэт протестует против опошления, принижения связи советских литераторов со своим народом.

Для противопоставления здесь уместно процитировать отзыв Багрицкого на книгу «Таджикистан» (позднее в печати названную «Сталинабадский архив») Б. Лапина и З. Хацревина.

Эта книга родилась в результате многолетнего знакомства авторов с Таджикской Республикой и ее народом.

Авторы в обращении к читателю рассказывали: «...нам случилось участвовать в собраниях сельсоветов, в ревизионных комиссиях хлопководческих колхозов. Мы познакомились с таджикскими партияцами и с работниками Таджикистана от народных комиссаров до пастухов колхозных отар. Заучивали наизусть и переводили таджикские стихи и песни. Читали плакаты, расклеенные на одиноких станциях новой железной дороги. Останавливались на постоянных дворах и в закопченных гостевых каморках горских селений».

Вот что писал Багрицкий в своем отзыве об этой необычной книге, родившейся в результате талантливого содружества двух писателей:

«Товарищи Лапин и Хацревин проделали весьма любопытную работу: показ Таджикистана на специфически национальном материале. Авторы хотели подбором материала показать, как отсталая страна перерастает в социалистическую, как переделывается человек... В книгу собраны письма, рисунки, песни, отрывки из произведений таджикских писателей.

Лучше всего сделан поэтический отдел книги. Прекрасно переведен ряд стихотворений и песен («Революционные похороны в Сталинабаде», «Вождь говорит»). Каждое стихотворение снабжено примечанием (по примеру «Песен западных славян») и рисунками.

Открывается книга иллюстрированным письмом художника кишлака Чорбид к землякам на хлопкоочистительном заводе. Мне кажется, что рисунки, приложенные к письму, сделаны разными рисовальщиками. Это большой недостаток.

К недостаткам книги принадлежит недостаточный показ классовой борьбы в Таджикистане в прозаической части книги.

Книга в общем живая и интересная. Я за».

Книга была выпущена издательством «Федерация» в 1932 году.

Вместо письма художника из кишлака Чорбид (оно перенесено в середину книги) «Сталинабадский архив» открывается мастерски переведенными стихами Мунаввар-Шо из Умарна, секретаря волостного Совета и народного сказителя — «Кем бы я хотел стать» и песней безыменного сочинителя о поимке локайского курбаши (бандитского главаря) Абдулло-Хана.

Уже первые строки книги показывают нам коренные перемены, происшедшие в Таджикистане после революции.

Вот о чем думает рядовой крестьянин:

Не муллой и не купцом я хотел бы стать,
Не дервишским слепцом я хотел бы стать,
И не сыном богача, разодетым в шелк,
С нарумяненным лицом я хотел бы стать.
... Агрономом и врачом я хотел бы стать,
Деревенским избачом я хотел бы стать,
Тем, кто взроет старый мир словом Ильича,
И народным комиссаром я хотел бы стать.

Стихотворение «Революционные похороны в Сталинабаде», получившее высокую оценку Багрицкого, несомненно принадлежит к лучшим образцам советской лирики. В нем говорится о коммунисте Рахиме из Кон-и-Бодома, убитом врагами:

Тело Рахим-Джана
Распалось в тесном гробу,
Но молодость Рахим-Джана
Ведет за собой судьбу.
Имя Рахим-Джана
Сотрет я, как край горы,
Но слава Рахим-Джана
Гремит, шатая миры.

Авторы книги «Сталинабадский архив» Борис Лапин и Захар Хацревин пали смертью храбрых в 1941 году, но книга их, которую Багрицкий назвал «живой», про-

должает жить, волновать читателей и сегодня.

Пушай незаметный всадник
Упал — и умер герой.
Но конница скачет дальше,
Смыкая неровный строй.

Перечитывая краткие отзывы Эдуарда Багрицкого о книгах, издававшихся в годы первой пятилетки, даже о тех, которым не суждено было выйти, переносясь в то время, улавливая интересы, которыми жила страна и запечатлевшая ее дела литература.

Разумеется, нельзя требовать от закрытых редакционных рецензий развернутых критических формулировок.

И все же «я за» и «я против» Эдуарда Багрицкого всегда справедливы, обоснованы, за ними ощущаешь связь с родной страной, правду времени, огромный, завоеванный подвижническим, творческим трудом опыт.

«Книга живая и интересная. Я за». «Книгу издавать не следует. Ничего нового она не дает». Не формальные изыски, не самокопание, а новизна мысли, темы, органическая связь с жизнью — являлись для Багрицкого главным мерилем его оценок, позволяли со всей решительностью говорить «нет» или «да».

Багрицкий любил нашу необъятную страну.

Если бы не болезнь — сколько увлекательных путешествий он бы совершил!

Но и задыхающийся от астмы, он ездил в Белоруссию, на Север, на Украину.

Когда Багрицкий открывал сборник стихов, пришедший с периферии, ему хотелось найти в нем что-то новое, привлеченное революцией.

Рецензируя рукопись поэта-сибиряка Непомнящих, Багрицкий не мог не обратиться к нему справедливых упреков:

«Книга т. Непомнящих ничем не отличается от сотен стихов, посвященных Сибири. То же воспевание человека, покоряющего природу, те же лоси, глухари и рябчики, вспархивающие почти с каждой строчки».

Стихи написаны грамотно, гладко, автор безусловно не начинающий поэт. Этим усугубляется абсолютно полное отсутствие у автора своего лица. Все обычно. Революция воспринимается тоже без органического к ней отношения. Были леса. Нужно их вырубить. И революция рубает.

Нужно сплавить лес—революция сплавляет. Это какая-то формальная революционность.

Книгу Непомнящих печатать нельзя».

Здесь снова, на конкретном примере, подчеркивает Эдуард Багрицкий свое главное требование к поэту советского отечества в образах, в душе стиха воплотить новое, что принесла революция, не быть механическим регистратором явлений, быть революционным поэтом по существу.

И как радовалось сердце Багрицкого, когда он находил в творчестве молодых это принципиально новое.

Сохранились его рецензии на рукописи Дмитрия Кедрина.

«Дмитрий Кедрин один из талантливейших провинциальных поэтов, еще не освободившийся от посторонних влияний. Он очень неровен. Наряду с прекрасными стихами встречаются провалы. Его стихи (конечно, не все) это настоящая поэтическая работа, заслуживающая сугубого внимания».

О книге другого даровитого молодого поэта Багрицкий писал:

«Книга нравится мне своей законченной целеустремленностью. Написанная поэтом-лириком — книга эта воспринимает мир, как безусловно положительное явление. Перед большой радостью жизни исчезают мелкие и несущественные детали. Мир лежит молодой и нетронутый, он ждет прихода человека. Человек революционно переделывает мир, он, не убывая красоты этого мира, делает его пригодным для жизни. Правда, в книге много срывов, но в общем тонус книги настолько здоров в ясен, что я считаю нужным ее издать».

Поэтический вкус Багрицкого был требователен и широк, он позволял поэту любить в творчестве других все оригинальное, новое, в большинстве своем не связанное с его собственной образной системой.

Огромное, принципиальное значение имели для Багрицкого вопросы идейного воспитания.

Рецензируя стихи начинающего поэта С. Корочкина, он писал: «Судя по некоторым стихам автор несомненно способный человек. Вещи он видит по-новому и умеет об этом рассказать своим языком. Обидно, что процент брака очень велик и идеологическая ценность стихов не высока».

Автор с сожалением прощается со старой крестьянской жизнью. Приближение новой кажется ему грозным нашествием неведомых и страшных сил. Книжку эту выпускать не следует. Хотелось бы мне лично поговорить с автором».

Кровно заботясь об идейно-художественном росте молодой советской поэзии, выдвигая такие произведения, как поэма «Мать» Николая Дементьева, Багрицкий решительно отвергал книжные, вымученные разрешения социалистической новой темы, попытки некоторых авторов представить мир самоотверженных, советских тружеников безликим, серым, заменить портрет живого героя сухими цифрами статистики.

О поэме К. Митрейкина «У К.К.» в отзыве Багрицкого говорилось: «Поэма К. Митрейкина посвящена Урало-Кузнецкому Комбинату. Поэт оперирует целым рядом цифр и техническими наименованиями, нарочито отодвигая человека на последний план».

В послесловии он говорит: «Входит читатель. Голова его качается, словно фонарь на ветру. Он морщит нос, почесывает чело... веки... Он ворчит. Цифры, цифры... фабрика... труд... Но где же люди? Человеки?».

То же самое говорят критики, упрекая автора в отсутствии коммунистической психологии и живого человека. Это отсутствие человека и восторг перед цифрами очень характерны для поэмы Митрейкина.

Нарочитая сухость описаний и восторженность автора перед цифрами, расположение поэмы в виде сводной таблицы и т. д., отсутствие опять того же пресловутого человека, строителя и пользователя, — не является ли это новым видом конструктивизма, приспособившегося к реконструкции.

В поэме явное влияние Сельвинского и, как это ни странно, Кирсанова.

Я против».

В ту пору, когда писалась эта рецензия, Багрицкий отчетливо для себя осознал пагубность выдвигаемой в свое время конструктивистами идеи воспеваания техники, заслоняющей изобретателя, строителя, человека.

Поэма Митрейкина «УКК» была запоздалым рецидивом отвергнутых всем поступательным движением советской литерату-

ры ложных идей, Багрицкому — певцу Победителей — абсолютно чуждой.

В то же время он радовался, вглядываясь с пристальной, пристрастной любовью в творчество своих товарищей, в книги, в которых старое побеждалось новым.

За несколько дней до смерти, Багрицкий, рецензируя книгу «Из пройденного пути» Виссариона Саянова, писал:

«Путь Саянова это путь поэта, начавшего работать под влиянием акмеистов, с трудом избавившегося от их влияния и сейчас заговорившего своим, настоящим голосом. Внешняя красивость ранних стихов уступает место продуманной суровости. Книга Саянова — это борьба за стиль, за образ, за мироощущение. Книгу надо издать».

Замечательно, что вне зависимости от того, принадлежит ли книга зрелому или молодому писателю, Багрицкий руководствовался одним критерием — чувством времени. живущим в этих стихах, убедительностью образов.

Размышляя о судьбе той или иной рукописи (а от авторитетного отзыва Багрицкого зависел выход книги в свет), поэт всегда видел за машинописными страницами, короткими строчками стихов создавшего их человека.

Так он писал в редсовет издательства «Федерация» о книге П. Железнова «От пера к перу»:

«Автор книги бывший беспризорный, сделавшийся вузовцем. Вся книга посвящена этому переходу от улицы к труду. Автор имеет, что рассказать, и рассказывает честно и интересно».

Стихи Железнова — большой человеческий документ... В порядке редакции придется, правда, много поработать совместно с автором. Много есть слабых мест, много недосказанностей, вытекающих из плохого освоения Железновым поэтической техники. Все это может быть устранено».

Такую же доброжелательную дружескую путевку в жизнь дал Багрицкий и Евгению Долматовскому:

«Долматовский самый молодой из комсомольских поэтов последнего призыва. Этим объясняется многое в его работе. Наряду с очень хорошими стихами, по-настоящему бодрыми и неподдельно искренними, встречаются напыщенные и неуклюжие строки».

Книга Долматовского это не плохой трамплин для будущего поэтического прыжка. Я не разбираю отдельных стихотворений, считая, что многим они известны, Долматовский человек разогнавший, учащийся поэтической культуре.

Его книгу надо издать».

Значение отзывов Эдуарда Багрицкого трудно переоценить. Они не только знакомят нас с оценкой множества явлений литературной жизни, сделанной большим мастером советской поэзии, они дают любопытнейшую общую картину жизни советской поэзии в годы первой пятилетки.

Мы привели здесь только часть рецензий Багрицкого, но и они красноречиво свидетельствуют, на каком фланге литературной борьбы был поэт, за какое искусство он ратовал.

Отзывы Багрицкого проливают дополнительный свет на его собственные воззрения в области искусства, на его отношение к различным литературным направлениям, наконец на тот единственно справедливый критерий, который Багрицкий предъявлял к себе, к своим товарищам, к каждому, претендующему на высокое, требовательное звание советского писателя.

Как много оценок Багрицкого оправдалось теперь и в годы Отечественной войны!

Когда перечитываешь отзывы, заметки его о первых опытах поэтической молодежи, Эдуард Багрицкий представляется нам Мичуриним стиха, заботливо подправляю-

щим саженцы, срезающим сухие ветки, прививающим, объединяющим новые культуры, вдохновенным садоводом, который знает, что пройдут немногие годы—и здесь, где заронил он зерна, облагородил дички, вырастут чудесные, плодоносные деревья.

Я не могу не привести здесь слова Багрицкого в конце отзыва о тетрадке стихов начинающего, никому еще, кроме него, не известного автора:

«Книга «С молодостью на плечах» не выходит из круга обычных «крестьянских стихов»: воспевание природы, воспоминания о деревне. Книгу издавать, по-моему, не следует, но заняться с автором надо. Это тот материал, из которого делаются поэты. Очень прошу направить его ко мне».

Багрицкий остро осознавал свою ответственность за идейно-политический рост поэтической молодежи.

Это к ним, молодому поколению, обращался поэт, когда писал: «Сейчас вырабатывается новый тип поэта — поэта-ученого, почта-общественника. Наша общественность должна прийти на помощь для выработки такого типа. Она должна как можно теснее связать поэта с производством, направлять его в экспедиции, вводить в клиники и лаборатории. Мы, поэты, должны биться за первенство своего искусства. Мы должны в корне перестроить мнение о поэте-богемце. От нас должна начаться новая традиция».

Сам Багрицкий был образцом этого нового типа советского писателя, за создание и воспитание которого он так ратовал.

3

Вся мировая литература ничто в сравнении с биографией свидетеля и участника Революции.

(Из неопубликованной автобиографии Э. Багрицкого).

Поэзия Эдуарда Багрицкого ясная, правдивая, насыщенная социалистическим гуманизмом, любовью к людям, творцам будущего, и ненавистью к тем, кто пытается помешать им в этом, — эта поэзия всем своим существом противопоставлена реакционному буржуазному искусству.

Мир Багрицкого целостен, в нем господствуют разум, любовь, вдохновение, он прекрасен. Герой Багрицкого не пытается укрыться от действительности. Он сын своего времени, своей земли, не пасынок,

а законный наследник ее духовных и физических богатств.

Он молод сердцем, этот герой, и в то же время он побывал уже во многих сражениях и готов к новым битвам. Он разведчик века, боец армии Победителей, и место его всегда в передовых рядах.

Багрицкий верил в коммунизм, жил его идеями. Он воспел то, что составляет основу коммунизма — раскрепощенный творческий труд.

Он не идеализировал своих современников, бойцов великой армии труда, не сглаживал противоречий.

Книги Багрицкого полны большевистской страстности, он умел страстно любить и ненавидеть. Его поэзия, вошедшая в социалистическую лирику первых двадцати лет Октября, его песня живет сегодня, будет волновать сердца читателей в грядущие годы.

Сколько в ней оптимизма, молодости! Она вся обращена к новому, молодому поколению.

В стихах Багрицкого о людях труда, в их споре с природой, неупорядоченной жизнью, реальное дается в такой перспективе, что вдруг переносит нас в будущее, в зримую явь коммунизма.

Так утверждается в его поэзии «бытие, как деяние, как творчество, цель которого — непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека, ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья...»¹

«Победители» и «Последняя ночь» — книги о борьбе за переустройство мира, о воспитании человеческих характеров в этой борьбе, о беспощадном выкорчевывании корней старого.

Заслуга Эдуарда Багрицкого, автора «Человека предместья», велика потому, что он сумел создать этот образ, раскрыть его эврейную суть, исходя из задач и достижений настоящего, глядя с высоты светлых целей будущего. Безжалостно критикуя, разоблачая врага, поэт утверждал нашу великую правду, видел то новое, сильное, что неизбежно победит лазутчиков старого мира, как бы они ни сопротивлялись.

В поэме есть эта точка зрения, гордый и радостный пафос, она воодушевлена ненавистью к черным силам прошлого и утверждением веры в будущее. В ней Эдуард Багрицкий, опираясь на факты социалистического опыта, глубокое знание действительности и ясное революционное мировоззрение, шел по пути социалистического реализма.

Поэма «Смерть пионерки» является логическим продолжением «Человека предместья» (по замыслу автора пионерка Ва-

лентина — дочь человека предместья, отпекающаяся от своего отца) — это произведение, посвященное верности советской молодежи делу Ленина — Сталина, завоеваниям Октября. Багрицкий вновь шел от конкретного к общему.

Интересна история создания этого произведения, рассказанная самим поэтом в беседе с деткорами «Пионерской правды»:

«У меня есть стихотворение «Человек предместья», которое вам надо было бы прочесть, так как оно тесно связано со «Смертью пионерки».

В семье железнодорожника с мелкобуржуазными взглядами выросла девочка Валентина Дыко, которая свои действия и взгляды резко противопоставила действиям и взглядам отца. Она была очень активной пионеркой, председателем отряда. Она была товарищем моего сына. Но вот Валя заболела скарлатиной. Перед смертью к ней пришла мать и принесла ей крест. Однако умирая, Валя подняла руку и отдала салют. Так ее и похоронили.

Этот случай мучил меня два года. И вот я написал «Смерть пионерки» — в виде сказки. Я ясно представлял себе, что ее надо написать как можно проще, рассказать о том, почему Валя дорога мне».

В «Смерти пионерки», как и в двух предыдущих частях трилогии, образ поэта дан в сопоставлении со своим героем. Багрицкий говорит о том, что это произведение ему хотелось написать особенно просто. Он выполнил свою задачу с честью. Поэма «Смерть пионерки», песенная, сказочная, подкупает естественностью и чистотой.

Багрицкий обращался к молодому поколению Победителей, он знал, что «десять лет разницы — это пустышки, что лучшая его песня — о молодости, для молодости».

Он говорил с подрастающим поколением, для которого будущее нашей страны — самое кровное, самое святое дело.

Так писалась эта проникновенная песня о молодости, по признанию самого Багрицкого, «ясно, просто, чтобы было понятно всем и каждому...»

«Смерть пионерки» я писал два месяца. Обращивал и замечал, что все как будто чего-то не хватает. И вдруг мелькнула мысль: не хватает моего отношения к этой пионерке.

¹ М. Горький. О литературе. М. 1935, стр. 390.

Тогда я ввел в стихотворение песню — и, когда написал и снова прочел, ясно стало: вот этого-то и не хватало.

К. Зелинский вспоминает о том, как он спросил Багрицкого: «Но почему же она все-таки умирает в вашей поэме?» — «Но молодость все-таки сильнее смерти», — ответил Багрицкий.

Не моя ли молодость
Начала игру,
Не моя ли форменка
Пляшет на ветру.
И не я ль вожатый
В переключке труб...

Эти строки отсутствуют в окончательном варианте поэмы. Но все равно личная тема, переключка одной, маленькой детской жизни с судьбой народа, звучит в ней оптимистически, светло.

Героиня поэмы должна умереть, еще даже не вступив в жизнь, но она умирает Победителем.

Всю любовь к молодому поколению, всю преданность и веру в него выразил Эдуард Багрицкий в своей героине — Вале.

Перед смертью Вале предстоит выбрать алый пионерский галстук или крест, который предлагает мать...

Не противься ж, Валенька,
Он тебя не съест,
Золоченый, маленький,
Твой крестильный крест.

Но выбор сделан давно. Он сделан отдавшими жизнь за победу революции солдатами, спящими в братских могилах, он сделан живыми — Победителями, участниками великого похода. Он сделан поэтом — певцом Победителей. Он сделан маленькой героиней.

Невелик, кажется, подвиг, совершаемый пионеркой.

«Я всегда готова»
Слышится окрест...
На плетёный коврик
Упадает крест.

Но поэт такую силу вложил в реалистический образ, так обобщил, до таких пределов расширил его влияние и заветный смысл, что заставил тысячи и тысячи советских юношей и девушек учиться у него верности делу революции.

Слово Багрицкого не тускнеет от времени, не знает забвения. И сегодня оно вновь спорит, негодует, воюет:

Пусть звучат постылые,
Скудные слова —
Не погибла молодость —
Молодость жива.

И подобно тому, как в годы гражданской войны в Испании в рядах интернациональных бригад в Мадриде обрела новую жизнь «Гренада» Михаила Светлова, точно так на фронтах Отечественной войны, в партизанских отрядах и в революционном подполье Запада сражалась песня Багрицкого, воевало выкованное им слово.

Неудивительно, что поэзия Эдуарда Багрицкого так же, как и творчество других крупнейших советских писателей, своим гуманизмом, верой в счастливое будущее человечества и борьбой за него — наряду с признательностью, братской солидарностью передовых людей Запада — встречает и яростные нападки, клевету реакционеров, бардов монополистического капитала, литературных гангстеров.

Скрываясь за дымовой завесой так называемого «чистого искусства», они начинают обычно свои обвинения с того, что советская литература занимается политикой, пропагандирует идеи коммунистической партии. Да, наша литература закалена в классовой борьбе, вооружена и воодушевлена идеями Ленина и Сталина, в ней нет нивелировки, нет схемы, как в том клеветают враги.

О пресловутой «свободе слова» в западном понимании хорошо писал недавно в заметках «Из американского блокнота» известный польский поэт Юлиан Тувим: «Люди из другого лагеря говорят мне, чтобы я не вмешивался в политику («Ты поэт»), но приняли бы меня с энтузиазмом, если бы я проводил их политику». В этом все дело!

Люди без чести, без совести, кондотьеры, чья циничная программа четко выражена американским беллетристом-порнографом Генри Миллером, в заявлении: «какая мне разница, что за флаг развевается над моей головой» тщетно пытаются очернить самую передовую литературу мира, литературу, славящую социалистическое отечество, труд раскрепощенных людей, литературу, предвещающую не мрачную, увядшую в прошлое ночь, а солнечное завтра.

Литературным карьеристам, анархистствующим индивидуалистам, чья «личная свобода» высказываний легко регламентируется соответствующим количеством долларов, ненавистна наша подлинно свободная, открыто связанная с пролетариатом соц-

алистическая литература, назначение которой служить миллионам и десяткам миллионов трудящихся, составляющим цвет страны, ее силу, ее будущность.

Для того, чтобы стать таким писателем, творчество которого вдохновляет народ, мало одного тяготения к идеям коммунизма. Это право и честь надо заслужить делом всей жизни.

История мировой литературы знает примеры, когда писатель, лишенный в силу тех или иных причин возможностей активного общения с жизнью, силою таланта создает взамен реального вымышленный мир, населяет его героями. Так жил Стивенсон, больной туберкулезом, испытавший в своих романах множество приключений, мечтой создавший «Остров Сокровищ».

Багрицкому незачем было отправляться в вымышленные путешествия, переживать выдуманные приключения. Не «стеклянный мир» художника, пытающегося скрыться от современности, а сама действительность, праздничный, освобожденный труд, героическая борьба людей социализма с пережитками старого, все, что Багрицкий ощущал, как активный строитель, мужественный участник сражения, воплощено в его книгах.

Силы Багрицкого с детства подтачивала неизлечимая болезнь, но разве есть у него хотя бы в одной строке тень пессимизма, нотка уныния?! Буржуазная критика, внаюшая примеры Джойса, Пруста — писателей-индивидуалистов подобно раковине улитки влекущих за собой замкнутый, малый мир, — пусть она подумает, почему этот человек, постоянно ощущавший вблизи себя смерть, был так оптимистичен, почему воспетый им мир — радостен, широк, весь залит солнцем?! Живой водой народного вдохновения напоены его строки.

Что знают о Багрицком, певце Победителей, на Западе?

В Лондонском университете, на восточноевропейском факультете студенты изучают нашу литературу по изданному в 1946 году в Англии «Курсу русской советской литературы». Из этого курса английские студенты, а заодно и читатели,

интересующиеся советской литературой, узнают, что учителями Багрицкого были не Пушкин, не Шевченко, а английские реакционные романтики, что поэт «смотрел на революцию, как на нечто странное и чуждое, но неизбежное».

О «Думе про Опанаса» говорится там же, что «в этой поэме Багрицкий все же пробовал приблизиться к теме Революции и изобразить ее иначе, чем чисто субъективно». Этот «объективизм», по мнению «знатока» русской литературы, заключается в том, что «Коган избирает смерть», «Опанас в свою очередь, попадая в плен — допрошенный красным командиром Котовским (?), сознается в том, что убил Когана, и покорно сам принимает решение о смерти».

Так на примере «Думы про Опанаса» преподносится очередной вариант безропотности, мистического фатализма, пресловутой «славянской души».

И это — о певце Победителей, поэте, каждая строка которого вдохновлена Революцией!

В то время, когда лозунгом советской литературы стало «время — вперед!», — реакционная буржуазная литература истерически требует: «Остановите время!».

В этом корни «неоромантизма», о котором все чаще пишут на страницах американских и английских журналов.

Романтика Эдуарда Багрицкого всей своей силой противостоит контрреволюционной романтике западных реакционеров-мракобесов.

Когда-то буржуазный романтик Новалис писал о недостижимом голубом цветке, в тщетных поисках которого может пройти вся жизнь. Сегодня в предисловии к изданной в США антологии писателей-романтиков прошлого говорится: «Голубой цветок двадцатого века, чудесный цветок, цветок счастья — атомная бомба».

Какое счастье для человечества, что есть другая свободная земля, иное поднятое гордо небо, где звериному «атомному романтизму» противопоставлены любовь к людям, вера в счастливое будущее поколений, непоколебимое, спокойное мужество!



БИЛЛ НЕЙШН И НИКОЛАЙ СИТРАНОВ

И. ГОРЕЛИК

★

ЗНАКОМСТВО С ГЕРОЕМ

Город Детройт в Соединенных Штатах Америки славится своими знаменитыми автомобильными предприятиями. Здесь находятся заводы мистера Форда II, ранее принадлежавшие покойному Генри Форду, одному из некоронованных королей Америки. Тут же предприятия фирмы «Дженерал моторс».

На одной из улиц предместья Детройта, в Линкольн-парке, стоит стандартный домик. В нем живет рабочий 18-го завода кузовов Фишера, входящего в Тернстедское отделение фирмы «Дженерал моторс». Его фамилия Билл Нейшн.

Мы никогда не узнали бы, вероятно, о жизни, быте, работе, мыслях, надеждах и мечтаниях этого человека, если бы журнал «Америка», выходящий на русском языке и издающийся Информационным бюро Соединенных Штатов Америки, не вздумал познакомить советских читателей с Биллом Нейшном.

Что же побудило редакцию журнала всесторонне осветить жизнь этого человека?

В Америке нынче много говорят о необходимости вести пропаганду так называемого «американского образа жизни и мышления».

И вот, в порядке пропаганды «американского образа жизни», журнал «Америка» решил продемонстрировать жизнь «среднего янки». Жизнь армии бедняков, прозябающих в грущобах, страдающих от безработицы, каждый понимает, не прибавит убедительности к печальной славе «американского процветания». Умалчивая о судьбе этих людей, журнал «Америка» решил познакомить читателя с тем, кого так любят именовать «средним человеком». Статья носит название: «Рабочий автомобильного завода». В героя избран — Билл Нейшн.

Итак, кто же такой Билл Нейшн? Сейчас мы поведем речь о нем, строго придерживаясь фактов, сообщаемых в номере одиннадцатом журнала «Америка».

Биллу Нейшну — тридцать восемь лет. Он родился в Стилтоне, штат Пенсильвания. Отец Билла — Влада Нейшн работал в сталелитейной промышленности. Он мечтал вырастить из своего сына пастора, и поэтому Билл учился у священника. Врач, постоянно лечивший семью Нейшнов, часто спрашивал отца Билла: «Ну, Влада, как поживает будущий президент США?» «При этом он имел в виду меня», — так рассказывает сам Билл.

Однако из нынешнего рабочего кузовного завода не получился ни священник, ни президент. Жизнь его сложилась иначе: совсем по-американски. После смерти отца десятилетний мальчик, притесняемый старшими братьями и матерью, бежал из дому. Он бродил по Пенсильвании, кочевал из города в город в поисках случайных заработков. Он мыл посуду, работал на ферме за 5 долларов в месяц, питался чем бог послал и ночевал где придется.

Через несколько лет он вернулся домой, но опять вынужден был оттуда удрать. Прошло еще десять лет в скитаниях по стране. Билл перебрался в Техас, потом в Мексику, в Калифорнию. Нанялся служащим на пароход и в поисках счастья поплыл

на Гавайские острова. Счастья нигде не нашел — и наконец, после долгих странствий вернулся в Соединенные Штаты.

«На родине жилось нелегко, — сообщает журнал, — в это время Нейшну уже стукнуло двадцать четыре года: у него не было ни специальности, ни длительного стажа по какой-либо работе. Он решил перейти к оседлому образу жизни. В этот момент он находился на востоке страны. Найти работу было очень трудно. У его дяди был приятель в Детройте; этот приятель дал Биллу письмо к одному служащему в отделе найма рабочей силы на Тернстедском заводе. Биллу повезло: он получил работу. А сколько народу в те дни могло лишь мечтать об этом!»

Вот каким образом наш герой стал рабочим кузовного завода. Почти пятнадцать лет скитаний и нищеты — и наконец, как неслыханное счастье, как стотысячный выигранный в лотерею, работа, полученная по протекции.

У Билла Нейшна есть жена. Ее зовут Эванджелина-Анна Сухарская. Она родилась в Ривер-Руже, штат Мичиган. Как сообщает журнал «Америка», Ванджи, окончив восемь классов школы, поступила в прислуги. Но эта работа ее не привлекала, и она перешла в упаковочное отделение в Тернстед. Ей было тогда шестнадцать лет.

Потом Эванджелина встретила с Биллом Нейшном, и они поженились. С тех пор прошло много лет. Билл стал кадровым рабочим кузовного завода, и их жизнь, по мнению журнала «Америка», может служить показателем процветания «среднего человека» на благословенной заокеанской земле в наше время.

Билл Нейшн родился в Америке, но по национальности он серб. Эванджелина Сухарская — полька. Таким образом, мы имеем дело с «процветающей» славянской семьей.

Пойдем же и мы вслед за повествованием в американском журнале, опубликованным с целью «распропагандирования» советского читателя, и рассмотрим внимательно это «процветание».

БИЛЛ НЕЙШН НА ЗАВОДЕ

На Тернстедский завод Билл Нейшн поступил пятнадцать лет тому назад. Здесь он резал стальные болванки по размеру, требуемому формовочной машиной. Он работал 10—12 часов в день, по шести, а то и по семи дней в неделю.

Сейчас Билл Нейшн стал квалифицированным рабочим. Он выполняет одну из конечных операций в производственном процессе: проверяет готовые металлические части для окон и переднего стекла автомобилей многих марок — Шевроле, Кадиллак, Олдсмобиль, Бьюик и Понтиак.

«За пятнадцать лет работы, — сообщает далее журнал о Билле Нейшне, — он дважды был в продолжительном отпуску по болезни, шесть раз получал временное увольнение в связи с переходом предприятия на выпуск новой продукции и с реконструкцией завода, и участвовал в двух забастовках — пятидневной в 1937 году и более чем четырехмесячной в 1945 году.

Ниже всего заработок его был в 1941 году. Из-за длившейся полгода болезни Билл заработал всего 846 долларов. Зато в 1944 году, в период наибольшего развертывания военной промышленности, ему удалось зарабатывать, вместе со сверхурочными, до 90 долларов в неделю, и весь годовой заработок составил 3.602 доллара. Но в 1945 году он опять сократился до 1.764 долларов — в результате двух отпусков по болезни, двукратного увольнения и забастовки. Поэтому ему пришлось вернуть облигации военного займа на 1.000 долларов и занять деньги у родных жены, чтобы покрыть расходы по платежам за дом и по содержанию детей. К концу забастовки он задолжал 350 долларов».

Журнал «Америка» нарочито не делает никаких обобщений. Он только «объективно» рассказывает факты. Читателю приходится самому разбираться, что все это означает. Пусть же читатель сам вспомнит, что доллар доллару рознь, что цены с момента окончания войны выросли в среднем на 35—40 процентов и, следовательно,

даже высокие заработки военного времени не гарантировали бы теперь рабочему достаточного прожиточного минимума. А тут и цены повысились, и заработки уменьшились.

Американские пропагандисты не спешат об этом напоминать. Но и без обобщений журнала читателю ясно, что в жизни Билла Нейшна не было и нет устойчивости. Рабочий автомобильного завода никогда не был уверен, что завтра он будет иметь средства к существованию. Стоит заводу перейти на выпуск новой модели автомобиля — и Билл Нейшн остается без работы. Случись несчастье и заболеет Билл — он ни от кого не получит поддержки. Во время болезни американского рабочего заработок за ним не сохраняется. Счастье, если найдутся добрые и к тому же обеспеченные родственники, которые одолжат деньги, и таким образом удастся внести очередной взнос за домик, который так приятно называется «своей собственностью», не то явятся агенты и тотчас же выселят на улицу. А деньги, уже внесенные в погашение долга, отойдут в пользу фирмы. Таковы условия договора.

Где ж тут быть уверенным в завтрашнем дне?!

С тех пор, как вышел номер журнала «Америка» со статьей о Билле Нейшне, положение еще больше ухудшилось. Даже сам президент Гарри Трумэн в послании Конгрессу писал в январе 1948 года, обращаясь к конгрессменам: «Инфляция в нашей стране уже подрывает жизненный уровень миллионов семей, продовольствие стоит слишком дорого. Стоимость жилищ достигла фантастического уровня».

Можно ли не верить этому свидетельству?

Можно ли не верить сообщению газеты «Дейли уоркер», что, невзирая на «билль о правах ветеранов», согласно которому участникам войны якобы предоставлялась возможность спокойно учиться в различных учебных заведениях, более 900 тысяч ветеранов вынуждены были оставить занятия в учебных заведениях и на различных курсах производственного обучения, так как рост дороговизны вынуждал их работать. а не учиться.

Можно ли не верить профессору Гарвардского университета мистеру Джону Г. Уильямсу, который в коллективном труде американских экономистов, называемом «Финансирование американского процветания», утверждал, что при возвращении к тому уровню народного дохода, который был перед войной, страна имела бы от 15 до 20 миллионов безработных?

Обо всем этом вы не прочтаете в журнале, где описывается благополучие семьи Нейшнов.

Правда, журнал не скрывает, что забастовка, в которой принимал участие Билл, была самой крупной в автомобильной промышленности. Она, как сообщает журнал, «относью не была для бастующих сплошным отдыхом. Не только Билл Нейшн, но и все 175.000 бастующих рабочих «Дженерал моторс» слишком хорошо знают это».

175.000 бастующих, несмотря на то, что они оставались на длительное время без всяких заработков, в течение четырех с половиной месяцев не возобновляли работу. Слишком уж невыносимыми были условия труда!

В своих попытках представить Америку раем журнал не останавливается перед тем, чтобы и забастовку изобразить, как умирительную жизненную картинку. «Местком создал для пикетчиков походную кухню на триста обедов, организовал для бастующих бесплатное парикмахерское обслуживание, бесплатный просмотр кинофильмов, любительские спектакли, вечеринки». «Но все это не имело никакого отношения к оплате за дом и расходам по питанию семьи». — меланхолически замечает журнал «Америка».

Забастовки, как известно, очень острое средство борьбы рабочих за свои права. И как ни рисует нам журнал «Америка» чудесный американский образ жизни, невозможно не понять, что от хорошей жизни бастовать не станешь.

Между тем, забастовки в Америке в послевоенные годы приняли необычайный размах. В 1945 году в Соединенных Штатах бастовало три с половиной миллиона рабочих, и было потеряно 30 миллионов рабочих дней. В следующем году бастовало

четыре с половиной миллиона рабочих, и страна потеряла 107 миллионов рабочих дней. Это значит, что если в 1945 году каждый бастовавший не работал в среднем восемь с половиной дней, то уже в следующем году недовольство рабочих приняло столь распространенный характер, что и бастовало значительно большее количество рабочих и каждый из бастующих прекращал работу в среднем на 24 дня.

И сейчас, когда пишутся эти строки, в Америке бастуют сотни тысяч людей. 38 доменных печей было потушено в марте и апреле 1948 года из-за нехватки угля, вызванной забастовкой шахтеров. Было значительно сокращено движение поездов. И здесь мы должны с грустью сообщить читателям нашей статьи, что эта забастовка горняков не могла не отразиться и на судьбе Билла Нейшна. Фирма «Дженерал моторс» недавно объявила, что она приступает к временному увольнению всех своих рабочих, ибо ее заводы не обеспечены углем. В седьмой раз Билл Нейшн «получит временное увольнение», как называет это состояние безработицы журнал «Америка». Опять придется ему занимать деньги, сжимать расходы, тревожиться за свою судьбу.

Об этом журнал «Америка» не успел еще сообщить советским читателям.

Как же развивалась стачка горняков, охватившая почти полмиллиона рабочих шахт и затронувшая интересы и металлургов, и автомобилестроителей, и рабочих многих других профессий?

Правительственные и судебные органы не пошли навстречу требованиям шахтеров. В прямом соответствии с законом Тафта-Хартли они сделали все, что могли, чтобы сломить волю бастующих. Был вынесен судебный приказ о прекращении стачки. Несмотря на решение суда, горняки отказались приступить к работе.

Тогда был выдвинут посредник между владельцами угольных компаний и профсоюзом горняков, сенатор-республиканец Бриджес. В результате переговоров профсоюз согласился возобновить работы. Рабочие были призваны вернуться в шахты.

И тут наступило самое примечательное.

Несмотря на то, что стачка окончилась благодаря достигнутому компромиссу, после того, как работа возобновилась, шахтовладельцы, ссылаясь на закон Тафта-Хартли, отказались выполнять даже это решение.

Но и этого мало.

Профсоюз горнорабочих за невыполнение судебного приказа был оштрафован на миллион четыреста тысяч долларов.

Добавим кстати, что когда в прошлом году возник вопрос о привлечении к ответственности угольной компании, виновной в гибели 111 рабочих в штате Иллинойс, закон, по утверждению судей, не позволял им оштрафовать промышленников на сумму 1.000 долларов.

Всё в Америке направлено к тому, чтобы увеличить прибыли монополистов за счет интересов рабочих. Немудрено, что хроника забастовочного движения пополняется все новыми и новыми известиями о возникающих волнениях.

Вот несколько сообщений, взятых из майских номеров американских газет.

150 тысяч машинистов и кочегаров Соединенных Штатов потребовали от железнодорожных компаний увеличения заработной платы. Им было отказано. Железнодорожники объявили, что 11 мая они начнут забастовку.

10 мая президент Трумэн отдал приказ, что ввиду угрозы забастовки он передает железные дороги под контроль армии.

Стачка была отменена.

Это в высшей степени устраивает железнодорожные компании, так как еще один миллион железнодорожников, вслед за машинистами и кочегарами, требует повышения заработной платы.

В мае же нынешнего года 75 тысяч рабочих американской автомобильной компании «Крейслер» прекратили работу, требуя увеличения жалования. Забастовка охватила, главным образом, Детройт. Рабочие заводов «Крейслер» в штатах Индиана и Калифорния поддерживали своих детройтских товарищей. Из-за этой забастовки вынуждены остановиться смежные предприятия. Компания Бригге, поставяющая за-

водам «Крейслер» кузова, уже уволила 11 тысяч человек — половину своих рабочих. Сколько среди этих людей таких, как Билл Нейшн!

В самом Детройте, в том городе, где живет Билл Нейшн, несколько сот полицейских были приведены в боевую готовность и вооружены винтовками, бомбами со слезоточивым газом.

В одних случаях рабочим, с помощью стачек, удается добиться некоторого временного улучшения своего материального положения, в других случаях — могучие промышленные компании, на стороне которых вся государственная машина, побеждают бастующих.

Но острота классовых схваток не уменьшается, а все больше и больше увеличивается.

Правящие круги прибегают к таким реакционным мерам, как закон Тафта-Хартли или законопроект Мундта, по которому коммунистическая партия должна быть запрещена, и всё, что негодно капиталистам, объявлено опасным и подлежащим репрессиям.

Против рабочих применяются такие меры, о которых недавно сообщила газета «Нью-Йорк пост»: группа высших офицеров военного министерства разрабатывает план создания «внутренней гвардии» для борьбы с «саботажем», а также для защиты стратегических предприятий. Крупные отряды «бдительных», — заявляет газета, — начнут громить профсоюзные центры и провоцировать конфликты между местными профсоюзными руководителями и населением. «Бдительные» будут указывать предпринимателям, какие рабочие «лояльны», а какие подлежат увольнению как «придерживающиеся слишком радикальных взглядов».

«Внутренняя гвардия» — это нечто знакомое, это «черная сотня» в царской России, это штурмовики в фашистской Германии... Что ж тут мудреного! Центр реакции переместился сейчас за океан, в «благословенную» Америку, которую так старательно рекламирует одноименный журнал.

ЗА ТЫСЯЧИ МИЛЬ ОТ ДЕТРОЙТА

Но оставим на время Билла Нейшна с его «американским образом жизни и мышления» и поговорим о советском рабочем.

Для того, чтобы уровень жизни, мышления, интересов Билла Нейшна стал нагляднее, мы решили сопоставить его с одним из типичных советских рабочих.

Как он живет, как работает, каков круг его интересов, о чем он мечтает?..

Мы познакомились с одним из представителей советского рабочего класса Николаем Дмитриевичем Ситрановым.

Как и Билл Нейшн, Николай Ситранов трудится на автомобильном заводе. Место его работы — Москва, автозавод имени Сталина, 3-й инструментальный цех. Живет Николай Дмитриевич в Таганском районе столицы, в Жевлюковом переулке.

Ситранов на четыре года моложе Нейшна — ему 34 года. Он родился в Москве. Дед его был крестьянин, а отец двенадцатилетним мальчиком оставил деревню и переехал в Москву, где поступил на свечной завод. Потом он перешел на транспорт и здесь работал на погрузке и разгрузке багажа. Затем стал раздатчиком багажа, сопровождая поезда. Перед первой мировой войной отец Николая Ситранова занял должность весовщика на станции Москва-Курская. Тут он работает и по сей день.

Дмитрий Кузьмич Ситранов и его жена Мария Галактионовна, родители Николая — слесаря автозавода, живут со своим сыном и его семьей.

Как видит читатель, Николай Ситранов смело может быть отнесен по своему происхождению к числу «обыкновенных, средних людей» нашей страны. Но дело не только в происхождении.

Жизненный путь Николая Ситранова также ничем не отличается от биографии сотен тысяч простых людей.

Ситранов родился за пять лет до Великой Октябрьской социалистической революции. Школьного возраста он достиг, когда в СССР уже была советская власть. Обучение, как известно, у нас бесплатное. Мальчику не пришлось ни работать за гроши на ферме, ни удирать из дому от притеснения родных, подавленных нищетою, как это было с маленьким Биллом. Нет, его сразу же отдали в школу.

Закончив семилетку, Николай поступил на работу в Центральный склад автомобильной промышленности, помещавшийся тогда в Сыромятниках. Пристрастившись к автомобилям, юноша решил перейти на предприятие, где изготавливаются эти машины. Ему не потребовалось для этого никакой протекции — рабочие всегда нужны советским заводам. И Николай Ситранов поступил на автозавод имени Сталина.

Он был принят в 3-й инструментальный цех, где работает и сейчас.

За все девять лет работы на автозаводе у Ситранова не было никаких перерывов, если не считать пребывания в Советской Армии. Он был призван в 1933 году в армию, служил в учебном батальоне и после демобилизации вернулся на прежнее место в 3-й инструментальный цех.

Автозавод за эти годы неоднократно производил реконструкцию. Никогда при этом ни один рабочий не был уволен.

Предприятие переходило на изготовление автомобилей других конструкций, однако и в такое время никто из рабочих не терял ни места, ни заработка.

Таким образом, ни разу в своей жизни, ни одного дня, Ситранов не был безработным.

За девять лет работы на заводе Николай Ситранов несколько раз болел. В 1943 году с ним случилось несчастье. Дома он нечаянно повредил себе топором ногу — и выбыл из строя на полтора месяца. 18 дней пролежал в постели Николай Дмитриевич в 1944 году, когда у него было воспаление легких. В прошлом году он болел гриппом.

Во всех этих случаях Ситранов полностью получал свою заработную плату из фонда государственного социального страхования. Врачи автозавода оказывали ему бесплатную медицинскую помощь. Несмотря на трудности с продовольствием, вызванные военным временем, директор завода распорядился поддержать Ситранова. Из подсобного хозяйства завода заболевшему слесарю присылали жиры, овощи, молоко и другие продукты. Завод помог квалифицированному рабочему поскорее поправиться и приступить к работе.

Никогда Ситранов не имел повода думать с тревогой о будущем; ни разу не посещали его черные мысли: «а что случится со мной или с моей семьей, если вдруг произойдет какое-нибудь несчастье, и я заболею?» Он знал, что в этом случае государство обеспечит его так же, как если бы он был трудоспособным и работал.

В Америке сейчас свыше семи миллионов полностью или частично безработных. Семь миллионов здоровых людей мечтают о том, чтобы найти применение своим силам и знаниям и обеспечить для себя и семьи хотя бы минимальный прожиточный уровень.

Спросите их, господа редакторы журнала «Америка», кому они завидуют: Биллу Не-йшну, имеющему купленный в рассрочку домик, купленный в рассрочку автомобиль и взятый на выплату рефрижератор, но, по примеру минувших лет, ничем не гарантированному от безработицы, или Николаю Ситранову, который хотя и не имеет пока автомобиля (об этом мы скажем подробнее ниже), но никогда не испытывал на себе, что значит безработица, более того — уверен, что ему никогда и не придется с ней познакомиться!

Нам кажется, что ответ предreshен.

Николай Ситранов, как и тысячи ему подобных советских граждан, и не представляет себе, как можно называть жизнью такое существование, когда человек вечно находится в страхе за свое будущее, устраивается на работу лишь по протекции, когда перед ним постоянная угроза безработицы, возможности потерять свой кров; когда отстаивать свои интересы и права возможно только с помощью забастовок.

Вся сознательная жизнь Николая Ситранова прошла в советские годы, то есть тогда, когда капитализм был уничтожен и все предприятия перешли в собственность народа, а эксплуатация в нашей стране была ликвидирована навеки. Но о капиталистическом строе он знает не только из истории или по литературе, а и из рассказов своего отца. Дмитрий Кузьмич же испытал «прелести» капиталистического строя на собственном опыте.

Поэтому, когда гитлеровские захватчики задумали уничтожить советскую страну и насадить свои капиталистические порядки, отец и сын Ситрановы работали с утроенной энергией, чтобы отстоять государство рабочих и крестьян.

Как высококвалифицированный рабочий, Николай Дмитриевич не был призван в армию. Завод был эвакуирован в один из волжских городов, и вместе с другими рабочими гуда поехал и слесарь Ситранов. Он участвовал в монтаже перевезенного в этот город оборудования. в наладке его и пуске. Приходилось работать, не считаясь ни с временем, ни с силами. Развернувшись на новом месте, завод с невиданной быстротой приступил к выпуску продукции, в которой остро нуждалась армия, фронт, война.

Вспоминая этот период, Николай Дмитриевич рассказывал:

— Я не могу сказать, по сколько часов в день мы работали. Я не считал ни часов, ни минут. Я знал только одну мысль, которая меня неотступно преследовала: «скорее, скорее должны начать работу наши цеха. Родина в опасности!» Сейчас, читая статью о Билле Нейшне, я не могу понять, как запомнил он свои заработки военного времени. Я свои заработки не считал. Конечно, нас хорошо обеспечивали, и труд наш оплачивался лучше, чем в мирное время, но было не до мыслей о себе и своих доходах. Вообще же, когда я думаю о Билле Нейшне, о его рассуждениях и стремлениях, мне хочется сказать ему: «Вы можете отнестись, Билл, к моим словам, как хотите. Но поверьте, что, хотя мы с вами работаем в одной отрасли промышленности и почти равны по возрасту, я смотрю на вас, как на человека, живущего в атмосфере, в которой приходилось жить когда-то еще моему отцу. Так же, как вы, он боялся потерять работу, так же, как вы, замирал от ужаса, когда надвигалась болезнь. Но то было тридцать лет тому назад. И вот теперь мы живем с вами в одну эпоху, а ведь я обогнал вас на много десятков лет... И от этого я намного больше вас...

ДОЛЛАРЫ БИЛЛА НЕЙШНА

Билл зарабатывает, как сообщает нам журнал «Америка», 236 долларов в месяц. Он имеет домик, купленный в рассрочку, автомобиль, радиоприемник, электрический рефрижератор.

Красивые картинки иллюстрируют благополучие Билла Нейшна. Вот этот одноэтажный домик, вот автомобиль, на котором ездят на работу и за покупками. Вот радиоприемник, ковер на полу, диван.

Прежде чем порадоваться за Билла Нейшна, вспомним, что он представляет приятное исключение из всей массы рабочих Америки. По свидетельству «Labor Fact Book» в 1942 году в США, в период колоссального развертывания промышленности и высоких зарплаток, около 21 процента семей из числа обследованных 33.360 тысяч получали плату до 1.000 долларов в год. От 1.000 до 2.000 долларов в год зарабатывало свыше 29 процентов этих семейств. Приблизительно 40 процентов семейств получали в год от 2.000 до 5.000 долларов. Таким образом, Билл Нейшн может быть отнесен к той половине американцев, заработок которых довольно высок и не характерен для всей массы трудящихся. И все-таки заработки Билла Нейшна дают ему возможность лишь сводить концы с концами.

Как формируется бюджет Нейшна? Журнал «Америка» рассказывает нам об этом со всей обстоятельностью.

Половина заработка уходит на питание. 32 доллара вносятся ежемесячно за домик. Так будет в течение двадцати пяти лет. 12 долларов приходится тратить на

бензин и масло для автомашины. В бюджете Нейшна есть и такие статьи: отчисления на социальное страхование, отчисления на медицинское обслуживание. И снова расходы на врачей, на покупку лекарств... Почему же дважды журнал говорит о расходах на медицинское обслуживание?

Разгадка проста в отличие от СССР, где фонд социального страхования состоит из отчислений, которые производятся предприятиями, в Америке рабочие из своей заработной платы вносят деньги в фонд социального страхования. У нас медицинская помощь всему населению, всем гражданам, не только работающим, но и членам их семей, оказывается бесплатно. В Америке же рабочий заблаговременно отдает профсоюзу определенную сумму денег на тот случай, если ему или его товарищу по работе понадобится прибегнуть к услугам врача.

Однако ни жена рабочего, ни его дети, ни старики родители — никто не может рассчитывать на получение медицинской помощи за счет сделанных отчислений. Если заболел кто-нибудь из членов семьи, приходится расплачиваться с врачом наличными.

Врач в доме — это мор и опустошение. Вот почему американский рабочий так же боится болезни, как безработицы...

Что же принадлежит Биллу Нейшну в его доме? Ничего. И самый дом не может считаться собственностью Нейшна.

Всё куплено в рассрочку. Всё может быть отобрано в любой несчастливый день.

Рассрочка... О ней хорошо рассказывали советские писатели Ильф и Петров в «Одноэтажной Америке».

«Рассрочка — это основа американской торговли. Все предметы, находящиеся в доме американца, куплены в рассрочку: плита, на которой он готовит, мебель, на которой он сидит, пылесос, при помощи которого он убирает комнаты, даже самый дом, в котором он живет, — всё приобретено в рассрочку. За все это надо выплачивать деньги десятки лет. В сущности, ни дом, ни мебель, ни чудные мелочи механизированного быта ему не принадлежат. Закон очень строг. Из ста взносов может быть сделано девяносто девять и если на сотый нехватит денег, тогда вещь унесут. Собственность для подавляющего большинства народа — это фикция. Всё, даже кровать, на которой спит отчаянный оптимист и горячий поборник собственности, принадлежит не ему, а промышленной компании или банку. Достаточно человеку лишиться работы, — и на другой день он начинает ясно понимать, что никакой он не собственник, а самый обыкновенный раб, вроде негра, голько белого цвета».

Как будто это специально написано о Билле Нейшне! Упаси бог просрочить взнос. Из домика выселят! Останься Билл без работы на длительное время, и следовательно, без денег — и у него отберут и автомобиль и рефрижератор. А то, что Биллу неоднократно приходилось терять работу, об этом рассказывает и сам журнал.

Ему повезло. Выручили родственники жены: они одолжили ему денег, он успел сделать некоторые сбережения, продал на 1000 долларов облигаций займа — и с трудом извернулся. Но сколько людей в подобных обстоятельствах оставались без крова, без вещей, которые они по простоте душевной считали своей собственностью!

Человек заболел. Он лежит в постели и думает о том, что время идет, а заработков нет... Его тревожит мысль, что его место у станка уже занято другим... Завод не ждет, станок не может стоять без дела: кто-то из тех, что дожидаются счастья у заводских ворот, уже пропущен в цех и стоит, согнувшись, над машиной.

Человек лежит в постели и думает о той страшной минуте, когда придется расплачиваться с врачом. А врач наверняка скажет: «Если вам завтра не станет лучше, позвоните мне снова... Я приду проведать...»

И вот уже съедены последние доллары, и одолжить не у кого. А тут поспевают очередной взнос за квартиру и за мебель, и за радиоприемник...

Идут дни. И как-то ранним утром в квартиру больного приходит агент...

— Добрый день, мистер Нейшн, — говорит он, — мне очень жаль, что я должен вас потревожить...

И он унесит радиоприемник.

Потом второй человек, тоже вежливый, тоже улыбающийся и выражающий соболезнование, отвинчивает электрическую плиту и увозит ее из дома

Затем в дверях появляется представитель фирмы, предоставившей в свое время «в собственность» больному этот уютный домик с тремя комнатами и подвалом.

— Вы хороший американец, — говорит он соболезнующе. — и мне всегда приятно было знать, что вы числитесь в списке моих покупателей.. Я очень сожалею.. Но мой бизнес состоит в том, что я продаю дома в рассрочку.. А вы не уплатили очередной взнос... Мы обойдемся без полисмена, не правда ли?..

И человек поселяется на голой земле, которая тоже ему не принадлежит, под голубым небом, арендованным мастерами рекламы ..

Знакомая картина, не правда ли, Билл Нейшн? Вам удалось пока избежать всего этого, вас спасли Сухарские. Но сколько людей из автомобильных заводов «Дженерал моторс» могли бы поделиться подобными воспоминаниями...

Все иллюзорно в этом заокеанском государстве. И собственность труженика и его обеспеченность.. И недаром журнал «Америка», рассказывая о бюджете Нейшна, добавляет: «Факт, что к концу недели ничего не остается». Статья всячески убеждает читателя, что обеспеченность — понятие растяжимое...

Да, в американских условиях обеспеченность — понятие весьма растяжимое и очень относительное.

Как же может повысить свои доходы Билл Нейшн?

«У него были планы, как увеличить свой заработок, и он постоянно выдумывал всякие усовершенствования, которые должны были повысить производительность завода. «Но всякий раз получалось, что как-то это было выдуманно до меня». И в конце концов он прекратил все попытки в этом направлении».

Изобретательность рабочего, оказывается, никому не была нужна. И зря с ней совался Билл. Рабочий на автомобильных заводах в Детройте должен умело производить несколько порученных ему движений, а в остальное не совать своего носа. Для рационализаторской работы существуют инженеры. Рабочий должен всегда чувствовать разницу между трудом умственным и грудом физическим.

Повидимому, Билл Нейшн это быстро усвоил, так как он перестал вносить предложения, направленные к повышению производительности труда.

Однако как же увеличить свой заработок?

Билл устроил в подвале своего домика небольшую мастерскую, в которой в вечерние часы занимается изготовлением различных изделий из пластмассы.

«Несмотря на долги и дороговизну жизни, — пишет журнал «Америка», — Билл Нейшн не унывает. В прошлом он всегда находил выход из положения и надеется, что так будет и впредь. Как многие его товарищи по работе, он рассчитывает, что когда-нибудь сам станет хозяином: расширит свою мастерскую, превратив ее в небольшое самостоятельное предприятие по выпуску изделий из пластмассы, и примет в дело обоих шуринов, когда они будут демобилизованы».

Итак, Билл Нейшн работает вовсе не восемь часов, а гораздо больше. У него не остается времени на то, чтобы заняться своим развитием, образованием, сходить в театр. Труд приковал его к себе, сделал своим рабом, а не творцом.

И вот, воспитанный на таком отношении к труду, нынешний американский рабочий видит только один выход из этого положения: он может вырваться из рабства, в которое попал и которое даже не осознает, только одним способом: самому стать хозяином предприятия, «развить дело», взяв себе компаньонов, и начать эксплуатировать других рабочих.

Это очень характерная черта, и журнал «Америка» не предполагает даже, как антипатична она советскому человеку.

Не догадываясь об этом, журнал пишет далее: «Он (то есть Билл Нейшн) желал бы расширить свое дело для мальчиков. Если окажется возможным, он пошлет

их учиться в университет, и Патрицию тоже. Но если это не удастся, его выручит мастерская: в ней будут работать его сыновья».

Кто знает, смогут ли дети Билла Нейшна учиться? Билл за это не поручится. Поэтому он заранее готовит для них будущее: пусть они примут от него в наследство самостоятельное предприятие, если только ему удастся развить «дело».

И в этой подробности тоже сквозит тревога и неуверенность в своем завтрашнем дне.

РУБЛИ НИКОЛАЯ СИТРАНОВА

Слесарь Московского автомобильного завода имени Сталина не имеет собственного дома. Он живет в квартире, являющейся общегосударственной собственностью. У него две комнаты. Впрочем, квартира эта его не удовлетворяет, и в ближайщие месяцы он должен получить новую. Ему это обещано администрацией предприятия. Завод недавно закончил строительство нескольких новых домов для рабочих. В ближайшее время начнется заселение. Ситранов — один из первых кандидатов на получение новой квартиры.

У него нет собственного автомобиля. Не потому, что заработки не позволяют этого. Ситранов зарабатывает в среднем, вместе с женой, после удержания налогов, 2.600 рублей в месяц, и он мог бы сэкономить средства для приобретения автомобиля. Несколько сот рабочих еще до войны это сделали. Но автозаводы выпускали свою продукцию, главным образом, для нужд народного хозяйства, многочисленных научных и государственных учреждений. Они не могли удовлетворить огромный спрос на приобретение личных машин еще и потому, что автомобильная промышленность СССР еще очень молода. Фактически она создана в нашей стране только в годы первой пятилетки. Выпускала она преимущественно грузовые, а не легковые машины.

К тому же, во время войны автозаводы сократили до минимума производство автомобилей. Да и те, что выпускались, уходили на фронт, как и вся остальная продукция автозаводов.

Но вот недавно на улицах советских городов появились новые дешевые автомобили «Москвич», предназначенные для индивидуального пользования. Они поступают в продажу все в большем количестве, и Ситранов собирается приобрести для себя такую машину.

Все, что есть в квартире Ситранова, является его подлинной, а не условной собственностью.

Никаких отчислений на социальное страхование или медицинскую помощь Ситранов не делает. Как известно, социальное страхование в нашей стране осуществляется государством.

Ежегодно Николай Дмитриевич получает отпуск, оплачиваемый заводом. Обычно он проводит его в санатории автозавода, в 80 километрах от Москвы, в совхозе «Васькино». Путевку ему предоставляет бесплатно завком, за счет государственного социального страхования. Мария Евдокимовна трижды за время их совместной жизни была на курортах: в 1936 году в Коктебеле, в 1939 году в Ялте, и в 1941 году в Алуште — в местах, о которых в дореволюционное время жена рабочего не смела и мечтать. В нынешнем году Мария Евдокимовна намерена снова поехать в Крым.

Одиннадцатилетний сын Ситрановых — Лев каждый год выезжает в пионерский лагерь завода на станцию Мячиково. Путевку ему также выдает завком за счет государственного социального страхования. После лагеря мальчик едет к бабушке в деревню, где и проводит остаток лета, до начала занятий в школе.

О будущем сына Николаю Дмитриевичу не приходится беспокоиться. Сейчас мальчик перешел в 5 класс 283 школы Таганского района. А когда окончит ее, непременно пойдет в университет.

— Я не мечтаю об этом, мечтают обычно о чем-то трудно достижимом.. Я просто уверен, что Лева будет иметь высшее образование, — говорит Николай Дмитри-

евич. — А как же иначе? Что может этому помешать? Он будет инженером, во всяком случае специалистом в той области, к которой почувствует склонность...

Николай Дмитриевич стахановец. Он новатор производства, он непрерывно думает над усовершенствованием производственных процессов, над поднятием производительности труда. Раньше в цехе, где работает Ситранов, для набивки каждой пружины делали специальную оправку. Ситранов предложил стандартную оправку, и она была одобрена, а автору выдали премию. Ситранов осуществил обратную цековку для направления болта, он разработал штамп для просечки замковых шайб, раньше это делалось вручную. Всего же в цеху было осуществлено 12 рационализаторских предложений Ситранова.

Билл Нейшн смотрел на рационализаторскую работу, как на средство увеличить свой заработок. Как мы уже знаем, из этого ничего не получилось. Для Ситранова его деятельность по улучшению производственных процессов имеет неизмеримо больший смысл. Благодаря ей, благодаря своим новаторским методам труда, стахановец перестает быть работником только физического труда, он сочетает его с трудом умственным. Резкая грань, отделяющая на капиталистическом предприятии труд умственный от труда физического, на советском предприятии ощущается все меньше и меньше.

Продолжая эту же мысль, можно с полным правом сказать, что для Билла Нейшна труд есть только средство к существованию, в то время как для Николая Ситранова — это дело самой жизни, это источник творчества, это само существование, благородное, целеустремленное, общественно полезное.

Алексей Максимович Горький некогда писал об Америке, что здесь ценность человека измеряется деньгами, которые он зарабатывает. «Человек, у которого есть 500 долларов, в десять раз лучше того, который имеет только 50».

Билл Нейшн, по американским волчьим законам, «стоит» 236 долларов в месяц. Собственно говоря, он их «не стоит», так как, получив деньги, тут же расходует. Вот если бы он мог откладывать, наращивать проценты на капитал, пускать его в оборот, увеличивать за счет других разоряющихся конкурентов... Но ему это не дано.

Николай Ситранов «стоит» гораздо больше того, что он получает в дни получек два раза в месяц. Он сам отлично знает, что его «цена» определяется общественным положением, уважением окружающих, доверием работающих товарищей, вниманием администрации. Его капитал — это честный, вдохновенный, стахановский труд. Этот капитал в Советском Союзе не подвержен катастрофам. Он не обесценивается, а всегда повышается в цене. Именно этот капитал обеспечивает рабочему материальное благополучие, дает глубокую уверенность в том, что его будущее будет еще лучше, чем сегодня; этот капитал делает советского рабочего человеком свободным и гордым, Человеком с большой буквы.

ТО, ЧТО ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

Как бы внимательно вы ни вчитывались в статью о Билле Нейшне, вы не сможете ничего узнать о заводе фирмы «Дженерал моторс», кроме того, что здесь производятся кузова для автомобилей.

Как только окончился рабочий день, Билл Нейшн уходит за ворота своего предприятия и немедленно старается о нем забыть.

Американский завод — это место, где люди отдают свой труд, взамен чего получают определенное количество долларов. Этим исчерпываются отношения рабочего и предприятия Мои руки — ваши деньги. Все!

Но ведь бывают вещи неизмеримо более ценные, чем деньги. О них Билл Нейшн ничего не знает и не узнает, пока будет трудиться для блага капиталиста, а не на пользу народа.

Какими деньгами оценить ту школу жизни, которую проходит рабочий советского автомобильного завода на своем предприятии?

Часто вечерами, в кругу своей семьи, и особенно по праздникам, когда трудовой день остался позади и человек, склонный к размышлениям, оглядывается на пройденный путь, Николай Дмитриевич Ситранов задает себе вопрос: «Что же такое, в сущности, завод, на котором я работаю, мой завод?»

Ну, конечно, это прежде всего, предприятие, изготавливающее автомобили. Великолепные, комфортабельные «ЗИС-110» — краса советского автомобилестроения; грузовики старой и новой конструкции, к изготовлению которых приступил теперь завод.

Но это не только предприятие, производящее автомобили, но еще и школа, дающая человеку направление в большую жизнь.

Вот работает в 3-м инструментальном цехе, в должности заместителя начальника цеха, Сергей Васильевич Давыдов. Каждый день встречается он с Ситрановым, руководит им, дает указания и выслушивает советы. Сказать, однако, что Давыдов — заместитель начальника цеха и этим ограничиться — это почти ничего не сказать. Сергей Васильевич Давыдов еще и лауреат Сталинской премии. Она присуждена ему за освоение сложных видов инструментов. Помимо этого, он депутат Верховного Совета РСФСР и Московского Совета. Он — большой государственный деятель. Давно ли миновало то время, когда Сергей Давыдов воспитывался в детском доме или когда он стоял у тисков в этом же инструментальном цехе — простой рабочий, слесарь...

А кто управляет заводом? Нынешний директор, депутат Верховного Совета СССР Иван Алексеевич Лихачев, был прежде шофером. В прошлом рядовой технолог Демьянюк занял пост главного инженера завода. А бывший фрезеровщик Алексей Кузнецов стал начальником производства завода.

Фабзавучник Костя Малков еще незадолго перед войной трудился слесарем 3-го инструментального цеха. Потом стал начальником отделения. Он побывал и в Америке — свет повидал и себя показал. Теперь он возглавляет цех, где работает Ситранов.

По всему белу свету разбрелись автозаводцы, и каждый из них вершит большие дела. Бывший рабочий Московского автозавода Коган — заместитель министра автомобильной и тракторной промышленности. Во главе Харьковского тракторного завода — прежний начальник автозаводской кузницы Лисняк. Электромонтер Шверцбург руководит строительством Новосибирского автомобильного завода. Автозаводец Иванов — главный технолог министерства.

Нет, не сосчитать автозаводу своих питомцев, занимающих большие, руководящие посты...

Как выросли они? Когда это случилось?

Это происходит на глазах у всего мира, в стране, где труд перестал быть только необходимостью, а стал желанным и радостным делом.

Чем мог бы гордиться Билл Нейшн, если бы ему пришлось рассказывать о заводах «Дженерал моторс»?

Он вообще не станет гордиться, это не его заводы, он здесь раб, вроде негра, только не черного, а белого цвета. Но если он этого еще не сознает, он может быть скажет, что вот мол его заводы выпускают красивые автомобили.

— Красивые автомобили выпускает и наш завод, — ответит ему Николай Ситранов. — Но наш завод делает еще и жизнь работающих на нем людей красивой, осмысленной, наполненной большими интересами и огромными, необозримыми перспективами...

15 человек на заводе получили звание лауреата Сталинской премии за изобретения, за усовершенствования в производственных процессах. 727 автозаводцев закончили высшие учебные заведения и стали дипломированными инженерами, а 2.056 рабочих и служащих получили среднее образование.

Но и это еще не все.

Свыше семи тысяч автозаводцев обучаются теперь в вечерних вузах, техникумах, школах и на различных курсах. Они делают это, не прекращая основной работы, в свободные часы. Это тоже новые резервы советской интеллигенции.

Ты хочешь быть инженером? К твоим услугам автозаводский филиал Автомеханического института имени Ломоносова. В его аудиториях сотни рабочих автозавода вечерами, после грудного дня, набираются знаний, чтобы через несколько лет выйти из стен института с дипломами инженеров автомобильного дела.

Ты можешь посещать автомеханический техникум и получить тут же на заводе среднее техническое образование. В школах мастеров из тебя, наладчика, квалифицированного рабочего или молодого мастера, сделают опытного руководителя участка.

Сейчас, впервые в СССР, на автозаводе имени Сталина открылся филиал Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний. Лучшие лекторы страны расскажут тебе о загадках науки, о новейших достижениях философии, обо всем, что знает и что хочет еще постичь пылливый человеческий ум...

Приходи, слушай. учись, расти...

Биллу Нейшну всячески мешают подняться на более высокую ступень развития, чем та, которой он достиг при помощи протекции и многих лет тяжелого труда, время от времени прерываемого безработицей.

У Николая Ситранова огромные возможности.

Ему только надо выбирать.

Эти возможности дал ему советский строй. И эти реальные возможности, вся атмосфера жизни, окружающая советского рабочего, все выше поднимает его сознание и достоинство.

ПОСЛЕ ВОСЬМИ ЧАСОВ РАБОТЫ

Австралийский публицист А. Э. Мендер написал книгу: «От шести часов до полуночи» Чем заняты люди после того, как они закончили свои служебные обязанности? Что делают они от шести часов вечера до полуночи? Можно ли назвать их использование досуга времяпрепровождением цивилизованных людей?

Но раньше чем ответить на этот вопрос А. Э. Мендер дает убийственную характеристику того труда, которому люди отдали первую половину дня.

«Большинству людей, при современных условиях существования, работа, помимо всего прочего, кажется еще и бессмысленной, бесцельной, — пишет он. — Они сами сознают, что работают только ради жалованья или ради того или иного денежного вознаграждения. Да и многие ли из нас ценят работу как таковую? Многие ли согласились бы продолжать ее, если бы, скажем, выиграли 100.000 фунтов стерлингов? Работа получает какой-то смысл только во время войны, во всяком случае для тех, кто трудится «на пользу фронта», и, разумеется, в России, где миллионы людей сознают, что труд их приобрел новую значимость, как часть коллективных усилий, направленных на строительство нового мира»

Итак, по утверждению А. Мендера, и труд бессмыслен, и досуг заставляет усомниться в том, что человек капиталистического мира живет в цивилизованном обществе.

Как же живет «от шести до полуночи» наш Билл? Если завод не приносит ему никакой радости, может быть го время, которое у него никто не в состоянии отнять — послерабочие часы — дает ему возможность насладиться прелестями жизни? Может быть гегерь «процветающий американец» воспользуется благами культуры? Почему бы не так! Ведь все для этого есть, с точки зрения журнала «Америка»: и 226 долларов в месяц, и автомобиль, и уютный домик, и, наконец, «великая процветающая демократия» Соединенных Штатов.

Что же сообщает нам об этом журнал «Америка»?

«По вечерам, а также в субботу и в воскресенье, Билл проводит большую часть времени за работой у себя в мастерской или во дворе. Супруги читают детройтскую газету «Таймс», а по воскресеньям «Ньюс». Жена Билла получает журнал, посвященный вопросам домашнего хозяйства и садоводства. Прежде она выписывала женский журнал, но подписка кончилась во время забастовки, и не было денег ее восстановить. Из всего внешнего мира Нейшны поддерживают отношения только с Сухарскими

(то есть родственниками жены Нейшна), а о соседях говорят: «Мы не беспокоим соседей, и они нас не беспокоят».

Изредка Билл проводит вечер с братьями жены за картами и бутылкой пива. Иногда в воскресный день он катается с женой на своей машине. Но по большей части они все время дома. В этом году он думает провести отпуск вместе с женой у своей матери в Пенсильвании, «если позволят финансы». Если же положение ухудшится, он никуда не поедет, а покрасит дом или будет работать у себя в мастерской.

Ах, это невольно вырвавшееся выражение: «если положение ухудшится...!»! Все время оно преследует человека в Америке! Что будет завтра? Не грянет ли тот самый экономический кризис, о приближении которого все время твердят политики и экономисты?

Но что за образ жизни ведет Нейшн! Кончилась работа на заводе, она снова начинается в мастерской. О том, что тридцативосьмилетний человек имеет время, чтобы читать книги, не упомянуто ни словом. В театр Нейшн не ходит. Только его дети посещают кино. Что касается общения с соседями, то для них, увы, закрыты двери домика в Линкольн-парке. Хлопотно и невыгодно принимать гостей, иметь каких-нибудь друзей. Вот уже поистине — от домика к домику протянут невидимый железный занавес, за которым люди ведут убогое, ограниченное узкими материальными интересами прозябание. Из всех развлечений — карты и кружка пива. То, что приводит в такой восторг редакцию журнала «Америка», — это ведь просто-напросто удушливая атмосфера мещанской семьи!

Посмотрим, как живет Николай Ситранов в послерабочие часы.

Некоторую часть времени у него отнимает общественная работа на предприятии. Завод для него второй дом. Его заводская жизнь отнюдь не кончается с гудком. Но это уже труд, связанный не с производственным заданием. Это — выполнение общественного долга.

Но вот Николай Дмитриевич дома. Время принадлежит ему теперь безраздельно. И здесь он снова предстает перед нами, как человек больших интересов, жадного отношения к жизни, неутомимой любознательности.

Он любит читать. В семье Ситрановых выписывают три газеты: «Известия», заводскую ежедневную газету «Сталинец» и орган работников Курской дороги «Транспортник».

С чтения газет, собственно, начинается досуг Николая Дмитриевича. А затем — книги. За последнее время Ситранов перечитал почти всего Горького, многие произведения Пушкина и Гоголя. Он прочел «Молодую гвардию» Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Полевого, вновь перечитал свои любимые книги: «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей» Николая Осгровского.

Смеясь, рассказывала мне Мария Евдокимовна, на какой почве был у них последний «семейный скандал».

Мария Евдокимовна любит классическую оперу, Николай Дмитриевич предпочитает драматический театр.

— Никуда б не ходила, — говорила мне жена слесаря, — только бы в оперу Люблю музыку! Радует она меня. Но только люблю музыку классическую. Вот в последний раз и «сцепились». Николай говорит. «Хорошо, я знаю цену классикам, да ведь нужно и наших любить». А я отвечаю: «Нужно им работать как следует, тогда и их полюблю». А он мне в ответ: «Ты только одно и поняла в постановлении ЦК партии, что пошли наши композиторы не по той дорожке. А что ради того и вынесено это постановление, чтобы воспитывались новые хорошие композиторы, тебе невдомек...» Ужасно мы с ним поругались...

И все-таки, несмотря на такие дискуссии, супруги вместе посещают и оперные и драматические театры. В конце прошлого года и в нынешнем году они успели уже свыше 15 раз побывать в театрах. Они слушали «Пиковую даму», «Ивана Сусанина», «Русалку», «Майскую ночь», дважды «Евгения Онегина». В Малом театре смотрели «Враги». В Художественном — «Воскресение». Пьесу о современной Америке они смотрели в трех театрах. Не потому, что им хотелось сравнить только игру актеров.

— Ведь я понимаю, — рассказывает Николай Дмитриевич, — что каждый театр по-своему передает эту пьесу, по-разному показывает то, что ему кажется в ней самым главным. И ни один вечер я не считаю для себя потерянным, хотя временем очень дорожу. В одном театре я увидел живые сцены из нравов американской печати, в другом мне как-то особенно убедительно показали, где настоящая причина личной драмы героя. В конце концов, как ни посмотри, и то и другое бьет в одну точку: плоха та демократия, где за красивыми словами прячутся подленькие дела...

Такое серьезное отношение к искусству, к книге и спектаклю, к реальной жизни, а к героям произведений, как к существующим, а не выдуманным людям, — не должно, однако, создать впечатление, что Николай Дмитриевич излишне серьезный, расщудочный человек, не любящий развлекаться, веселиться. Отнюдь нет! Ситрановых часто можно видеть во Дворце культуры автозавода, куда они приходят потанцевать. Ситранов страстный рыболов, и нередко с субботы вечером он забирается на Клязьму, в Павлове-Посаде, где живет сестра его жены, и проводит ночь за рыбалкой. У него есть и охотничье ружье, но охотится он реже, чем рыбачит.

Со своими друзьями — Василием Гавриловым, в прошлом слесарем-лекальщиком, а теперь депутатом Московского Совета, начальником отдела завода «Радио-прибор», слесарем-испытателем Виктором Бундонисом и товарищем по цеху Леонидом Игнатовым — Николай Дмитриевич частенько встречается за общим обеденным столом, то у себя, то у них. Или соберутся друзья летом и отправятся на дачу к Гаврилову, и все воскресенье там проведут.

Ситранову кажется невероятным такое отношение к людям: «Я не беспокою соседей, и они меня не беспокоят». Это возможно только в атмосфере, где человек человеку не друг, а враг. Ситранов чувствовал бы себя страшно одиноким, если бы он вынужден был вести замкнутый образ жизни, подобный образу жизни Билла Нейшна.

Ситранову нужны друзья вовсе не для того, чтобы убить время. Нет, Ситранов думает по-другому: человеку нужно живое общение с людьми, потому что он ради них и живет. В этом благо, украшение жизни. Без среды, без друзей, без общества, запертый в четырех стенах своего жилища человек начинает терять облик человеческий.

В жизни Николая Дмитриевича был такой эпизод.

Морозной зимой 1941 года, когда эвакуированный завод прибыл в один из волжских городов, семьи рабочих автозавода временно разместились в близлежащей с города небольшой деревушке Кременки

Однажды Николай Дмитриевич вместе с четырьмя товарищами вышел под вечер в Кременки. Было это с субботы на воскресенье. С ним шли Леонид Клюев, Алексей и Борис Игнатьевы и Николай Ширяев. Собственно говоря, можно было бы дожидаться машины, но очень разобрано их нетерпение, и было что-то приятное в такой прогулке по свежехрустящему морозному снегу.

За плечами у каждого был мешок. А в нем лежали продукты, и, что очень важно отметить, не только для своих семей, но и для семей товарищей, оставшихся работать в воскресенье.

Николай Дмитриевич и его спутники вышли, когда было еще светло и все благоприятствовало их путешествию. Неугомонные ветры, которые обычно донимают жителей этого волжского города, в шутку прозванного «Городом семи ветров», куда-то схоронились.. Поскрипывал снег. На небе не было ни тучки. Они шли по озерам, вдоль берега Волги, придерживаясь колеи, проложенной проходившими тут машинами. И вдруг все небо заволочило тучами. Повалил густой снег, а потом началась пурга. В несколько минут она завалила снегом колеи. Пронизывающий ветер пробирал путников насквозь, как ни тепло они были одеты. Пурга все усиливалась и усиливалась, и очень скоро Ситранов и его товарищи поняли, что они сбились с пути. Возвратиться обратно? Но и к заводу дорога была так же закрыта, как к деревне Кременки. И, кроме того, хотелось во что бы то ни стало провести с семьями воскресный день.

А метель все крепчала, снег слепил глаза, тяжесть мешка резала плечи. Можно было выбросить содержимое мешков, но там находилось также и продовольствие оставшихся работать товарищей.

Итти становилось все труднее и груднее. Некоторые стали отставать.

— Нет, не пойду дальше, — сказал один из пятерки.

Двое взяли его под руки и, изнемогая от тяжести, позели с собой. Нестерпимо тянуло сделать маленький привал. Казалось, стоит отдохнуть только пятнадцать минут — и силы вернуться к ним вновь, и они легко пойдут вперед... Но каждый из них отчетливо понимал, что привал опасен, что как только прилягут, они не смогут больше подняться.

И все-таки путники сделали маленькую передышку. Она длилась ровно две минуты. Все пятеро повернулись спиной к ветру, и Ситранов сказал:

— Ну что же, ребята, или все выберемся, или все останемся. Я думаю так! Поклянемся друг другу, что если кто-нибудь будет отставать, мы его не бросим.

И каждый из них сказал какие-то простые слова, которые сейчас уже восстановить нельзя, но смысл их состоял в том, что ни в коем случае они не оставят никого из пятерых, даже если он совсем выбьется из сил...

— Ну и пошли...

— А кроме того, нам дойти надо, — добавил Ширяев.

И они снова двинулись в путь.

Они проваливались в снежные ямы, вытаскивали друг друга, им приходилось подыматься в гору, и тут они протягивали друг другу руки и тащили ослабевших. Они теряли друг друга из виду, потому что на расстоянии трех шагов ничего не было видно.

— Не садись! — кричали они, и на этот голос шел отставший, чтобы, прижавшись к плечу товарища, почувствовать, что все здесь, близко, и никто не отступился от слова.

Семь часов блуждали они среди «белого безмолвия», которое так красочно описал некогда Джек Лондон. И вот, наконец, мелькнул одинокий огонек в избушке. Они пробились к Кременкам. Обессиленный Ситранов ввалился в избу и упал на пороге.

Вот что такое «соседи», как это слово понимает советский человек Николай Ситранов.

Чувство дружбы, спаянности с коллективом, чувство ответственности перед обществом, перед коллективом проявились как нельзя ярче в этом эпизоде, происшедшем в далеком приволжском краю.

И эта решимость не оставлять друг друга в беде — не просто проявление отзывчивости, даже не самоотверженность, а самая сущность сознания советского человека, сознания неизмеримо более высокого, чем в капиталистическом обществе, где каждый старается жить для себя и только для себя.

МЕЧТЫ, МЕЧТЫ...

О чем же мечтает Билл Нейши? Чего хотел бы достичь? И об этом рассказывает нам журнал «Америка».

Кое-что мы об этом уже знаем. Первая его мечта состоит в том, чтобы расширить мастерскую и превратить ее в самостоятельное предприятие, которое обеспечило бы благосостояние сыновей.

«Другая его мечта, — сообщает журнал «Америка», — которую он рассчитывает когда-нибудь осуществить, это участие в общественной жизни. Он останется навсегда в Линкольн-парке, все будут знать его, и годам к пятидесяти он выставит свою кандидатуру в мэры. До сих пор он никакого участия в общественной жизни не принимал, но считает, что трудящиеся должны иметь больше влияния на ход событий».

Все в этой фразе заслуживает внимания, ибо все характеризует подлинное положение вещей в благословенной стране — Соединенных Штатах.

Билл Нейшн — человек далекий от политики, замкнутый в кругу узко личных интересов, чужающийся друзей и соседей, — понимает, что трудящиеся в Америке должны иметь больше влияния на ход событий, другими словами говоря, что они не имеют никакого влияния в стране крупнейших монополий, где правит клика из «60 семейств». Для себя лично Нейшн видит возможность заняться общественной деятельностью только годам к пятидесяти, то есть лет так через... двенадцать. Через двенадцать лет он выставит свою кандидатуру в мэры Линкольн-парка, и авось тогда его изберут!

В пьесе американских писателей «Глубокие корни» сенатор и человеконенавистник Лэнгдон говорит своему племяннику, собирающемуся баллотироваться в конгрессе: — Ты хочешь попасть в конгресс? Без меня тебя не выберут и в живодеры...

Помимо воли «сильных мира сего», тех, кто возглавляет автомобильные заводы Форда, «Дженерал моторс», никто из жителей Детройта или его предместья не будет избран не только мэром Линкольн-парка, но и живодером...

Это убедительно показал однажды американский либеральничавший буржуазный журналист Франк Кент в книге «Политические нравы Соединенных Штатов».

Книга Франка Кента — ценнейшее пособие для тех, кто собирается выставлять свою кандидатуру в президенты, сенаторы или мэры. С удивительной откровенностью автор вскрывает всю хитрую механику выборов.

Основные мысли этой книги сформулированы в названиях ее глав: «Партия не ответственна за взяточничество в ее рядах». «Необходимо быть верным своей шайке».

Кандидат, по мнению Кента, должен помнить следующие заповеди:

«Когда вода достигает верхней палубы, следуй за крысами».

«Недопустимо обнаруживать смущение перед избирателями».

«Задевать интересы деловых кругов невыгодно».

«Когда газеты перестают писать о вас — вы политически мертвый человек».

«Давай избирателям интересное зрелище».

Кандидату должно быть присуще «умение произносить как будто глубокомысленные, но по существу бессодержательные речи».

Одним словом, как правило, чтобы иметь какие-нибудь шансы быть избранным, вовсе не обязательно быть честным, умным, заботиться о нуждах народа. Наоборот, это может даже помешать. Главное состоит в том, чтобы иметь много денег, больше чем у твоего конкурента на выборах; быть связанным с партийными «боссами», которые захотят выставить твою кандидатуру и поддержать ее; не стесняться в средствах для достижения цели, подкупать всех кого можно, начиная от многочисленных деятелей избирательного аппарата и кончая избирателями — «пловцами», как их называет Кент, ожидающимися дня выборов для того, чтобы разжиться на костюм.

Откуда у Билла Нейшна найдутся деньги для финансирования избирательной кампании, с какой стати «боссы» будут поддерживать его кандидатуру в мэры?

Это может случиться только в том случае, если Нейшн заведомо и сознательно продаст свою совесть, пойдет на услужение к тем богачам, которые хотят дергать мэра за ниточку, как куклу в театре марионеток, и они сочтут его подходящим для этой непривлекательной должности.

Если же он захочет быть честным, он никогда не станет мэром, ни к пятидесяти, ни к шестидесяти годам.

Но Билл Нейшн обманут демагогией тех, кто издает многостраничные газеты и красочные журналы. И он, наивный, позволяет себе мечтать. Но каждый раз, заглядывая в будущее, Билл Нейшн оговаривается: «если ничего не случится».

«Обеспеченность — понятие растяжимое, — говорится несколькими строками ниже. — У Билла есть служба, которая дает ему возможность существовать. Имеется, конечно, и социальное обеспечение. Это значит, что если у него не будет перерыва в работе, то, достигнув шестидесятипятилетнего возраста, он будет получать 65—70 долларов в месяц. Жизнь его застрахована, но никакие виды на пенсию или

пожизненную ренту впереди. Однако он надеется, что все будет как надо, если только он опять не заболит».

Вот какие перспективы у Нейшна, и вот реальные возможности их осуществления!

Николаю Дмитриевичу не нужно откладывать на двенадцать или пятнадцать лет свое участие в общественной жизни. В его отечестве только трудящиеся и влияют на жизнь страны. И он с первого дня своей работы на заводе стал активным общественным деятелем.

Сейчас Николай Дмитриевич организатор профсоюзной группы своего отделения. На собраниях профгруппы он обсуждает работу отделения и цеха, кандидатуры лучших стахановцев для премирования, советуется с товарищами, кто, по их мнению, достоин первого места в соревновании на звание лучшего рабочего каждой профессии. Культура, производство, быт — все это живо волнует профгруппу, возглавляемую Ситрановым.

Но кроме этого, Николай Дмитриевич — депутат Районного Совета от 88-го избирательного округа Москвы. Он входит в число членов комиссии райсовета по газификации района. С апреля по сентябрь в Пролетарском районе столицы должно быть дополнительно газифицировано 1.500 квартир. Ситранов вместе с другими товарищами разрабатывал бюджет для нужд газификации. Как опытный слесарь, именно он получил задание присутствовать в качестве представителя комиссии при испытаниях вновь проложенной газовой сети и контролировать качество проводки.

Избиратели пишут ему письма, приходят прямо в цех высказать свои требования. И он, как подлинный государственный человек, знает, что нужно сделать, чтобы людям жилось и работалось легче.

Как-то рабочие рассказали ему, что им неудобен порядок, установленный управлением городского транспорта. Последний трамвай уходит с остановки «Ленинская слобода» в тридцать семь минут первого ночи. Между тем, смена заканчивается в половине первого, и рабочие подчас не успевают к трамваю.

Все это было рассказано Ситранову невзначай, между другими более важными вещами. Но и на эту «мелочь», если ее можно назвать мелочью, Николай Дмитриевич обратил внимание.

Он сам пошел в Моссовет и добился того, что трамвай стал отходить в более позднее время.

Однажды он возвращался с ночной смены. В темноте он не видел лиц разговаривавших, но услышал такой диалог:

— А молодчина депутат!.. Раньше я бежал к остановке, и все-таки иногда опаздывал.. А теперь, гляди, куда как хорошо.. Надо бы ему спасибо сказать..

— Да ну! Еще возгордится!..

— Ситранов-то? Господи! Наш же, рабочий человек..

Николай Дмитриевич рассмеялся. Конечно он не возгордится. Он еще слишком мало сделал... Да и много сделав, он будет считать себя в вечном долгу перед избравшими его товарищами.

Конечно, и у Ситранова есть свои мечты. Но их правильнее назвать реальными надеждами.

Он рассчитывает в скором времени получить новую квартиру, приобрести «Москвич», пианино. Мария Евдокимовна любит играть сама, и она хочет, чтобы и Лева учился музыке.

Николай Дмитриевич стремится к тому, чтобы его цех, уже 15 месяцев подряд выполняющий программу, продолжал и впредь работать не хуже, а лучше.

Мечта Ситранова состоит и в том, чтобы люди в Соединенных Штатах, такие, как Билл Нейшн и другие простые пролетарии, не позволили поджигателям войны сорваться с цепи и зажечь новый мировой пожар. Чтобы они поняли, в чьих интересах велась бы такая война, если бы она возникла, чтобы они умерили аппетиты своих капиталистов.

Конечно, это дело самих американцев, и пусть Билл Нейшн поступает, как он хочет. Но для Ситранова, как и для всех советских людей, самым сильным желанием является возможность строить в мирных условиях коммунизм в своей стране.



Шаг за шагом, точно следуя за журналом «Америка», проследили мы жизнь американского рабочего кузовного завода Билла Нейшна, сопоставив ее с жизнью рабочего советского автомобильного предприятия Николая Ситранова.

Разумеется, журнал «Америка», преследуя свои пропагандистские цели, не только не старался быть скромным в изображении условий существования Нейшна, но, скорее всего, приукрасил подлинное положение вещей. Однако, если даже принять все на веру, — какой убогой, ограниченной, неинтересной, бесперспективной представляется эта жизнь советскому человеку!

Неуверенность в завтрашнем дне, страх потерять работу, страх перед возможностью заболеть, стремление самому стать хозяйчиком и эксплуатировать других, политическая пассивность, одиночество...

Какой же полновесной, увлекательной, осмысленной, общественно-полезной представляется жизнь Николая Ситранова в противовес жизни Нейшна.

Николай Ситранов — живое воплощение социалистического строя, воплощение уверенности в завтрашнем дне, общей для всех граждан Советского Союза.

Ситранов и Нейшн — два различных типа человека, в которых отразились и две различные социальные системы.

С одной стороны — пролетарий, не имеющий орудий и средств производства, продающий свои руки, если их захотят купить, отстраненный от участия в решении судьбы своего народа, ограниченный узким миром материальных забот, жестокой борьбы за существование.

С другой стороны — рабочий Советского Союза. Рабочий, а не пролетарий, не знающий эксплуатации, являющийся руководящей силой государства, владеющего всеми орудиями и средствами производства.

И сравнивая жизнь, быт, запросы, интересы, мечты, надежды, уровень сознания Ситранова и Нейшна, невольно вспоминаешь великолепные слова товарища Сталина, дающие точное выражение преимуществ советского строя жизни перед строем жизни в капиталистических странах. Этими словами и хочется закончить статью:—«... последний советский гражданин, свободный от цепей капитала, стоит головой выше любого зарубежного высокопоставленного чинуши, влачащего на плечах ярмо капиталистического рабства...»



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ИЕРОГЛИФЫ ВМЕСТО ИСКУССТВА

(Антинародная эстетика формализма)

Я. ФРИД

*

!

История искусства показывает, что именно те художники, которые воображают, будто они превыше всего возносят форму, в действительности приходят к опустошению и обеднению формы, к ее распаду, к безобразному искусству.

Об этом свидетельствует современное западное формалистское искусство. Опустошенный декадентский формализм не имеет ничего общего со смелыми формальными исканиями, со стремлением художника-реалиста полнее, глубже отобразить средствами искусства новое содержание.

«Чистая форма» формалистского искусства подобна злокачественной опухоли, уродливо разрастающейся, патологически изменяющей ткани организма, губительной для него.

Но формализм не только губителен для искусства. Эстетика формализма так же политически реакционна и агрессивна, как идеология современного буржуазного индивидуализма, чьей составной частью она является.

Французский буржуазный писатель Жюльен Бенда в своей книге «Византийская Франция, или триумф чистой литературы»¹ весьма убедительно показывает, насколько уродлива, обезчеловечена декадентская формалистская литература. Главная ее особенность — презрение к реальному миру. Декаденты, пишет Ж. Бенда, заявляют, что они отказываются признать правдой то, что является таковой для окружающего мира (то есть для народных масс).

Потому-то и полюбилась декадентам поза высокомерного презрения к окружающему миру, что она эффектно маскирует их враждебное отношение к народным массам, к народному пониманию правды и справедливости. Нигилистически относясь к человечеству, принижая народные массы, отрицая их правду, декаденты надеются тем самым возвысить себя и свою ложь.

«Мы выступаем против всего мира... У нас нет почвы под ногами, наша добрая воля не служить никому, даже нам... Мы идем против течения... Мы выпали из истории и вешаем в пустыне», — восклицает Сартр². Идеологи буржуазного индивидуализма безнадежно пытаются остановить ход истории, и они чувствуют, видят почву под ногами у них нет, почва под ногами — у передовых людей эпохи, у народных масс. И именно потому, что идеологи буржуазии это понимают, они анархистски, демонстративно, нигилистически рвут все связи с миром и пытаются уверить себя и других в том, что действительно осмысленно, действительно реально только их бессмысленное, мнимое существование в пустыне одиночества.

«Пусть весь мир станет тенью моей персоны, пусть он даже погибнет, если это нужно для утверждения моего «я», — заклинают идеологи современного буржуаз-

¹ Julien Benda. «La France byzantine ou le triomphe de la littérature pure» Paris 1945.

² J.-P. Sartre. «Qu'est-ce que la littérature?» „Temps Modernes“, XVII, 1947.

ного индивидуализма. Существует только мое «я», существуют лишь мои мысли, моя воля, мои поступки.—твердит, шаманя, каждый декадент, считающий себя «избранным».

Какова социальная сущность этого шаманства, какова его политическая роль?

Банкир, который лаконично изрекает: «Я так хочу, потому что это для меня выгодно», быть может, почти ничего не знает о том, что буржуазные идеологи — от реакционных философов XIX века Киркегора и Ницше до Сартра, Монтерлана и Мальро — написали десятки книг, назначение которых философски истолковать, оправдать этот девиз капиталистического хищника, облечь это его изречение в словесный наряд социальной демагогии.

Писания индивидуалистов выражают прежде всего анархистскую психологию капиталистических хищников-авантюристов, психологию той верхушки паразитирующей буржуазии эпохи империализма, которая убеждена в том, что ей «все позволено», и делает изречение «я так хочу» своей социальной и политической программой.

Но индивидуалистическая демагогия также широко пропагандируется среди интеллигенции: интеллигент заражается асоциальной психологией и, порывая все связи с окружающим миром, становится равнодушным к судьбам родины, к судьбам человечества.

Эта социально-политическая характеристика западного буржуазного индивидуализма полностью относится и к антинародной эстетике формализма, пропагандируемой буржуазными интеллигентами-художниками.

Эстетика формализма демагогически возвеличивает затворничество художника, удаляющегося от мира в ветхую, давно окутанную паутиной «башню из слоновой кости». Индивидуалистическая, формалистская демагогия предписывает интеллигенту-художнику порвать все связи с миром. Но, как мы знаем, сама эта идеология вовсе не оторвана от современности. Она действительно не имеет никаких связей с народом, с передовой идеологией и враждебно противостоит им. Однако она в то же время тесно связана с идеологией реакции, будучи ее составной частью. Формалисты убеждают современников и самих себя в том, что они оторвались от земли и существуют где-то во вселенной. Но в действительности они копошатся на земле, в болоте реакции, участвуя в ее борьбе с лагерем демократии.

Формализм культивирует пренебрежение ко всем прогрессивным и национальным традициям освободительной народной борьбы, к традициям классической реалистической литературы. Автор книг «Парадокс о романе» и «История французской литературы» декадент К. Хэдэнс объясняет свое отвращение к «Человеческой комедии» тем, что Бальзак изображал реальный мир, стремился отобразить историю общества.

Андре Жид по этой же причине пренебрежительно пишет в своей книге «Воображаемые интервью»¹ о «Пармской обители», «Красном и черном» Стендаля и о романах Флобера, признавая подлинной литературой лишь интимные письма этих классиков и автобиографические произведения Стендаля. Поль Валери также отказывается считать искусством роман, отображающий окружающий мир. Желанием предать забвению свободолюбивые традиции французского народа порожден афоризм П. Валери: история — опасный продукт, «вырабатываемый химией мозга».

Эстетика формализма извращает назначение искусства, отказывается от его воспитательной роли и подменяет ее пропагандой безидейности, циничного анархизма, интеллектуальной отсталости, опустошенности. Эстетика формализма утверждает такое искусство, которое по самой сущности своей не может участвовать в борьбе народных масс за реализацию их идеалов. Назначение формалистского искусства—искажать смысл человеческой жизни, убеждать людей в бессмысленности, бесплодности исторического развития, то есть духовно разоружать трудящихся.

Пренебрежение к созданным народом духовным ценностям, к прогрессивным традициям неотделимо от презрения декадентов-формалистов к окружающему миру, от их презрительного равнодушия к судьбам родины, человечества. Равно презирая все народы, художник-формалист на этом основании считает себя космополитом. Космополиты-формалисты культивируют равнодушие к национальной независимости—

¹ A. Gide. «Interviews imaginaires». New-York 1943.

духовной и политической. Кто равнодушен к судьбам родины, тот так же равнодушно относится к национальному суверенитету и готов отказаться от него.

Политическое назначение пропагандируемого формалистами «освобождения» от связей с окружающим миром (то есть равнодушия к судьбам родины) таково: художники-формалисты — независимо от того, осознают они это либо не осознают — объективно помогают своим искусством силам международной реакции воспрепятствовать успехам демократии, успехам рабочего движения и социализма, помогают силам реакции поддерживать для этой цели все реакционные элементы в каждой стране.

В современных политических условиях пропаганда против суверенитета народов, оправдываемая космополитической демагогией, как известно, ведется прежде всего американскими реакционерами. Следовательно, «аполитичная» эстетика формализма участвует в демагогической пропаганде, выгодной в настоящее время для американской реакции. «Аполитичность» — это лживая форма, камуфляж, скрывающий реакционную политическую сущность декадентской эстетики.

Пресловутое «новаторство» формалистов в том и состоит, что они так же демагогически используют форму не только в области политики, но и в самом искусстве.

В литературах стран, которые дали миру Байрона и Диккенса, Стендаля и Бальзака, Марка Твэна и Уитмена, ныне комфортабельно расположились декаденты, превратившие творчество в производство идеологического яда, отравляющего сознание людей, и прежде всего интеллигенции. Эти производители яда, применяя новейшие приемы капиталистической борьбы за рынок, стремятся овладеть монополией на художественное творчество. Именно с этой борьбой за монополию связаны вопли формалистов о «свободе искусства», об искусстве «добровольном» и «руководимом». Под «свободой искусства» они понимают, как об этом совершенно верно писал Арагон, свою собственную свободу заниматься реакционной пропагандой и отрицание права передовых писателей выражать их убеждения. Участник Сопротивления, французский поэт Пьер Эммануэль заметил, что именно те, кто стремится руководить искусством, демагогически протестуют против руководства искусством.

Блестяще отвернул реакционным демагогам один из руководителей французских коммунистов Лоран Казанова. В своей речи «Коммунизм, мышление и искусство» Л. Казанова сказал, что те самые идеологи реакции, которые стремятся привести Францию к интеллектуальной анархии и моральному распаду, пользуются путем окольных дискуссий для того, чтобы помочь политической реакции, де Голлю. Они стремятся заставить интеллигентов отвернуться от практического опыта, приобретенного народом в борьбе с фашизмом, и от того, чему этот опыт учит. Художники должны понять, сказал Л. Казанова, что именно силы реакции враждебны свободной мысли; напротив, рабочему классу и его партии свободный полет мысли так же необходим, как свет необходим всему живому.

Л. Казанова говорил о том, что формалистская эстетика и фразеология приняты ныне на вооружение реакцией, ведущей наступление в политике, в идеологии. «Мальро может быть пропагандистом РПФ¹, Мориак может выступать в «Фигаро», а Камю — в «Комба», и никто не вспоминает о священном принципе отделения искусства от политики. Но как только подает голос интеллигент-коммунист... оказывается, что он выступает по приказу и насилует самого себя... Американские фильмы — проводники чужой идеологии — наводняют наши кинотеатры; американские книги заполняют полки наших библиотек... Все это имеет вид хорошо обдуманного предприятия, похоже на попытку выдрессировать французский дух в соответствии с идеологией современного экспансионизма и все это преподносится, как проявление свободы искусства... Но когда коммунистическая партия стремится защитить права французского гения, то это оказывается «политическим расчетом» и «низкой пропагандой».

Демагогия декадентов-формалистов, сказал далее Л. Казанова, особенно опасна **потому**, что и честные художники и «большие умы, которые идут к народу, чтобы

¹ Партия де Голля «Объединение французского народа».

раскрыть перед ним гайны культуры... попадают на удочку» реакционной идеи о независимости искусства от политики.

А. Жид и ему подобные преподносят художникам эту чисто политическую идею в оболочке «аполитичной» формалистской эстетики. И те художники, которые привыкли верить, что эта оболочка, эта облатка не только якобы безвредна, но и необходима для нормального творческого процесса, доверчиво воспринимают вместе с ней и идеологический яд.

2

Лев Толстой в «Анне Карениной» вложил в уста художника Михайлова сжатое, но точное определение сущности формализма. Михайлов знал, говорит Толстой, что под «техникой» «разумели механическую способность писать и рисовать, совершенно независимую от содержания».

Дилетант Вронский был, когда он писал картины, формалистом старого типа. Он не видел содержания окружающей действительности. Он видел лишь традиции классического искусства, «чужую» классическую манеру — и бессознательно, механически подражал ей, подменяя ею конкретное содержание действительности. Это — чисто внешнее копирование, а не подлинная творческая связь с классическими традициями.

Современный формализм отличается от этого «академического», безличного формализма. Современный формализм есть проявление в искусстве буржуазного реакционного антинародного индивидуализма. Художник-формалист оберегает «независимость» своего мастерства, формы, своей индивидуальной манеры видеть мир от содержания — от того, что связывает художника с жизнью народа. Таковы социальные корни стремления художника-индивидуалиста оторвать форму от содержания. свое «видение мира» — от самого объективного мира.

Искусство, для которого «мерой мира» является искусственно изолированный одинокий человек, пренебрежительно относящийся ко всему человечеству, — это и есть искусство, опирающееся на формалистскую эстетику.

Эстетика современного формализма участвует в вековой борьбе двух мировоззрений. Материалистическая философия исходит из того, что объективный материальный мир существует независимо от того, воспринимает ли его существование человек. Материалистическая теория познания утверждает, что человек, воспринимая явления действительности, приходит к все более полному познанию действительности. Субъективно-идеалистическая теория познания, напротив, исходит из того, что подлинное познание мира будто бы невозможно, и что мир будто бы существует лишь постольку, поскольку существует воспринимающий его человек. Такая теория познания — основа эстетики формализма.

Реально и подлинно, по мнению субъективных идеалистов, только субъективное. Датский реакционный философ-мистик Киркегор, объявленный декадентами пророком, писал: «Субъективность — вот истина; только субъективность реальна». П. Валери утверждал: «Реальное — ничто, либо оно бесформенно»; «то, что «усвоено» другим человеком (то есть то, что, таким образом, уже не является чисто субъективным), именно поэтому является и фальсифицированным». Английский писатель Д. Лоуренс (1885—1930), которого современные декаденты считают одним из своих учителей, изрек еще в 1930 году: «Епископ Беркли¹ совершенно прав: вещи существуют только в нашем собственном сознании».

Сколько воспринимающих людей, столько и миров, — провозглашает субъективистская, чисто релятивистская теория познания, на которую опирается эстетика формализма. Эта основа общая и для современного неомеханизма, и для «экзистенциалистской» метафизики Сартра, и для современного неокантианства.

Ленин в своем классическом философском труде «Материализм и эмпириокритицизм» дал глубокий анализ этой теории познания и с исчерпывающей полнотой показал всю ее антинаучность и реакционность.

¹ Беркли (1684—1753) — английский философ, субъективный идеалист.

Художник-формалист, опирающийся только на принцип релятивизма, относительности, якобы подменяет — для собственного удобства — объективный мир, объективно реальное пространство своим собственным пространством, своим «индивидуальным космосом», своим материализованным кошмаром.

Этот индивидуальный мир, будто бы независимый от объективного, обозначен в творчестве формалиста символами, и е р о г л ф а м и, расшифровать которые каждый вправе по-своему, с субъективной точки зрения.

Анархистский принцип личного удобства положен в основу «философии» и эстетики георегика французского сюрреализма А. Бретона, который провозгласил: «Каждый создает свою «систему координат» (то есть, «систему» взаимосвязей с миром.—Я. Ф.) для своего собственного пользования».

Об удобстве подмены подлинного познания условными субъективистскими символами пишет и американский критик У. Ван Коннор. Он, восхваляя современную западную сугубо формалистскую «антипоэтическую поэзию», считает философской базой этой поэзии неокантианскую теорию познания Э. Кассирера, по которой человек «отличается» от животного лишь тем, что животное «приспосабливается к окружающему миру» посредством «системы реакций», в то время, как человек будто бы «открыл новый способ приспособления к миру» посредством «системы символов».¹

Мах для маскировки субъективно-идеалистической сущности своей философии ссылался на новейшие открытия физики. Так же поступают и современные «стыдливые» субъективные идеалисты, защитники эстетики формализма. Для того, чтобы оправдать свое пристрастие к этим «удобным условностям», символам и укрепить свою субъективно-идеалистическую философскую базу, они пытаются спекулировать на значении релятивизма, принципа относительности в современной физике.

Французский декадент-искусствовед Ж. Базен пишет в книге «Сумерки образов» о «сочетании кубизма с квантовой физикой». Жан-Ришар Блок в своей статье, напечатанной во «Французской энциклопедии», приводит высказывание одного из идеологов декадентства, свидетельствующее о том, к каким доводам прибегают ныне для оправдания декадентского релятивизма: «Эйнштейн... предложил считать, что с точки зрения человека все относительно (?)... и ничто в мире не является значительным». Спекулируя на терминах релятивистской физики и безграмотно примитивно толкуя общую теорию относительности, декаденты превращают релятивизм в чистейший нигилизм. Физику А. Эйнштейну, видите ли, предлагают быть крестным отцом хулиганского нигилизма «философии абсурда» Альбера Камю и ему подобных.

Стремясь к бессознательному, мнимому «овладению» миром «во всей его целостности», декаденты поддельваются под то, что французский ученый-идеалист Леви-Брюль называет «магическим» «первобытным мышлением».

3

Заигрывает ли формалистская эстетика с наукой или (что наблюдается гораздо чаще) откровенно заигрывает о своей тесной связи с иррационализмом и мистикой, во всех случаях она пытается воздвигнуть невидимую стену между художником и окружающим его миром. «Софизм идеалистической философии. — пишет Ленин, — состоит в том, что ощущение принимается не за связь с внешним миром, а за перегородку, стену, отделяющую сознание от внешнего мира...»²

Эта ленинская характеристика относится и к формалистской эстетике, базирующейся на идеалистической философии.—к эстетике декадентской живописи, музыки и литературы. Она полностью применима, например, к книге французского литературоведа А. Бегена «Бальзак-духовидец», в которой творчество Бальзака изуродовано на прокрустовом ложе идеалистической эстетики.

¹ «The Journal of Aesthetics and Art Criticism» (Published by the American Society for Aesthetics), September, 1946.

² В. И. Ленин. Сочинения, т. 14, стр. 40.

Бальзак, по мнению А. Бегена, — не реалист, а мистик. В «Человеческой комедии» «зримый мир» — это условная конструкция, «лес символов», за которым нашему взору открывается некий «незримый мир», нереальный, не имеющий ничего общего с объективным миром. Образы Бальзака будто бы, как перегородка, как стена, отделяют сознание великого писателя-реалиста от внешнего мира. Этот обращенный к писателям призыв учиться у «формалиста» Бальзака искусству строить условные, антиреалистические символы — пример «историко-литературной» демагогии формалистов.

Какова техника конструирования «удобных», антиреалистических, субъективистских символов формалистского искусства? Критик французского журнала «L'Arche»¹ пишет об искусстве Сезанна: «Важное открытие Сезанна заключается в следующем: в живописи каждый подлинный предмет должен быть заменен порожденными им признаками, совокупность которых ни в чем не должна совпадать с самим предметом».

Критик журнала «L'Arche» лаконично выразил самую суть понимания искусства всеми формалистами. Формалист «реконструирует» реальные явления действительно, извлекая из них некоторые их качества, признаки, и субъективистски, своевольно, заново комбинируя эти признаки. Таким образом, формалист строит новую «модель», отбрасывая предмет, явление действительности в целом и подменяя его комбинацией субъективно отобранных признаков — махистским «комплексом ощущений». «Тела, говорят нам, суть комплексы ощущений...»², — пишет Ленин о теории познания эмпириокритицизма. Далее Ленин отмечает: «У Маха читаем: «Пространство и время суть упорядоченные (или гармонизованные, *wohlgeordnet*) системы рядов ощущений». Это — явная идеалистическая бессмыслица, неизбежно вытекающая из учения, что тела суть комплексы ощущений. Не человек со своими ощущениями существует в пространстве и времени, а пространство и время существуют в человеке, зависят от человека, порождаются человеком, вот что выходит у Маха».³

Формалисты делают окончательные выводы из этой теории познания и практически применяют ее в своем творчестве. Ограничивая свой кругозор комплексами своих ощущений, формалисты своевольно комбинируют их, конструируя антиреалистические «модели», принадлежащие, по мнению формалистов, к индивидуальному миру каждого из них, а не к объективному материальному миру. В этих экспериментах формалисты и видят сущность и высшее оправдание художественного творчества.

Абстракции современных формалистов отличаются от подлинного художественного обобщения явлений действительности как же, как ложь отличается от правды. Это и антинаучные и антихудожественные, вздорные абстракции, имеющие целью не познание объективной реальности, а искажение ее для удобства формалистов. Формалисты и не помышляют о том, чтобы выводить из конкретного многообразия объективного мира его реальные закономерности. Абстракции формалистов извлекают из конкретных явлений некоторые их качества (например, красочность, объемность, протяженность), а затем разгружают абстрактный «чистый цвет», «чистую линию» от тяжести остальных конкретных качеств явлений реального мира и от столь неприятного формалистам груза реальных взаимосвязей между явлениями.

Формализм сложился как иррационалистическая эстетика «непроизвольного творческого акта», искусства, будто бы основанного только на интуиции. Но в современном формалистском искусстве меньше всего подлинной непосредственности! Это — чисто головное искусство. Формалисты часто больше заботятся о теоретическом обосновании своей эстетики, нежели о самом творчестве. Современный формализм принимает субъективно-идеалистическую теорию познания как некое удобное приспособление, удобную условность. Это приспособление помогает формалистам якобы возвысить форму над содержанием, объявить ее независимой от объективной действительности—

¹ „L'Arche“. Avril, 1947.

² В. И. Ленин. Сочинения, т. 14, стр. 32.

³ Там же, стр. 165.

и, таким образом, помогает им отделить себя от окружающего мира невидимой стеной и трусливо бежать в свой «индивидуальный космос».

4

Защищая свои позиции, формалисты часто обращаются к живописи. Это неудивительно: в живописи формалистская эстетика укоренилась особенно глубоко. Вместе с тем — так как произведение живописи материально, зримо, — обращаясь к живописи, можно особенно наглядно показать антинаучность, реакционность и губительность для искусства эстетики формализма.

На Западе уже довольно долгое время продолжается спор о несуществующих достоинствах модной, сугубо формалистской «абстрактной» живописи. Во французской живописи, — как пишет журнал «Фонтен», — «абстрактное искусство» играет такую же роль, какую в 1910—1920 годах играл кубизм, и «некоторые художники начинают писать ужасающе абстрактно». В Америке «абстрактные картины» (комбинации ничего не изображающих линий и такие же «гаммы» пятен) размножаются ныне, как некие микроорганизмы, — и критики-формалисты объявляют их шедеврами «нового искусства». Даже кубизм ныне переосмысливается формалистами. Как об этом свидетельствует упомянутая выше статья критика журнала «Л'Арш», формалисты считают, что и эстетика Сезанна недостаточно антиреалистична.

Этот спор о современной западной живописи стал дискуссией по основным вопросам эстетики. Поэтому особое внимание привлекают три статьи о живописи, напечатанные в прогрессивном французском журнале «Пансе» («Мысль»). Две из них написаны известным искусствоведам-коммунистом Франсисом Журденом. Третья — критиком-коммунистом Ренэ Мобланом.

Франсис Журден, обращаясь к живописи, стремится сформулировать и проиллюстрировать некоторые положения марксистской эстетики. Он хочет показать, что процесс создания картины диалектичен и подтверждает верность известных философских формул марксизма-ленинизма о том, что в мире нет изолированных явлений, все явления взаимосвязаны и взаимозависимы.

Верное решение этой задачи неотделимо от борьбы с формалистской эстетикой. Но для этого искусствовед должен иметь ясное представление о сущности формализма. Для этого, конечно, исследовательская мысль самого искусствоведа должна быть совершенно свободной от формалистских предрассудков. Статьи Ф. Журдена подтверждают правоту Лорана Казановы, утверждавшего, что и некоторые прогрессивные художники Запада подчас попадают на удочку формалистской фразеологии. Действительно, факты говорят о том, что тот или иной художник-формалист может в области политики, в общественной жизни даже проявлять себя как демократ, как передовой человек. Но вместе с тем он может оказаться отсталым в области эстетики, если он не понимает, насколько вредоносен формализм, и если он верит в то, что искаженность восприятия является будто бы средством обновления искусства. В этом случае художник, — быть может, сам того не понимая, — пропагандирует искаженное, ложное представление о действительности, неизбежно порождающее равнодушие к родине и, в конечном счете, презрение к человечеству. Своим искусством, реализацией своей эстетики такой художник помогает силам реакции (если даже он в области политики не сочувствует реакции и выступает как ее противник). Происходит это потому, что многие художники Запада полагают, будто эстетика «нейтральна» по отношению к политике.

Обязанность марксистской эстетики — раскрыть, проанализировать эти ошибки наших друзей для того, чтобы они могли преодолеть свои заблуждения и предрассудки, покончить со всем тем, что мешает им создавать передовое, народное искусство и бороться с реакционной эстетикой, реакционной идеологией.

Ф. Журден пытается дать марксистский, диалектический анализ связи между компонентами произведения искусства. И, делая уступку предрассудкам формализма,

Ф. Журден заявляет, что, анализируя сущность живописи, он останавливается при этом на явлениях «чисто живописных», обращается прежде всего к «самой природе живописи» и оставляет на втором плане «содержимое повествование» картины — ее содержание.¹

Во второй своей статье Ф. Журден развивает эту же мысль: «то, что изображено на картине» — одно явление, а «способ изображения — другое явление»; «оно несоизмеримо с первым, и оно-то и является искусством в полном смысле слова».²

Таким образом, содержание искусства («содержимое повествование») объявляется чем-то внешним по отношению к сущности искусства. Содержание — «вне» искусства, оно — примесь к крупинкам золота, а «способ изображения», техника, форма — золото, искусство «в полном смысле слова».

Объявив содержание чем-то внешним по отношению к сущности искусства, Ф. Журден восклицает: «Блеск изображения ничем не обязан тому, что изображено на картине». Форма «независима» от содержания. Начав свою первую статью цитатами из трудов Сталина, Энгельса, — Ф. Журден кончает тем, что повторяет «заповеди» формализма. Поэтому он и приходит к выводам, типичным для формалистов.

Если архитектор, утверждает Ф. Журден, зависим от общества, всецело занят нуждами других людей, и его служение обществу благородно, то живописец заслуживает презрения, когда он зависим от привычек других людей, и служение живописца обществу оказывается раболепством, низкопоклонством!³

Живописец, по мнению Ф. Журдена, опережая эпоху, всегда окружен стеной равнодушия современников, не понимающих его произведений, не признающих его. Поэтому и он должен повернуться спиной ко всем современникам, оберегая в неприкосновенности новизну своего языка, своей индивидуальной манеры писать картины.

Критик-коммунист Р. Моблан, отвечая Ф. Журдену, пишет о его «индивидуалистическом и даже анархистском эстетизме»⁴. Ф. Журден заблуждается, заявляет Моблан, одиночество непризнаваемого, непонятого современниками художника — явление строго ограниченное во времени и пространстве, возникшее в XIX веке, в эпоху капитализма, в условиях, неблагоприятных для развития искусства. Рафаэль, Рубенс, Давид не были непризнанными художниками, чуждыми современникам. Художник-индивидуалист — плоть от плоти буржуазного индивидуалистического общества.

Но Р. Моблан, подвергнув серьезной критике ряд положений Ф. Журдена, в дальнейшем противоречит самому себе и, переходя к рассмотрению взаимоотношений между содержанием и формой в искусстве... соглашается с Ф. Журденом. Р. Моблан признает, что социальная, патетическая тематика (например, изображение битвы за освобождение Франции) привлечет несравненно большее внимание народа, нежели натюр-морт (например, изображение вазы для компота или букета цветов). Но он тут же оговаривается: «художественная ценность произведения искусства быть может в какой-то мере независима от интереса, вызываемого сюжетом», ибо «сюжет часто является лишь предлогом для создания картины, в которой художник выражает только свое «я».

И, признав, что содержание — нечто внешнее по отношению к сущности искусства, Р. Моблан принужден признать, что «хорошей живописью», обладающей эстетической ценностью, может оказаться и «изобретение простой комбинации линий и красочных пятен». Ошибка Р. Моблана приводит его к противоречию с самим собою: он эстетически оправдывает те модные абстрактные картины «сверхнезависимых» формалистов, которые ему самому, как смущенно признается он, «не по вкусу».

Абстрактное искусство хорошо охарактеризовал Л. Казанова: среди художников, которым нечего сказать и которые не в состоянии ничего сделать, «есть и такие, что

¹ „Pensée“ № 12 1947.

² „Pensée“ № 15 1947.

³ Там же.

⁴ Там же.

возводят это бессилие в некую доктрину». Л. Казанова, в сущности, ответил Ф. Журдену и Р. Моблану, утверждающим, что хорошо написанная ваза для компота лучше дурно написанного драматического эпизода из истории Сопrotивления. Ф. Журден и Р. Моблан не понимают того, что это просто неверная постановка вопроса. Дурно написанная картина — нехудожественна, она вне искусства. Но слаб, мелок художник, чей «потолок» — изображение вазы для компота (хотя бы и не в декадентском стиле). Пример классического искусства показывает, что только значительное содержание дает жизнь полноценной содержательной форме. Ограничение содержания вазами для компота, свидетельствующее о слабости художника, приводит к вырождению и распаду формы. Сила художника — в овладении значительным содержанием, в овладении им средствами искусства.

Франсис Журден и Ренэ Моблан согласны с тем, что только подлинно научная марксистская эстетика может действительно исследовать природу искусства, взаимосвязь между компонентами произведения искусства, закономерности творческого процесса. Но они пытаются принять участие в этом исследовании, имея ложное формалистское представление об одной из главных закономерностей, которые должна изучить эстетика, — о диалектическом единстве содержания и формы. Они не видят того, что в основе их представления лежит субъективно-идеалистическая теория познания. Поэтому, несмотря на свои самые благие устремления, Ф. Журден и Р. Моблан, сами того не замечая, повторяют банальные афоризмы формалистов.

Например, известный живописец-абстракционист Л. Моголи-Наги в своей статье «В защиту абстрактного искусства»¹ развивает ту же мысль Л. Моголи-Наги объявляет великим новаторским достижением всего формалистского искусства — от кубизма до сюрреализма и беспредметной живописи — то, что это искусство базируется на признании «главенства цвета над «рассказом» (то есть над «повествовательным содержанием» по терминологии Ф. Журдена).

Ф. Журден, обращаясь к живописи, пытается обнаружить в ней переход количества в качество. Он заявляет, что «цвет сам по себе не существует». Но он в то же время пренебрежительно отбрасывает сюжет, содержание. Цвет, пишет Ф. Журден, становится конкретным благодаря его взаимосвязи с другими цветами, пятнами, благодаря контрастам. Ф. Журден ограничивается одним рядом техники, формы.

Между тем, чисто формальные контрасты между пятнами на «абстрактной» картине являются мнимыми контрастами. Эти пятна просто соседствуют, либо образуя декоративную сумму, либо хаотически распадаясь. В подлинном, целостном произведении живописи элементы, цвета, пятна не слагаются механически в некую сумму. В таком произведении количество элементов, цветов, пятен, линий претворено художником в качество (в образ, в изображение тех или иных явлений объективного мира, пронизанное мыслью и чувством художника). Эти элементы, став материальной основой образа, растворяются в содержательной форме, неотделимы от нее.

Оторвав эти элементы от их связи с содержанием, невозможно обнаружить ни взаимосвязь между этими элементами, ни переход количества (цветовых элементов) в качество (в содержательную форму).

О решающем в творчестве художника значении этого перехода писал Репин, рассказывая об уроках, которые он давал Серову. Репин заставлял Серова «строго студировать каждый предмет: калач — так калач, чтобы он и в тени, и в свету, и во всех плоскостях, принимавших рефлексы соседних предметов, сохранял ясно свою материю калача; кувшин коричневого тона имел бы свой гладкий блеск и ничем не сбивался на коричневый кусок хлеба пористой поверхности и мягкого материала». А у современного французского живописца Дерена («Вид из окна») кувшин и груши и даже кувшин и облако выглядят, как сделанные из одного и того же материала. То есть, у Дерена — ложная взаимосвязь между красками и отсутствие подлинного перехода в содержательную форму.

¹ «The Journal of Aesthetics and Art Criticism». December 1945.

Говоря о символистской живописи конца XIX века, Репин писал: «разгадывать эти иероглифы скучно». Кубизм, пуризм, сюрреализм, абстрактная живопись ушли далеко «вперед» по пути превращения живописи в иероглифическое письмо, по пути разрушения искусства, его обесмысливания и обесчеловечения.

В завершенном произведении живописи содержательная форма отражает объективный мир. «...Как освещена светом ветка березы, с какой свежестью окружен воздухом каждый листок и блестят местами капельки росы», — писал Репин об одной картине Куинджи. В формалистском искусстве творческий процесс остается незавершенным; живопись распадается, демонстрируя губительность формализма для искусства.

5

Книга Сиднея Джейнса «Абстрактное и сюрреалистическое искусство в Америке»¹ хорошо показывает, до какого обнищания содержания и распада формы дошла формалистская живопись — варварская, примитивная. Абстракционисты-формалисты уже давно объединились в Париже в группу «Абстрактное творчество, безобразное искусство»; следует прибавить: «и безобразное», — тогда это «искусство» формалистов Арпа, Моголи-Наги, Леже, Брауна, Грэхема и многих-многих других «абстракционистов» будет определено точно. Это даже не иероглифы, а «псевдоиероглифы».

Хаос пятен и линий назван: «Музыка». Такой же хаос на другой картине другого абстракциониста назван: «Птица в лунном свете» и т. п. В поэзии до такого же предельного распада ныне дошли французские «леттристы», которые вопят: они произвели «переворот» в поэзии, в музыке! Абстрагировав звучание и ритм человеческой речи, они подменяют поэзию хаотическим потоком бессмысленных звуков, «очищенных» от связи с человеческим сознанием. «Леттризм» вполне однороден с абстрактной живописью.

В музыке формалисты абстрагируют диссонансы, шумы. «Характерными признаками такой музыки является... проповедь атональности, диссонанса и дисгармонии, являющихся якобы выражением «прогресса» и «новаторства» в развитии музыкальной формы... увлечение сумбурными, невропатическими сочетаниями, превращающими музыку в какофонию, в хаотическое нагромождение звуков.»²

Живописец-абстракционист строит экспериментальные, абстрактные формы, пользуясь в качестве «кирпичиков» контрастами «чистых», ничего не изображающих цветов, такой же «чистой» линией, такими же цветовыми рефлексамии. Композитор-формалист механически строит абстрактную, искусственно усложненную, хаотическую комбинацию из резких, раздражающих слух, неразрешенных диссонансов (часто даже доходя до полной утраты гармонической основы). Когда такой композитор хочет, чтобы его дисгармоническое погрение не было заумным и выражало что-либо, он часто строит его на примитивных натуралистических шумах (например, таково «изображение» отхода поезда в симфоническом произведении французского композитора Онегера «Пасифик»: очень похоже на долго пыхтящий, свистящий и наконец, отходящий паровоз). Один из наших известных певцов заявил недавно, что он воспринимал, как ребусы, вокальные партии, исполнявшиеся им в формалистских операх и являющиеся механистическими, искусственными, головными решениями чисто формальных задач. Ж. Бенда пишет, что декаденты преднамеренно стремятся сделать свои произведения непонятными, замысловатыми, темными—для того, чтобы «доставить читателям удовольствие ломать голову над разгадкой ребуса».

Это превращение музыкальных произведений в ребусы, непонятные народу, связано с космополитическим характером формалистской музыки. Искусство, лишенное национального своеобразия, антинародное, объявляется формалистами космополити-

¹ Sidney Janis. «Abstract and Surrealist Art in America». New York 1944.

² «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели». Постановление ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 года. «Правда» 11 февраля 1948.

ческим. Но оно в равной мере чуждо всем народам. Космополитизм во всем противоположен интернационализму. «Интернационализм в искусстве,—сказал А. А. Ждавов в своей речи о путях развития советской музыки, — рождается не на основе умаления и обеднения национального искусства. Наоборот, интернационализм рождается там, где расцветает национальное искусство. Забыть эту истину — означает потерять руководящую линию, потерять свое лицо, стать безродными космополитами... Нельзя быть интернационалистом в музыке, как во всем, не будучи подлинным патриотом своей Родины. Если в основе интернационализма положено уважение к другим народам, то нельзя быть интернационалистом, не уважая и не любя своего собственного народа».¹

Подобно формалистской музыке, почти вся декадентская литература и живопись как бы представляют собой поток неразрешенных диссонансов, мучительно воспринимаемых читателями и зрителями, «космополитических», то есть чуждых всем народам.

Идею о независимости формы от содержания развивает один из самых известных на Западе композиторов-формалистов Игорь Стравинский. «Я считаю музыку,—пишет Стравинский,—бессильной, по самой своей сущности, выразить что бы то ни было: чувство, настроение, психологическое состояние, явление природы и т. п. Выразительность никогда не была имманентным свойством музыки. Смысл существования последней никоим образом не обусловлен тем, что она что-либо выражает. Если—как это почти всегда происходит — кажется, будто музыка что-то выражает, — это всего лишь иллюзия, но не реальная выразительность».²

По мнению П. Валери «музыка — всемогущая ложь», «музыка есть ложь и отрицание всякой реальности». Поэт-формалист, реакционный нигилист П. Валери сводил сущность поэзии, искусства к опустошенной абстрактности: «Идеям грош цена... Главное — форма», «Форма, конструкция — это своеобразная реальность, а смысл, или идея — это всего лишь тень». Идеал композитора-формалиста Стравинского — та же опустошенная абстракция. Смысл существования музыки, утверждает Стравинский, в том, что она чисто формальным способом упорядочивает отношения «между человеком и временем»: музыка реализует, организует, закрепляет вечно текущее, ускользающее настоящее время, образуя во времени бессодержательную конструкцию из звуков. Построение этой конструкции — единственная задача композитора: «Создана конструкция, налицо упорядоченность, — этим все сказано. Тщетной была бы надежда обнаружить в музыке что-либо другое».

Музыка — цитадель формализма на Западе. Формалистская музыка — идеал для опустошенной абстрактной живописи, для опустошенной литературы. Она диктует законы эстетики формалистской живописи и такой же литературе.

6

Одним из самых сложных, лукавых и политически опасных проявлений формализма в искусстве является псевдопсихологизм современной декадентской литературы.

Декадентская литература субъективистски извлекает из действительности отдельные социально-психологические признаки, давая антиреалистическую картину жизни общества. Из всего разнообразия социально-психологических типов современности декаденты извлекают только те, которые характерны для буржуазии, для анархистствующей буржуазной интеллигенции, для «маленького человека», раздавленного мещанина. Декаденты отбрасывают все, что типично для психологии, для поведения передовых людей эпохи, коммунистов, рабочего класса. Если же они изображают передовых людей, они навязывают им все черты буржуазной психологии. Так поступил, например, А. Мальро в «Завоевателях», выдав за революционера опустошенного авантюриста Гарина, который «носит в себе смерть». Так, демагогически

¹ Сборник материалов «Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б)». М. 1948, стр. 139—140.

² Igor Stravinsky. «Chroniques de ma vie». Paris, 1935.

искаженно, клеветнически изображены коммунисты, антифашисты в «Путях свободы» и «Победителях»¹ Сартра. Об этой особенности декадентской литературы хорошо сказал Чарльз Хамболдт в своей статье о западном романе, напечатанной в американском прогрессивном журнале «Мейнстрим»: эта литература всячески поддерживает «убеждение в том, что буржуазный характер — символ не буржуазии, но человечества», и придает этому характеру «универсальную многозначительность, которой он не обладает»².

Вместе со своим героем эта литература и сама претендует, без всяких на то оснований, на универсальную многозначительность. Например, Сартр пишет: «Экзистенциализм в своей современной форме возник на почве распада буржуазии и по своему происхождению он буржуазен». Но вместе с тем, уверяет Сартр, распад буржуазии может «раскрыть некоторые стороны человеческого удела», результаты этого «раскрытия» имеют общечеловеческое значение, и не следует считать их «иллюзиями буржуазного сознания»³. Так трагическому пессимизму декадентов, выражающему предчувствие либо осознание обреченности капитализма, придается несуществующая общечеловеческая «универсальная многозначительность»: вместо раскрытия удела капитализма — раскрытие человеческого удела вообще.

Тот буржуазный характер, который декадентская литература столь самоуверенно навязывает человечеству, не имеет почти ничего общего с характерами буржуазной классической литературы. Декадентские писатели так же расправляются с психологией человека, как живописцы-кубисты и сюрреалисты — с его внешним обликом.

Каким образом декаденты конструируют свою «модель» человека, имеющую, якобы, универсальную значимость? Формалистская живопись, как и формалистская музыка, придает универсальную многозначительность психическому складу невропата. Декадентская литература также избрала в качестве «модели» современных людей существо асоциальное, психически и нравственно патологическое. Нормой психики человека декаденты объявляют состояние распада сознания.

«Первородный грех», «падение Адама и Евы» — виной тому, — уверяют декаденты, — что все люди грешны, не свободны и несчастны. Этим грехом, — объясняет мракобес белозмигрант Л. Шестов, объявленный декадентами пророком, — было желание Евы вкусить от древа познания добра и зла. Миф о «первородном грехе» и о греховности потомков Адама и Евы — один из поистине анекдотических источников декадентской «идеологии» и эстетики. «Последняя истина, — торжественно сообщает Л. Шестов, — обретается за пределами разума и за пределами того, что может быть постигнуто разумом...» Существо, освобожденное от разума и необходимости познавать, циничное, обретающееся «по ту сторону» добра и зла, — вот постигший смысл жизни, свободный и счастливый человек! Итак, долой разум и да здравствует иррациональное, да здравствует аморальное и патологическое! Идиоты, полудиоты, убийцы, садисты, маньяки выползают на авансцену в произведениях Фолкнера, Сартра, Камю и других декадентских литераторов.

Техника конструирования всех разновидностей декадентской социально-психологической «модели» не сложна. Сознание превращается в алогичный хаотический поток. Вместо процесса развития — бесформенность, раздробленность, неустойчивость (что соответствует дисгармоничности формалистской музыки).

Психика человека охватывает сознание и область подсознательного, разум и импульсы, инстинкты. Декадентский псевдопсихологизм искусственно выделяет только подсознательное, инстинкты.

Вот как характеризует свой эстетический кодекс французский поэт-декадент Анри Мишо: «Никакого управления воображением... Отрывки, отвечая моим потреб-

¹ Пьеса шла на французской сцене под названием: «Les Morts sans sépulture».

² «The Novel of Action» by Charles Humboldt. «Mainstream». November, № 4, 1947.

³ J.-P. Sartre. «Qu'est-ce que la littérature?» «Temps Modernes», XVII, 1947.

постоям, изо дня в день возникают лениво, самотеком, как волны...» И, присоединяясь к сюрреалистам, А. Мишо заключает: каждый может быть поэтом, для этого нужно лишь автоматически записывать все, что диктует подсознание. Так человек подменяется декадентами-формалистами человекоподобным существом с хаотическим, слабо мерцающим сознанием. При этом декаденты, конечно, сочиняют, выдумывают «пассивную жизнь» подсознания, грубо стилизуют ее в соответствии с прописями Фрейда, приписывая человеку садистскую жестокость, стремление к кровосмешению и т. п.

Такова формалистская техника конструирования «модели» сознания буржуазного декадента-невропата, которая объявляется типичной моделью человеческого сознания вообще. Эта техника изображения распада сознания, техника антиреалистического «экспериментального» разрушения сознания вполне соответствует технике уродования и разъятия на части человеческого тела и распада пространства в произведениях формалистов-живописцев.

От подлинного изображения реальных людей, характеров эта литература и эта живопись равно далеки. Ч. Хамболдт верно пишет о том, что процесс распада личности «героев» декадентской литературы обычно настолько близок к концу, что декаденты изображают даже не «драму» распада личности, а уже «руины», и что зрелище этих руин индивидуальности не порождает в читателе никаких чувств, а часто же вызывает и интереса. Эта меткая характеристика декадентской литературы полностью относится и к формалистской живописи.

«Красота будет конвульсивной или ее не будет совсем», — заявил «теоретик» сюрреализма А. Бретон. Американские критики Д. Киммельман и Д. Лоусон правильно указывают на то, что декаденты подменяют характеры — патологией, всеми видами неврозов и психозов, драматизм — болезненным процессом, а эстетику — фрейдистским анализом больного подсознания. С точки зрения декадентов, — пишет Киммельман, — безразлично, как действует литературный герой и действует ли он вообще: он все равно обречен на гибель, так как он всегда просто больной человек. Критики-декаденты, например, приписывают Гамлету физический шок, психоз и манию некрофилии. Хорошо, иронически замечает Киммельман, что драматурги-классики не были психоаналитиками: ведь и они могли бы свести сущность классических трагедий к патологии, фрейдистским «комплексам» и т. п.

Для декадентов характерна бессвязность мыслей, независимых друг от друга. Этот стиль мышления приспособлен для оправдания непостоянства, беспринципности декадентских хамелеонов в сфере идейной, интеллектуальной, моральной, то есть для эстетического оправдания политического ренегатства.

Английский писатель Д. Лоуренс еще в 1930 году изрек: «Человек — это зверь, который стал домашним и способным мыслить» и который «немного ниже обезьяны» именно потому, что он «стал домашним». Таково нищенское, рабовладельческое отношение декадентов к народным массам. Несовершенный, грешный человек — либо дикий зверь, либо домашнее животное. Такова «норма» декадентов.

7

Единство содержания и формы диалектично и не является чем-то статичным. «Содержание без формы невозможно, но дело в том, что та или иная форма, ввиду её отставания от своего содержания, никогда полностью не соответствует этому содержанию...»¹ — отмечает товарищ Сталин. В основе реалистического искусства — стремление к возможно меньшему отставанию формы от содержания объективной действительности, стремление к возможно большему соответствию формы содержанию. В основе декадентского искусства — стремление предельно отдалить, совершенно оторвать форму от содержания, черпаемого из объективной действительности, стремление сделать форму независимой от этого содержания. Лишь такую форму

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. I, стр. 317.

декаденты считают «оригинальной», «новаторской». Формалистское искусство псевдосодержательно и не обогащает сознания читателя, зрителя, слушателя — так же, как «хлеб» из опилок не насыщает. Назначение выдуманной декадентами, оторванной от жизни схематической и лживой формы этого искусства — насиловать, искажать, уродовать содержание, почерпнутое из объективной действительности. Так художник-формалист проявляет то, что он называет своей творческой волей и что он навязывает окружающему миру.

В наиболее примитивном виде эта «творческая воля» выступает в абстрактном искусстве. Один живописец-абстракционист так передает «содержание» своей совершенно бесформенной мази: «Песня кардинала¹, печень, зеркала, которые не отражают, агрессивно геральдические ветви, слюна голодного человека, лицо которого написано белилами»².

Леттрист А. Ламбер сообщает, что «стихотворные» строки леттриста К. Свенсена

Эни лони гезэр
Лон гезюзалони

«повелительно вызывают» в сознании слушателя следующую картину: «низменный серый берег холодного, резкого моря, над которым — серый ноябрьский туман»³.

Один декадентский критик так описывает свое восприятие произведения Поля Клоделя: «Несомненно, прежде всего возникает сравнение с какой-то картиной — кубистской, импрессионистской или футуристской. Предо мной полотно, и я вижу лишь скопление разрозненных, разнородных пятен. Я отдаляюсь, и картина превращается в деревню, в колокольню, в свет: точно так же, когда я просыпаюсь на расвете на незнакомом мне вокзале... скользящие мимо тени, горы на горизонте принимают форму, в которой гармонически выражены необычность моего существа, моя скука, мои бесконечные устремления».

Эстетика формализма предписывает воспринимать произведения искусства как бы в состоянии полусна: предполагается, что подсознание зрителя, слушателя автоматически внесет в произведения искусства любое содержание, любой смысл, — и, таким образом, потребитель формалистского искусства субъективно расшифрует эти зримые и звуковые псевдоиероглифы.

Слово в литературе, как и речь в жизни, по самой своей сущности содержательно. Поэтому предельным выражением формализма в поэзии является не только искажение содержания явлений объективной действительности но и анархистская расправа над содержанием, смыслом слова — разрушение слова. Леттрист С. Александриан заявляет: «Среди трудностей, с которыми сталкивается поэт, когда он пытается по-своему и навеки организовать вселенную, на основе ценности своего собственного отбора и в целях немедленного (а не возможного или будущего) освобождения духа, — проблема языка встает как препятствие, наиболее трудно преодолимое»⁴.

Так как индивидуальный язык, слово без общезначимого содержания — неусуществимый «идеал» маньяков, — леттристы лишают поэзию смысла, «взрывают» слова и заменяют их птичьим языком звукосочетаний, организуя таким образом свою куриную и петушью «вселенную».

Что же является действительным содержанием этих зримых и звучащих псевдоиероглифов?

Абстрактное искусство — это признание художника-формалиста в его капитуляции перед хозяевами современного капиталистического общества. Именно в капитуляции сущность трусливого «бегства» формалиста от противоречий действительности. Формалистские иероглифы, эти сигналы, жесты художника, якобы свидетель-

¹ Имеется в виду птица кардинал.

² Sidney Janis. «Abstract and Surrealist Art in America».

³ „Fontaine“, Octobre, 1947, № 62.

⁴ Там же.

ствующие о его мнимом своеволии, в действительности говорят лишь о его реальной идейно-политической капитуляции перед хозяевами. В этом и заключается содержание абстрактного декадентского искусства. Такому предельно уродливому, обезчеловеченному содержанию особенно трудно найти ясную форму. Неудивительно, что эта форма является еще более отсталой, мертвенной, абстрактной, хаотической, нежели убогое, уродливое, порожденное слабо мерцающим сознанием «содержание» абстрактного искусства. Необычайное измельчание содержания — результат торжества формализма. Пренебрежение содержанием, его уродование порождают не только распад, но и гибель формы. Таков вклад формализма в искусство.

Однако и это «содержание» почти не находит своей формы и остается где-то за абстрактной картиной, за звуковыми иероглифами леттристов — в психологии художника, поэта; оно не выражено пластически, членораздельно. Вот почему зритель, слушатель не обнаруживают в абстрактном искусстве ни содержания, ни формы, а всего лишь некий хаос, отвратительную грязь, оставшуюся в своем первобытном состоянии, — мнимое содержание и мнимую форму.

Более распространенным и более опасным, нежели примитивное абстрактное искусство, является псевдосодержательное формалистское искусство, в котором форма более сложным образом искажает явления объективной материальной действительности. Она либо уродует их (например, уродует облик и психологию современников), либо выступает в роли лживой, мнимой «красоты» и, маскируя реальную уродливость содержания явлений буржуазной действительности, приукрашает их, подобно неживой «красивой» маске на лице урод.

Простейший пример — фашистский «неоклассицизм», который культивировался в итальянской живописи при власти Муссолини. Чаще всего эта лживая «красота» навязывается содержанию объективного мира следующим образом: реальные взаимосвязи между явлениями действительности, общественной жизни подменяются мнимыми, фальшивыми, фантастическими, «мифическими» взаимосвязями.

8

Формалистское искусство — и уродующее мир, и украшающее буржуазную действительность, маскирующее ее уродливость — неизбежно приходит к конструированию лживых «мифов».

Назначение декадентского «мифотворчества» — убеждать людей в том, что будто бы все в жизни каждого человека и в историческом процессе алогично, абсурдно, убеждать в том, что будто бы единственная «взаимосвязь» между явлениями — это та абсурдная, бессмысленная беспричинность событий, поступков, мыслей, чувств, о которой демагогически мрачно вещают пропагандисты реакционных идей. Это — идеи о бессмысленности бытия, о «роковой» греховности, жестокости, порочности рода людского, о благодетельности освобождения от разума и реальных взаимосвязей объективной действительности. Для иллюстрации подобных тлетворных идей декаденты конструируют антиреалистические, искусственные схемы — конструируют свою фальшивую, лживую, «мифическую» форму.

Критик журнала «Л'Арш» объявляет сознательным «мифотворцем» даже Сезанна, в живописи которого происходит — видите ли — не деформирование, а «метаморфоза предмета» и «возникает целая мифология небывалых форм, порожденных естественными формами». Художник-формалист, — сообщает этот критик, — «вдохновляемый своей мечтой, воспекает естественную невероятность». Если молодым художникам, — пишет тот же автор, — «не нравится современный мир, — тем лучше: девственный мир зовет их к себе». Формалист призван «переволлочь измощенный мир и выявить целую страну неведомых форм и красот».

Если мы обратимся к сюжетным картинам Марка Шагала, которого считают родоначальником сюрреалистского течения в живописи, мы убедимся, что мифотворчество — осознанная цель этого художника. Марк Шагал пишет, что, по его мнению, даже кубизм (с его «поисками» четвертого измерения) является «слишком земным».

Следует, — пишет Шагал, — «не только изменять материальный, внешний вид природы, но также изменять и ее внутреннее содержание посредством идеологического творчества, не боясь того, что называют «литературой».¹

Как видим, формалистское искусство, демонстративно отбрасывая сюжеты, порождаемые объективной действительностью, отбрасывая содержание объективного мира и передовую идеологию, приходит к другому, мистическому содержанию и к другой идеологии — к реакционному мифотворчеству, конструирующему фантастический мир. Так М. Шагал и пишет: «Искусство слагается из всего, что отличается от природы не только по своему внешнему виду, но и по духу». И Шагал, имитируя первобытное мышление, поэтизирует фантастические связи между явлениями, фантастическую, нереальную «целостность» мира.

Именно таков смысл введения Шагалом фантастических взаимосвязей в первый вариант его картины «Моей жене» (1933): рыба подает невесте зонтик, облако протягивает ей букет, козлик несется по воздуху с подсвечником. В последнем, третьем варианте картины (1944) те же идиллические «мифические» мотивы повторяются несколько по-иному.

И сюжетное, и бессюжетное, абстрактное формалистское искусство стремится создать мифический «индивидуальный мир» художника — абстрактный мир, оторванный от конкретной исторической обстановки. При этом декаденты охотно прибегают к конструированию мифов, якобы изображающих исторические события, а в действительности подменяющих историю декадентской ложью.

«Философский» роман Симоны де Бовуар «Все люди смертны» — это сгусток реакционнейших идей. Герой романа Фоска рождается в XIII веке и, выпив эликсир бессмертия, живет, не старея, до наших дней. Грубая подделка образов Фауста, Мельмота, Агасфера понадобилась автору для построения нового варианта декадентского мифа о бессмысленности бытия. Фоска подытоживает результат семисотлетней жизни Европы и Америки: все деяния человечества и каждого человека — бесплодны; люди брошены судьбой в тюрьму вселенной, и только смерть освобождает их; все люди тщетно «пытаются существовать», но ощущают лишь «страшную тошноту», вызываемую существованием. Человек должен твердо знать, что он ежеминутно может умереть, и только сознание, что человек существует над бездной небытия, — утверждает Г. де Бовуар, — вносит остроту в его унылую жизнь и делает ее выносимой.

Реакционным мифом является роман А. Камю «Чума», изображающий эпидемию чумы в Оране (действие якобы происходит в средневековье). Победа чумных крыс над людьми — символ абсурдности бытия. А. Камю построил «миф» о неистребимости и торжестве на земле греховности, зла, бесчеловечности, фашизма. Пьесы Ж. Ануйля — мифы о том, что богатые могут всю жизнь быть чистыми, как полубоги или дети, а бедняки обречены погрязать в бесчестии, мучаясь, — только «сладостная», всеблагая смерть очищает их и дает им отдых.

Один из учителей А. Камю, экспрессионист Ф. Кафка стилизовал первобытное и патологическое мышление. Например, он изобразил мистический ужас, страх перед неведомым: человекоподобное существо, спасаясь от страшного мира, все глубже, подобно кроту, уходит в землю, пожирая червей. Та же тема страха перед неведомым более подробно развита в романе Кафки «Процесс», герой которого становится жертвой непознаваемого рока, потому что, — объясняют критики, — этот герой, как и все люди, расплывается, видите ли, за прошлое человечества, за «первородный грех» Адама и Евы. Декаденты считают мифы Кафки идеалом философского искусства. Недавно французская газета «Ле-з-Ар» объявила: «Кафка — символ XX века».

Фантазия — в основе сказочного творчества. Без участия фантазии творчество вообще невозможно. Когда фантазия подчинена гуманистическим идеям, стремлению глубоко познать действительность и заглянуть в будущее, когда она обобщает жизненный опыт народа и выражает мечтания, надежды, чувства, близкие народу, меч-

¹ R. Maritain. «Marc Chagall». New York, 1943.

тания, надежды, любовь и ненависть передовых людей эпохи — тогда рождаются бессмертные образы: гиганты Рабле, химеры Свифта, сказочные образы Горького, сатирические образы Шедрина. Такая зоркая фантазия бичует уродливое, отсталое и гиперболически выделяет передовое в действительности. в тенденциях ее развития. А декаденты-формалисты уродуют и фантазию, навязывая людям ложное представление о смысле человеческого бытия, стремясь запугать людей своими кошмарными мифами и убедить современников в том, что исторический процесс будто бы абсурден и бесплоден.

Подобные мифы конструируют в состоянии «самогипноза» и живописцы. Во всех этих «материализованных кошмарах» сюрреалистов Сальвадора Дали и Макса Эрнста, самолетоподобных гигантских кузнечиках сюрреалиста Ива Танги, крылатых крысолосах американской художницы Доротей Танинг, уродах, которые в ужасе пригнулись, скорчились, стоя под стеклянным колпаком на безлюдной мрачной улице, словно привидевшейся в кошмаре («Ужас в Бруклине» американского художника Л. Гульельми)¹, должно, по мысли художников, присутствовать нечто потустороннее, мистическое, мифическое. Почти все пьесы Сартра—совершенно такие же отвратительные декадентские мифы, как и картина «Ужас в Бруклине».

Еще со времен экспрессионизма и дадаизма так повелось, что изготовители реакционных мифов, призванных устрашать и деморализовать их потребителя, предлагают эти мифы в качестве «левого» искусства. Этими «левыми» фразами также объясняется то, что подчас интеллигенты, действительно настроенные демократически, не видят, насколько реакционно формалистское искусство. В уже упоминавшемся прогрессивном американском журнале «Мейнстрим» помещено воспроизведение серии рисунков из жизни шахтеров. Редакция журнала считает, что рисунки обнаруживают глубокую и растущую связь их автора, прогрессивного художника Филиппа Эвергуда, с рабочим классом и будто бы выражают прогрессивные духовные человеческие ценности. Между тем, это — типично экспрессионистские символы-иероглифы. Рабочие, изображенные в нарочито инфантильной манере, это — уродцы, жалкие, хилые, «раздавленные». Очевидно, подразумевается, что художник будто бы показал, как уродует капитализм рабочих — и этим будто бы выразил свой протест. Но в действительности художник, независимо от его самых благих устремлений, изобразил рабочих по «модели» декадентов-формалистов.

Марксистская эстетика не только отвергает формализм; как составную часть реакционного мировоззрения, но и последовательно борется с формализмом во всех его проявлениях. И по той же самой причине, по которой марксистская эстетика борется с формализмом, «эстетика» партии Леона Блюма приемлет декадентский формализм.

Бельгийский социалист А. де Ман уже давно предлагал использовать немалый опыт католической церкви по театрализации мистики. Этот опыт, как известно, впоследствии по-своему использовали гитлеровцы. И вот критик газеты Л. Блюма «Попюлер», рассказывая о международной выставке сюрреалистической живописи, организованной по принципу некоего мистического Луна-парка («Зал суеверий», зал «Чистилище», зал «Лабиринт»), осторожно пишет: сюрреалисты по заслугам внушают «некоторую симпатию» к себе. «Их фантазии часто занимательны». Затем критик «Попюлер» в той же деликатной форме полностью принимает основное в эстетике сюрреалистов: когда они стремятся «изображать внутренние образы скорее, нежели воспроизводить чисто зрительные восприятия, — они правы»². Комментарии, как говорится, излишни. Все, что может пригодиться реакции, ее подобострастные слуги — правые социалисты, не колеблясь, принимают и оправдывают.

¹ S. Janis, „Abstract and Surrealist Art in America».

² «Le Populaire» 10 июля 1947.

В «Жизни Клина Самгина» Горького есть точное определение назначения иррационалистического формалистского мифотворчества. Поэт-декадент вещает в «литературном» ресторане «Вена»: «Слова уничтожают мысли. Надо уничтожить мысли, истребить... Очиститься в бессмыслии».

К окружающему реальному миру Самгин относится точно так же, как декаденты-формалисты: «Истина с теми, кто утверждает, что действительность обезличивает человека, насилуя его. Есть что-то... недопустимое в моей связи с действительностью» Декадента Самгина, как и современных декадентов Запада, «зрелище ничтожества людей не огорчало», «... он давно уже внушил себе, что это зрелище — нормально». И все же Самгин думал, глядя на парижскую жизнь: «Нужен дважды гениальный Босх, чтоб превратить вот такую действительность в кошмарный гротеск»¹.

Самгин думал так потому, что он, чувствуя холодное раздражение против своей «беспокойной», идущей к революции родины и ненавидя русских рабочих, — побывавельски завидовал спокойному паразитическому существованию французской и немецкой буржуазии, которая, как воображал он, будет так же уютно, удобно, погурмански существовать еще сотни лет, не боясь никаких потрясений.

Самгин ошибся, как ошибался всегда и во всем. Не понадобился «гениальный Босх» для того, чтобы превратить буржуазную действительность в кошмарный гротеск. Эту работу выполняют зауряднейшие современные формалисты, и кошмарный гротеск их искусства порожден — как это «стойчески» констатирует даже Сартр — распадом буржуазии.

Арагон в статье, написанной о выставке картин «Осенний салон 1947 года», сравнивает современную формалистскую живопись с той, основанной на диссонансах музыки, которая стала уже настолько «академичной», что исполнению ее теперь принято обучать буржуазных девиц. Но формалистское искусство совсем не является безобидной забавой. Живописец-формалист, пишет Арагон, запрещает себе изображать, поэт-формалист запрещает себе петь. Они предлагают современникам искусство, не являющееся образным языком, немотствующее искусство, не связывающее людей с реальным миром, а наоборот, встающее преградой между людьми и действительностью.

Формалисты-абстракционисты верят в то, пишет Арагон, что они действуют, выполняя свою собственную волю; «но ищите того, кому преступление выгодно». Анализ эстетики формализма и помогает найти «того, кому преступление выгодно».

Ж. Бенда спрашивает в книге «Византийская Франция»: «Каковы причины неистовства мистицизма, характерного для современной французской литературы и всего французского общества» (речь идет, конечно, только о французской буржуазии). Одна из главных причин такого неистовства, отвечает Ж. Бенда, это «ненависть к демократии»; «культивирование мистицизма возникает в качестве противодействия режиму, который стремится опереться на разум».

Говоря это, Ж. Бенда тем самым отвечает на вопрос: для кого выгодно, чтобы литература была асоциальной и аморальной.

Ж. Бенда прав: такая литература служит интересам реакции. Декадентская литература подменяет мысли, образы, анализ — ощущениями, инстинктами и т. п. не для того, чтобы просто уйти от социальных и моральных проблем, а чтобы решать их, сознательно ложно, искажая действительность, принижая человека, пропагандируя реакционнойнейшую идею о бесплодности всех деяний человечества, и прежде всего — передовых людей эпохи. А именно это особенно выгодно для реакции. Совершенно очевидно реакционное политическое «воспитательное» назначение этой демагогии, этого стремления превратить и художников и тех, кто воспринимает их искусство, в полуживотных со слабо мерцающим сознанием. Морис Торез в своем докладе на XI съезде

¹ И. Босх — нидерландский художник XV века; его ныне называют «сюрреалистом XV века».

французской коммунистической партии сказал именно об этом: «Финансовая олигархия может сохранять свое господство, лишь развращая сознание, обрекая его на бессилие, проповедуя индивидуализм и интеллектуальную анархию».

Ж. Бенда в сущности пишет о том же, когда он возмущается «полным отсутствием человеческих чувств» в декадентской литературе, «изгнанием человеческого благородства» из нее. Это изгнание человеческих чувств и благородства из литературы, заключает Бенда, обусловлено не только мертвенным эстетизмом декадентов, но и холодным расчетом реакционеров, восстающих против демократического мироощущения. Империалистическая реакция не просто враждебна подлинно человеческим чувствам и благородству лагеря демократии. Она страшится проявления этих чувств, осуществления этих благородных идеалов в социальной жизни. Поэтому она и пропагандирует бесчеловечные чувства, циничное отношение к миру.

Ж. Бенда сам повторяет фразы декадентов, когда он пишет, что человечество относится к литературе, как к бесполезной роскоши. Так относится к искусству вообще не человечество, а лишь современная паразитическая буржуазия. Это она диктует законы эстетики художникам, которые стремятся сделать карьеру, подчиняясь вкусам господствующего класса. Формалисты, заявляя, что они будто бы восстают против господствующих вкусов, в действительности рабски подчиняются им. Это буржуазия культивирует не только бесполезное, но и вредоносное формалистское искусство. Это она сминает таланты на губительный для искусства путь асоциальной, бесчеловечной эстетики. Создавая искусство, отвечающее уродливым вкусам буржуазных меценатов, художники изменяют традициям реализма. А реакция заинтересована в том, чтобы декадентские сорняки разрослись и задушили реалистическое искусство. Ведь реалистическое искусство неизбежно приходит к разоблачению чудовищной фальши капиталистического строя, неизбежно — в той, или иной мере — выражает протест против бесчеловечности капиталистических отношений, подчиняющих людей власти денег, протест против авантюризма империалистов. Именно поэтому такие «меценаты», как хозяева Голливуда и их покровители, культивируя садистские темы, одновременно преследуют режиссеров, сценаристов и артистов, тяготеющих к реализму.

Империалистическая реакция боится реализма, потому что она боится правды. Старейший декадентский писатель А. Жид рекомендует своим ученикам: «Забиться только о форме; чувство само собой наполнит ее. Прекрасное жилище всегда находит жильца. Художник должен только построить жилище; читатель вселит жильца». Но какого «жильца» привлечет это «жилище», какие чувства и мысли должна вызвать в читателе эта опустошенная декадентская форма? На «жилище» А. Жида, на здании реакционной декадентской эстетики высечены циничные афоризмы Поля Валери: «Ни в одном произведении искусства нет искренности», «Выражение подлинного чувства всегда банально» и еще более циничный афоризм самого Андре Жида: «Особенно блистательным искусство бывает в эпохи, отмеченные торжеством лицемерия. Лицемерие — одно из условий, необходимых для развития искусства». Лицемерие, которое порождает лживую форму, искажающую содержание явлений объективной действительности, неотлично от лицемерия, с каким американские и английские реакционеры объявляют, к примеру, что греческий политический режим угнетения народных масс, фашистских концлагерей, беззакония является подлинной демократией. Эстетика лицемерного, ядовитого формалистского искусства неотделима от психологии и идеологии современной реакционной буржуазии, объективно подчинена интересам реакции.

Маркс писал о том, что условия капиталистического общества неблагоприятны для развития искусства. Условия современного империализма несравненно более неблагоприятны, нежели те, в которых творил современник Маркса — Бальзак. Западный художник может спасти свой талант от гибели, только мобилизовав всю силу своего разума, свое вдохновение, свою волю — для борьбы и с эстетикой лживого реакционного искусства, и с породившими эту эстетику социальными условиями, столь губительными для искусства, — для борьбы с капиталистическим строем.



ЖИЗНЬ И БОРЬБА ЮЛИУСА ФУЧИКА

(Дипломная работа студентки 5-го курса Московского университета)

НИНА НИКОЛАЕВА

★

Нина Николаева—студентка 5-го курса Московского университета. Ей 22 года. В нынешнем году она заканчивает курс славянского отделения филологического факультета. Публикуемая нами статья на тему «Жизнь, творчество и борьба Юлиуса Фучика» является ее дипломной работой. Тема эта никем еще не разработана, и дипломница проявила своим выбором смелость и самостоятельность. В книге Фучика «Репортаж с петлей на шее» Нина Николаева увидела документ эпохи и, защищая свою тему, показала себя политически активной советской студенткой, которая ищет в своей работе прежде всего связи с современностью, большого идейного смысла.

По условиям места работа Н. Николаевой печатается в сокращенном виде — не все то, что подлежало рассмотрению, обусловленному академическими требованиями, вошло в этот вариант. Сокращения коснулись, главным образом, главы о Фучике-критике, в которой Н. Николаева дает обширный материал и подробное исследование положения в чешской критике, предшествовавшего работам Фучика. В этой главе автор убедительно, на конкретном разборе наиболее значительных критических работ о Божене Немцовой (классике чешской литературы), так же как и работ, посвященных творчеству другого известного чешского писателя XIX века — Зайера, показывает, что Фучик одним из первых внес в чешское литературоведение метод марксистского исследования и что в сегодняшнем возрождении литературной жизни в Чехословакии работам Фучика-критика принадлежит почетная роль.

В упомянутой главе «Фучик-критик» сохранено полностью то, что относится к этюду Фучика об измене Карла Сабинны. В этой работе наиболее выразительно проявляется Фучик — революционный трибун. Он всегда, и на посту писателя, помнил прежде всего о своем долге коммуниста и свои литературные выступления посвящал прежде всего тому, что служит народу в его современной борьбе.

«Репортаж с петлей на шее», напечатанный в № 12 «Нового мира» за 1946 год, вызвал у советских читателей большой интерес к биографии и деятельности замечательного чешского коммуниста. Однако нет еще работ, которые достаточно полно удовлетворили бы этот интерес. Помещая статью Нины Николаевой, редакция имеет целью отчасти восполнить этот пробел.

ОТ АВТОРА

В этом году я оканчиваю университет. Позади пять лет учебы на филологическом факультете. Впереди большая и увлекательная работа советского литературоведа. Но прежде чем получить почетное звание работника советской литературы, необходимо отчитаться за все годы учебы, проведенные в университете. Таким отчетом является дипломная работа — первая большая самостоятельная научная работа каждого выпускника.

Еще на четвертом курсе я начала подыскивать тему. Мне хотелось в своей первой работе откликнуться на те задачи, которые поставлены перед советскими литературо-

у нашей коммунистической партией, нашим народом. Это было мое горячее желание, это был мой долг, долг комсомольца, выпускника советского университета.

Моей основной специальностью является чешская литература и чешский язык. Много интересных и значительных тем можно выбрать из богатой истории славянской литературы. Немало замечательных писателей и поэтов вышло из среды чешского народа. Исследований советских литературоведов о чешской литературе еще очень мало. Впереди непочатый край дела. Потому я долго думала над выбором темы.

Выбор сразу был сделан, когда я прочла «Репортаж с петлей на шее» Юлиуса Фучика. Я решила свою работу посвятить этому замечательному писателю-коммунисту. Юлиус Фучик, завещавший нам пример революционного подвига, заслуживает, чтобы советская молодежь изучила его литературное наследие. Я поставила себе задачей исследовать творчество этого талантливого писателя, журналиста и критика.

Я читала книгу Фучика и думала, что роднит его образ с героями моей родины, что так притягивает к себе? Зоя Космодемьянская, комсомольцы непокоримой «Молодой гвардии», Юлиус Фучик — это люди нового склада, совершенные и красивые, выросшие на идеях коммунизма. Их духовная сила и красота воспитаны коммунистической партией, это люди твердой закалки, люди, скроенные из особого материала.

Фучик близок мне, как верный друг моей Родины, понявший нашу героическую советскую действительность и полюбивший ее.

Целый год я посвящала собиранию материалов о жизни и творчестве Юлиуса Фучика. И чем больше я узнавала, тем дороже становился он мне. Я полюбила своего героя.

Слова Юлиуса Фучика из «Репортажа с петлей на шее» глубоко запали мне в душу: «Об одном прошу тех, кто переживет это время, — не забудьте! Не забудьте ни добрых, ни злых! Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас. Придет день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут говорить о великой эпохе и безыменных героях, творивших историю. Мне бы хотелось, чтобы все знали, что не было безыменных героев, были люди, которые имели свое имя, свое лицо, свои мечты и свои надежды, и поэтому муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю. Я хотел бы, чтобы все они навсегда стали близки вам, как друзья, как родные.

Тысячи героев пали! Полюбите хотя одного из них, как сыновья и дочери, гордитесь им, как великим человеком, который жил для будущего».

Юлиус Фучик сам больше всего любил хороших людей и был счастлив, когда они отвечали ему тем же. У него была здоровая жажда жизни, он умел ценить все прекрасное, чем богата жизнь человека. И потому он так деятельно боролся против того, что омрачает жизнь, против врагов свободлюбивых народов. Юлиус Фучик был замечательно цельным человеком.

Он на деле доказал свою преданность и верность идеалам борца за коммунизм.

Он любил нашу страну, страну победившего социализма, и одна из лучших его книг — это книга о Советском Союзе.

Он любил свою родину — Чехословакию и боролся за ее счастье. Он любил свою профессию журналиста и всю энергию отдавал работе в коммунистических газетах и журналах.

Он любил свою жену Густину. И замученный до полусмерти в фашистском застенке, он каждый день пел ее любимые песни, вкладывал в них все свое чувство, которое не ослабело ни от каких невзгод. Как прекрасна была их совместная жизнь и борьба во имя общих интересов! Как гордо и смело, идя рука об руку, ступали они по дороге жизни. Пять лет тому назад глаза Фучика закрылись навек. Мучительно больно.

Но Фучик писал: «Пусть печаль никогда не будет связана с нашим именем». И он был прав. Гордость и радость за Человека прежде всего чувствуешь, когда думаешь о героях борьбы с фашизмом. Нет уныния в наших слезах, но — гнев и ненависть к врагам человечества, мира и демократии.

Мне захотелось рассказать, каким человеком был Юлиус Фучик, чтобы образ его звал всех вперед по той же дороге, по которой шел он, — по дороге к коммунизму, к всеобщему счастью.

Хочется рассказать и о том, что Фучик был не только пламенным борцом за свободу, но и веселым, простым человеком, которому не чуждо ничто человеческое. Рассказать, что он очень любил стихи, множество которых знал наизусть, любил природу, спорт, увлекался хоккеем.

Обязательно нужно, чтобы люди узнали обо всем этом и о том, что он обладал редким и блестящим талантом критика-публициста и за свою недолгую жизнь сделал много ценного для развития родной чешской литературы.

То, что я знаю о Юлиусе Фучике, мне хочется рассказать всем, чтобы все полюбило его и, полюбив, не забыли.

Страница из истории

...в тяжелые годы господства фашизма в Европе коммунисты оказались надежными, смелыми, самоотверженными борцами...
И. В. Сталин

29 сентября 1938 года был подписан позорнейший документ современности — Мюнхенское соглашение «четырех»: Чемберлена, Гитлера, Муссолини и Даладьё об оккупации Германией некоторых жизненно важных областей Чехословакии.

27 декабря 1938 года правительство Берана, которое уничтожало все демократические институты и организации и прокладывало дорогу Гитлеру, распустило коммунистическую партию Чехословакии.

29 января 1939 года Верховный суд отверг протест Запотоцкого, Клементиса и Ивана Секанжы против роспуска компартии и лишил мандатов коммунистических представителей в парламенте и сенате.

Но коммунистическая партия Чехословакии ни на минуту не прекращала своей деятельности. Она начала создавать крепкую подпольную организацию, которая выдержала во время оккупации жесточайшие преследования и пришла к победе. Центральный Комитет партии провел реорганизацию партии сверху донизу. Было решено, что весь старый руководящий состав партии во главе с Клементом Готвальдом покинет Чехословакию и организует борьбу за пределами родины. Для руководства подпольной партийной организацией в Чехословакии был создан новый Центральный Комитет, состоявший из Эдуарда Уркса, Отты Сынека, Виктора Сынека, Эмануэла Климы, Яна Зики и Франтишка Тауссига.

Все они пали в борьбе. Погибли в неравном бою и все члены второго ЦК, в состав которого входил Юлиус Фучик, чье имя теперь стало символом бесстрашия, мужества и великой преданности делу коммунистической партии. Их уж нет более среди нас, но память о них будет вечно жива в народе, интересам которого они посвятили всю свою жизнь.

С уходом партии в подполье председателем партии был избран Эдуард Уркс, безукоризненно честный и верный делу партии человек. До Мюнхена он был заместителем редактора «Руде право», центрального органа компартии Чехословакии, и членом ЦК партии. Это был один из самых крупных чешских философов-марксистов. Уркс стал во главе партии во время самой тяжелой борьбы с немецким фашизмом и до конца выполнил свой долг.

Перед первым подпольным ЦК стояла трудная задача — в чрезвычайно сложных условиях перестроить всю работу партии, разбить ее на мелкие звенья, обеспечить связь, создать подпольную печать и наладить организацию распространения подпольных изданий.

После мюнхенской капитуляции чешская реакция начала наступление по всему фронту. Она всевозможными способами распространяла геббельсовскую пропаганду, которая вознамерилась сломить волю народа и лишить его способности сопротивляться немецким захватчикам. Но коммунистическая партия организовала контрпропаганду. В первых своих листовках, отпечатанных подпольными типографиями, и в своих первых нелегальных радиопередачах она звала народ к сопротивлению. И народ встретил — 15 марта 1939 года — немецких оккупантов с нескрываемым гневом и презрением.

Немецкие оккупанты знали, кто является их самым непримиримым и активным врагом. Поэтому уже 15 и 16 марта были арестованы десятки тысяч коммунистических руководителей и рядовых членов партии. Удар был тяжелым, но не смертельным — партия уже ушла в подполье.

Коммунисты возглавили борьбу против немецких захватчиков. В жесточайшей борьбе не на жизнь, а на смерть они выбывали из строя один за другим, завешая оставшимся в живых высоко держать знамя свободы, продолжать начатую вместе борьбу с немецкими поработителями за независимость родной страны, за лучшее будущее человечества.

В феврале 1941 года был арестован Эдуард Уркс. Целый год держали гестаповцы Уркса в тюрьмах, но сломить его волю им не удалось. Даже из Панкраца—этой гестаповской цитадели — он пытался связаться с руководством чехословацкой компартии. Перед смертью Уркс написал письмо, которое свидетельствует о его непреклонности и верности коммунистической партии.

«Мои дорогие!»

Я не уверен, удастся ли мне с вами еще когда-нибудь увидеться. Поэтому я хочу вам написать, по крайней мере, эти несколько слов — на прощанье.

Луиза, милая, не печалься обо мне. То, что случилось, должно было случиться. Помни, что я всегда держался так, как велела мне моя большевистская честь, — так, чтоб и ты могла гордиться мною, чтобы мог гордиться мною мой сын.

Ришку воспитай в моих принципах, чтобы из него вырос твердый большевик. Ришечка, будь умным и старайся разобраться в жизни. Будь опорой маме и хорошенько изучи книги, которые я тебе оставляю. Как только ты вырастешь, ты поймешь, ради чего жил твой папа. Будь всегда здоров!

Луиза, милая, передай привет Клеме¹ и скажи ему, что я сделал все, что только мог, чтобы и после нашего ареста сохранить партию. Скажи ему, что до последней минуты я буду с любовью вспоминать о партии, которая так воспитала меня, что я в самый тяжелый свой час не потерял достоинства члена и руководителя партии.

Целую вас, мои Луиза и Ришечка, и вас, папа, мама и Губерт, и тебя Рихард, и всех остальных. Будьте здоровы!

Честь труду!

Ваш Эдо»

В феврале 1941 года был арестован весь первый подпольный Центральный Комитет. Только одному Гонзе Зике удалось избежать ареста. Он тотчас же позаботился о том, чтобы организация не осталась без инструкций, — начал выпускать «Руде право».

В другом месте взялся за ту же работу руководитель окружного комитета партии Ян Выскочил. С Выскочилом установил связь Юлиус Фучик. Вместе они подготовили первомайскую листовку (1941). Зика и Фучик стали искать друг друга. Вскоре им удалось связаться, и они создали новый Центральный Комитет.

Во второй подпольный ЦК вошли Ян (Гонза) Зика, Юлиус Фучик и Ян (Гонза) Черный. Обязанности были распределены следующим образом: Зика занимался вопросами организации партии, Фучик — политическими и вопросами печати. На Черного была возложена задача подготовки вооруженного восстания и руководство саботажем, стачками и диверсиями.

Во время деятельности второго подпольного ЦК в борьбу против гитлеровской Германии вступил Советский Союз.

В Чехословакии это событие было ознаменовано большим подъемом волны народно-освободительного движения. Чешский народ знал, что настал решительный период войны, что победа может притти только с Восточного фронта.

ЦК правильно понял обстановку и решил, что «партия должна непосредственно включиться в борьбу, организовать внутренний фронт против оккупантов, вести против них партизанскую войну, причем не только собственными силами, но и силами всего народа».

Партия организовала в это время множество боевых выступлений против нацистов. В июне 1941 года было проведено много стачек в знак солидарности с борьбой советского народа. Самая большая забастовка была организована на Вальтровском авиационном заводе. В ней приняли участие одновременно две тысячи рабочих. Огромное количество диверсий было организовано на железнодорожном транспорте.

¹ Клементу Готвальду.

ЦК коммунистической партии Чехословакии развернул блестящую агитационную кампанию. Газета «Руде право» в каждом номере приносила известия о забастовках в форме военных сообщений — «С фронтов мировой войны против Гитлера».

В связи с годовщиной смерти Ленина Юлиус Фучик пишет программную передовую статью.

«Мы любим мир, и поэтому мы боремся!»

Мы, коммунисты, любим жизнь. И поэтому не колеблясь пожертвуем собственной жизнью, чтобы пробить дорогу для действительно свободной, полной и радостной жизни в истинном значении этого слова. Жить на коленях, в оковах, рабстве и кабале — значит не жить вообще. Это лишь недостойное человека жалкое прозябание.

Смеет ли настоящий человек, смеет ли коммунист примириться с такой жизнью? Смеет ли малодушно покориться поработителям и корыстолюбцам? Никогда! Поэтому коммунисты и не шадят ни сил, ни жертв в борьбе за действительно свободную, поистине человеческую жизнь...

...Мы, коммунисты, любим свободу. И поэтому, ни минуты не колеблясь, добровольно подчиняемся строжайшей дисциплине своей партии, военной дисциплине армии товарища Ленина, чтобы достигнуть полной свободы, которая была бы достойна своего наименования, свободы для всего человечества.

Свобода нескольких одиночек, свобода грабежа для одних и «свобода» голодной смерти для других — это не свобода, а наоборот, порабощение большинства. Смеет ли коммунист примириться с таким положением, смеет ли примириться с какой-то особой идиллией такой «свободы»? Никогда! Поэтому коммунисты не шадят ни сил, ни энергии в борьбе за действительно свободу, свободу для всех...

Кроме «Руде право», определявшего основную политическую линию борьбы и бывшего центральным органом партии, выходило еще несколько нелегальных газет и журналов, которые всевозможными способами агитации завоевывали для борьбы различные слои населения. Они пробуждали в народе сознание, что отечественный фронт не менее важен, чем открытая вооруженная война с немцами. Журналы боролись, главным образом, против страха и уныния, которые угрожали чешскому народу во время военного положения и гейдриховского террора. Это были нелегальные «Ческе новины», «Дельничке листы», «Табор», «Свет проти Гитлерови», «Ческа жена» и др.

Особенной популярностью и любовью пользовался «Трнавечек» — боевой сатирический и юмористический ежемесячник, который Фучик почти целиком делал сам. Он разоблачал геббельсовскую пропаганду, зло и дерзко смеялся над немецкими властями, вливал в народ бодрость и оптимизм. Фучик собирал для «Трнавечка» анекдоты о Гитлере, которые рассказывались в народе, сам придумывал сатирические эпиграммы, рисовал карикатуры.

Все эти нелегальные периодические издания выходили всегда регулярно и быстро. Так, приказ товарища Сталина от 23 февраля 1942 года первые «подписчики» читали уже 24 февраля.

Ни перед тем, ни после не издавалось столько нелегальной литературы, как при Фучике. В этот же период Фучик издал в подпольных типографиях «Конституцию СССР» и «Историю ВКП(б)».

Фучик прекрасно наладил работу. Он имел «собственных корреспондентов» не только в Праге, но и в Пльзни, в Берлине, Турции, Швеции, Румынии и Швейцарии. Он получал из всех этих мест военную и политическую информацию. Кроме того, Фучику удавалось добывать интересующие его сведения о прискках нацистов из самых достоверных источников — из немецкого генерального штаба.

Он лелеял мечту издавать нелегально свой любимый журнал «Творбу», который он редактировал с небольшими перерывами почти десять лет, но, хотя первый номер и был уже готов к изданию, увидеть Фучику свое любимое детище не удалось. Его арестовали.

Время журналистской деятельности Фучика в период войны можно считать самым плодотворным. Никогда еще до того ему не приходилось настолько использовать свои дарования. Здесь, как нигде, Фучик проявил себя талантливейшим организатором и блестящим коммунистическим журналистом. Его пламенные строки проникали в самое сердце каждого честного человека.

Одновременно с расширением своей пропаганды ЦК призывал население бойкотировать официальные газеты. По сообщению «Свет против Гитлеров» продажа самых популярных ежедневных газет упала в среднем на 70 процентов. И, что особенно интересно, редакции этих газет были завалены демонстративно возвращаемыми им экземплярами.

Подпольный ЦК компартии совершил великое историческое дело — ему удалось создать единое сплоченное движение сопротивления, национально-революционное единство всего народа.

16 сентября 1941 года состоялось историческое заседание ЦК компартии Чехословакии, на котором было принято решение о создании широкого национально-освободительного фронта. В решении было сказано: «Мы будем твердо стоять за единство всего народа и никому не позволим его расколоть ни теперь, ни в будущем».

ЦК партии подписывает вместе с Maffie (так называлось центральное руководство отечественного сопротивления) воззвание ко всему народу, в котором говорится: «Каждый будет расцениваться в свободном государстве по его участию в борьбе за свободу народа».

Второй подпольный ЦК вел компартию до апреля 1942 года. В апреле ЦК был арестован. Все его члены погибли от рук палачей.

За шесть лет оккупации сменилось пять составов Центрального Комитета коммунистической партии Чехословакии. Партия потеряла 42 члена ЦК, целое молодое поколение партийных руководителей, прекрасных, мужественных и талантливых товарищей, среди которых можно назвать Шверму, Уркса, Зику, Климу, Фучика, Крейчего, Кржижку, Брунцлика, Тауссига и др.

Компартия Чехословакии потеряла за время оккупации более двадцати пяти тысяч своих старых кадровых членов. Но, несмотря на такие тяжелые погери, партия ни на минуту не прекращала своей работы, своего сопротивления фашистам, своей мужественной борьбы в глубоком тылу противника. Коммунисты победили, ибо нет силы, которая могла бы им противостоять.

Рудольф Сланский в своем докладе на VIII съезде чешской компартии в марте 1946 года сказал:

«Мы сожалеем о той большой потере, которую понесла наша партия, но вместе с тем мы и восхищаемся бесконечными случаями героизма и мужества наших павших бойцов. Их не сломили даже самые страшные мучения, они отказывались отвечать даже когда знали, что этим могут спасти себе жизнь».

Прочтите только книгу Юлия Фучика «Репортаж с петлей на шее». В ней Фучик пишет, как бесчеловечно его мучили, хотели заставить его говорить. Он снова и снова бит и так истязуем, что находится на волоске от смерти. Но в эти минуты он вспоминает о Первом мая в Москве и сознает, что вместе с ним миллионы людей борются в последней битве за свободу человечества. «Я один из них», — восклицает Фучик».

Юлиус Фучик написал прекрасную книгу о борьбе коммунистов за свободу, книгу о мужественных борцах за счастье человечества, о людях с железной волей и негибаемым духом, до конца преданных своему делу.

Юлиус Фучик — один из многих тысяч участников движения сопротивления в Чехословакии, один из верных солдат всемирной многомиллионной армии коммунистов, борющихся за торжество справедливости на земле.

Юлиус Фучик воплощает в себе все черты нового человека, человека новой социалистической эры.

Юлиусу Фучику, чье имя с гордостью произносят все, кто борется с реакцией под знаменем идей коммунизма, я посвящаю эту работу.

Биография

Война застала Юлиуса Фучика в полном расцвете сил. Ему было всего 36 лет, он обладал исключительным здоровьем. Был он очень жизнерадостен и всюду приносил с собой веселье, радость и смех. Он любил жизнь во всех ее проявлениях: и борьбу, и песни, и весну, и хоккей.

Юлиус Фучик родился 23 февраля 1903 года в Смихове, одном из старейших промышленных районов Праги. Все впечатления его раннего детства связаны с жизнью среди рабочих. Отец Юлиуса, Карел Фучик, был металлистом на машиностроительном заводе Рингхоффера и членом «Смиховских театров», на сцене которых он часто пел.

Юлиус тоже с самого раннего детства играл в театре небольшие роли, и это доставляло ему великое удовольствие. Сохранился семейный портрет, где смеющийся Юлик снят в театральном костюмчике.

В 1912 году отцу Юлиуса Фучика предложили петь в Городском Пльзенском театре, и в Пльзень переехала вся семья. Благодаря новой работе отца Юлиус получает возможность часто бывать в театре, где он и проводит все свои вечера.

С самых ранних лет проникся Юлиус Фучик беспредельной искренней любовью к искусству. В семье его интересы находили сочувствие. Вся семья его отличалась большой музыкальностью. Отец пел, а дядя Юлиуса был известным чешским композитором.

От отца Юлиус унаследовал любовь к песне. Песня сопровождала Фучика всю жизнь. Он пел и когда радовался, и когда грустил, как поет птица, песней утверждая свое бытие. С песней не расстался он и в конце своей жизни. Пел в тюрьме, ожидая суда, пел и после вынесения смертного приговора.

С детства у него обнаружили и литературные способности. В тринадцать лет он был уже редактором двух школьных журналов, причем почти всегда он их писал один, под разными псевдонимами, и сам иллюстрировал.

Учился он в реальном училище. Отличался хорошими успехами. Особенно любил историю, много читал. В пятнадцать лет Юлиус Фучик уже писал под псевдонимом в сатирическом журнале Карла Чапека «Небойса».

В 1921 году он переехал в Прагу, чтобы поступить в университет. На философском факультете Пражского университета он изучает философию, чешскую литературу, историю искусств. Из профессоров на него наибольшее влияние оказывают Ф. Кс. Шальда и Зденек Неядлы.

В университетские годы своей жизни Фучик проявляет необыкновенный интерес к социалистическому движению. Он настойчиво изучает социальные науки и классиков марксизма. В университете он вступает в коммунистическую студенческую организацию, в работе которой он принимает активное участие, и вскоре становится ее руководителем.

Фучику приходилось не только учиться, но и работать. Йиржи Вайль так вспоминает свое первое знакомство с Фучиком:

«Однажды между нами появился Юлик. Он учился на философском факультете. Но содержать себя ему приходилось самому. Он где-то копал канавы и приходил весь испачканный. Быстро умывался и бежал на премьеру — он был театральным референтом социалистического ежедневника. Платили там немного».

Юлиус Фучик в это время сменил множество профессий и специальностей: был спортивным тренером, домашним учителем, рабочим на строительстве, даже живой уличной рекламой. Последняя профессия ему, правда, не удалась. Однажды он должен был изображать карандаш какой-то фирмы. Он должен был ходить по улицам, привлекая внимание покупателей. Но вдруг он увидел кого-то из своих знакомых и остановился с ним поговорить. Разговор двух знакомых перешел в жаркий спор о проблемах социализма. Сбежались люди, чтобы послушать, как хорошо «карандаш» рассуждает. Дело происходило на перекрестке, и вскоре из-за большого стечения народа должно было остановиться уличное движение. Полиция составила протокол, и перед Фучиком навсегда закрылись двери рекламных бюро.

Жил Фучик в свои университетские годы на недостроенной даче. Обстановка была очень простая — стол, кровать и библиотека, которая постоянно росла. Фучик жил впроголодь, перебиваясь с хлеба на воду, но книги покупал. Книги были одной из самых сильных его страстей. Он в течение своей жизни потерял несколько прекрасных библиотек, но всегда начинал сначала. Всегда у него из кармана горчала какая-нибудь книга, всегда он интересовался всеми новинками.

Жить было трудно, тяжело доставался кусок хлеба. Но это была только одна сторона жизни. А другая была радостная и свободная. Еще оставались стихи и книги, собрания и демонстрации. Впереди была борьба и победа. Еще можно было любить и мечтать. Дружья Фучика помнят его и в то время веселым и энергичным, «с широкой его улыбкой и двумя рядами белых красивых зубов».

Фучик многим казался «романтиком и идеалистом», потому что он не заботился о своей карьере, не дорожил деньгами, хотя у него их никогда много не было, умел отказывать себе во многом необходимом, хотя не был аскетом. Он очень любил все красивое, и красивые вещи, и цветы, как любит их каждый, а может быть даже и больше. Но не каждый может себе в этом отказать. Фучик отличался тем, что всегда имел собственное мнение, не раболепствовал перед авторитетами.

В журнале «Авангард» Фучик познакомился со многими прогрессивными журналистами. Издавал журнал Иван Секанина, видный коммунистический деятель. Журнал отличался боевым наступательным направлением. Фучик писал в нем о чешской литературе и выступал в своих первых полемических статьях против господствующих реакционных литературных течений. Дружья сумели каким-то образом обеспечить Фучику место редактора литературного журнала «Кмен»¹, органа союза чешских издательств. Фучик был уже известен своими коммунистическими настроениями и своими острыми политическими статьями. Поэтому удивительно, как это дирекция издательства согласилась его принять.

Редактировать журнал подобного рода представляло немалую трудность. В нем должны были печататься только рефераты и рекламные рецензии о книжных новинках. Такие условия как будто бы исключали всякую возможность критики. Но Фучик постарался найти выход из положения. В редакционных статьях, набранных мелким шрифтом, которые не привлекали большого внимания издателей, Фучик разрешал себе «вольности». Его «примечания» от редакции мало чем отличались от тех статей, какие он писал до этого в «Авангард», они имели тот же боевой характер. Фучик вел наступление даже на государственные органы, защищая свободу слова и печати.

Осенью 1928 года в Прагу приехали советские поэты Александр Безыменский, Александр Жаров и Иосиф Уткин. «Государственные умы» в министерстве безопасности решили, что их присутствие угрожает спокойствию страны. И русские писатели должны были уехать обратно.

И из всех тогдашних «свободных» газет и журналов об этом позорном факте заговорил единственно «Кмен», рекламный орган 22 издательств. «Кмен» выступил остро, строго и безоговорочно, как это было вообще в характере Фучика.

Из других выступлений Фучика в это время можно назвать его полемику с Арне Новаком, реакционным чешским критиком. Полемика была очень принципиальной. Шла борьба двух мировоззрений — буржуазного и коммунистического. Последнее имело в лице Фучика хорошего защитника и пропагандиста.

В это время Фучик вступил в члены литературной группы «Деветсил», возникшей в начале 20-х годов в Праге. В эту группу входили передовые поэты и прозаики молодого поколения, группировавшиеся сначала вокруг журнала Зденека Нееды «Вар», а затем создавшие собственную литературную группу под названием, смысл которого не всем должен был быть ясным. В условиях тогдашнего режима приходилось маскировать иногда свои основные принципы, чтобы иметь возможность легального существования.

«Деветсил» — растение, известное у нас под названием мать-и-мачеха. У чехов же существует еще другое название для этого цветка, помимо «деветсила»,

¹ Журнал «Кмен» издавался в 1926—1928 годах.

которое по-чешски понимается, как «большевик», и так же звучит. Названием группы ее члены совершенно ясно и определенно заявляли о своих взглядах и своей ориентации. В группу вошли передовые молодые литераторы. Большинство деветсилловцев были коммунистами. Именно здесь начали свою литературную деятельность такие впоследствии знаменитые писатели, как В. Незвал, Волькер, Сайферт, Карел Тайге, Галас и критики Вацлавек, Пиша. Повседневню деветсилловцы вели борьбу за победу прогрессивных идей, рассказывали народу правду о сегодняшнем дне. Деветсилловцы издавали в Праге «Диск» (1923—1925), а в Брно — «Пасмо». Затем с 1927 года пражская группа деветсилловцев стала издавать «Ред» («Ревю Деветсил») (1927—1931).

Вся печать деветсилловцев представляла большой интерес для самых широких читательских масс. Она отличалась глубоким идейным содержанием. В глаза бросалось всегда красивое, оригинальное оформление. Так, например, номера «Пасмо» выходили на разноцветной бумаге, с многочисленными иллюстрациями. Каждый номер издавался на нескольких языках: французском, русском, немецком, чешском, английском и др. Произведения членов «Деветсила» часто печатались отдельными сборниками.

Фучик был одним из самых молодых членов группы, но принимал в ее работе деятельное участие. Он писал предисловия ко многим деветсилловским сборникам. Писал в деветсилловские журналы. Проповедывал те же идеи и в своем журнале «Кмен».

В литературную группу «Деветсил» Фучика привлекли социалистические взгляды деветсилловцев. Литературные же вкусы этой группы Фучик хотя и разделял, но увлекался ими недолго. Он очень быстро отошел от конструктивизма и формализма многих своих товарищей по этой группе, и одним из немногих в то время стал на путь пролетарского искусства.

С 1927 года Фучик сотрудничает в «Творбе», журнале, освещающем вопросы литературы и искусства, издаваемом профессором Шальдой.

Летом 1927 года Фучик едет отдохнуть в Бретань, на морское побережье. Поселяется он там в бедном рыбацком поселке. Быстро ему удается завоевать любовь и уважение рыбаков. Жизнь рыбацкая была тяжелой, рыбаки еле-еле сводили концы с концами. Нередко возникали поэтому волнения. Юлиус Фучик не замедлил вмешаться в борьбу. В чужой стране он руководил демонстрацией и участвовал в столкновении с полицией. Такой поступок был для Фучика вполне естественным. Ведь противоречия между угнетателями и угнетенными здесь были те же самые, что и в его родной стране.

Вернулся Фучик домой как ни в чем не бывало. Все обошлось благополучно. Ему удачно удалось избежать ареста и высылки. Дома он продолжал прежнюю работу. Полемики в «Кмене», демонстрации, собрания.

Тогда нелегко было стоять в оппозиции к господствующему режиму. В 1927 году было сформировано на коалиционных началах второе правительство агрария Швеглы. Оно проводило политику крупной чешской буржуазии, которая стремилась к экономическому и политическому господству в стране. Объединение чешских, немецких и словацко-венгерских буржуазных национальных партий для совместного правления было следствием резкого обострения классовых противоречий в стране. Правительство блока аграриев и клерикалов проводило жестокую политику стабилизации капитализма. Реакция в стране заметно усилилась.

В эти годы наблюдается заметный упадок литературной жизни. Многие журналы закрылись, многие находились накануне закрытия. Издатели были очень недовольны Фучиком. Ему уже нельзя было больше оставаться в «Кмене». Слишком уж он раздражил всех своими острыми литературными полемиками. Но уволить Фучика не успели. В 1928 году «Кмен» перестал существовать, и Фучик перешел на работу в «Руде право».

В «Руде право» ему на этот раз долго сотрудничать не удалось. Вскоре «Руде право» было запрещено властями (1928).

Еще в 1923 году правительство провело «закон об охране республики», на основе которого буржуазия сильно ограничила свободу печати, собраний и слова. В 1928 году буржуазия снова повела наступление против демократических институтов и организаций. Главный удар обрушился на коммунистическую партию. Путем подкупов, репрессий и других мероприятий полицейского порядка реакции удалось привлечь на свою сторону некоторых неустойчивых людей. Внутри партии организовалась ликвидаторская группа, которая захватила две крупнейшие газеты в провинции: «Свобода» в Кладно и «Ровность» в Брно. В Праге полиция закрыла центральный орган коммунистической партии «Руде право». Запрещены были какие бы то ни было коммунистические печатные органы.

Партия в такое трудное для нее время должна была остаться без печати. Нужно было вести коммунистическую пропаганду в чем-нибудь другом органе. Это был единственный выход из положения.

У Фучика возникает остроумный план — попросить у своего университетского профессора Шальды его журнал «Творбу». Фучик хорошо был знаком с Шальдой еще в те времена, когда писал свои статьи в «Авангард». Еще тогда они начали свою полемику о вере угольщиков, как называл Шальда марксизм. Шальда любил молодежь и особенно таких горячих и принципиальных молодых людей, как Фучик. Они дискутировали между собой не только на страницах печати, но и всегда при личных встречах. Рассказывают, что это обыкновенно происходило так: Шальда встречался с Фучиком и просил, чтоб тот его «просвещал». Фучик излагал свои взгляды, а Шальда иронизировал. Постепенно атмосфера накалялась, спор разгорался и иногда затягивался до поздней ночи.

Марксизма Шальда не понимал, но был демократом.

К некоторым вещам у них с Фучиком было одинаковое отношение. Оба не любили прагматистов и имели одного общего врага в литературе — Пероутку¹.

Во время сотрудничества в «Творбе» Фучик познакомился с Шальдой еще ближе.

Когда Фучик, а вместе с ним Йиржи Вайль и Йосеф Гора отправились к Шальде, он выслушал их внимательно. План, который Фучик предлагал, был очень прост. Коммунисты будут писать в журнале, а подписывать будет Шальда.

— Ну, а кого посадят в тюрьму, если вы напишете что-либо неугодное властям?— спросил Шальда.

— Вас, — отвечал Фучик. — Другого выхода нет. Если мы будем подписывать журнал сами, его немедленно закроют.

Шальда все-таки согласился, правда, с одним условием, что редактировать «Творбу» будет не кто иной, как Фучик.

С первых же дней на «Творбу» была возложена боевая и ответственная задача — заполнить брешь, образовавшуюся в центральной коммунистической печати. За короткое время журнал превратился в политический боевой орган масс, по-ленински освещающий все события, в той или иной мере затрагивающие интересы рабочего класса Чехословакии. В короткий срок «Творба» уже имела большое для своего времени количество подписчиков: 10 тысяч.

С самого начала в «Творбе» преобладали актуальные политические статьи, политические очерки, фельетоны, сатира. Иллюстрации и юмористические рассказы способствовали массовому успеху журнала. «Творба» успешно конкурировала со многими тогдашними журналами, несмотря на то, что у нее не было почти никаких финансовых средств. Авторы «Творбы» могли рассчитывать на самый жалкий гонорар, имена их замалчивались в буржуазной печати или обливались грязью. Журнал вел постоянную борьбу с цензурой, которая беспощадно преследовала его, выбеливала целые страницы.

И несмотря на все эти трудности, Фучику удалось создать передовой и новый по духу боевой журнал. Он заставлял думать своих читателей, показывал им изнан-

¹ В 1948 году Пероутка был исключен из Союза чешских журналистов за свою деятельность, направленную против Народного фронта.

«ку чехословацкой «демократии», звал их к борьбе. Вся эта пропаганда велась в форме репортажа из жизни безработных, фотоснимков и иллюстраций, которые выделялись своей оригинальностью и убедительностью.

Коммунистическая партия и прежде пыталась издавать массовые культурные журналы, например, журнал «Пролеткульт», редактируемый Станиславом Косткой Нейманом. Но эти попытки не имели успеха. «Творба» была первым таким журналом, который читался в самых бедных халупах и во всех рабочих поселках.

Фучик в своей «Творбе» воспитал целое поколение молодых журналистов. Как уже было сказано, гонорар был нищенский, но многие, особенно из молодежи, любили писать в «Творбу», потому что только в ней они могли высказывать прогрессивные мысли.

Фучик заботливо и чутко относился к молодым начинающим журналистам, настроенным прогрессивно. Он всегда думал о воспитании новых бойцов для грядущих битв за свободу. Он всегда любил молодежь.

Немало теплых слов в своем «Репортаже с петлей на шее» он посвятил юной коммунистке, бесстрашному своему соратнику, Лиде Плахе, которая, пройдя через все ужасы и опасности военных лет, дожила до радостных дней победы и донесла до нас последние слова Юлиуса Фучика. Много юношей и девушек впервые вступили на путь революционной борьбы, увлеченные примером своего старшего друга Юлиуса Фучика.

Друзья Фучика вспоминают, сколько времени и внимания уделял он молодым авторам. Принесет бывало какой-нибудь начинающий журналист с замиранием сердца свою статью Фучику. Фучик всегда внимательно прочтет ее. Отметит ее хорошие стороны, например замысел, выбор темы, но скажет, что в таком виде ее нельзя предложить читателю. Скажет так, и тут же вместе с начинающим журналистом начнет переделывать статью, слово за словом, строчку за строчкой. Другой редактор бросил бы неудачную статью под стол, но Фучик был не обычный редактор, он был чуткий, отзывчивый человек, который любил всем помочь и страстно желал указать молодежи правильную дорогу жизни. Статья зачастую полностью переделывалась. Молодой автор наглядно убеждался в правильности замечаний редактора. В следующий раз он приходил к Фучику уже более уверенно. Статья его была более зрелой, целеустремленной.

Изо дня в день, под влиянием общественных сдвигов, вырастали в чешском народе люди, новые глашатаи идей коммунизма. И в том, что теперь в Чехословакии так сильна печать компартии, есть и доля труда Юлиуса Фучика, одного из первых и самых страстных чешских коммунистов-агитаторов. Школа Фучика очень заметна в статьях некоторых современных чешских передовых журналистов. Человека из «Творбы», говорят в Чехословакии, можно узнать безошибочно.

Под редакцией Фучика «Творба» стала одним из самых значительных по своему влиянию культурно-политических журналов.

В 1929 году Фучик одновременно редактирует и «Руде право» (является членом редколлегии газеты). В «Руде право» Фучик остается до последних дней своей жизни.

В 1929 году Фучик участвует в крупной забастовке горняков в Духцовском районе и издает там нелегальный журнал.

В 1930 году Юлиус Фучик получает приглашение приехать в Советский Союз. Рабочие города Фрунзе Киргизской республики послали в Чехословакию приглашение четверым рабочим и одному журналисту. Рабочие Праги выбрали из своей среды четырех товарищей, а в качестве журналиста был избран Юлиус Фучик. Рабочая делегация должна была поехать в Советский Союз, чтобы привезти оттуда самый ценный дар — правду о Советской стране, правду об историческом ее развитии, о жизни и работе советских людей.

В те дни вся капиталистическая печать была наводнена клеветой, оскорблениями и фальшивыми измышлениями о Советском Союзе. В то время, когда почти все капиталистические страны переживали экономический кризис, в нашей стране социализма

был необыкновенный подъем в промышленности и сельском хозяйстве. Пятилетка не давала спокойно жить заграничным капиталистам. Газеты, стоящие на службе у капитала, захлебывались от клеветы. Так, чехословацкая газета «Пржитомност» писала, что «пятилетка является не планом, а анархией бешеного темпа», что «широкие круги населения Советского Союза очень мало верят в целесообразность этого грандиозного предприятия» и т. д.

Рабочие знали цену буржуазной печати, но достоверными фактами о Советской стране они почти не располагали. Приглашение пришло очень своевременно.

Рабочие решили съездить посмотреть и рассказать правду. Но это оказалось не так-то легко. Когда они пошли в полицейское управление с просьбой выдать паспорта, им отказали. На их заявлении была наложена резолюция: «Запретить в целях общественной безопасности».

Делегация решила ехать без паспортов. Перейти границу, преступить закон, но все-таки в Советском Союзе побывать. Им удается обмануть бдительность приставленного к ним агента полиции, и 30 апреля 1930 года они выезжают в СССР. Много километров идут пешком, перебираются через границу, еще несколько дней пути — и они в Москве, столице социалистического государства.

Делегация пробыла в Советском Союзе полгода, она побывала во всех крупных городах нашей страны, ее европейской части и Средней Азии.

И когда в августе 1930 года Юлиус Фучик вернулся в Прагу, он привез свой дар правды, прекрасной правды о Советском Союзе. Он ездил на собрания трудящихся в разные уголки Чехии и Словакии. За год он сделал более ста докладов о Советском Союзе. Он рассказывал рабочим и крестьянам о советских людях, отвечал на тысячи вопросов, полемизировал с врагами Советского Союза и защищал социалистическое строительство с большим знанием дела. Он прекрасно оперировал фактами и знал их достаточно много.

Не раз бывало, что собрание, на котором говорил Юлиус Фучик о советской стране, именем закона разгонялось, а о Фучике писались донесения в полицейское управление. В 1931 году на одном из таких собраний в Костелицах Фучик был арестован и осужден на четыре месяца тюремного заключения. Фучик огорчился, главным образом, из-за того, как он пишет в письме к Курту Конраду от 18 августа 1931 года, что у него была еще не окончена книга, которую он писал о Советском Союзе — «В стране, где наше завтра является уже вчерашним днем»¹.

Книга Фучика о Советском Союзе представляет собой, как он сам выражается, исторический репортаж, ибо он в ней дает несколько очерков из нашей истории 1917—1930 годов. Самые значительные из них посвящены обороне Царицына, строительству Сталинградского тракторного завода и коллективизации села Воронцовка.

Фучик посетил Москву и Ленинград, а также Поволжье, Украину, Донбасс, Кавказ, Таджикистан, Казахстан. Ему довелось увидеть Днепрострой, Сталинградский тракторный завод, северокавказский совхоз «Гигант».

Но нельзя сказать, что книга Фучика посвящена только нашим достижениям. Фучик довольно подробно пишет и о наших затруднениях. Их тогда еще было у нас много. Фучик приехал в Советский Союз в те дни, когда в стране только начиналась великая сталинская стройка, крестьянство только еще становилось на путь коллективизации, еще действовали кулаки и много зла чинили враги народа — троцкисты.

Недостатки того времени товарищ Сталин назвал на XVI съезде партии «трудностями роста, трудностями подъема, трудностями продвижения вперед».

Фучик их воспринимает точно так же.

«Советская нужда — это не лохмотья на дряхлом и искалеченном теле нищего. Советская нужда — это платье на теле ребенка, который из него вырастает. Смотришь на него: штаны по колена, в плечах жмет, рукава по локти. Ну, парень, беда, еще немного и все лопнет на тебе, вырастает ты из своих детских штанишек... но...

¹ Julius Fučík. «V zemi, kde zítra již znamená včera». Nakladatelství Svoboda, Praha 1947.

Да, но как вырастаешь! Ты набираешь силы, мужаешь, какой ты уже крепкий, статный парень. Совсем вырос, ты уже больше не ребенок, ты уже мужчина. Смотрите-ка, совсем взрослый мужчина!

И уже не видишь узенькие брючки и пиджачок, который грозит лопнуть по всем швам, видишь только его молодую сильную фигуру, широкую грудь и ноги, на которых он крепко стоит».

Фучик рассказывает такой случай.

Делегация ехала на сталинградский Тракторстрой. Трамвай неожиданно остановился. Остановка оказалась продолжительной. Понемногу трамвай стал пустеть. Люди взглядывали на часы и уходили. Сопровождавший делегацию рабочий предложил им дальше пойти пешком.

— Что, разве это конечная остановка? — поинтересовались они.

— Нет, линия подходит к самому Тракторстрою. Только сейчас току нет. В это время обыкновенно току не бывает.

Фучик делает одно из своих первых наблюдений:

«Не скрывают. У них еще много недостатков, но на все есть ответ: будет!»

Так они говорят и показывают на то, чего раньше не было и уже есть. И ты сам проникаешься их уверенностью, понимаешь, что их вера не наивная, знаешь, что так и будет!»

Не все члены делегации так же быстро, как Фучик, поняли нашу жизнь, нашу правду. Был в составе делегации крестьянин из Моравии по фамилии Догнал. Как только вступил он на советскую землю, его не покидала хитрая, недоверчивая улыбка. Он не расставался со своей записной книжкой, в которую вносил всякие, на его взгляд, компрометирующие Советский Союз факты. Когда делегация приходила куда-нибудь на фабрику, на завод, он очень любил расспрашивать обо всем, но свое мнение всегда стремился «резервировать». На вопросы русских рабочих о его впечатлениях он отвечал с явной неохотой или вообще не отвечал. Он-де не специалист. Плохо разбирается и т. д.

Но этот человек менялся на глазах у товарищей. Все реже играла на его лице хитрая, недоверчивая улыбочка. Он перестал предлагать коварные и подозрительные вопросы. Однажды он даже пожелал выступить перед рабочими ростовского Сельмашстроя. И он сказал рабочим, что раньше не мог даже представить себе, как это можно уничтожить разницу между городом и деревней. Считал, что деревни беднеют из-за развития городов. Но увидел колхозы, совхозы—и понял, что в Советском Союзе скоро не будет разницы между городом и деревней. И всюду люди будут жить в одинаково хороших условиях. Он кончил свою речь так:

«Я научился различать два города: ваш город и город богатых. Раньше я знал только город богачей и ненавидел его. Теперь знаю и вас и пойду с вами. Вы дали свободу крестьянам этой страны. Вы им даете машины, и тем самым вы их вторично освобождаете от изнурительного труда и невежества, которые из нас, крестьян, делают рабочий скот. Собственными глазами, товарищи, собственными глазами я убедился, что вы, рабочие, работаете для нас, крестьян. Пойду и скажу всем дома: они работают для нас, и если мы хотим жить, то должны идти вместе с ними».

Фучик рассказывает, что никто из членов делегации не удивился такому выступлению товарища Догнала:

«Мы были уже третий месяц в Советском Союзе. Позади остались хлопковые совхозы Средней Азии, колхозы Поволжья и коммуны Северного Кавказа. Там, в полях без межей, в бесконечных полях пшеницы, ржи и хлопка, было посеяно и взошло зерно восторга нашего крестьянского делегата».

Советская действительность, которую узнали Фучик и его товарищи, произвела на них огромнейшее впечатление. Фучик навек стал другом нашей страны.

Его восхищали наши достижения. Страна шла огромными шагами по пути прогресса. Из отсталой аграрной страны Советский Союз превращался в страну индуст-

риальную. Мелкие крестьянские хозяйства объединялись в мощные колхозы. Ликвидировалось как класс кулачество. Благополучие трудящихся масс росло.

Но больше всего Фучик восхищался нашими людьми, их энтузиазмом, самоотверженностью, целеустремленностью и политической убежденностью. Фучика всегда люди интересовали более всего. И говорит он о них с наибольшим воодушевлением.

Фучик рассказывает о наших ударниках производства, блестящих темпах строительства пятилетки, о социалистическом соревновании, которое обеспечивает этот темп строительства, о коммунистических субботниках и высоком культурном росте населения.

Учитывая, что эта книга не переведена на русский язык, я позволю себе привести из нее два отрывка, в которых Фучик говорит о творческом энтузиазме наших людей.

В обоих отрывках идет речь о строительстве Сталинградского тракторного завода.

29-й год. В Москве принято решение расширить Тракторный завод имени Дзержинского в Сталинграде и довести производительность тракторов до 40 000 ежегодно. Рабочие не хотят терять ни одного года. Через несколько месяцев начнется строительный сезон. К нему должно быть все готово. Нужно переделать все технические расчеты. Работа тяжелая, не менее чем на 5 месяцев. Инженеры берутся сделать ее за 5 недель.

«Сталинград ходит на цыпочках и прикладывает палец к губам:

Тише. Работают.

Через пять недель обещали инженеры дать новый проект. На них смотрят сто тысяч рабочих. Дадут?

Двенадцать инженеров начали работать с улыбкой. Мне рассказывал один из них, что они не очень верили в то, что им удастся выполнить свою задачу. Но на них смотрел весь Сталинград. В его глазах был восторг и ожидание.

Рейсфедеры мелькают по миллиметровой бумаге, карандаши делают и возводят в степень цифры, которые должны стать железом.

Неделю спустя кажется, что папиросы плохо закуриваются. Что в рабочих комнатах слишком жарко. Снимают пиджаки утром и надевают их снова лишь через двенадцать часов. Потом—через четырнадцать. Затем через шестнадцать. К концу третьей недели в рабочих комнатах горит свет в течение всей ночи. Лица побледнели. Только улыбка осталась, но теперь это улыбка победителей.

Проект переделан. Планы нового завода готовы. Двенадцать инженеров выполнили свое обещание не за пять недель.

Они выполнили его за 25 дней!»

Второй отрывок.

.. Была зима. Необходимо было застеклить тракторный завод. 18 тысяч квадратных метров. Вся страна строилась. На стекольщиков был большой спрос. На комсомольском собрании завода было решено овладеть специальностью стекольщиков.

«Тракторстрою нужно триста стекольщиков, а имеется только один. Но это уже не стекольщик, а учитель, специалист. Он долго упирался, жалел стекло, потом потер руки, стукнул по коленям.—Посмотрим! Его ученики—из Комсомола. Парни и девушки. Первый день—теория. Но нет времени на теорию, когда в открытых цехах свистит ветер. Они неловко берут в руки листы стекла, месят замазку, орудут алмазом. На другой день они уже лезут по каркасу. Пятнадцать метров над землей. Ртуть в термометрах упала до 25 градусов. Руки краснеют и синеют, наконец уже совсем теряют чувствительность, как будто на них рукавицы. Чёрт возьми, рукавицы! Если бы они были! Но их нет, руки опухают, не хотят слушаться воли молодых добровольных стекольщиков, которые учатся в лихорадочной работе.

Мороз выжигает глаза. Ничего не видно из-за слез. Упадешь? Не упадешь? Внизу бегают старый стекольщик-учитель, советует, помогает, остерегает, кричит. На мгновение у тебя закружится голова, но стекло уже на месте и замазка больше не стынет в руке, а уже плотно пристала к стеклу. 18 тысяч

квадратных мегров стекла вставили в железные рамы новых отделений Тракторостроя. Один стекольник и триста парней и девушек из Комсомола.

Книга Фучика о Советском Союзе имела и имеет очень большое значение. Самое основное ее достоинство заключается в том, что в ней рассказана сущая правда о Советском Союзе. Фучик хорошо знал, что каждое справедливое сообщение о Советском Союзе может расцениваться, как революционное оружие в руках пролетариата. Вот что он пишет в предисловии книги, обращенном к трудящимся Киргизской АССР:

«Не хочу лгать ни словами, ни молчанием. Кто познал ваше строительство и нашу борьбу, тот не может лгать. Правда Советов— это не сказка о свете и тьме. Если бы я стал лгать, меня бы никто из наших не понял. Потому, что рабочий не верит в чудеса. Если бы наша делегация вернулась со сказками, то, наверно, мы не почувствовали бы, при первых же попытках поделиться своими впечатлениями с рабочими, удары полицейских дубинок; не разогнались бы наши собрания, не подвергались бы конфискации наши статьи, их бы не запрещали; потому что рассказы о стране, существующей в волшебном пустом пространстве, совсем не опасны.

... Мы видели в Советской стране рабочих, которые создают новый мир, создают новое социалистическое общество. Не таинственные сверхчеловеческие существа, а рабочие, не волшебство, а руки, мозолистые рабочие руки создают этот новый мир с любовью и энтузиазмом и создают его только в Советском Союзе и нигде больше в целом свете. Эти руки, которые сейчас сжимают рычаги машин и поворачивают рули тракторов, на фронтах революции и гражданской войны завоевали свое право на свободную жизнь. Борьбой, страданием, жизнью своей они платили за освобождение. Тяжелой работой, жертвами платят они за свое строительство. Но они уже победили и видят результаты своей работы. В их руках находится благополучие, которое неустанно растет».

Фучик хочет для своей страны такого же светлого будущего, каким является наше настоящее. Он мечтает о повторении в его стране нашей истории, начатой 1917 годом. Книга Фучика о Советском Союзе—это призыв, обращенный к чешским рабочим, идти по правильному пути, по дороге к коммунизму.

Фучик говорит, что если встать на перекрестке двух миров, социалистического и капиталистического, и поставить там указатели, то на них нужно написать: «Дорога к жизни» и «Дорога к смерти».

«Советский Союз идет по первой дороге. Если мне удастся правильно рассказать о ней, то моя книга будет отрезком вашей истории. Для нас она будет призывом», — пишет Фучик в предисловии к своей книге.

Книга Фучика ценна не только ее богатым идейным содержанием. Она еще к тому же написана нарядко оригинально и занимательно.

Наряду с яркими зарисовками из жизни советских людей, достойными пера большого художника, Фучик в своей книге часто приводит статистические данные и даже диаграммы. И надо сказать, что приемы такого рационального убеждения отнюдь не мешают эмоциональному восприятию. Одно дополняет другое. Фучик как раз достигает наивысшей убедительности и большого эмоционального воздействия.

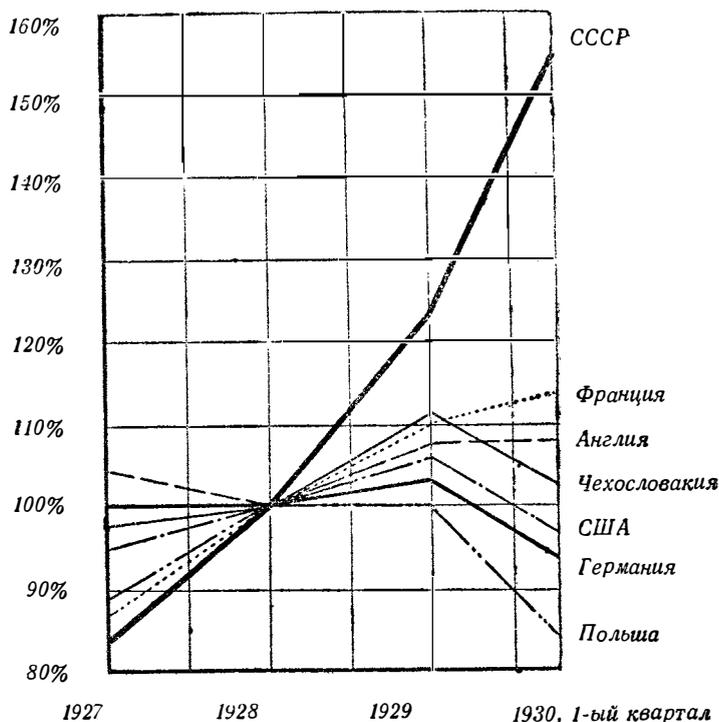
Очень интересно строит свою книгу Фучик композиционно. Сначала он рассказывает, как трудно было рабочей делегации выехать в Советский Союз. Как им, наконец, категорически запретили это сделать, и законно ставит вопрос: почему? «Почему рабочие Чехословакии должны жить в полном неведении о стране, которая стоит в центре событий современности и о которой каждый говорит на свой лад?»

На этот вопрос он отвечает следующей главой: «Потому». Он приводит диаграмму развития главных отраслей тяжелой промышленности в Польше, Германии, США, Чехословакии, Англии, Франции и Советском Союзе за 1927--1930 годы. Эту диаграмму он берет не из какого-либо советского журнала. Он приводит

диаграмму немецкого «Института исследования конъюнктуры», который несомненно должен внушать буржуа доверие.

Эти линии вычертила рука немецкого экономиста, которого вряд ли можно обвинить в пристрастном отношении к Советскому Союзу. «В этих линиях причина нашего путешествия. Ради них мы должны были пешком перейти границу, люди без документов, безыменные путешественники, преступающие закон и идущие в запрещенную землю.

И в этих линиях — разгадка».



Так убедительно, конкретно и оригинально он отвечает на вопрос, почему в капиталистических странах не любят правды о Советском Союзе, почему национал-социалистическая и социал-демократическая партия исключают своих членов за поездку в Советский Союз, почему вся буржуазная печать ведет такую интенсивную кампанию клеветы на СССР.

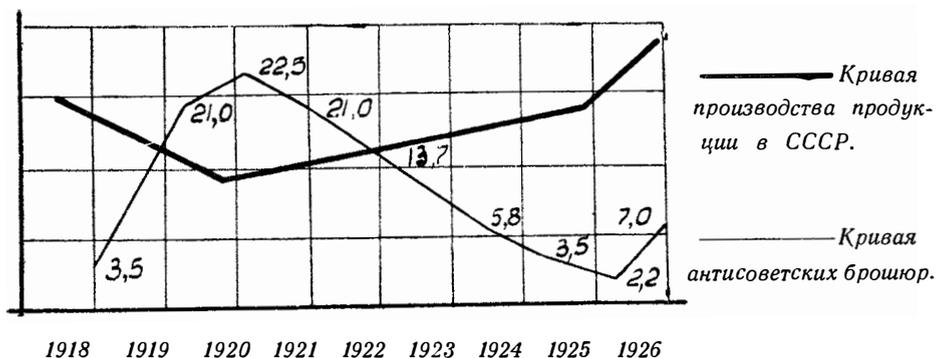
Рост советской промышленности не отваживаются замалчивать даже самые беззастенчивые «информаторы». Они вынуждены его признать. Тогда они получают другое задание от буржуазии — перекричать все голоса восторга перед Советским Союзом. И «информаторы» начинают кричать о преследовании верующих в Советском Союзе, о демпинге, о голоде и нищете в Советском Союзе.

Мастерски оперируя исключительно интересным материалом о зарубежных антисоветских кампаниях, Фучик приводит еще одну диаграмму.

Диаграмма эта сравнивает развитие производства продукции в Советском Союзе от революции до 1926 года с ростом или падением количества брошюр, написанных против Советского Союза и изданных в отдельные годы с 1918 по 1926. Она указывает в процентах, на какой год сколько приходилось процентов брошюр из общего количества за период 1918—1926 годов, принимаемого за 100%.

Диаграмма эта была составлена Фучиком по библиографии литературы о Советском Союзе, опубликованной отдельной книгой «10 лет диктатуры пролетариата» в Праге в 1927 году. Для того, чтобы иметь более полное представление об антисоветских кампаниях, Фучик проверил полученные им данные по французским и немецким библиографическим справочникам, и расхождения получились весьма незначительные, только в десятых долях процента. Таким образом эту диаграмму можно считать общей для всей международной антисоветской литературы.

Фучик подробно объясняет эту диаграмму.



В конце 1918 года и в 1919 году, когда пролетариат во всем мире пришел в движение, когда все прогрессивные, демократически настроенные люди радовались триумфальному шествию советской власти по России, буржуазия всего мира решила обороняться. Русский пролетариат мог стать примером для пролетариата всех стран. Каждое известие о его успехах прибавляло сил западноевропейским рабочим.

Буржуазия начинает кампанию клеветы, которую она расценивает не ниже интервенции. О большевиках рассказывали самые чудовищные небылицы. Большевиками пугали детей.

Но вот интервенция отражена. Советы укрепились. В Советском Союзе кончился военный коммунизм и начался нэп, новая экономическая политика. Капиталисты облегченно вздохнули. Капиталисты расценили нэп, как генеральное и непоправимое отступление большевиков. Капиталисты удовлетворены. Кампания клеветы начинает постепенно ослабевать.

Между тем, большевики понемногу набирают силы. Это показывает диаграмма. Медленно на ней поднимается продукция Советского Союза, с трудом залечиваются тяжелые раны интервенции и гражданской войны. Но нэп — гениально продуманный ленинской партией шаг — дает свои первые заметные результаты. Кривая производства продукции поднимается вверх. Эти результаты отражаются и на другой кризис: кривая антисоветских памфлетов и брошюр падает. Буржуазия надеется, что диктатура пролетариата будет заменена диктатурой буржуазии. Кривая антисоветских брошюр падает до минимума.

Нэп обманул надежды капитализма. Несмотря на вредительство скрытых контрреволюционеров в советском аппарате, несмотря на золото, которым европейская и американская буржуазия щедро платила за их подлости, несмотря на изоляцию Советского Союза, — кривая производства продукции в СССР поднимается вверх благодаря росту социалистического сектора советского хозяйства.

Как раз там, где ломается кривая производства продукции, так же стремительно ломается кривая антисоветской литературной пропаганды. До сих пор она падала. Теперь снова начала подниматься. Но теперь стало трудней клеветать на Советскую страну. Уже стали появляться первые очевидцы грандиозного развития социалистического государства.

«Тогда,—пишет Фучик, — место брошюр и памфлетов занимают большие, организованные в международном масштабе, кампании. Вместо осторожного наблюдения и ожидания краха советского режима капиталисты начинают лихо-радочно готовить интервенцию. Оружие не было заброшено. Ждали. И теперь слышишь бряцанье ружей, вскидываемых на плечи солдат капиталистических армий, подготавливаемых к наступлению, и топот марширующих войск.

Советский Союз строится.

Советский Союз грозит капитализму своим строительством».

Так начал Фучик свою книгу. В диаграммах и объяснениях к ним Фучик представил всю нашу историю до 1930 года, стремясь так наглядно объяснить ее, чтобы правда о Советском Союзе стала более понятной, чтобы чешские рабочие перестали верить лживым измышлениям продажных буржуазных газет.

Фучик использовал все методы убеждения. Он всегда оперировал фактами. Много знал и умел все интересно передать. Делал правильные выводы и умел убедить в своей правоте других людей.

Фучик любил Советский Союз, и поэтому написал о нем так хорошо, искренно и убедительно. То, что увидел Фучик в СССР, было осуществлением мечтаний простых рабочих и крестьян, простого чешского народа.

Таково влияние нашего здорового, социалистического общества. Один факт существования нашего государства рабочих и крестьян утверждает надежды всего прогрессивного человечества.

И Фучик, понявший все это, не мог молчать. В своей дальнейшей деятельности Фучик всегда был одним из самых пламенных защитников Советского Союза.

В 1931 году с большим трудом удалось добиться разрешения на опубликование этой книги в Чехословакии. Книга вышла, но с купюрами. Тем не менее, она произвела огромное впечатление в Чехословакии. Сразу же по выходе в свет она была переведена на несколько европейских языков. И в других странах она имела большой успех.

В 1947 году книга Фучика вышла снова. И сегодня ее читают тысячи людей с немалым интересом, чем в 30-е годы. И по сей день она не утратила своего значения. Новые победы Советского Союза, историческая победа нашей страны в Великой Отечественной войне подняли новую бурю клеветы против СССР. Книга Фучика помогает читателю видеть, что клевета—это оружие буржуазии—бессильна остановить успехи страны социализма.

После возвращения из Советского Союза Фучик работает в «Руде право», но пишет почти во все прогрессивные газеты и журналы. В 1931 году он принимает активное участие в так называемом «левофронтовском движении».

Во время тяжелого экономического кризиса в 1929 году, когда без работы осталось огромное число и работников умственного труда, среди интеллигенции началось политическое брожение. Трудящаяся интеллигенция Чехословакии объединилась в ассоциацию под названием «Левого фронта», которая была для своего времени прогрессивной. Ассоциация имела свой орган, журнал под тем же названием.

Юлиус Фучик активно сотрудничает в журнале «Левый фронт». На страницы этого журнала он выносит свою старую полемику с Шальдой о диалектическом материализме.

Именно в этой полемике удастся Фучику наиболее ясно и ярко высказать свое марксистское мировоззрение, свой взгляд на развитие общества и культуры. Фучик блестяще защищает диалектический материализм и с сожалением констатирует, что Шальде не удалось преодолеть свою буржуазно-либеральную ограниченность. Как уже говорилось выше, Шальда называл марксизм «верой угольщиков», считая его слепой верой, верой утилитарной, продиктованной только материальными интересами. Фучик подчеркивал в своих высказываниях, что, наоборот, только марксистский диалектический метод дает возможность правильно судить о развитии и предвидеть его направление. Наоборот, только рабочие, имеющие эту «веру угольщиков», являют-

ся здоровым ядром современного общества. Именно они обладают силой, которая может изменить действительность, построить новый мир.

Фучик призывает трудящуюся интеллигенцию к сближению с рабочим классом для совместной борьбы против буржуазии.

В 1931 году Фучик издает брошюру «Съезд фронта», репортаж с VI съезда коммунистической партии Чехословакии. В искусстве репортажа он соперников не имел. Эта брошюра читается с захватывающим интересом, несмотря на ее строгий, почти протокольный характер. Так хорошо владел Фучик средствами языка, стилем и композицией.

Брошюра была конфискована, но затем с некоторыми купюрами вышла снова. Она представляла собой большой интерес.

Как коммунист, редактор и большой друг Советского Союза, Фучик вызывал ненависть в кругах реакции. Его преследовали, сажали в тюрьму. В тюрьме он сидел много раз. И никогда он не падал духом. Если только удавалось достать бумагу и карандаш, он тотчас же принимался писать. Бывали случаи, что при выходе из тюрьмы его снова сажали за решетку—за статьи, написанные во время заключения. Иногда ему удавалось избежать ареста. Он несколько раз жил по чужим паспортам, менял свою внешность.

В 1934 году Фучик снова едет в Советский Союз, и на этот раз нелегально.

В Советском Союзе он остается до 1936 года. Работает в качестве корреспондента газеты «Руде право».

Два года, проведенные им в нашей стране, он считал самыми счастливыми годами своей жизни. И не раз говорил, что его самая горячая мечта—снова побывать в СССР, посмотреть и порадоваться на то, как расцвела страна социализма.

Своими очерками из Советского Союза и о Советском Союзе Фучик приобретает большую популярность в Чехословакии. Кроме упомянутой книги о Советском Союзе, он в течение многих лет пишет отдельные статьи, посвященные стране Советов, издает серию небольших книжечек в виде приложения к «Творбе», как например «Книжка о людях, которые делают пятилетку».

В 1936 году, возвратясь из Советского Союза, Фучик опять принимается редактировать «Творбу» и становится ответственным редактором нового коммунистического ежедневника «Алло-новины».

В эти годы Фучик пишет главным образом о Советском Союзе. Он был самым страстным защитником Советского Союза. Из его блестящих полемик с Пероуткой, например, видно, насколько хорошо он знал Советский Союз, и как сильно он любил его.

В «Творбе» он отводит много места для корреспонденций из Советского Союза. На страницах журнала часто печатаются в то время Алексей Толстой, Николай Тихонов, Александр Фадеев, Владимир Ермилов и др.

Очень много внимания «Творба» и «Руде право» в это время уделяют германскому «Drang nach Osten», рассказывают читателям, что принес жителям Австрии германский аншлюс, разоблачают политику немецких фашистов и их завербованных агентов в Чехословакии.

«Творба» и «Руде право» все время находятся под угрозой запрета, конфискации.

Наступает 1938 год. Мобилизация. Мюнхен. В официальной печати появляются пораженческие статьи. Продажные журналисты пишут о моральном разложении народа. Запрещаются коммунистические газеты и журналы.

Юлиус Фучик пишет свою последнюю статью в легальную газету «Чин»:

«Наш народ предан, но не сломлен. Он произносит горячие слова обвинения, а не отчаяния..»

Отдельные люди могут не видеть или не желать лучшего будущего. Народ всегда будет к нему стремиться. Отдельные люди могут нравственно разложиться. Народ будет терпеть, но он никогда не подчинится. Руководители смертны, они приходят и уходят. Народ бессмертен.

Нет, не говорите плохо о чешском народе. Чешский народ в опасности, но это не опасность морального разложения. Чешский народ знает своих друзей и врагов. Он не впадет в уныние и в апатию. Он хорошо видит возможность лучших дней и пойдет навстречу этим лучшим дням».

В трудные минуты Юлиус Фучик обращал взоры чешского народа к Советскому Союзу, к мудрости его вождя.

15 марта 1939 года немцы вступили в Прагу. Последние левые журналы, в которые мог писать Юлиус Фучик, были запрещены. Уже не было редакции, которая приняла бы его статью, хотя бы под псевдонимом.

Однажды к Фучику обратился жандармский шеф редакции журнала «Чески дельник» с предложением вести в журнале отдел культуры и искусства. Фучик отказался. Он откровенно мотивировал свой отказ:

«То, что мне хотелось бы написать в журнал, вы не издадите. А то, что вы хотите печатать, я писать не буду».

После такого заявления Фучику необходимо было тут же уехать из Праги. Летом 1939 года он уезжает в деревню Хотимьержи, Домажлицкого округа, где у него были родные. Через несколько дней после его отъезда на пражскую квартиру Фучика нагрянули гестаповцы. Но они опоздали.

В Хотимьержи Фучик погрузился в изучение чешской литературы. Там он написал этюд о Божене Немцовой, Карле Сабине и работал над Юлиусом Зайером и Яном Нерудой.

В 1940 году он снова переезжает в Прагу. Я хочу здесь упомянуть об одном эпизоде, который очень характерен для Фучика. Фучик, как говорят, любил рисковать, был слишком отважным. Но его риск часто граничил с подвигом.

7 ноября 1940 года, в день 23 годовщины Октябрьской революции, Фучик публично произнес речь о значении пролетарской революции. Он единственный публично отметил эту славную годовщину.

Это было в Клубе артистов. Фучик выступил с обстоятельнейшим докладом о Советском Союзе. Он говорил о том, что СССР всегда был на страже интересов трудящихся всего мира и выражал уверенность, что Советский Союз вступит в решающий момент в борьбу, чтобы освободить народы оккупированных стран из-под фашистского гнета. Он доказывал, что Советский Союз всегда заботился об интересах малых народов, говорил, что СССР не оставит их и теперь в беде.

Это было смелое выступление. Общество, собравшееся в Клубе, было до того поражено, что все так и застыли на своих местах. Возможно, многим было не по себе от такой речи. Фучик кончил и спокойно ушел. Его не успели арестовать.

С 1940 года Фучик находился в подполье, где вел успешную борьбу с немцами до 24 апреля 1942 года.

24 апреля 1942 года его арестовали.

8 сентября 1943 года Юлиус Фучик был казнен.



Юлиус Фучик оставил после себя большое литературное наследство.

Новая демократическая Чехословакия свято чтит память своего национального героя. Издательство «Свобода» начало издавать полное собрание сочинений Фучика, которое подготавливается к печати женой Фучика — Густиней Фучиковой — и его другом Ладиславом Штолем.

Кроме «Репортажа с петлей на шее», «Трех этюдов» и книги о Советском Союзе «В стране, где наше завтра является уже вчерашним днем», выйдут еще пять книг Фучика.

1. Литературные и театроведческие статьи и этюды.
2. Репортажи о Чехословакии.
3. Политические статьи и полемика, опубликованные в «Творбе», «Руде право», «Алло-новинах» и нелегальных журналах во время оккупации.

4 Статьи и репортажи о СССР, которые Фучик написал во время своего пребывания в Советском Союзе в 1934—1936 годах.

5. Письма Фучика.

Большинство этих книг выйдет в свет к сентябрю 1948 года — пятой годовщине со дня смерти Юлиуса Фучика.

Фучик-критик

(Развитие чешской критики. Шальда—Вацлавек—Фучик)

До второй половины прошлого столетия в Чехии не существовало литературной критики как таковой. Она носила сугубо библиографический характер. В середине столетия критической деятельностью успешно занимался Небеский, которого принято считать основателем чешской литературной критики. В последней четверти XIX столетия литературная критическая деятельность начинает сильно развиваться. На нее обращают внимание поэты и писатели (Неруда, Врхлицкий, Элишка Красногорская, Карасек из Львовиц, Ваянский), историки литературы (Тилле, Якубец, Влчек) и даже философы (Томаш Масарик, Дурдик, Шауер).

Но все же можно сказать, что сравнительно высокого уровня чешская критика достигает только в 90-е годы, когда начинает свою деятельность Франтишек Ксавер Шальда (1867—1937).

Творчество Шальды отличается несколькими чертами, которые составляют то новое, что он внес в историю критической и очеркистской литературы. Шальда, а с ним и все остальное поколение критиков 90-х годов своим идеалом считали творческого критика, который таит в себе поэта, и особое внимание обращали на художественные элементы творчества. Это была реакция на предшествующий период развития критической деятельности, зачастую академической, догматической и нетворческой.

Исследования Шальды отличаются типичными чертами импрессионизма. Стиль произведения он считает его существом и ядром, а следовательно, и самым надежным критерием произведения искусства.

Шальда рассматривает литературное произведение оторванно от эпохи, в которой жил автор, и от общественных влияний. Его не интересует ни развитие общественных отношений и их отражение в литературе, ни развитие самого автора. Для него существует только конкретное, отдельно взятое поэтическое произведение, а чаще всего отдельный писатель, его «поэтический образ».

Правда, творчество Шальды нельзя характеризовать несколькими словами, потому что это был человек и критик очень сложный, и его взгляды претерпели существенное развитие. В последний период своего творчества Шальда приходит к выводу о необходимости привести в соответствие искусство и жизнь. Удалось ему существенно преодолеть и свое идеалистическое мировоззрение, но до марксизма было ему еще очень далеко, марксизма он не понимал, хотя и проявлял к нему живой интерес.

Заслугой Шальды является и создание языка чешской литературной критики, в который вошли элементы научного стиля, философской терминологии и образного, поэтического словаря. Язык Шальды богат и красив, мысли свои он выражает с большой ясностью, логичностью и классической простотой.

Но Шальда был одинок. У него не нашлось учеников, которыми бы он мог гордиться. Все его последователи в импрессионистском методе оказывались эпигонами и дилетантами (Йиржи Карасек из Львовиц, Арношт Прохазка, Милош Мартен, Карел Сезима).

Критика 90-х годов, которая стремилась прежде всего к тому, чтобы быть искусством, недолго господствовала в чешской литературе.

Назревала потребность создать критику научно обоснованную, имеющую под собой твердую почву, которая бы имела впереди определенные цели, могла бы руководить литературой и **вести ее за собой**.

Такой критикой могла быть только критика, стоящая на позициях исторического и диалектического материализма. Если пользоваться чешским термином — критика социологическая. Представителем социологической критики и ее творцом в Чехословакии был Бедржих Вацлавек (1897—1943).

Вацлавек рассматривает литературу в живой связи с действительностью, не отделяет литературу и искусство от жизни, прежде всего от общественной жизни.

Задачей искусства он считает не только воплощать или объяснять живую действительность, но изменять ее, активно бороться за лучшее будущее человечества.

В отличие от Шальды для Вацлава критерием ценности литературного произведения является тот показатель, «насколько субъективное произведение поэта отвечает действительности, насколько хорошо видит поэт эту действительность и понимает направление ее развития»¹.

Вацлавек считает, что искусство должно подготавливать справедливое будущее, должно участвовать в строительстве нового мира. А дорога, по которой можно прийти к лучшему будущему, по его мнению, одна. Эта дорога — СССР.

Вацлавек отрицает успокоение, требует борьбы за лучшую жизнь. Он проповедует не только любовь к жизни, но и протест против всех ее несправедливостей. Ему импонирует только оптимизм художника, участвующего в социальной борьбе.

Вацлавек призывает писателей содействовать появлению нового человека, человека новой социалистической эры.

Творчество Вацлава представляет собой «новое слово» в развитии чешской критики, большой шаг вперед по сравнению с критикой импрессионистской и психологической.

Все симпатии Вацлава на стороне социалистического реализма, который он пропагандирует в чешской литературе.

До войны Юлиус Фучик был мало известен как критик. Считалось, что марксистский метод в Чехословакии представляет Бедржих Вацлавек. Фучик был известен, главным образом, как политический журналист, коммунистический репортер, рабочий корреспондент. Только после выхода в свет «Репортажа с петлей на шее», книги, прославившей имя Фучика на весь мир, было обращено внимание на критические работы Фучика. Однако две-три расплывчатые статьи, которые появились за все это время, не могут дать верного представления о критической деятельности Юлиуса Фучика.

А между тем, Фучик был блестящим литературным критиком — умным, эрудированным, конкретным, и метким.

В его литературно-критическом творчестве прекрасно сочетались все лучшие черты критического метода Шальды и Вацлава.

От Шальды он перенял тонкое чувство красоты, хороший литературный вкус, конкретность и прекрасный образный язык. С Вацлавом его роднит марксистский метод в исследовании литературных произведений, политическая направленность исследований и идеологические симпатии к пролетарской литературе и социалистическому реализму.

Но критическому творчеству Фучика присущи некоторые черты, которые вы не найдете ни у кого другого. С каждой строчки его критических статей веет только одному Фучику присущим жаром, темпераментом, страстностью. У Фучика во всех его работах и, надо сказать, особенно в его критике чувствуется очень своеобразный стиль, оригинальная манера письма.

Пусть мое мнение покажется субъективным, но я хочу сказать, что Фучик писал нередко интересно. Сравните его с Шальдой, Вацлавом, Арне Новаком, Неелды, Тилле или кем-либо еще из крупных чешских критиков, и вы не найдете ни одного, кого можно было бы с таким удовольствием читать. Фучиком можно увлекаться, независимо от того, пишет ли он рассказ, критическую статью или репортаж с отчетом о съезде партии. Он умел заражать своим лиризмом и страстностью, ни на йоту не утрачивая при этом объективности.

¹ B. Václavek. «Česká literatura XX století». Nakl. Svoboda. Praha 1947.

Он не бил на эффект, писал словами экономными, лаконичными, но впечатление его статьи производили большое.

Фучик отличается от других критиков не только оригинальностью формы. Гораздо большее впечатление оставляет оригинальность его мысли.

Каждый портрет, нарисованный его пером, выглядит совсем по-новому. В нем всегда можно увидеть такие черты, которых раньше вы не замечали и которые не были переданы другими художниками.

Фучик отрицательно относился к психологической критической школе, которой безразлично значение исследуемого произведения для общего развития литературы и которую занимает только личность автора, но сам он рисовал портреты писателей, изумительные по их психологической убедительности. Однако все эти портреты тем отличались от других, что Фучик рисовал их на фоне той эпохи, в которую жил писатель, рассматривал творчество писателя в непосредственной связи с общественными влияниями данной эпохи.

Фучик был критиком наредкость актуальным, то есть затрагивал всегда в своих критических и полемических статьях самые актуальные вопросы современности.

Его мало интересовали абстрактные философские и эстетические проблемы. Его всегда интересовали насущные вопросы литературы, его перо служило темам боевым и злободневным.

Так в начале 30-х годов Фучик начинает в «Творбе» интереснейшую дискуссию о «поколении, сидящем на двух стульях». Фучик здесь имеет в виду тех писателей, которые, будучи членами компартии и убежденными марксистами, в своем творчестве марксистских взглядов не отражают. Он ставит очень важный вопрос, вопрос идейности литературы.

Фучика ни на минуту не покидает сознание, что в мире происходит постоянная борьба двух классов — класса эксплуатируемых и класса эксплуататоров. Фучик сам всегда в центре этой борьбы. Он требует и от других прогрессивных людей, прогрессивных писателей участия в ней.

Одним из существенных элементов критических статей Фучика является их революционность и партийность.

Фучик был страстным противником «чистого» искусства, и на страницах журнала «Творба» неоднократно высказывался за партийность литературы (1937—1938).

Основным критерием литературного произведения Фучик считает значение, которое имеет данное произведение для развития общества, степень революционной общественной активности произведения.

Фучик представляет себе развитие общества и культуры, как сложный процесс, в котором действуют не только «производительные силы», то есть социально-экономические факторы, но и отдельная человеческая личность. Поэтому ему чужд вульгарный социологизм.

За всю свою критическую деятельность Фучик написал много критических статей, этюдов и рефератов по литературоведению и театру. Как особенно интересные работы следует отметить его статьи о Алоисе Ираске («Творба», 1930), Викторе Дыке («Творба», 1931), Франтишке Шальде («Творба», 1937), Ярославе Врхлицком («Творба», 1937) и Отокаре Фишере («Творба», 1938). Все работы Фучика, написанные до оккупации и напечатанные в разных журналах, еще не собраны. Они должны выйти отдельной книгой.

В прошлом, 1947 году вышла в свет книга Фучика «Три этюда», которая содержит в себе критические работы о Божене Немцовой, Карле Сабине и Юлиусе Зайере. Книга эта была написана во время оккупации и представляет собой большой интерес.

В ней Юлиус Фучик, как всегда и везде, преследовал агитационные цели, связанные с политическим моментом.

Юлиус Фучик и Бедржих Вацлавек заложили в чешском литературоведении основы нового взгляда на литературное творчество и стали оценивать литературные произ-

ведения с позиций марксистского мировоззрения. Они внесли большой вклад в развитие критической мысли, и смерть их является большой потерей для чешской литературы. У них впереди было большое будущее.

Фучик, чувствуя приближение смерти, писал из Панкраца: «На дереве, которое мы держали и удержали, вырастут и созреют поколения новых людей, социалистические поколения рабочих, поэтов, а также и литературных критиков и историков литературы, которые, возможно позднее, но зато лучше, скажут то, что я уже сказать не успел».

На слова Фучика, прозвучавшие призывом, откликнулось молодое поколение критиков. Уже появляются работы, которые свидетельствуют, что усилия Фучика не пропали даром.

Карел Сабина

(Глава «Об измене Сабины»)

Работа о Божене Немцовой дала возможность Фучику коснуться первых чешских социалистов, которые почти все без исключения были близки Немцовой.

Наиболее интересен Фучику, безусловно, был Карел Сабина (1811—1877), выдающийся чешский писатель, который вместе с Иосифом Фричем и Карлом Сладковским возглавлял радикально-демократическое крыло в чешском движении 1848 года. Собранный материал о Карле Сабине оказался настолько большим и интересным, что Фучик решил посвятить Сабине отдельную книгу.

Если работа о Немцовой извлекала из мрака забвения первый период зарождения социализма в Чехии, то в книге о Карле Сабине Фучик хотел подробно исследовать революционное движение в Чехии прошлого столетия. Кроме того, Фучик хотел своими критическими статьями помочь народу переоценить наследие прошлого, в первую очередь историю чешской литературы XIX века. Фучик задумал написать цикл работ • «Замалчиваемых и забытых». Он считал, что необходимо новое и глубокое исследование прошлого чешской литературы, где должны быть отысканы «замалчиваемые» представители нового времени и «забытые» борцы за прогресс, о которых старые историки литературы не писали или писали умышленно неверно.

К сожалению, этот план Фучику не удалось претворить в жизнь. Это значительно обогатило бы чешскую критическую литературу. Но еще более жалко, что часть уже написанных Фучиком работ и множество черновики потеряны для потомства, они сгорели в архивах гестапо. Сохранилась только глава «Об измене Сабины», которую Фучик опубликовал во время оккупации, эту же • Юлиусе Зайере и наброски к работе • Неруде.

Свою работу о Карле Сабине Фучик преднамеренно начал писать с главы об его измене. Он хотел таким образом поговорить с чешским народом о вещах самых важных в дни войны—о геройстве и измене, мужестве и предательстве. Юлиус Фучик хотел, чтобы люди в тяжелые 1940—1941 годы над этим серьезно подумали. Подобно ему, его товарищ и соратник Станислав Брунцлик, редактор «Руде право», издал перевод «Племянника Рамо» Дидро и использовал в предисловии к книге выдержки из допроса Дидро полицейскими чиновниками. Это должно было служить примером того, как нужно чешским людям держаться в гестапо.

Над «Карлом Сабиной» так же, как и над «Боженой Немцовой» Фучик работал • Хотимьержи. Но закончить там и вторую работу ему не удалось. Однажды его задержания были нарушены приходом чешского жандарма. Он явился по приказу гестапо арестовать Юлиуса Фучика. Фучик встал перед ним и сказал: «Ты чех, и не стыдно ли тебе именем гестапо арестовывать чеха?». Жандарма удалось уговорить объявить в гестапо, что Фучика он дома не застал. Но Юлиус Фучик должен был той же ночью тайно оставить Хотимьержи.

В главе «Об измене Сабины» Фучик затрагивает вопрос о личной ответственности революционера за его поступки и разрешает этот вопрос с величайшей убедительностью.

Сабина, как уже было сказано раньше, был деятельным участником чешского прогрессивного движения 50-х годов. В июньские дни 1848 года он был во главе сражавшихся на баррикадах. Деятельность его была настолько значительной, что за свои убеждения он сидел восемь лет в тюрьме. Когда после своего возвращения из тюрьмы в 1858 году он увидел, до какого тяжелого состояния довели победители чешский народ, он снова почувствовал в себе силу, снова хотел говорить и поднимать народ на борьбу, но без разрешения полиции Сабина не имел права ничего ни писать, ни опубликовывать.

Полиция разрешала ему снова вернуться к публицистической и литературной деятельности на одном условии — он должен был стать ее доносчиком.

После долгого колебания Сабина согласился. Начиная с 1859 года он работает тайным полицейским агентом. До 1872 года это никому не было известно. 30 июля 1872 года он был уличен в кругу его бывших друзей в предательстве и затем публично объявлен изменником народа. Сабина написал страстную «Апологию против лжецов и клеветников», в которой он признавал за собой некоторую слабость, но считал свою вину небольшой и настаивал на том, что от своих идеалов он не отказался: «Самым сильным голосом является голос моей собственной совести и мое убеждение в том, что я не изменил народному делу, не повредил кому-либо из людей и никого не сделал несчастным». Но на его самозащиту никто не обратил внимания.

Никто больше не хотел его знать, имя его исчезло из каталогов отечественных библиотек и с витрин чешских торговцев книгами, не появлялось больше уже никогда ни в одном из литературных журналов. Карел Сабина прожил еще после этой катастрофы 5 лет и умер в ужасной нищете.

Но когда его хоронили, Сабина был назван своим прежним именем революционера. Это были тихие, бедные похороны, из его личных друзей никто не пришел. Только несколько рабочих-социалистов шли за гробом. Они не верили в измену Сабины. Один из них сказал: «Карел Сабина был наш человек. Если бы он изменил, нас бы здесь не было».

Многие другие также не поверили в измену Сабины. Об этом писал рабочий Иосиф Канька, состоявший вместе с Сабиней в одной тайной организации: «Если бы Сабина был предателем, то я и многие другие давно сидели бы уже в тюрьме».

Со временем Сабину взяли под свою защиту многие видные революционеры.

Фучик восклицает:

«Странное дело! Все люди, консервативно настроенные, противники прогресса, все послушные винтики старого строя, охраняемого именно той полицией, которая пользовалась услугами Сабины, все те, которые ни в каком случае не могли быть выданы, потому что сами выдавали, кричали: «Подлец, ничтожность, изменник!» А те, которые стремились к новой жизни, те, чье мировоззрение находилось в явном противоречии со старыми законами, и которых Сабина вполне мог бы выдать, и тогда судьба их была бы далеко не завидной,— говорили: «Не изменил, потому что мы все еще на свободе» («Три этюда», стр. 54).

Чем дальше уходило время Сабины, тем настойчивее становилась потребность в его реабилитации. Прежде всего этого хотели все те, кто в литературной и политической деятельности Сабины видел отображение своих чаяний и настроений.

Но до сих пор эти попытки, говорит Фучик, не увенчались успехом. Сабине до сих пор не имеет в литературе своего места. Почему? Потому, говорит Фучик, что дорога, которую избрали его защитники, к желанной цели не приведет.

Все хотели или реабилитировать его, снять с него часть обвинений, или простить его, Фучик заявляет, что Сабина, «нуждается не в реабилитации, его нужно переосмыслить».

Дело об измене Сабины Фучик решает совсем в иной плоскости. Оно у него выливается в вопрос о моральной чистоте и бдительности революционера.

Полиция сыграла с Сабинной злую шутку. Она оказалась гораздо хитрее его. Сабина хотел ценой «небольшой жертвы» в настоящем купить себе возможность работать для будущего. Он горько ошибся. Цена, которую он заплатил за дальнейшую возможность работать, была, наоборот, слишком дорогой.

Полиция намеренно скомпрометировала Сабину. Она довольствовалась невинными сообщениями Сабины, чтобы в один прекрасный день его разоблачить. Сотрудничество Сабины в полиции клало несмываемое пятно на все его дело.

Это была хитрая уловка и принесла врагам прогресса немалый успех. А Сабина сам, своей собственной волей этот успех полиции обеспечил. Сабина был вычеркнут из истории. Полиция своей цели достигла. Таким образом, разоблачение его вины было не причиной, а только предлогом для того, чтобы Сабина навсегда был забыт, а вместе с ним была забыта и его идея, которой он служил и за которую боролся.

Это был метод чешской реакции, который она применяла ко всем, кто был или казался ей «политически неблагонадежным». Именно поэтому главным обвинителем Сабины оказались реакционеры.

Сабина передал свое оружие в руки неприятелей, и они направили его на все его дело, все движение. Сабина оказался малодушным и небдительным. В этом основная его вина. Он недооценил того, что занимал исключительное положение в чешском прогрессивном движении. Люди видели в нем своего вождя, они ему доверяли. Он их вдохновлял тем, что был вместе с ними, он, крупнейший чешский писатель. Это значило очень много для их движения. Но это означало и колоссальную ответственность для Сабины.

Фучик говорит, что борец должен отвечать за каждый свой шаг, потому что за каждым его шагом внимательно следят как его друзья, так и враги. Всегда и во всем должен он помнить о том, кого и что он представляет.

Статью о Сабине я считаю шедевром чешской критической литературы за ее политическую остроту, принципиальность и убедительность. В грудное время немецкой оккупации Фучик предостерегал всех от какого бы то ни было соглашения с врагом. Он заклеймил презрением малодушных, идущих на компромиссы с врагами народа и блудливо заигрывающих с ними.

«Будьте бдительны! — говорил Фучик уже в этой статье. — С первой выданной тайной предаст изменник и свою волю, сдается на милость своему новому хозяину и служит ему дальше уже не потому, что хочет, а потому, что должен. Говорит не всегда уже только то, что хочет, но и то, к чему бывает вынужден своим зависимым положением, разоблачает других, чтобы самому не быть разоблаченным... Коготок увяз — всей птичке пропасть» («Три этюда», стр. 63).

Строгое научное исследование Фучика о Сабине перерастает в работу, имеющую большое политическое значение. В те дни коварный враг наряду с жестокими методами насилия пытался одновременно заигрывать с чешским народом, создавать себе опору внутри страны. И Юлиус Фучик считает своим долгом предостеречь от малодушия, от уступок врагу. Статья о Сабине была плодом его горячей любви к народу, его горячей веры в народ. В этой статье Юлиус Фучик выступает, как последовательный борец-революционер. В ней он проводит ту же мысль, которую высказывал неоднократно и впоследствии:

«В тот момент, когда мы начинаем приспособливаться к позору и перестаем его чувствовать, мы начинаем его заслуживать. Лучше смерть стоя, чем жизнь на коленях» («Три этюда», стр. 96).

В статье о Сабине мысли высказаны с такой страстностью, что эта критическая работа напоминает страницу из дневника. Она ярко рисует моральный облик самого Фучика. Фучик был замечательно цельным человеком, и его мысли не расходились с делами. Вся жизнь его — блестящее подтверждение той революционной морали, к которой он призывал своих современников.

«Репортаж с петлей на шее»

Юлиус Фучик обессмертил свое имя книгой, которая была последней в его жизни, «Репортаж с петлей на шее». Он пишет ее в тюрьме, в страшных застенках гестапо, куда попадает 24 апреля 1942 года. Чудовищные пытки, издевательства и избиения испытывает он с первого дня ареста. Гестаповец чутьем понял, что перел чим «крупное дело», и допрос больше состоялся из ударов, чем из вопросов...

«Удар палкой, другой, третий... вести счет?

...Фамилия? Отвечай! Адрес? Отвечай! С кем встречался! Отвечай! Явки? Отвечай! Отвечай! Отвечай! Отвечай! В порошок сотрем! Сколько примерно ударов может выдержать здоровый человек?..

Я кого-то ударил и упал на пол. На меня набрасываются. Бьют ногами. Теперь все кончится быстро...

...Все как во сне, тяжелом болезненном сне. Сыплются удары, потом на меня льется вода, потом снова удары, и снова отвечай, отвечай, отвечай!»

Так протекал первый день его ареста, и так продолжалось в течение полутора лет. 411 дней отсидел Фучик в панкрацкой тюрьме.

Полтора года Фучик изо дня в день ждал смерти. Ни малейшей надежды на помилование он не имел. Полтора года он был постоянно избиваем до полусмерти, долго ничего не знал о судьбе своих близких: матери, сестрах, арестованной жене. На его глазах гестаповцы ежедневно уничтожали десятки людей. Но Фучик ни разу не потерял присутствия духа. Его поддерживала неугасаемая вера в победу.

Фучик не только остался преданным партии коммунистом, не изменившим своему делу борцом, он нашел в себе силы написать в условиях тюрьмы книгу, которая поражает оптимизмом и светлой верой в будущее. Книга Фучика будит величайшую радость и гордость за Человека, автора этой книги и многих описанных в ней людей. В душу проникает и печаль, боль за безвременно погибших хороших людей. Книга возбуждает ненависть к палачам народа. Она воспитывает презрение к трусам и изменникам и зовет на борьбу во имя светлого и красивого будущего.

В этом прежде всего заключается значение книги.

Поражает в «Репортаже» Фучика то, что в нем почти нет мотива страдания, что обычно присуще произведениям подобного характера. Книга Фучика зовет к борьбе.

Упрекая художников прошлого в том, что они поэтизируют страдание, Горький говорил: «Страдание — позор мира, и надобно его ненавидеть для того, чтобы истребить». Это чувство ненависти, презрения к страданию свойственно всем стойким борцам за лучшее будущее, всем тем, кто верит, что «несчастье не есть неустрашимая основа бытия, а мерзость, которую люди должны отмести прочь от себя»¹.

Фучик, чувствуя приближение смерти, писал:

«Я любил жизнь и за нее я вступил в бой... Пусть мое имя никогда не будет связано с печалью... Я жил ради радостной жизни, умираю за нее, и было бы несправедливо поставить на моей могиле ангела грусти».

Книга Фучика принципиально отличается от многих других книг жанра тюремных записок, в которых страдание возводилось в особый культ и основной предмет изображения. У Фучика мы не найдем пассивного сочувствия человеческому страданию. Гуманизм Фучика носит боевой характер. Он борется за лучшую жизнь.

Книгу Фучика можно сопоставить только с такими произведениями тюремной революционной литературы, как дневник Дзержинского, Орджоникидзе, письма Кирова, Куйбышева, воспоминания Калининна.

Воспитательное значение таких книг огромно. Слова Дзержинского из его дневника о роли таких книг можно поставить эпиграфом к «Репортажу с петлей на шее» Фучика:

¹ М. Горький, Воспоминания о Ленине.

«Если бы нашелся кто-нибудь, кто описал бы весь ужас жизни мертвого дома, борьбы, падений и подъема духа тех, кто замураван здесь для того, чтобы подвергнуться казни, кто воспроизвел бы то, что творится в душе находящихся в заключении героев, а равно и подлых и обыкновенных людишек, что творится в душе приговоренных, которых ведут к месту казни,—тогда бы жизнь этого дома и его обитателей стала бы величайшим оружием и ярко светящим факелом в дальнейшей борьбе. И поэтому необходимо собирать и сообщать людям не простую хронику приговоренных и жертв, а давать картину их жизни, душевного состояния, благородных порывов и подлой низости, великих страданий и радости, несмотря на мучения; воссоздать всю правду, всю правду, заразительную, когда она прекрасна и могущественна, вызывающую презрение и отвращение, когда она унижена и оплевана. Это под силу только тому, кто сам много страдал и много любил»¹.

Книга Фучика «Репортаж с петлей на шее», переведенная на русский язык, вызвала большой интерес в нашей прессе. Я лишь вкратце остановлюсь на некоторых моментах, которые необходимо отметить, говоря о той книге.

Прежде всего необходимо сказать, что эта книга, по форме своей репортаж, является подлинным литературно-художественным произведением. Это «исповедь сильного сердца», песня, которую поет радостный и все познавший человек. Каждый, кто читал ее, помнит то большое впечатление, которое она производит.

Я хочу здесь подчеркнуть, что «Репортаж с петлей на шее» не отдельные записки, не заметки, не дневник, а целостное произведение, которое имеет свою определенную стройную композицию, вполне оправданную идейным содержанием книги. Книга эта сохраняет все основные черты стиля Фучика: его превосходный образный язык, тонкий юмор, лаконизм и выразительность характеристик.

Читая эту книгу, трудно себе представить, что она написана в тюрьме, огрызком карандаша на обрывках бумаги и притом рукой жестоко истязуемого человека. Тюремная обстановка оставила в книге только следы торопливости. Но тем не менее портреты, созданные Фучиком, достаточно убедительны и красноречивы, потому что книга Фучика целиком основывается на жизненном материале и представляет собой один из замечательнейших человеческих документов современности, свидетельство героической борьбы коммунистов с фашизмом.

«То, что я сейчас расскажу, — пишет Фучик в 5-й главе, — сырой материал, свидетельские показания, не больше. Фрагменты, которые мне удалось подметить на малом участке и без перспективы. Но в них есть черты подлинного сходства, контуры больших и малых фигур и фигурок».

Это сказано совершенно правильно, но очень скромно. Эти контуры и отдельные черты людей тюремного коллектива, наблюдаемых автором книги, настолько живы и впечатляющи, выпуклы и правдивы, что вырастают в образы, типы.

В тяжелые годы борьбы с фашизмом люди оценивались по тем положительным или отрицательным качествам, которые в них явно преобладали. Борьба шла не на жизнь, а на смерть: «Кто не с нами, тот против нас».

Вот что пишет об этом Фучик:

«В тебе оставалось только самое основное. Все второстепенное, наносное, все, что сглаживает, ослабляет, приукрашивает основные черты человека, — отпадало, уносилось в предсмертном вихре. Оставалась только самая суть, самое простое: верный остается верным, предатель предает, обыватель впадает в отчаянье, герой борется до конца. В каждом человеке есть сила и слабость, мужество и страх, твердость и колебания, чистота и грязь. Здесь оставалось только одно из двух».

И в своих описаниях Фучик заостряет те или иные черты человека. Он не ставит себе целью давать полный комплекс человеческих переживаний, подводить баланс всем положительным и отрицательным чертам человека. Его интересует самое

¹ Ф. Дзержинский. Из дневника.

основное. Он расценивает людей по их участию в борьбе с фашизмом. Это усиливает агитационное значение книги.

Фучика интересовали более всего и прежде всего люди, и он пишет о них, дает указания оставшимся в живых, как отнестись к тем или иным людям. Не забыть ни о предателях, ни о героях борьбы. Каждому должно воздаться по заслугам.

И если в первой, меньшей части он рассказывает лично о себе, об истории своего ареста, опять же преследуя определенную цель—чтобы никого потом не обвиняли в его аресте,—вторую половину книги он целиком посвящает людям.

В своем «Репортаже» Фучик описывает два лагеря людей—лагерь антифашистов и фашистов, «побежденных» и «победителей».

В противоположность разобщенности и отсутствию веры в себя, которые царят в среде фашистов, коллектив борцов с фашизмом является монолитным, связанным глубоким единством борьбы и ненавистью к врагу.

В центре внимания Фучика — коллектив, дружная семья непокоренных узников фашизма.

Фучик с любовью и благодарностью говорит о тюремном коллективе, который ободряет товарищей, нуждающихся в поддержке, утешает слабых. Фучик говорит, что в каждом слове, быстром рукопожатии чувствуется это тюремное братство. Если человеку плохо, коллектив его не оставит одного в беде. Он найдет много способов, чтобы проявить свою солидарность, помочь и призвать к мужеству.

В фашистских организациях объединялся самый безидейный, социально разнородный, морально разложившийся сброд. «Народ отборный. Столпы режима. Опора его общества». Фучик рисует несколько таких типов. Многие пошли к нацистам в поисках легкой наживы. Оказалось все гораздо сложнее, чем они ожидали. Страх обуял их. Страх двойной, гнетущий—перед властью и перед тем, что ждет их впереди. Собственных убеждений у них нет. «А если они у кого и были, то в сочетании с глупостью, без знания идей и людей». Их удивляла и пугала убежденность заключенных в победе: «Ты все еще не веришь в нашу победу? Он спрашивал потому, что сам не верил и внимательно слушал, когда я ему рассказывал о силе и непобедимости Советского Союза».

Не имеет смысла останавливаться на том или ином типе, которые очень метко характеризует Фучик. В каждом из них преобладают те или иные из перечисленных черт.

Если коллектив заключенных силен именно благодаря своему единству, убежденности и стойкости, фашизм удерживает свою власть только благодаря грубой силе—кулаку и револьверу. Каждый борется только за себя.

Но тюрьма воспитывает людей. Она укрепляет не только преданность честных людей, но и воздействует на врагов, в которых осталась хоть капля человечности. Фучик с большим уважением и теплом рассказывает о людях, работающих в качестве полицейских в тюрьме, но всем сердцем преданных заключенным, помогающих им со всей отвагой. Некоторые из них, будучи полицейскими, прежде воевали с коммунистами, но потом, когда увидели коммунистов в борьбе с оккупантами, поняли силу и значение коммунистов для всего чехословацкого народа и стали им помогать.

Фучик пишет о той радости, которую испытывает коммунист, замечая проблески нарождающегося сознания у людей, стоящих в другом лагере борьбы. Это пробуждение сознания у врагов говорило о том, какую колоссальную работу уже проделала партия, и сообщало новые силы борющимся.

Убедить, правда, удавалось далеко не каждого. Но стойкость людей, обреченных на смерть и непреклонных в своих убеждениях, вносила явный разброд в ряды врагов.

Приверженцы фашизма по своим человеческим качествам не выдерживают никакого сравнения с заключенными антифашистами. Победить гестаповцы не могут, они из «трухлявого дерева», им не суметь остановить «половодья революции».

К таким выводам приходит Фучик.

Для Фучика было совершенно ясно, за кем будет победа. Пусть проиграл свою борьбу он, но другие ее выиграют. Фашизм и буржуазный строй во всем мире должен

неминуемо притти к гибели, ибо он гниет на корню. Люди, которые поддерживают фашистский режим, утратили даже свои человеческие черты.

Юлиус Фучик чувствует себя одним из солдат многомиллионной армии борцов за лучшее будущее, за свободу и счастье человечества. Он говорит о своей солидарности с остальными борцами и здесь имеет в виду в первую очередь Советский Союз.

«Сейчас часы на Кремлевской башне бьют десять, и на Красной площади начинается парад. Отец, мы с вами», — обращается он к товарищу Сталину.

Фучик не ошибся в диагнозе, который он поставил германскому фашизму. Фашизм пал. Не ошибся Фучик и в том, что освобождения он ждал со стороны Советского Союза, Советская Армия принесла свободу чешскому народу.

Со страниц «Репортажа» встает величественный, мужественный и прекрасный образ нового человека. пламенного борца за коммунизм, который до последнего дыхания борется с ненавистным ему строем. Даже застенки гестапо, из которых, как он сам понимает, ему нет уже дороги в жизнь, Фучик рассматривает как выдвинутый далеко вперед, в глубь позиций противника боевой форпост.

Со страниц «Репортажа» встает благородный и чистый образ жизнерадостного, никогда не унывающего оптимиста, которого в самые трудные минуты жизни поддерживает вера в правоту народного дела и любовь к людям.

С каждой страницы «Репортажа» на нас смотрит веселый, улыбающийся человек, замечательный верный друг, отзывчивый товарищ и преданный партии боец.

Фучик воплощает в себе все идеалы новой социалистической эры. Он отличается от людей старого буржуазного мира своей совершенно новой психологией и новым мировоззрением.

Образ Фучика вечно будет жить в сердцах людей и звать на подвиг, на борьбу во имя любви к людям. Дело, за которое Фучик отдал свою жизнь, победит. Оно не может не победить, потому что за него борются лучшие люди человечества.

Последние дни Юлиуса Фучика

9 июня 1943 года перед дверью панкращкой камеры Юлиуса Фучика повесили его подтяжки. Знак отъезда.

В этот день Фучик написал последние строчки своего «Репортажа». Юлиус Фучик знал, что это значит: «Ночью меня повезут в «империю» судить и так далее. От ломтя моей жизни время жадно откусывает последние кусочки».

Ночью его действительно увезли в Баутцен, где он просидел до 24 августа 1943 года. Затем перевезли в Берлин. Оттуда писать он уже не мог.

Последние свидетельства мы знаем только по рассказам друзей Юлиуса Фучика, заключенных вместе с ним, но которым посчастливилось выжить—Лиды Плахи и Рудольфа Бедржиха.

25 августа 1943 года состоялся в Берлине нацистский суд над Юлиусом Фучиком.

Первый вопрос, который был ему задан президентом суда, был: «Зачем вы перешли на нелегальное положение? Ведь мы бы не стали предпринимать против вас никаких мер».

Фучик ответил тоже вопросом: «Зачем же вы арестовали столько наших товарищей в первый же день оккупации Чехословакии? Они не успели еще ничего совершить против империи. А тем не менее они уже давно мертвы».

Президент ничего не ответил. Он задал второй вопрос: «Зачем вы боролись против империи, когда история доказала, что Чехия и Моравия всегда входили в состав империи?»

На это они получили следующий ответ: «Господа, вы ведь сами этому не верите. Вы ведь знаете сами так же хорошо, как и я, что это ложь. Вы фальсифицируете историю».

Деятельность Фучика в подполье их не интересовала. Спрашивали его, главным образом, о том, как он расценивает ситуацию, и он им прямо отвечал: «Знаю, что я буду осужден и что жизнь моя подходит к концу. Но я знаю также и то, что для нашей победы я сделал все, что только мог. Я убежден, что мы победим. Мы умрем, но после нас придут другие, которые продолжат наше дело». Вскоре суд удалился на совещание. После небольшого перерыва все вернулись и президент назвал имя Фучика:

— Смерть.

Фучик принял приговор спокойно, как будто он его не касался.

Приговорили к смерти всех судившихся вместе с Фучиком. Только Лида Плаха была освобождена за неизменением улик. По дороге в тюрьму Фучик попросил ее спеть. Она запела «Партизана». Все ее дружно поддержали. Лида с Юлиусом пели почешски, а венские коммунисты, бывшие вместе с ними, по-немецки. Затем спели «Интернационал». Тем временем их привезли в тюрьму. Фучик в последний раз видел своих товарищей.

С 25 августа, то есть после вынесения смертного приговора, Фучик находился уже в другой тюрьме.

В одной камере с ним был Рудольф Бедржих, который рассказывает:

«Я сидел в тюрьме уже 170-й день после своего осуждения к смерти, когда ко мне в камеру привели Юлия Фучика. Я уже к этому времени совершенно отупел. Не мог думать ни о чем, даже о доме. А Фучик всегда пел или что-нибудь рассказывал. Он держался так, как будто у него впереди была еще большая жизнь».

В ночь с 3 на 4 сентября в здание тюрьмы попала бомба. Некоторые заключенные пытались бежать. У Фучика были на ногах кандалы.

Днем 4 числа согнали всех заключенных во двор. Фучик увидел несколько чехов. Некоторые из них пали духом, стали терять веру в победу. Боялись, что Советский Союз один не справится с гитлеровской Германией. На открытие второго фронта они уже не надеялись.

В последний раз с пламенной речью о Советском Союзе Юлиус Фучик выступил на тюремном дворе. Он горячо доказывал сомневающимся, что Советский Союз, который без чужой помощи нанес поражение гитлеровцам под Москвой и у Сталинграда, не перестанет воевать до тех пор, пока не уничтожит фашизм.

«Если бы на Западе открылся второй фронт, конец войны был бы, конечно, раньше. Возможно, и у некоторых из нас была бы еще надежда остаться в живых. Но мы бойцы в глубоком тылу неприятеля. Пусть мы погибнем, но останемся верными своему убеждению, что мы победим».

Последнее публичное выступление Фучика, закованного в кандалы, последние его слова, обращенные к товарищам, окружавшим его на тюремном дворе, были посвящены Советскому Союзу, его второй родине, которую он любил всем своим большим сердцем.



КНИЖНАЯ ПОЛКА

Факты и обобщения

В годы послевоенной пятилетки очерковый жанр занял в литературе весьма значительное место. Десятки книг, повествующих о стахановцах, о новаторах техники, о героях социалистического труда, о возрождении индустрии и сельского хозяйства, выпускают наши издательства. Некоторые из этих книг по праву занимают место среди лучших произведений советской литературы, но есть немало и таких, которые разочаровывают читателя поверхностным и неряшливым описанием фактов, неумением автора раскрыть их глубокий смысл, подняться над ними в обобщениях и показать то новое, что отличает нынешнюю сталинскую пятилетку от довоенных.

Книга В. Юрезанского «Человек побеждает» посвящена возрождению Днепрогэса. Великолепна и увлекательна тема, избранная автором!

Обилие фактов и имен лучших строителей, описание технических деталей процесса восстановления сооружений Днепрогэса, отступления в его предвоенную историю — все это поначалу создает впечатление, что В. Юрезанский поставил перед собой задачу подробно и основательно показать, как советский народ из хаоса развалин возродил свою великую гордость — Днепровскую гидростанцию имени Ленина.

Автор рассказывает о том, как еще в период военных действий, когда советская армия изгоняла немецких захватчиков с территории станции, специально присланные на передний край инженеры вместе с саперами стремились, по возможности, предотвратить разрушение станции немцами при отступлении и как, действительно, удалось спасти от полного уничтожения самое главное сооружение — напорную плотину,

перегораживающую Днепр. Он рассказывает о том, как к руинам станции пришли первые строители, как героически сражались они со стихией, чтобы обеспечить себе возможность развернуть восстановительные работы, как в этих сражениях закалились многочисленные и великолепные кадры нового Днепростроя, как, в результате трехлетнего упорного труда коллектива строителей, в марте 1947 года, первый гидроагрегат снова дал энергию промышленности Приднепровья.

Однако, закрывая книгу после прочтения, испытываешь разочарование: гигантская работа одиннадцатитысячного коллектива, окруженного повседневной заботой партии, поддерживаемого вниманием и помощью всей страны, изображена автором не только без исчерпывающей полноты, но и без ясного понимания того, что является самым важным и самым характерным в технике и способах строительно-восстановительных работ послевоенной пятилетки.

Мы знаем, что восстановление Донбасса, Сталинградского тракторного завода, Запорожстали и других гигантов социалистической индустрии быстро набрало поразительные темпы именно потому, что в основе этого процесса лежали могучие технические средства, мощная строительная механизация, высокая культура организации работ, смелое техническое новаторство. Верно, восстановительные работы, начавшиеся еще в период войны, на первых порах часто велись при весьма острой нехватке рабочих рук, механизмов и материалов, без энергетической базы, и энтузиазм строителей не угасал от того, что приходилось орудовать ведром, носилками, лопатой, кувалдой там, где требовались насосы, транспортеры, краны, экскаваторы, перфораторные молотки и прочие строительные машины и приспособления. Но уже вскоре строительная площадка обычно на-

сыщалась всеми современными средствами механизации, и самоотверженный труд строителя становился также высокопроизводительным трудом.

В. Юрезанский, подробно рассказывая о героизме восстановителей Днепротреста, останавливается главным образом на тех начальных эпизодах строительной эпопеи, когда Днепрострой еще не располагал сколько-нибудь значительной техникой. Последующие же этапы описаны так поспешно и невнятно, что не дают читателю представления об индустриальном, то есть механизированном и высокоорганизованном характере строительных работ. В результате, вместо пафоса современного социалистического труда, труда, опирающегося на высокую технику и техническое новаторство, в книге мы находим, фактически, пафос ручного труда, напоминающего далекие уже времена восстановления промышленности после окончания гражданской войны. Это, конечно, крупнейший недостаток книги, создающий у читателя неправильное представление о восстановлении Днепротреста.

Неряшливость описания технических процессов встречается на многих страницах книги. Сошлемся на один пример.

На Днепрострое, как на всех наших крупных гидротехнических строительствах, имелась хорошо оборудованная бетонная лаборатория. «Под руководством инженера Шерсткова в лаборатории ставились в крупном масштабе опыты по применению шлако-портландцемента. Велись также тщательно организованные опыты бетонной кладки с добавлением днепровского речного песка. По сравнению с евпаторийским морским он мелкозернист. Но какая огромная народнохозяйственная проблема была бы решена, если бы оказалось возможным брать для монументального строительства изумительный по чистоте песок, заполняющий берега на всем протяжении реки». К чему привели эти опыты с шлаковыми добавками и с использованием днепровского песка, автор не сообщает. Какой же смысл тогда имеет упоминание об этих опытах и работе бетонной лаборатории вообще?

Но самые большие претензии следует предъявить автору в связи с тем, сколько достоверны его рассказы о людях, восстанавливавших Днепротрест.

В альманахе «Дружба народов» (книга 16-я, 1947) В. Юрезанский напечатал очерк «На берегах Днепра», представляющий собою сокращенный и иначе скомпонованный вариант книги «Человек побеждает». В очерке есть такие строки:

«— Ну, девчата, будем вас штукатурному делу учить. Пойдете дома ремонтировать, — сказал недели через две главный инженер Иннокентий Иванович Кандалов. — Первую отштукатуренную квартиру дадим вам».

В книге «Человек побеждает» эти строки воспроизведены с абсолютной точностью, если не считать того, что главный инженер Иннокентий Иванович Кандалов заменен начальником строительства Федором Георгиевичем Логиновым.

Об этом, может быть, и не стоило бы упоминать, если бы дальнейшее сличение очерка с книгой не привело нас к любопытному «открытию».

В очерке написано:

«Рядом с коренной украинкой, бетонщицей Полиной Шило, всеобщим уважением пользуется комсорг левого берега Людмила Дрябова — девушка изумительной волевой устремленности. К Дрябовой девушки и молодые женщины идут за советом и поддержкой не только по производственным, но и по чисто личным, семейным делам».

В книге комсоргу левого берега посвящена большая глава, где, в частности, подробно рассказывается, как комсорг устраивает личные дела одной из работниц, Гали Сергиенко, а другой работнице, Зое Лубенец, возвращает ее возлюбленного, которому явно приглянулся сам комсомольский организатор. «Ложь во спасение» — так бы мы назвали тот оригинальный метод, которым ликвидирует комсорг маленькие личные драмы днепровстроевской молодежи. Однако в данном случае наше внимание привлекает другое: Людмила Дрябова, перекочевав из очерка В. Юрезанского в его книгу, изменила имя и фамилию и стала называться Татьяной Румянцевой.

Что сие может означать?

Если автор так свободно приписывает слова главного инженера начальнику строительства (или наоборот), если в одном его очерке комсорг носит одну фамилию, а в другом очерке тот же комсорг снабжается другим именем и другой фамилией, то возникает сомнение в подлинности всех остальных

ных данных очерка и вообще подрывается вера в авторскую правдивость.

Наше недоумение насчет «двойной» фамилии комсорга левого берега в огромной мере возросло после того, как мы прочли книгу Б. Зубавина «Полина Шило» (издательство «Молодая гвардия»). В этой книге комсорг левого берега Днепростроя назван Людмилой Дрябовой. Значит это не вымышленное лицо? Это имя и фамилия не по ошибке фигурируют в очерке В. Юрезанского? Быть может, все же речь идет о двух девушках, которые руководили комсомольцами левого берега в разное время? Сличение книги Б. Зубавина и книги В. Юрезанского показало, что Людмила Дрябова, описанная Зубавиным, и Татьяна Румянцева, описанная В. Юрезанским, несомненно одно и то же лицо.

И Дрябова и Румянцева до войны жили с родителями, которые строили Днепрострой, в Запорожье. Обе они возвращаются в родной город на третий день после изгнания немцев, обе не сразу попадают на Днепрострой, но сначала ведут комсомольскую работу в городской организации. Обе, прежде чем стать комсоргом левого берега, работают на правом берегу комсоргом механического завода Днепростроя. Ряд эпизодов их биографий столь удивительно совпадает даже в смысле изложения, что кажется, будто Юрезанский и Зубавин слушали свою героиню и записывали ее рас-

сказ, находясь в тесном и трогательном соседстве. Так, например, почти слово в слово совпадает первый разговор Дрябовой с директором механического завода Борченко, описанный Зубавиным, и первый разговор Румянцевой с тем же Борченко, описанный Юрезанским.

Кто же из двух очеркистов — и по каким причинам — переименовал комсорга левого берега? И кому из них вообще следует верить в рассказе о знатной днепростроевке?

Кто-то из двух очеркистов весьма вольно обошелся с биографией живого человека, и мы даже не представляем себе, какими аргументами автор, повинный в такой «вольности», мог бы ее оправдать.

Книга Юрезанского «Человек побеждает» неряшлива и в чисто литературном отношении.

Между тем, автор вполне может писать не только стилистически грамотно, но и выразительно. Так, например, с большой силой им описана сцена работы такелажников, опускающих ротор генератора (вес: двадцать две тысячи пудов!) в статор.

В. Юрезанский мог написать о восстановлении Днепрогэса добротную книгу, если бы следовал лучшим традициям очерковой литературы и подошел бы к своей работе с той серьезностью и обстоятельностью, какие диктовались выбранной им темой.

В. СУТЫРИН.

★

Карикатура на героев

Недавно мне довелось снова побывать в Сталинграде и повидаться с его людьми. После встреч и бесед с ними с чувством особого недоумения и протеста погружаешься в странный мир, созданный Б. Полевым в пьесе «Неугасимое пламя»; не веря глазам своим, следишь за действием, построенным на ложном конфликте и фальшивых страстях. Жалко становится людей, принявших по воле автора уродливый облик карикатуры.

Автор точно указывает место и время действия: Сталинград, 1942—1943 годы.

Б. Полевой. Неугасимое пламя. «Октябрь» № 11, 1947.

В прологе герои прощаются, когда уже немцы находятся у стен цехов. В первой картине слышатся последние выстрелы, тракторный завод очищен от немцев, тут же происходят встречи старых друзей.

В этот же день завод, по уверениям автора, снова встал в строй. Но тут обнаруживается, что некому быть директором. Парторг Гребнев предлагает Чуприянову временное руководство заводом. На это кадровый сталинградский инженер, вся жизнь которого была связана с этим заводом, раздражается такими тирадами: «Мне? Бог с вами! И потом: чем управлять, кем управлять? Эти развалины кажутся мне зверски растерзанной группой». Он яростно

бывается от уговоров: «Что же мы станем делать в этой каменоломне?» Так начинает вырисовываться образ белоручки, труса и маловеера, и Чуприянов отнюдь не белая ворона среди прочих действующих лиц, претендующих по воле автора на изображение коллектива передового предприятия страны. Все они — рабочие и инженеры, бригадиры и мастера ходят из угла в угол, жалуются, хнычут, не верят, вздыхают.

Но вот с Урала приезжает новый директор завода инженер Кошаров. С ним в этот застой врывается дух оживления и инициативы. Кошаров привез с собой проект нового трактора «Победа» и намерен наладить выпуск своего детища. Но не тут-то было! Не на тех напал! Здесь и начинают себя проявлять фальшивые, сочиненные автором, характеры инженеров и рабочих Сталинграда. Чуприянов, смещенный Кошаровым, опять стонет, не верит, возражает, пишет кляузы в главк. Мастера Суслов и Коваль вновь хнычут. Бригадир Яков Петров — герой Сталинградской обороны — рвется обратно на фронт, потому что дочь Сулова, Надя, отвергла его любовь ради любви к директору. Словом, один Кошаров борется за свою новаторскую идею против всех объединенных сил сталинградцев. Вот основа конфликта. На этом, главным образом, и строится действие пьесы.

Нет и не могло быть в действительной жизни Сталинградского тракторного завода оснований для подобного конфликта. Вряд ли могло быть такое положение и на другом нашем заводе. Люди тракторного завода, первенца пятилетки, всегда были первоклассными специалистами нашей промышленности, смелыми новаторами в технике. Это они, сталинградцы, под злобное улюлюканье капиталистической прессы построили и пустили на полную мощность сложное предприятие. Они сконструировали отличный трактор и освоили его выпуск. Этот трактор еще до войны прекрасно показал себя на колхозных полях. В дни великих испытаний войны, в битве за великий город во всей красоте раскрылись душевные качества и благородные черты граждан Сталинграда. Где же ухитрился Б. Полевой найти основания для конфликта «привозного» новаторства с местным рутинерством и консерватизмом?

В какой связи, например, может находиться начальник сборки Чуприянов, выведенный автором в роли старого закосневшего консерватора, с тем самым инженером Макоедом, который сейчас действительно работает на заводе. Макоед в день пуска завода в 1930 году работал на сборке и вывел с конвейера первый трактор «СТЗ». Теперь он — главный инженер, человек высокой культуры. Есть ли в пьесе хоть одна черта такого роста людей в условиях советского производства? Совершенно непонятно, где искал Б. Полевой прообразы своих героев, где подслушал их язык. Все здесь надуманно и неправдоподобно.

Пьеса основана на конфликте между инженером Чуприяновым, который должен изображать специалиста старого типа, и инженером-конструктором Кошаровым, в образе которого автор намерен представить нам передового советского специалиста, чья новаторская идея восторжествует в итоге всех борений, кипящих в пьесе. Однако на протяжении всей пьесы практическая деятельность Кошарова не выходит из рамок случайных разговоров.

Из слов Чуприянова мы узнаем, что план по танкоремонту выполнен на 8—10 процентов. Военпред завода, майор, зачитывает на совещании шифровку с фронта: «Предупредить руководство завода — невыполнение плана танкоремонта срывает формирование новой части. Подробно донесите, чьему разрешению сверху начаты работы тракторам».

Казалось бы, провал выполнения плана полностью ясен. Однако шестая картина начинается ничем не объяснимым общезаводским празднеством на левом берегу Волги. «Над буфетом плакат «Привет стахановцам-сталинградцам, завоевавшим знамя Комитета Обороны». Когда и как завоевано это знамя, какой совершился перелом и кто его совершил, — об этом в пьесе не сказано, хотя это как раз и есть самое главное, что может интересовать читателя и зрителя.

Все самое главное в пьесе происходит за сценой, и мы узнаем об этом со слов героев и из авторских ремарок.

Вдруг оказывается, например, что не только сконструирована модель трактора, но уже построен опытный экземпляр, что завод получил красное знамя Комитета

Обороны, что на заводе бушует соревнование и т. д. Всему этому полагается верить на слово, ибо на сцене вы увидите всё что угодно — праздники, рыбную ловлю, многословное совещание, но не увидите советского человека и его героического труда. Вот на сцену выбегает работница-казачка, поднимает крик: бригада Петрова украла у бригады женщины подогретый раствор. На основании этого нам надлежит представить себе разгар стройки. Провалившиеся молодые рабочие Свистунов и Вася вносят на сцену раствор.

«Свистунов: (явно сконфужен) Виноват! Куда тут раствор-то ставить?

Первая казачка: Что, намылил вам Петров холку-то?

Вася: Нужен нам ваш раствор... Подумай! Всё равно обетавим.

Первая казачка: Вы?.. Обставите?.. Нас?»

Вызов брошен, загорелся дух соперничества.

«Женька: Разрешите доложить — точно так. По приказу гвардии старшего сержанта Петрова начинаем новое производственное наступление по всему фронту. Слышите?» И в подтверждение всех этих разговоров автор добавляет: «Из-за сцены доносится усиливающийся шум работы».

По такому принципу «доносятся» до читателя вся пьеса, строятся образы действующих лиц.

Кошаров влюбляется в дочь Сулова Надю. И в этом автору не удалось найти живых красок. Никакой душевной близости между любящими не существует. Происходит авария — Кошаров снимает Надю с работы без всяких волнений и переживаний. Для того, чтобы обнаружить чувства влюбленных, автор вынужден строить сцену, в которой Кошаров тонет в Волге, а Надя выдает себя, волнуясь за его жизнь. Никаких внутренних мотивов этого чувства не видно.

Характерный в этом отношении разговор происходит между отцом и дочерью.

«Надя: Ну что это! Что тут рассказывать. Он целый день занят. Я, с тех пор как в конструкторское перешла, — тоже. Только в столовке встречаемся да по телефону говорим.

Сулов: Эх вы, лягушки хладнокровные... по телефону. Насчет ребят-то вы тоже по телефону будете?»

Надя: Тятя?..

Сулов: Ну шут с вами, хоть по радио. Неинтересная ваша любовь...»

Нельзя не согласиться, что Сулов прав. Скучно следить за развитием этой любви.

Особого внимания заслуживают созданные Б. Полевым образы партийных работников завода. Парторг ЦК ВКП(б) инженер Гребнев, несмотря на главенствующую роль, которую отводит ему автор, никакого влияния на ход дела не оказывает.

В самый напряженный момент, когда Кошаров на совещании бледно и неубедительно отстаивает свой трактор, присутствующие обращаются к партийному руководителю Гребневу: «Что ж вы-то молчите, товарищ Гребнев?»

Гребнев: Я слушал вас, товарищи, внимательно слушал обе стороны, и теперь я скажу...

Обе стороны смотрят на него, как на судью. Электричество вдруг гаснет. При свете спичек видны встревоженные лица. Произошла авария на электростанции, которая понадобилась автору для того, чтобы избавить Гребнева от необходимости высказать свое отношение к спорному вопросу, и это неслучайно — в пьесе вообще нет ясного, активного отношения Гребнева к делам завода.

Только вернувшись к перечню действующих лиц, из авторской характеристики можно неожиданно обнаружить, что Савва Саввич Коваль — секретарь партбюро сборки. Никакой действенной роли у Ковалья нет. Он появляется время от времени как наименование, а не как личность. Он заполняет паузы своими ничего не значащими репликами. Вот мы видим его за варкой ухи. Сулов жалуется на жульнические махинации повара Конопля. «И куда только ты, партбюро, смотришь?»

Коваль: Допрыгается. Вот погоди, руки у меня дойдут, я за него возьмусь».

Так и не доходят у Ковалья до этого руки, хотя на всем протяжении пьесы не видно, чтобы они были заняты чем-либо существенным. Крайне сер и засорен псевдо-народный язык действующих лиц, обильно уснащенный такими речениями, как «каменный статуя», «дванадцать языков», «нешто», «пользуй лекарством».

«Неугасимое пламя» — явная неудача Б. Полевого. Запутанные, невыясненные взаимоотношения героев, убогая речь, ко-

торой наделил их автор, вялые действия, направленные на очень туманную и абстрактную цель, — все это вместе взятое выглядит особенно неприглядным на фоне реальных достижений живых людей вновь восстановленного Сталинградского трак-

торного завода, выкутившего к моменту появления пьесы Полевого свой тринадцатитысячный трактор, а в январе 1948 года — пятидесятитысячный.

Михаил ЛУКОНИН.

☆

На одном языке

Не подлежит сомнению, что ясность цели облегчает выполнение задачи. Но упрощение употребляемых при решении средств редко увеличивает шансы на успех.

Вероятно, А. Гитович формулировал свое литературное кредо, когда в предвоенной поэме «Город в горах» писал:

Читатель мой,
Живущий нашим днем,
Моряк ли ты,
Чекист ли ты,
Шофер ли, —
Мы говорим
На языке одном.

В стихах военных лет, изданных в 1947 году, Гитович честно стремится превратить это обязательство в дело. Он живет здесь жизнью общей со всеми советскими людьми. Вместе с ленинградцами он преодолевает тяжесть блокады, вместе с дальневосточными войсками переживает восторг стремительного наступления. Он говорит о мужестве, об отваге, о солдатской чести и о любви к родине, перед которыми отступает сама смерть. И ловкость снайпера, и работа артиллериста, и искусство летчика находят в его стихах своё отражение. В «Стихах военного корреспондента» мы узнаем общие тревоги и радости тех лет, которые сделали нас сильнее и мудрее. И в одном напоминании о них уже заключается известное оправдание появления на свет этой небольшой книги.

Беда Гитовича, однако, заключается в том, что он слишком упрощенно понимает тот «общий язык», который должен объединять настоящего поэта с его современниками. Гитович сплошь и рядом видит свою задачу в том, чтобы говорить буквально об этом, то есть неиндивидуализированным и не отепленным личной интонацией языком. И это нередко приводит

Александр Гитович. Стихи военного корреспондента. «Советский писатель», 1947.

его к засилью «общих мест», в которых так мало родства с подлинной поэзией.

Там, где в патетическом обращении к красноармейцу встречаются такие строчки, как «лишь ты один, не зная малодушья, их встретил правильно — лицом к лицу», — там с поэтическими средствами Гитовича дело обстоит явно неблагоприятно. Жизное, то есть лично пережитое слово тут подменяется готовой формулой, в которой вязнет всякое непосредственное чувство. Там мертвым и общим становится военный пейзаж: «пожар озаряет края горизонта, разрывов доносится гром». Вероятно поэтому автор и начинают преследовать неоднократные опасения, что «многие наверно не поверят, что было так, как рассказали мы».

Общее между поэтом и его современниками как раз и состоит в том, что в его «лица необщем выраженье» и в его, никем еще не произнесенных, словах они узнают свои собственные мысли и чувства, выраженные сильнее и отчетливее, чем удалось бы это сделать им самим.

Вот почему настоящие поэты не обходятся без прословуток «мук слова». Равнодушные к поэтическому выражению, к его индивидуальной интонации, равно равнодушно к правде, без которой нет поэзии вообще.

Многие неудачные стихи и строчки, нам кажется, возникают у Гитовича не из недостатка одаренности, а из ложной «теоретической» установки. В той же предвоенной поэме «Город в горах» Гитович провозгласил свою «дружбу» только с «надежными словами», разумея очевидно под такими словами лишь те, которые чаще других употребляются и легче принимаются в силу своей привычности. Результатом такой установки и является обилие «общих слов», лишенных поэтического напряжения.

А между тем, там, где строка у самого Гитовича оживает, оживает непосредственным наблюдением или живым ощущением слова, стихи его приобретают и выразительность и живописность.

Вот, например, живая невыдуманная подробность боевого быта:

Работы час горяч и грозен,
Расчеты прошибает пот,
И от шинелей, на морозе,
Густой и белый пар идет.

Одна эта подробность больше говорит о живом вдохновении артиллеристов, чем куча самых красивых «общих слов».

У Гитовича нередко встречаются и строки, окрашенные теплым поэтическим настроением:

Рождалось утро, тихое, простое,
Был крови след ему невыносим.
И кони, сбившись в кучу, спали стоя,
И неземные травы снились им.

Сравнение или отдельная мысль частенько основана у него на том интимном ощущении действительности, в котором как современность автора, так и личные его

симпатии сказываются опять-таки сильнее и выразительнее, чем в общих формулах.

И он всю жизнь мечтал,
Чтоб люди стали
Друзьями настоящими,
Как те,
Кого товарищ Ленин или Сталин
Мы называем в гордой простоте.

Таким образом становится очевидным, что именно там, где живое поэтическое чувство Гитовича побеждает его ложную преднамеренную установку, там он обретает и способность взволновать читателя искренне звучащим своим словом, как бы заново открыв то, что он вместе с другими почувствовал.

На одном общем языке со своими современниками говорят все настоящие советские поэты. Однако советская поэзия отнюдь не отказывается от личных интонаций и индивидуального разнообразия, но, наоборот, видит свое назначение в том, чтобы вскрыть в непреложных истинах своего времени тепло личной страсти и индивидуального убеждения самых различных советских людей.

С. КОЛДУНОВ.

★

Одаренный новеллист и его заблуждения

В ряду наших новеллистов — ряду, к сожалению, очень небольшом — появилось новое имя, сразу же ставшее довольно заметным. Рассказы Евгения Воробьева (они посвящены преимущественно фронтовым будням Великой Отечественной войны и первым шагам воинов на мирном поприще в послевоенные дни) подкупают многими привлекательными чертами.

Прежде всего — достоверностью. Еще до того, как вы можете определить, заинтересовала вас судьба героя или нет, вас уже подкупила точность изображения деталей.

Воробьев талантлив: он умеет дать многое всего одним штрихом. Он взыскателен: он не повторяется даже в повторяющихся ситуациях. Ему бесконечно дороги люди, о которых он рассказывает. Найти в военных рассказах Воробьева советского человека,

к которому он не симпатизирует, просто невозможно.

Но, вместе с тем, сказать, что Воробьев лакирует своих героев, тоже нельзя. Он не скрывает, например, что старшина Каширин (который, кстати, фигурирует в нескольких рассказах: «Действительная служба», «Слава над головой») и груб, и сварлив, и неприятно поспешен и безапелляционен в своих, часто несправедливых, отзовах о людях. Только Воробьев утверждает при этом — всеми художественными средствами, которыми пользуется, — что если в момент смертельной схватки нашей родины с силами фашизма человек беззаветно сражается за родину, то главное — это.

Воробьев не только любит своих героев — он очень уважает их. Не в том дело, что он и пошутит над их слабостями, и посмеется над любым конфузом, который с ними приключится; но он будет неизменно серьезен и не позволит себе никаких вольностей, как только речь пойдет о том, к чему относятся всерьез его герои.

Е. Воробьев. «Пехотная гордость» («Советский писатель», 1946). «Однополчане» (Воснидзат, 1947). Новые рассказы в журналах «Огонек» и «Новый мир» (1948).

Воробьева тянет к изображению людей рядовых, не выделяющихся из массы, в которой они действуют, ничем таким, чем не может выделиться любой другой. Характерно: если Воробьев захочет описать, скажем, командира-сапера, то он остановит свое внимание на таком: «Кряжистый, солидный, сорока двух лет огроду, он еще в начале наступления был сержантом. И сейчас, в офицерском звании, он никогда не расставался с топором и малой саперной лопаткой» («На тот берег»).

Герои Воробьева — рядовые. Тем виднее, как замечателен наш народ: душевный, скромный, отважный, прямой, никогда не задумывающийся над тем, чтобы помочь товарищу, щедрый, работающий — народ-труженик.

Так же, как Воробьев отдает предпочтение людям рядовым, так и ситуации он предпочитает будничные. Он словно хочет сказать: человек — всегда такой, какой он есть; и можно мол поэтому, избрав какую угодно будничную ситуацию, добиться такой же выразительности образа, как и при изображении ситуации исключительной.

Но мне кажется, что этим Воробьев обедняет свои рассказы. Человек не всегда одинаков. Даже самого себя он не может постичь в будничной обстановке так глубоко, как порою удается это ему в исключительные, переломные моменты его жизни. Никто не станет утверждать, что судьба Зои Космодемьянской или Александра Матросова — судьба миллионов наших девушек и юношей, а обстоятельства, в которых очутились они, — обыденные. Но, тем не менее, мы с глубочайшим правом утверждаем, что самые типичные представители нашей молодежи именно они, и судим об этом по их поведению в исключительные моменты их жизни. Не стремиться показывать своих героев в такие моменты их жизни,

которые являются для них кульминационными, — это значит заранее лишить себя возможности показать самое глубокое в герое, это значит заранее лишить свое повествование возможности подняться до высот драматизма.

Именно потому, что Воробьев придерживается таких художественных убеждений, его рассказы отличаются еще одним крайне существенным пороком: его герои почти никогда не размышляют ни на какие «отвлеченные» темы.

Где и когда наши люди так много и так часто размышляли именно на «кобшие» темы, как не на войне? По героям же Воробьева этого никак не скажешь. Они неправдоподобно молчаливы во всем, что касается судьбы мира, родины... Воробьев старается показать, что советский человек делом мол подтверждает свои убеждения, а слова... Что ему до слов! Но это противопоставление дела и слов, как чего-то взаимоисключающего, чего-то антагонистического, имеет право на существование лишь в том случае, если слово расходится с делом. И в том, что рядовой советский воин — человек не только героических дел, но и беспокойной, страстной мысли — показан не таким, каков он на самом деле, а беднее, — в этом виноват не он сам, а неверная писательская установка.

Воробьев — одаренный писатель. И если его рассказы, однако, не оставляют покамест глубокого следа в памяти, если его герои не заставляют читателя глубоко задумываться над их судьбами, то виною этому — не недостаток таланта автора, а его ошибочные художественные принципы. Тем радостнее отметить, что в последних рассказах Воробьев делает первые шаги по пути их пересмотра.

Руд. БЕРШАДСКИЙ.

★

В розысках заветного клада

Русский фольклор, как известно, еще в дореволюционные времена стал предметом тщательного изучения: были записаны целые тома песен, былин, плачей, сказок, пословиц и поговорок. Но обычно в судьбе

М. Голубкова и Н. Леонтьев. Оленьи края. Изд. «Советский писатель» 1947.

самих сказителей и сказительниц общение их с фольклористами ничего не изменяло: лишь в редчайших случаях (так было, например, со знаменитой Ориной Федосовой) их искусство демонстрировалось городской публике. Менее всего общение с фольклористами влияло на творчество сказителей: фольклористы стремились запечатлеть

произведения устной словесности в их первобытной нетронутости, видя в этом основную свою задачу. Всякие новшества в фольклоре чаще всего воспринимались этими людьми, как явный и несомненный признак его порчи.

Совсем по-другому отнесся к песням и сказам печорской сказительницы М. Р. Голубковой фольклорист Н. Леонтьев. В первые же дни их знакомства, начавшегося в 1937 году, он заговорил с Маремьяной Романовной, в то время еще недавней колхозницей, о новых путях ее творчества: «Про что ты сейчас рассказала, это уже позади осталось. Вот ты сама говоришь, что уже три года новой дорогой идешь. Подумала бы ты обо всем, да и рассказала бы людям про новую жизнь так же складно и красиво, так же кругло и речисто». И так как советы Леонтьева совпали с устремлениями самой Голубковой, то постепенно — естественно и закономерно — сложился и окреп их подлинно творческий союз. Так появились замечательные сказы М. Р. Голубковой о колхозах, о выборах, о Ленине и Сталине, а вслед за ними — книги «Два века в полвека» и «Оленьи края», в которых Голубкова и Леонтьев выступили уже в качестве соавторов. Подобное содружество между сказительницей и фольклористом стало возможным лишь благодаря новому подходу к фольклору, — когда устная народная словесность рассматривается не просто как обломок старины, а как такой вид художественной деятельности народных масс, который и в наше время живет, развивается и совершенствуется.

«Два века в полвека» — автобиографическая повесть, рассказанная Голубковой и подготовленная к печати Леонтьевым, увидела свет в 1946 году. К сожалению, в печати нашей эта книга до сих пор не получила достойной оценки. Правда, было несколько сочувственных рецензий в журналах, но все они написаны такими серенькими, бесстрастными словами, что совершенно невозможно понять и ощутить по ним, каким значительным и новаторским произведением обогатилась наша литература.

А между тем, — и об этом следует сказать в полный голос, — «Два века в полвека» является одной из лучших советских книг за последние годы. В ней создан обаятельный и глубоко поучительный образ простой русской женщины-крестьянки,

которая за свои пятьдесят лет «всячины нахлебалась» и жизненный путь которой поистине пролегал через два века: настолько первые годы ее жизни отличаются от последующих, так изменились на памяти этой еще не старой женщины и жизнь, и люди в нашей стране.

Если бы какой-нибудь писатель захотел собрать воедино все невзгоды, которые выпадали в прежние времена на долю крестьянской женщины, то и тогда он вряд ли мог бы что-либо прибавить к тому, что перенесла в детстве и юности Мариша Голубкова. Работа «в людях» с восьмилетнего возраста, дикая кулацкая кабала, замужество против воли «молодой» в шестнадцать лет, зверские побои вечно пьяного мужа — вот чем наполнена вся первая часть книги. Но при всем этом — такова одна из наиболее примечательных черт М. Р. Голубковой — назвать ее «несчастенькой» никак нельзя. Она не имеет ничего общего с теми забытыми, приниженными, огупешими существами, которые находились в центре внимания народнических и не только народнических произведений о крестьянстве. В Голубковой поражает ее жизнеспособность, ее энергия, ее физическая и духовная стойкость. Необычайная любознательность, неиссякаемое трудолюбие, расторопность и сметливость отличают эту замечательную русскую женщину так же, как завидная сила характера. Перед нами вырастает образ настоящей «богатырицы» — так называли однажды молодую женщину, и это сказано совершенно точно.

И как гармонирует со всем обликом М. Р. Голубковой ее исключительная любовь к песне, к пословице, к меткому народному слову! «Песня мне, — говорит она, — друг и приятель, гульба и веселье. С другом дружишься, а свой запас все имеешь, не каждое слово ему скажешь. А от песни ни единой мысли не утаить, на каждую думу песня сама прибежит да отзветит. Что касается пословиц, то на них, по словам Голубковой, она «училась и говорить». У кого услышишь — как на удочку подхватываешь... А потом я и своеобразные пословицы сыпать стала. Вижу, что к случаю ловко слово применить можно, вот пословица сама на язык и вывертывается». В тяготении к «золотой речи», которая «друга тянет ближе, недруга толкает дальше, всех друзей за собой ведет, недругов всех по рукам сечет, ворогов всех беспо-

щадно бьет», с особой силой сказала активная, творческая натура Голубковой. Очень и очень многих песни и пословицы, запечатлевшие прадедовский опыт, удерживали в подчинении старому, в русле традиционного, патриархального мышления. М. Р. Голубкова использует богатства, которые она черпает из сокровищницы вековой народной мудрости, для выражения собственных своих дум и чувств; золотая речь народных песен и преданий превратилась в опору духовной самостоятельности сказительницы.

Понятно, что по-настоящему проявить себя Голубкова смогла лишь в советских условиях, в колхозной деревне. С детства выношенная ненависть к «богатинным» и присущая ей во всем безобаянность сделали ее горячей поборницей колхозного строя. И это ее стремление к новому с покоряющей естественностью передано в повести «Два века в полвека», в которой достоверность документа соединяется с заразной силой искусства.

В поисках полноценного художественного звучания своей книги М. Р. Голубкова, а вместе с ней и ее «учитель и ученик» Н. П. Леонтьев пошли по пути наибольшего сопротивления. Они поставили перед собой задачу слить в одном произведении две различных творческих струи — своеобразную культуру фольклора, культуру устной народной словесности, и культуру художественной литературы в точном смысле этого слова. Рассказывая шаг за шагом о жизни Маремьяны Голубковой, авторы, разумеется, не могли обойти огромный опыт автобиографического повествования, которым так богата русская художественная литература. Он чувствуется и в отборе фактов, и в самом построении книги. Но в то же время книга эта от первой до последней страницы пронизана образами, понятиями, настроениями народной поэзии. Отсюда необычность языка повести и другое, еще более ценное ее качество: глубоко народный взгляд на жизнь, свойственный лучшим, передовым представителям современного советского крестьянства, которые отлично помнят старые, доколхозные порядки и которые в сталинскую эпоху обрели, наконец, свое «талан-счастье». Образ русской женщины оттого и выступает у Голубковой и Леонтьева с такой выпуклостью и художественной закончен-

ностью, что в изображении его приемы реалистической литературы органически сочетаются с красками фольклора.

Те творческие принципы, которые были разработаны Голубковой и Леонтьевыми в повести «Два века в полвека», легли в основу и новой их книги «Оленьи края». Можно было опасаться за судьбу этой книги. Выдержит ли она сравнение с предшествующей, которая вобрала в себя пережитое и передуманное талантливой печорской сказительницей за пятьдесят лет, которая построена на драматических контрастах между старым и новым, между деревней кулацкой и деревней колхозной, между завоеванным счастьем мирной советской жизни и великой трагедией Отечественной войны? Действительно, по своей насыщенности и размаху «Оленьи края» заметно уступают повести «Два века в полвека». Возможно, именно поэтому хотелось бы, чтобы вторая книга Голубковой и Леонтьева была более сжатой, более собранной и — вместе с тем — более объемной. Хотелось бы также, чтобы авторы поработали еще и над языком книги: кое-где он звучит сухо; зато на других страницах ее слышится выразительная «печорская говоря», нанизаны «дорогие да отменные слова», «слова ясные, как красный день, прямые да верные, то твердые, как камень, то теплые, как живая кровь».

В «Оленьих краях» охвачен неполный год жизни М. Р. Голубковой; в этой книге описывается работа одной из экспедиций Главсевморпути, искавшей нефть в Большеземельской тундре в последний период войны.

Это книга о новых людях нашего Крайнего Севера, о коренных обитателях тундры — русских, ненцах, коми — и о людях из центра, пришедших сюда «в розысках заветного клада», столь необходимого стране для победы над врагом и для послевоенного мирного строительства. Перед нами проходит множество энергичных и волевых «рискованных, путешественных людей», у которых «всю жизнь ноги гудят, а глаза свербят, по крайнебу тянутся». Ярко и зримо встают перед читателем «нехоженые пути-дороги» и всевозможные тяготы и опасности, которые подстерегают в тундре человека. Но они не пугают героев книги: «В путях да дорогах все на тебя ополчится: и воды, и горы, и всякие

власти. А ты лишний страх откинешь, да могуту свою на смекалке женишь, да упрямку со сноровкой породнишь — и все тебе станет подначально. И утешно тебе: в полную силу работаешь, будто в полный голос песню поешь». Таков советский человек, труженик, борец и победитель, изображенный Голубковой и Леонтьевым.

Отличительная особенность «Оленьих краев» в том, что в этом произведении тундра, ее люди, ее природа показаны изнутри. Здесь нельзя подметить ни тени экзотичности, ни тени умиления тем, что, дескать, вчерашние полудикари сегодня приобщились к большой советской культуре.

М. Р. Голубкова (от имени которой ведется повествование как в повести «Два века в полвека», так и в «Оленьих краях») рассказывает о своих земляках — и ей процесс их роста представляется совершенно естественным и закономерным. Напро-

тив, нотки недоумения и удивления можно различить в ее голосе, когда она говорит о встрече с последними единоличниками тундры. Преображение советского Севера волей партии и народа, возникновение таких городов, как Воркута, связывается в книге Голубковой и Леонтьева с осуществлением давних народных чаяний, с мечтами, поэтически выраженными в ненецкой сказке о богатыре Тенеко, которому стоило лишь раскрыть свой сундучок, чтобы в тундре появился чудесный город.

«Два века в полвека» — наполовину книга о прошлом. «Оленьи края» — книга о настоящем. И в обеих книгах живое общение фольклора и литературы оказалось плодотворным, художественно оправданным. Творческая удача М. Голубковой и Н. Леонтьева — еще одно подтверждение гениальных мыслей Горького о значении фольклора для современной советской литературы.

Г. ЛЕНОБЛЬ.

★

Облик актера и гражданина

Написать творческий портрет выдающегося актера — труднейшая задача. В известном смысле легче рассказывать об актерах прошлого: тут ведь точность иных деталей и нюансов подчас приблизительна. Но когда речь идет о наших современниках, которых мы, читатели, сами знаем и любим, которые волновали нас со сцены и четко запечатлелись в нашей памяти, мы с особой настойчивостью требуем строгого сходства. Пусть не до конца будет раскрыт образ актера — для такого раскрытия нужна целая монография, — но сходства мы требуем категорически. Заслуга Я. Гринвальда, написавшего небольшую, но точную и содержательную книгу о Михоэлсе, заключается прежде всего в том, что ему удалось добиться этого сходства. Мы узнаем Михоэлса, узнаем его в его горячей, пламенной любви к Советской Родине, в его неугасимой ненависти к фашизму, в его неукротимом стремлении к большой и подлинной жизненной правде на сцене, в неутомимой работе мысли актера-философа.

Я. Гринвальд. Михоэлс. Краткий критико-биографический очерк. Издательство «Дер Эмес», Москва, 1948.

В начале книжки в немногих словах рассказывается о юности Михоэлса, о страстной его увлеченности театром еще на заре жизни. «Он смотрел игру Комиссаржевской, Давыдова, Варламова, Орленева, братьев Адельгейм, замечательной трагической артистки еврейской сцены Эстер-Рохл Каминской с ее труппой, в составе которой было много талантливых актеров. Молодого Михоэлса одинаково увлекали и трагические и комические образы, создаваемые этими мастерами русской и еврейской сцены. Но особенной его любовью пользовались спектакли с участием Комиссаржевской и Каминской» (стр. 7). Я. Гринвальд рассказывает о том, как еще в раннем детстве неизгладимое впечатление производили на Михоэлса еврейские бродячие комедианты — «пуримшпилеры» с их народными спектаклями-игрищами.

Так, на немногих страницах проходят перед читателями театральные «предки» Михоэлса.

Автор книжки рассказывает о трудных, тернистых путях, по которым суждено было идти разрозненным еврейским труппам в условиях царской России.

Национальная политика партии Ленина—Сталина впервые открыла перед национальными театрами простор свободного творческого развития. В 1919 году в Петрограде была организована еврейская театральная школа, вскоре преобразовавшаяся в театр-студию. Михоэлс стал одним из актеров этого театра.

Однако творческому росту молодого театра мешали проникавшие в него влияния упадочнических тенденций западноевропейского буржуазного искусства—формализма и эстетства. Автор книжки рассказывает о том, как живое и сильное дарование Михоэлса не мирилось с этими тенденциями и, преодолевая их, вырывалось на вольный воздух подлинного реалистического творчества. Вот Михоэлс (это было уже после того, как в 1921 году театр переехал в Москву) выступает в миниатюре «Агенты» Шолом-Алейхема — знаменитого еврейского классика, которого так высоко ценил Горький за его «славную, добротную и мудрую любовь к народу». Эту маленькую роль Михоэлс создает из живых своих наблюдений над бытом местечковой еврейской бедноты. Менахем-Мендель, мелкий агент по страхованию жизни, беседует в вагоне с подсевшим к нему евреем. Он начинает убеждать своего собеседника застраховать свою жизнь, он весь охвачен мечтой, что сейчас получит «комиссию», побежит за покупками, а потом сядет с семьей за стол. И вдруг оказывается, что спутник — тоже агент по страхованию жизни. В эту минуту Михоэлс, пишет Гринвальд, «весь сразу обмяк, смущенно, грустно улыбался и виновато оправдывался в своей смешной ошибке. В эти фразы смущения и оправдания Михоэлс вкладывал такую безнадежную печаль, что в зрительном зале незвольно замирал смех...» (стр. 22). Так, уже в этом раннем эскизе обнаружилось то глубокое понимание Михоэлсом создаваемых им человеческих образов и то сочувствие к этим образам, которыми проникнуто все творчество замечательного артиста.

Перед читателем, роль за ролью, проходит славный путь Михоэлса-артиста, отмеченный неутомимыми исканиями, расширением внутреннего творческого диапазона, укреплением реалистической и общественной основы его творчества, углублением мысли. Мысль свою Михоэлс любил выражать образно. И очень ценно, что

Гринвальд приводит ряд таких мыслей-образов. Так, например, Уриэль-Акоста, герой знаменитой драмы Гуцкова, представлялся Михоэлсу, по собственному его выражению, человеком, «у которого руки были слабее его темперамента, его мысли» (стр. 26). О роли Вениамина (в пьесе «Путешествие Вениамина третьего») Михоэлс говорил, что у него «такое чувство, будто в плечах тесно, будто хочется полететь, а крылья подрезаны» (стр. 40). В изнуренном тяжелой работой глухом старике в пьесе Д. Бергельсона «Глухой», вдруг узнавшем, что дочь его обесчещена хозяйским сыном, и загоревшемся гневом и жадной мести, Михоэлс видел «человека с сжатыми кулаками над головой» (стр. 50). Играл ли Михоэлс роль классическую или нашего современника, он всегда вкладывал в основу своего исполнения мысль-образ. В этом заключалась творческая система Михоэлса.

Одной из центральных ролей Михоэлса был, как известно, король Лир. Идею великой трагедии Шекспира, как справедливо указывает Гринвальд, «артист увидел в столкновении человеческого «я», воображающего себя всемогущим и всемогущим, с действительностью объективного мира, перед лицом которого гордое «я» оказывалось жалким и слабым. Это была волнованная тема краха философии индивидуализма, трагического банкротства человека, отставшего от своего времени, не чувствующего великой поступи истории» (стр. 57). Жаль, однако, что автор книжки мало сказал о мировом значении исполнения этой роли Михоэлсом. Известно, что истолкование Михоэлсом роли Лира явилось настоящим открытием в области шекспироведения, оказавшим — как выражение духовной мощи советского искусства — значительное влияние на театры других стран. Недаром приезжавшие в Советский Союз руководители американского театра «Группа», бывшего в тридцатых годах передовым театром США, впоследствии писали, что они многому научились на спектакле «Король Лир» в Гбсете, найдя в этой новой углубленной интерпретации источник творческого вдохновения.

Михоэлс страстно любил Шекспира. Он всегда с большим интересом следил за каждым шагом советского шекспироведения. Напомним, что все восемь ежегодных шекспировских конференций, состоявшихся в Москве при жизни Михоэлса, начинались

его вступительным словом. Нам вспоминается доклад Михоэлса, прочитанный им года два тому назад. В этом докладе Михоэлс образно характеризовал Гамлета «человеком, пробравшимся в тыл врага, и потому одиноким, что он находится во вражеском окружении». «В природе Ричарда проникло зло — на спине его вырос горб, — говорил Михоэлс о роли Ричарда, к исполнению которой он готовился. — Сначала он тяготился этим горбом, потом привык к нему. А потом увидел, что этот горб, это зло, так плотно въевшееся в его природу, может сослужить ему прекрасную службу. И вот Ричард стоит на залитой солнцем площади, искоса посматривает на собственную тень и беседует со своим горбом, как с другом, ласково поглаживая его рукой...»

После Лира Михоэлс сыграл Зайвля Овадиса в пьесе Переца Маркиша «Семья Овадис» и Тевье-Молочника в инсценировке одноименного произведения Шолом-Алейхема. «Шаг за шагом Овадис избавляется от пережитков старого и широко раскрывает сердце навстречу новым идеям и чувствам человека-гражданина великой социалистической страны», — так формулирует автор книжки основную идейную линию исполнения Михоэлса (стр. 64). В роли Тевье-Молочника, бедняка-грузеника, придушенного нищетой и несправием, но постепенно втягиваемого в водоворот револю-

ционных событий 1905 года, Михоэлс, пишет Гринвальд, «был человеком, который на своих плечах нес тяжелый груз векового гнета, но человеком, в котором жила сила Геркулеса. Вот-вот он расправит свои могучие плечи, встряхнет ими и сбросит все, что давит и гнетет его. Сбросит рабство, нищету, предрассудки» (стр. 68).

Но Михоэлс был не только актером и режиссером. Он был горячим, убежденным общественно-политическим деятелем. 3 дни Отечественной войны он стал во главе еврейского антифашистского комитета. Автор книжки цитирует слова Михоэлса, произнесенные им на митинге представителей еврейского народа. «Еврейская мать! Если даже у тебя единственный сын, — благовослови его и отправь в бой против коричневой чумы... Михоэлс с огромной любовью писал о «советской Родине, ставшей матерью для всех населяющих ее народов». Краткие, но какие чудесные слова!

Достоинство книжки Гринвальда заключается в том, что она насыщена фактами. Предназначена она прежде всего для широкого читателя. И познакомившийся с этой небольшой книжкой читатель, даже тот, который не видел Михоэлса на сцене, с благодарностью подумает о большом художнике и большом человеке.

М. МОРОЗОВ.



Главный редактор Константин Симонов.
Редколлегия: Борис Агапов, Александр Борщаговский,
Валентин Катаев, Александр Кривицкий, (зам. главного редактора), Константин Федин, Михаил Шолохов.

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1.

Сдано в набор 8/VI—48 г. Подписано к печати 3/VII—48 г.
Л 66673. Объем 18 1/2 п. л. Тираж 64.300. Заказ № 938.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР». Москва.

